
The

ЕВГЕНИЙ
ЗАМЯТИН

Евгений Замятин

II

JEVGENIJ SAMJATIN

WERKE

Zweiter Band

Herausgegeben von Eugenia Zhiglevich und Boris Filipoff
Eingeleitet von Boris Filipoff

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB UND VERLAG
1982

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

СОЧИНЕНИЯ

Том второй

Повести и рассказы

1923—1935

Театр

Под редакцией Евгении Жиглевич и Бориса Филиппова
Вступительная заметка Бориса Филиппова

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB UND VERLAG
1982

Переплет и суперобложка по рисунку С. Л. Голлербаха

Портрет Е. И. Замятина
работы Юрия Павловича Анненкова.
Технический редактор А. С. Беляев

Printed in West-Germany
by „LOGOS“, Buchdruckerei u. Verlag GmbH, München 19

ТЕАТР ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА

Собирайтесь, бабы, девки,
Под гармонью петь запевки!
В Туле праздник. Тула — я,
Тула — родина моя!

Так ведущие спектакль Халдеи открывают «тульскую перемену» (акт), может быть, в лучшей, во всяком случае, наиболее яркой, красочной пьесе Евгения Замятина — по Лескову и народным сказаниям — «Блохе».

Театр Замятина — на пересечении старой мелодрамы и ярмарочного балагана. Недаром в предисловии к этой же «Блохе» автор писал: «„Блоха" — опыт воссоздания народной комедии. Как и всякий народный театр — это, конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца». Если хотите, это — русская разновидность старой итальянской commedia dell'arte, с ведущими балаганными затейниками — двумя Халдеями и одной Халдейкой, то и дело сменяющими свои сценические роли-маски: скажем, то Халдейка — сама по себе, то фрейлина Малафевна, то тульская девка Машка, то аглицкая девка Меря, соблазняющая простака Левшу показом «своей голой техники» (предшественницы более позднего стриптиза).

Несомненно, такой театр должен быть искусством сугубо синтетическим, и в нем слово и мимика, четкий прямолинейный, без оттенков и оттеночков, жест, яркие, почти аляповатые декорации (ну, как на расписном подносе хохломской работы), условнейшая, примитивная бутафория, песня и музыка — вполне равноправны и равноценны. Художник нашелся сразу: это — старый приятель и сотоварищ Замятина еще по работе над повестью-

сюитой акварелей «Русь» — Б. М. Кустодиев. Он создал оформление «Блохи» как для Второго Московского Художественного Театра (1925), так и для Ленинградского Большого Драматического Театра (1926). Нашлись и талантливые постановщики-актеры — В. В. Готовцев и А. Д. Дикий — в Москве, и Н. Ф. Монахов — в Питере. А музыку — для Большого Драматического Театра — писал Ю. А. Шапорин, оркестрована она была для балалаечного оркестра и гармоний-аккордеонов, ударных и духовых инструментов, и звучала лихо, забористо, чисто по-русски. Сюита из этой музыки стала на многие годы одной из излюбленных пьес в репертуаре Ленинградской Филармонии.

Театрализация балагана (или балаганизация театра) начиналась уже с программы, вручаемой зрителям:

Почтенные гражда́не,
Не господа и не дворяне,
Просим милости вашей —
Посмотреть представление наше.
Сюжет хотя и немудрен,
Но взят из царских времен...

«...Увеселительное Военно-Драматическое представление в четырех переменах...»

Стремительно развертывающаяся фабула, чередование смеха и слез, песни и побоев (как в уличном «Петрушке»), чудес и фокусов-покусов, — и предельная занимательность спектакля.

Театр Евгения Замятина — это решительный, дерзкий вызов театру Чехова и Станиславского, театру слабонервного импрессионизма. Никаких полутонов, никакой «игры паузами» и чуть заметными жестами, никаких недомолвок.

Уже в «Огнях Святого Доминика» (1923) автор не боится быть обвиненным в использовании всего арсенала приемов и характерных масок типичной мелодрамы. Ну, ситуация, напоминающая «Разбойников» Шиллера: у благородного дворянина два сына: и — как пружина — развертывается стремительно картина: оба сына в одну влюблены — и оба ревностью поражены. Один сын —

ханжа и доноситель, другой — благородных и либеральных идей носитель; один — завистник и инквизиции служитель, другой — гуманист и просветитель. (Невольно автор этой заметки заговорил в рифму, — словно раешник или актер, читающий пролог к старой мелодраме). Так плакатно-четко и так сценически-ярко ведет Евгений Замятин интригу своей драмы, заканчивающейся сожжением на костре инквизиции благородного брата по доносу брата-соперника. А — под занавес — любимая закалывает предателя: в ней ведь есть и капля страстной мавританской крови...

Ну, не вызов ли это Чехову и системе Станиславского? А сценично до последнего словечка, до последнего жеста. И — конечно — опять: чередование трагических и комических, мелодраматических и гротескно-карикатурных сцен... Долой малокровие импрессионизма! Никакой тебе сероватой чайки на сером же занавесе Художественников. Нет, все ярко, все полнокровно, все страстно, все на широком жесте.

Или — «Общество Почетных Звонарей» (1924) — инсценировка Замятиным замятинской же повести «Островитяне». Характеры очерчены резкой, жирной линией, почти с карикатурной остротой, — но какой благодарный для актеров материал! Опять — и интрига динамична, и ситуации напряженны, и диалоги выпуклы — все доведено до балаганной четкости и мейерхольдовской отчетливости. В самый трагический момент автор вводит клоунаду: работу циркача-эксцентрика. Мало того, в фабулу введены элементы детективного романа в пошибе Арсена Люпэна... Трагедо-фарс — с включением в него рыжего у ковра. Спектаклю в Михайловском Театре (ноябрь 1925) помогала и мелодраматически-ироническая музыка поэта-композитора Михаила Кузмина.

«Африканский гость» — опять-таки — синтез старого водевиля с переодеваниями и, если хотите, комедийной пародии (пародической комедии?) на темы из советской жизни. Вообще, Евгений Замятин, чаще всего, не может писать без иронической усмешки: будь то старый быт, в котором герой (Левша) насмерть забит, будь то устоявшийся обиход английских ханжей, будь то затхлая атмосфера советской провинции. В небольшом городиш-

ке советские вельможи и чинуши не хотят, понятно, отстать от столиц, и когда отвергнутый отцом любимой девушки жених обряжается в шкуру гориллы, его торжественно встречают в качестве делегата трудящихся человекообразных обезьян Африки, прибывшего в цитадель мировой революции — СССР — в качестве официального представителя угнетенных, но восставших против империализма африканских масс. Пусть даже и обезьяна, и по-человечески объясниться не может, но все-таки «тут из заграницы... из настоящей», не «из товарищей» все же, «а настоящий кавалер»... Озорная, брызжущая простодушным (но иной раз не без яда...) смехом комедия.

Те же элементы трагического и мелодраматического, подчас почти фарсового в неувидевшей света рампы трагедии «Атилла» (1928). Как будто некий документальный этнографизм — в выкриках гуннов, в речах римлян и византийских солдат, германской принцессы-пленницы. Но ведь гунны — сознательно «скифизированы», точнее, русифицированы, а послы Старого Рима говорят языком шиллеровского или гуцковского мелодраматизма. И это — не амальгама литературных влияний и заимствований, это — трагедо-иронический, чисто замятинский сплав приемов и манер, отнюдь не механический эклектизм, а возрождение театральности как таковой. И опять — динамизм сюжета, отсутствие психологических нюансов — все ярко, выпукло, все должно не слегка взволновать, а потрясти зрителей.

«В „Атилле" — дошел до стихов. Дальше идти некуда, — усмехается Замятин в своей автобиографии: — возвращаюсь к роману, к рассказам».

Увы, романа (как раз о том же Атилле) кончить не удалось. Да и жить осталось недолго. «Атилла» был принят к постановке Большим Драматическим Театром в Ленинграде, уже наполовину срепетирован и анонсирован в афишах театра, но снят с репертуара Главреперткомом: началась травля Замятина из-за опубликования за границей его романа «Мы». А над этой пьесой автор «работал почти три года, — пишет он в письме к И. В. Сталину. — Я был уверен, что эта моя пьеса заставит, наконец, замолчать тех, кому угодно делать из

меня какого-то мракобеса... Гибель моей трагедии „Атилла" была поистине трагедией для меня: после этого мне стала ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение...»

Думается, что придет время — и театр Замятина — театр яркий, театр сильных характеров и пылких страстей, театр народный — снова увидит свет рампы и займет заметное место в живом театральном театре будущего.

**
*

Театр и проза Замятина. Они у него легко переплетаются друг в друга. Проза — театрализуется: «Островитяне» — в сатиродраму «Общество почетных звонарей», «Пещера» — в одноименную пьесу для театра Вахтангова (увы, не опубликованную). Драма — дает материал для большой повести или романа: «Атилла» становится «Бичом Божиим».

Но ведь почти вся проза Замятина — по характеру и строению своему — ярко театральна. Как резко очерчены действующие лица и как близок к мелодраме сам финал «Рассказа о самом главном»! Как театрален по форме «Икс»! Недаром автор вписывает в одну из сцен рассказа как бы режиссерский сценарий: «Вся Роза Люксембург (улица в провинциальном городке) была сейчас театральным залом: стеклянный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами для входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919-й). Действие разыгрывается одновременно на двух площадках...». И так далее: ...«Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой»... И это — не только художественный прием: можно чрезвычайно легко преобразовать рассказ в веселую сатирическую пьеску — с куплетами в публику — водевиль нашего века.

Еще веселее мог бы быть перелицован в пьесу лирико-анекдотический рассказ «Лев», само действие которого — на сцене Мариинского театра. И рассказ «Встреча», — весь «закулисный», вернее, рисующий съемку кинокартины из русской дореволюционной жизни, где встреча-

ются бывший революционер, «расколовшийся» на допросе у жандармского полковника и тем самым предавший товарищей, и допрашивавший его полковник. Оба сейчас — эмигранты-парижане. И совсем по-театральному — совершенно неожиданный финал.

Думаю, что одной из причин театральности замятинской прозы было и само время: первые пятнадцать-шестнадцать лет послеоктябрьской России. Они проходили скорее под знаком поэзии и, главным образом, театра, чем прозы. Многие читатели даже отвернулись от прозы — навязли в зубах ее темы-штампы: «врастающий в революцию и большевистское строительство интеллигент», гражданская война, железные характеры коммунистов в кожаных куртках... Припоминаю, что даже «Блистательную гвардию» Булгакова оценили по-настоящему после «Дней Турбиных» в Художественном театре. А театр тех лет, даже в пьесах на злободневные темы и окрашенных в большевистские тона, благодаря творческим поискам и находкам талантливейших режиссеров и актеров, продолжал еще жить более полнокровно, чем захиревшая проза. Да, читали и прозу — но только некоторых «попутчиков» Октября или потенциальных антисоветчиков. Но ее, этой добротной прозы, было так немного... и сами писатели поэтому устремлялись к драматургии, — и подсознательно драматизировали и свою прозу.

А такой мастер сказа и динамической фабулы, как Евгений Замятин, избегающий чеховских полутонов, ненавидящий насыщенные настроениями паузы чеховской драматургии — был прирожденным драматургом и в театре, и в прозе своей. И как по-театральному подходит Замятин к писательству: «Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты: только суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства. Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова — и им самим договоренное, дорисованное — будет врезано в него неизмеримо прочнее, врастет в него органически. Здесь — путь к совместному творчеству художника и читателя или зрителя».

Борис Филиппов

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РАССКАЗ О САМОМ ГЛАВНОМ

Мир: куст сирени — вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhopalocera с рогом на хвосте. Сегодня мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом — тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать — если бы я умел! — все услыхали бы. Я — нем.

Еще мир: зеркало реки, прозрачный — из железа и синего неба — мост, туго выгнувший спину; выстрелы, облака. По ту сторону моста — орловские, советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону — неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я — орловский и келбуйский, я — стреляю в себя, задыхаясь мчусь через мост, с моста падаю вниз — руки крыльями — кричу . . .

И еще мир. Земля — с сиренью, океанами, Rhopalocera, облаками, выстрелами, неподвижно мчащаяся в синь земля, а навстречу ей, из бесконечностей мчится еще невидимая, темная звезда. Там, на звезде — чуть освещенные красным развалины стен, галерей, машин, три замерзших — тесно друг к другу — трупа, мое голое ледяное тело. И самое главное: чтобы скорее — удар о Землю, грохот, чтобы все это сожглось дотла вместе со мной, и дотла все стены и машины на Земле, и в багровом пламени — новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане — еще новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы . .

Над Землею — мыслями — облака. Одни — в выси, радостные, легкие, сквозь розовеющие, как летнее девичье платье; другие — внизу, тяжелые, медленные, литые, синие. От них тень быстрым, темным крылом — по воде, по глиняным рубахам, по лицам, по листьям. В тени — отчаянней мечется Rhopalocera головой вправо и

влево, и в тени чаще стрельба: солнце не мешает, удобнее целиться.

**
*

Миры пересеклись, и червь Rhopalocera вошел в мир Куковерова, Талин, мой, ваш — на Духов День (25 мая) в келбуйском лесу. Там — поляна, до краев налитая крепчайшим, зеленым, процеженным сквозь листья солнечным соком; посреди поляны огромный сиреневый куст, ветви согнуты тяжестью цветов; и под кустом, по пояс в земле — каменная баба с желтой тысячелетней улыбкой. Сюда придут сейчас к Куковерову пятеро келбуйских мужиков, чтобы сказать ему, когда они начинают: послезавтра, завтра, может быть — даже сегодня. Но пока еще пять минут Тале и Куковерову быть здесь вдвоем.

У Куковерова нет спичек, и он ловит солнце лупой — закурить. Молча растет на папироске седой, чуть курчавый пепел, и как пепел — у Куковерова волосы, а под пеплом...

Чтобы не смотреть на нестерпимые эти изгибы в уголках талиных губ, Куковеров смотрит на каменную бабу. Но там — тоже губы, улыбка — тысячелетняя. И он опять поворачивается к Тале:

— Вот — когда-то эти губы мазали человечьей кровью. В такой же день.

— А вы все, теперь, разве не мажете?

— Да. Но не только чужой — и своей тоже, своей кровью. И знаете — может быть...

И в себе — очень тихо: что, может быть, это случится уже завтра, послезавтра, и надо скорее взять как можно больше неба, и вот этот куст сирени, и роющего лапками в цветах шмеля, и еще — еще одно...

Пальцы у него чуть дрожат (один палец — прокуренный, желтый от табаку), с папиросы сваливается седой, чуть курчавый пепел.

— Вам, Таля, восемнадцать лет, а мне... Это, может быть, смешно, что я... ведь я вас знаю всего неделю. А впрочем... Вам никогда не приходило в голову, что теперь земля вертится в сто раз быстрее, и все часы — и всё в сто раз, и только поэтому никто не замечает? И

вот, понимаете, какой-то один день — или минута... Да, довольно минуты, чтобы вдруг понять, что другой человек для вас...

Густые, пригнутые вниз тяжестью цветов сиреневые ветки. Под ними — вышитая кое-где солнцем тень — в тени — Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов, ресницы.

У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему — нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает — и вниз летит желто-шелковый Rhopalocera прямо на талины колени, в теплую ложбину ее пропитанного солнцем и телом платья. Там свивается мучительно-тугим кольцом — и если бы, если бы крикнуть, что ведь завтра — надо умереть!

Куковеров молчит. Таля:

— Ну, что же вы? Дальше! Ну?

Согнутые тяжестью цветов ресницы; одна какая-то точка в уголку ее губ. Спичек нет. Куковеров зажигает папиросу лупой, пальцы дрожат, дрожит нестерпимая для глаза точка сгущенного солнца. И — да, это именно так: уголок губ — там, как сквозь лупу, вся она, все ее девичье, женское — то самое, что...

— Дальше? Вы хотите, чтобы я сказал, что дальше?

Голос — не куковеровский, темный, из-под наваленного вороха. Таля поднимает ресницы, и вот захваченное врасплох его лицо, синие — настежь, вслух обо всем — глаза, пропаханные тюрьмою морщины, волосы как пепел, палец желтый от табаку.

Это — миг. И Таля — снова у себя в тени ресниц, сирени, нагибается, нагибается еще ниже, тихонько поглаживает шелковую спинку Rhopalocera и говорит ему одно какое-то слово, неслышно.

Но Куковерову кажется, что он услышал — и у него вдруг так больно толкнулось сердце, будто там не сердце, а живой ребенок. И когда Куковеров вслух вдохнул в себя лес, небо, шмеля, солнце: «Хорошо... все-таки!», — Таля понимает, что он понял, и тоже как живой ребенок — в ней сердце.

А наверх, Куковерову — слова, потому что сейчас нельзя молчать:

— Я их очень.. Я, когда была маленькая — выводила из них бабочек. Одна вывелась у нас зимой, на Рождество, окна — во льду, летала — летала...

Куковеров — тихо:

— Вот и я тоже...

Но что «тоже» — это никогда не будет сказано: к каменной бабе, к богу, некогда вскормленному человечьей кровью, подходят по-медвежьи — на босых пятках — пятеро. Таля быстро поднимается из тени (ресниц, сирени), идет через солнце — в белом, сквозь розовеющем платье, уносит с собою отпечатанные где-то в глубине куковеровские глаза и на ладони Rhopalocera, которому завтра умереть.

Пятеро мужиков — один лешачьего, сосенного росту, голова, как на шесте — вваливаются все разом в еще распахнутого настежь Куковерова и в ответ ему («Ну, как же решили, ребята?») — все разом:

— Готово! Председатель Филимошка — уж под замком, на съезжей. Хватит, побаловали советские!

Это — зажжен фитиль, и бежит искра к пороховой бочке: может быть, фитиль длиною в часы, может быть — в дни, но с каждой минутой все ближе искра — и вот грохнет полымем, дымом, кусками человечьих сердец, моего сердца.

**
*

И в тот же Духов День — в городе, где белая, не оседающая пыль, камень, жестяные облака, железные красные с золотыми буквами вывески и железные люди. Там, на краю, на горбатой улице куры щиплют пахнущую редькой веничную траву — куры, взъерошенные и изъеденные вшами, как люди. И там за голубыми некогда ставнями заткнуты березки — вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды. От ее старинного шелкового шашмура на голове, от ее грибного старушечьего запаха, от березок с свернувшимися на солнце в трубочку листьями — внутри у Дорды что-то полощется секунду, как на ветру спаленный солнцем березовый лист. Но только — секунду.

Вынул из кобуры револьвер, и сам — револьвер, в черной, кожаной — или даже, может быть, металличе-

ской кобуре, заряженные глаза. И — матери, вкладывая патроны в обойму:

— Что, опять в церковь ходила? Эх, старая! А туда же: «Я все понимаю, я — я...».

— А что же, милый: с Христом все трудящие были — пастухи, волхвы и ангелы. Да. Против этого не скажешь.

— Как, как — трудящие... ангелы?

Сквозь железные фланцы трубы вдруг прорвет вода, брызнет вверх, в стороны, радуются ребята: так сейчас из Дорды — смех, и никак не попадает патрон в обойму. Но торопятся взрослые отогнать ребят и скорее заткнуть воду, и вот уже Дорда снова в кобуре — кожаной или, может быть, металлической, патрон щелкнул и стал на место.

Мать — с сердцем:

— Ты это что в праздник-то взгойчился? Куда заряжаешься?

— А в Келбуе мужики бунтуют, вот куда. Побаловали, хватит!

Под шашмуром — морщины. Коричневые губы чуть заметно шевелятся — берестой на огне, но вслух нельзя, и только подолом кофты вытерты нос, глаза. И глазами — материнскими глазами всего его запомнить, уложить в себя его темную, стриженую голову, вот эту жилку на виске — чтобы в тот день, когда принесут его — —

Губы у него сжаты (сейчас, всегда), вход замурован, выбелен: стена. Вдруг странно открывается рот, не там, где казалось, а гораздо выше — верхняя губа очень короткая. И слова:

— Ты бы лучше чего в дорогу мне собрала, чем так-то.

Согнувшись, она шмыгает, чуть шаркают стоптанные башмаки. В тишине я слышу... вы знаете этот смешной человеческий звук — носом, когда нельзя, чтоб было видно, когда слезы нужно глотать?

И, может быть, прав Куковеров — все мчится в сто раз торопливей, проходит минута, не больше — и вот уже Дорда лежит в окопе. В окопе — влажная глина, под локтем у Дорды ямка, заряженными глазами сквозь бинокль он смотрит на мост, на келбуйские избы (ставни у них тоже голубые). В синем воздухе — «фииеааоу» — свист, пение, падает — глохнет — бульк: пуля. Все ниже в синем небе ястреб, и вот уже видно: на безруких пле-

чах вправо и влево ворочается острая голова с нацеленными глазами. Глаза нацелены на Дорду, на орловских — сердитых, добродушных, мохнатых, как шмели — на мясо: там, позади окопа, лежит один — только сейчас был я, а теперь — просто мясо, и породистые, зеленобронзовые мухи ползают по руке, по глазам, сосут в уголку губ.

И около Дорды — рябой, животом на глине, добродушно щелкая затвором, ворчит:

— Рази это война? На войне, бывало, кэ-эк хлобыстнет — голова костромская, кишки новгородские — разбирай... Вот это вот так! А это рази война?

Глиняная рубаха у него застегнута неверно — одна петля пропущена — и сквозь видна желтая с шмелиным волосом грудь. И может быть — он, может быть — другой такой же, медленно прожевывая ржаной кус:

— Я тут в прошлом годе менял: за фунт гвоздей два петуха, вот это вот так! Товарищ Дорда, хлеба не хошь?

Но Дорда не слышит: стал на колени, слушает свое сердце — раз, два и три — как звон часов ночью, в бессонницу. Откуда-то: «С Христом все трудящие, пастухи, волхвы и ангелы» — черный шелковый шашмур. И Дорда командует резко, револьверно:

— Ну — через мост! По одному бе-го-о-ом... а!

В синем воздухе: фииеааоу — и коршун. Я, каждый я, знаю: это мне — коршун, мухи, мучительно-тугим кольцом сгибается тело. Потом вместо я — мы, и у всех нас одно, самое главное, единственное в жизни: чтобы через мост — и согнуть, сломать тех — прочь с дороги, с земли — чтобы не мешали. Чему? Да счастью, конечно.

Где-то в коршуньей выси между землею и небом — мост к счастью, доски и рельсы, Дорда, глиняные рубахи. Сквозь железные кружева — секундные куски сини, желтых соломенных крыш, серой речной ряби внизу. И последнее: а ведь падать отсюда вниз — высоко, долго, без конца лететь.



Дорда еще не знает, еще две-три минуты не будет знать, упадет он или нет. А на темной звезде уже знают: сегодня — последнее.

Там ночь. На Земле — день, а там на звезде — ночь, в черном небе — две огромных, зеленовато-ледяных луны над пустынями и скалами, от скал — синие зубчатые тени. Тысячелетняя тишина, лу́ны все выше, и вот внизу уже тускло поблескивает стекло стен, галерей, лестниц, куполов, зал — все зеленоватое, прозрачное — из замороженного света двух лун. Тишина.

Лунный свет все ярче, и как во сне, когда все сразу — вырезанно, мгновенно, четко — как во сне: четверо. У колонны один... нет: одна, высокая, неподвижно, мраморно ждет; только что поднята плита — еще покачивается цепь над люком, и двое лежат на полу, вцепившись в края люка так, что побелели ногти; в стороне стоит мальчик — глубокие слепые впадины глаз, слушающая голова — набок, по-птичьи.

И сквозь стиснутые зубы — трудный шепот, но каждое слово отчетливо — как во сне, когда я живу внутри, в каждом.

Шёпот у колонны (женщина, высокая, сдвинуты брови, глубокая расселина между бровей):

— Ну, что же — теперь поверили мне?

Шёпот над люком (двое мужчина и другая женщина, губы дрожат):

— Да... (громче, отчаянно): Нет! Последняя? Нет!

Последняя бутыль воздуха. Здесь, на звезде, воздуха уже давно нет, он — как драгоценнейшее голубое вино — в стеклянных бутылях, веками. И вот последняя бутыль, и четверо последних — племя, нация, народ. Одна, высокая — она стоит сейчас у колонны, и у ней сдвинуты болью брови — когда-то была мать всем троим. Когда это было — сто или тысячу кругов назад — это все равно: теперь — последний круг, и мужчина уже не сын ей, а муж, и другая женщина — не дочь, а другая женщина.

Ярче ледяной свет, и сейчас во всем мире только одно: поднятая вверх рука и чуть поблескивающая голубая бутыль, пальцы сжимают ее так, что побелели ногти... не пролить ни одной капли, каждая капля — минута моей жизни, я — мужчина, я — силен, мне — жить. Вытянув шею, мальчик щупает пустоту, спотыкается, вцепился мне в руку... прочь, урод!

Но там, у колонны, сдвинуты брови, оттуда — один удар глазами — как плетью, мужчина, спрятавшись в исподлобье, дает глотнуть слепому. Потом — три, с закрытыми глазами, запрокинутых головы — впивают, впитывают, дышат, и розовеют мраморы, звенят сердца — жить! жить!

Без одежд — как статуи. У одной женщины, младшей, когда она пьет, под мышкой видны расплавленные медные волосы. Быть может, случайно мужчина прикасается плечом к ее плечу — нет, не случайно: это уже было и раньше, но теперь, когда все равно и ничего не страшно — теперь он прижимается крепче, еще крепче — и из тела в тело улыбка, улыбаются плечи, колени, бедра, груди, губы, и нет завтра, ничего нет — только сейчас.

Старшая, Мать — смотрит; все темнее, все глубже у ней расселина между бровей. Подошла, в ладонях сжимает лицо его, мужа, насильно входит в его глаза — по скользким ступеням вниз, на самое дно. Там, на дне, она видит . . .

Пусть: только в последний раз впитать в себя это лицо, стиснуть так, чтобы на розовом — белые следы пальцев. И потом ее слова — обыкновенные, простые, но каждое нужно вырвать из себя с мясом:

— Я . . . я останусь здесь. Вы вдвоем принесете воды. Идите.

Ушли. Она стоит у колонны, одна, мраморная, мрамор от ног подымается все выше. Закрытыми глазами она видит то, что теперь происходит внизу, где колодец. Там чаши поставлены на пол, мужчина касается рукой чуть жестких медных волос женщины, проводит по ее груди, по коленям — на одном колене у нее маленький белый шрам: ты помнишь? — ты упала, была кровь . . . ты хочешь — сейчас?

Лунный полдень. Тяжелые ледяные глыбы света. Мальчик неподвижно, по-птичьи, слепыми глазами смотрит вверх, зовет Мать: воды! Но она не слышит, потому что дверь открылась — и входят те двое. У женщины — губы влажны, на одном колене белый шрам, и выше, на ноге — красная полоса: след крови. Они без одежд, как статуи, все голо, просто, последне.

Взявши за руку слепого, Мать медленно ступает — им навстречу, медленная, мраморная, как судьба:

— Теперь — пора. За мной, не отставайте.

— Куда?

— Я знаю. Там, в нижних залах, мы еще найдем немного, чтобы дышать. И там...

— Что — там?

Молчит. По лицу у ней — облака: нависшие, литые — в глубокой трещине между бровей, легкие, розовеющие — в последней улыбке.



И — внизу, на Земле, где сейчас — день, где литые, синие, и легкие, алые облака, и летучими косыми парусами весенний дождь, и снова — солнце — тысячи солнц на согнутых солнечной каплей травинках. Если прав Куковеров и все в сто раз быстрее, так это — в тот же самый бесконечный, вихрем несущийся день, и это — недели назад. Еще целые недели жить тому, кто сейчас мясом для ястреба лежит на желтой глине, и еще Rhopalocera не знает, что ему завтра умереть в черную куколку, и не знает Дорда, и в Келбуе мужики еще не арестовали Филимошку, и он даже пока еще просто Филимошка-голяк, а не председатель Филимон Егорыч.

Изба, заткнутые тряпками дыры в дырах окон — и черные дыры выбитых зубов во рту у Филимошки, он пыхает цигаркой, прислонился к косяку, ждет. Там, по дороге, загребая босыми ногами пыль, идет филимошкина баба; на руках у нее ребенок — взяла чужого, у соседки: когда с ребенком на руках, Филимошка ее не бьет. Но нынче он — особенный, нынче и так не бил бы.

— Ну, баба, живо: на сход со мной пойдешь. Бумага из городу получена — и чтоб бабы все тоже. Нынче, брат, строго!

Перед крыльцом съезжей — спины, от ветра вздутые пузырями рубахи, выдубленные солнцем голенища шей, галдеж, гомон. И вдруг на крыльце — батюшки! Филимошка. Ты куда? тебе что?

—Товарищи, тише! Нынче — строго. Время зря терять нечего — секретаря мне выбирайте.

Над спинами, над головами чубарая голова будто поднята на шесте над всеми — тот самый лешачьего роста мужик, и лешачий голос:

— Это, стало быть, к колесу покупай телегу? А председателя — не надо?

Филимошка:

—Председатель — я! — Грудь колесом, одну ногу вперед выставил, стоит, как буква Я.

— А почему же это ты, рвань коричневая?

— А потому сказано в бумаге: беднейшего. А кто бедней меня — ну, выходи? Ну!

Голова на шесте вертится, скребут руки в затылках: по бумаге — оно, будто, действительно, так, потому беднее Филимошки никого нету.

И Филимошка — председатель Филимон Егорыч, он уже не в избе — он в мельниковом с голландскими печами доме, у него весь Келбуй — вот тут, в кулаке — только сок брызжет: за все свои выбитые зубы, за все дыры, за тридцать голодных годов, за все сразу.

Косые паруса дождей, облака, солнце, ночи, дни — или час, секунда. И Духов День: на пороге, в шашмуре, согнув козырьком руку — глядит мать вслед Дорде, а в Келбуе на съезжей —под замком связанный Филимошка, белоголовые ребята липнут носами к окнам, у дверей крепко стоит мохнатый мужик с винтовкой. Фитиль подожжен, искра бежит к пороховой бочке, и Куковерову кажется — он начинен порохом: это страшно, это хорошо, и только надо все скорее, скорее, чтобы в часы втиснуть годы — чтобы все успеть...

На спинах — вздутые ветром пузыри рубах. Лицом ко мне, к вам — на крыльце говорит Куковеров, волосы — пепел, чуть курчавый, а слова... Но главное разве в словах? Если у вас сегодня вдруг ожило и, как живой ребенок, толкнулось сердце — вы бьете в сердце, как в колокол, и в ответ гудит в каждом, и вами создано все: все эти мохнатые, ребячеглазые лица, и врезанная в небо ветка сирени над забором, и литая туча с девичьей розоватой оторочкой, и грудью в тучу — тревожная ласточка.

Сквозь все это, издали — будто он на колокольне, а головы, руки, шеи внизу — Куковеров слышит:

— Правильно твое! Побаловали над нами, будя! Не маленькие!

Солнце — под гору. В дверях позванивают в жестяные стенки дойников струйки молока, коровы опрокидывают дойники, брыкая задней ногой — и будто это-то вот и есть последнее: бабы начинают выть в голос, слезы теплые, молоко теплое. А на крыльце съезжей — мохнатый гул, из рук в руки — берданки, медвежьи двустволки, вынутые из тайников. Как белоголовый мальчишка везет деревянную на катушках лошадь, каждую минуту оглядываясь — не наглядится, так лешачьего роста мужик на веревочке тянет за собой по пыли пулемет. И в ответ восторженному: «Федька-то а? Слушь, это у тебя откуда же?» — хитро прижмуривает глаз:

— А это еще в семнадцатом году — у солдат выменял. За два пуда — шинель и вот это самое в привесок . . .

Когда уже сумерки, все стеклянное, и неслышно, накрест перешвыриваются над улицей летучие мыши — Куковеров входит в палисадник. Там сейчас — почти черные листья сирени и белое до боли платье Тали, ее лица не видно, нагнулась:

— Хотите посмотреть? Я его принесла сюда из лесу . . . нет, здесь он, здесь, ниже.

Он — Rhopalocera, съёженный, неподвижный мир, готовый умереть завтра. И от этого завтра, от того, что было утром в лесу, от чуть слышной дрожи в голосе у Тали — так вдруг настежь у Куковерова сердце, что нечем дышать, и — смешно, нелепо! — на глазах у него слезы, он молча нагибается, щеку трогает чуть прохладная, в росе, гроздь сирени.

Потом Куковеров рядом с Талей в избе, у окна. Сквозь окно — туча, все ближе, ласточка — грудью в тучу. На столе самовар, пахнет смородиновым чаем. Хозяйка, Бараниха, у двери — сейчас уйдет. И может быть, жутко, что она уйдет, и тогда останутся вдвоем, может быть, чтобы задержать ее — говорит Таля:

— Нет, постой, а ты еще расскажи, как тебя тогда Филимошка-то . . . Ну?

—Ох, ты, мой дитенок приятный! Да ты не забыла, а? Ну, как же: пришел кур отбирать — такое тут меня взяло! «Ах, ты, говорю, Мать Пресвятая» . . . и пошла его чесать. А он обиделся: «Лишаю, говорит, тебя голосу на

три дня — чтобы три дня у меня пикнуть не смела!» И что же бы ты думал: ведь три дня как немая ходила — вот стервец какой! Ну — пейте с Богом, пейте...

Хлопнула дверью — и вдвоем, и уже нельзя смеяться, все — тончайше-стеклянное, и если хоть слово... Где-то на улице — за тысячи верст голос: «Ва-си-лей! Ва-силей!» — и от этого еще стеклянней, и оба знают, что сейчас — —

Таля:

— У вас папироса... У вас — никогда спичек... хотите, я вам...

Но встать, чтобы пойти принести спичек, она не может, остается сидеть. И будто вот это и есть последнее, через край — больше нет сил. Глотая воздух ступенями, кусками, Куковеров берет в свои ладони ее лицо — мир тихонько, блаженно кружится, покачивается, и в нем навсегда отпечатаны девичьи губы, чуть холодные, как сирень в сумерках.

И тотчас же — стук в окошко, приплюснутый к стеклу нос:

— Эй, Иваныч, Куковеров — ты тут?

И когда окно открыто, слышен с чуть приметным веселым ознобом голос:

— Ну, брат, пошла потеха: советские на нас едут. Пойдем.

***

Мост из синего неба и стали; свист: фииеаоуу. И еще. Чок — в железо, и мягко — в мясо. Мешком человек присел на низкие перильца моста, мчатся мимо, человек кричит им глазами: «Это же я, это я!» — они мчатся. Не спеша — человек навзничь и головой вниз. Лететь долго, и, может быть, еще как-нибудь... может быть, нужно только вот так расправить крыльями руки — —

Всплеск, брызги, радуга на секунду.

У Дорды: «Это — не я, это — еще не я. Надо скорее!»

Но мост — длиною в целую жизнь, в пятьдесят лет, сжатых в страшно тугие секунды, и навстречу стрекот пулемета — оттуда, с келбуйской стороны. Остановиться сейчас на мосту — так же, как застопорить смаху стоверстный поезд. И все же Дорда останавливается. Он со

злостью говорит себе: «Ага, ты — так: „Это не я"... С-сволочь!» — останавливает себя смаху, стоит, стиснув зубы, мчатся мимо. Чок! Еще... Вон — тот рябой, в пыху, рот разинут — может быть, кричит — да, кричит Дорде:

— Что? Ай чмокнула? Нет?

Потная, рябая, мохнатая улыбка. Заряженный ею Дорда опять бежит, и вдруг почему-то от рябого вспоминается мать: руку козырьком к глазам, на пороге (это на миг). Потом несущиеся синие куски — небо сквозь решетку моста. Так уже было однажды — небо и решетка... когда? И как мать — на одну тугую секунду — отчетливо: камера, свод, окно, Дорда на табуретке у окна стоит вместе с другим — голова у этого другого седая, пепел — и от этого Дорде еще больше...

Рев: «Ур-ра-а!» — конец моста, все исчезает, как на экране, когда зажжен свет — и только самое главное: согнуть, сломить тех. Поперек какое-то бревно — через бревно, ур-ра! — как бревно, плашмя глиняная рубаха, с нелепой медленностью, прикрывающая затылок руками — через нее, ура! — и вниз по щебяной насыпи — градом, таранами, бревнами, бурей...

Внизу буря вдруг стихает: в кустах бересклета, сирени — неизвестно почему, без команды — ложатся в тени. Дорда минуту стоит, еще весь — пружина, глаза заряжены — сейчас из них посыплются пули в тех, кто лег без команды.

У самых ног — рябой, захватив двумя пальцами край глиняного рукава, вытирает лоб; снизу вверх — потная, рябая, с лукавинкой, улыбка. «За фунт гвоздей — два петуха», — это твердо, заповедь, и тут ничего не поделаешь. Дорда срывает гроздь сирени в росе, быстро обкусывает горькие цветки, в руке — револьвер. Рябой говорит снизу вверх — Дорде:

— Нешто пойти к ним потолковать? Чего так-то, зря? Все-таки — православные. И так у них там, что, взглянем... пригодится... А, товарищ Дорда?

— Хорошо. Все равно. Ну — идите вдвоем. Постойте.

Дорда быстро пишет в записной книжке, буквы — прямые, высокие, острые. Из кармана штанов рябой вынул платок (когда-то белый), в нем хлеб. Ссыпал крошки на руку и горстью — в рот, хлеб — обратно в кар-

ман. Привязывает платок к штыку, сдувая нижней губой надоедно липнущую муху. На листке из записной книжки буквы уже стоят цепью в затылок: «Немедля сдать оружие. Освободить арестованных. Выдать зачинщиков — не менее пяти». Подпись: Дорда.

И вот двое идут, над кустами треплется на ветру платок, когда-то белый; выше темнеет в синеве коршун, ворочая в безруких плечах головой; и еще выше — пока еще невидная, темная над Землею звезда.

***

Там, сквозь голубой лед стекла, как на дне видны какие-то неподвижные фигуры: где-то одиноко на ступенях — будто с разбегу; где-то снопами крепко обнявшихся тел. Спят. Может быть, спят: неизвестно.

И четверо идущих по пустым, гулким, голым залам. Впереди — она, высокая, прямая, мраморная, и со слушающей, по-птичьи наклоненной головой мальчик — дрожит, жмется к ее ноге. Синеледяные своды потолков нависают все ниже, все тяжелее. Она идет, не останавливаясь. Вот теперь, на ходу оглянулась назад, через плечо — и мне видно: брови у нее черно и крепко стиснуты. Она одна знает то, чего не знают трое других, она живет давно, всегда, она знает — и она решила. Что — это еще пока неясно, это как далекий запах гари, как зверь чует над собой черную дырочку дула — и все же от этого никуда не убежать, это с каждым шагом все ближе.

Ступени вниз, на ступенях — человек ничком; правая рука, будто с разбегу, брошена ладонью вверх: спит? На неслышных, пружинных, как у зверя, ногах мужчина крадется... скачок — схватил поперек тела, поднял — и сейчас же бросил. Тело катится вниз по ступеням, ладонь взмахивает и падает с деревянным стуком — раз и еще раз. Это тело холодное, другое, чем я, и ничего не может мне сделать — я, мужчина, это знаю, и всетаки почему-то надо, чтобы скорее опять рядом живое плечо — она, молодая, теплая, недавняя, моя — тогда дрожь стихает, я могу открыть дверь, я открываю, я — мужчина.

За дверью — блеск колес, спиц: машины — круглые, многоногие, коленчатые, как пауки — мертвые тела машин. И такие же неподвижные, холодные человеческие тела, сцепившиеся в тугой судороге, друг на друге — как мужчина и женщина. В руках — стынущие в ледяном свете ножи.

— Я не хочу дальше — мы не хотим, мы не пойдем!

Но она, высокая, впереди, она, кто тысячу кругов назад была Мать — идет не останавливаясь, и я, мужчина, иду покорно за ней. Люди, машины, немые толпы книг, где-то на стенах изображения — лица, золото, красное — тысячелетия с неслышным, оглушительным ревом мчатся сквозь меня — и больше нет сил.

Вечер. Огромные луны пригнулись к полу, тени длинны. Четыре раздавленных последним каменным сном тела. Часы, минуты — все равно.

И — движение: приподнимается на локте младшая из женщин, лицом — сюда, ко мне, к вам. Глаза у ней зеленые и светят в полумраке, как разрезанная веслом морская вода, и, как вода — густые ледяные лучи. Она кладет руку на грудь мужчине, он вздрагивает, отвечает ее глазам: «Да, сейчас», куда-то ползет на четвереньках. Вдруг остановился, голову — в плечи, по-черепашьи. Нет: показалось... Мать спит, спит крепко. Вперед!

Он возвращается. Навстречу зеленым глазам женщины поднята вверх, блестит — бутыль. Две запрокинутых головы, пьют, тела розовеют. Груди у женщины теплы, остры и сладки, она — пахнет, она — шепчет мне. И напряженными мускулами, кожей, губами, телом — я знаю, это так, это справедливо: мне жить — мне и ей, и там есть еще на дне бутыли воздух — это мне, ей и больше никому — больше никто не должен жить.

Взять нож... Но он крепко зажат в чьих-то пальцах и пальцы ледяные — мужчина отдергивает руку. Верхняя губа его (с чуть заметной ложбинкой) дрожит, он оглядывается и видит: за каждым его движением — пристальные зеленые глаза. Зажмурившись, вздрагивая, он вытаскивает из мертвых пальцев нож; с ножом ползет — годы, целую жизнь.

Длинная, птичья, согнутая на бок шея, слепой спит ничком, носом в ладони. Надо целиться вот сюда, справа, где на шее столбиком жила. У мужчины поднята рука,

в руке — стынущее в ледяном свете лезвие ножа, и сейчас на темной звезде — в тысячный, в миллиардный, в последний раз прольется чья-то кровь ради — —

**
*

Над Землей солнце мечется в последней тоске, облака набухают кровью все гуще, течет алыми струйками вниз по золоченым шпицам, по белым стенам, по зеркальным окнам дворцов, и красные капли — здесь, на зелени луговых майских трав.

Луг — перед Келбуем. На лугу — сумрачные срубы овинов, узкие бойницы-окна под самой крышей: это — терема, городище. Такие городища — еще вчера, позавчера древляне выдвигали в зеленую степь навстречу дружинам Олега, сыпали из бойниц стрелы, лили смолу.

И древлянское вече: круг — мохнатый, топоры, винтовки, чья-то голова — над всеми, как на шесте, и голова Куковерова — как пепел, чуть курчавый. Перед Куковеровым — двое оттуда, от советских: один серый, всякий, тысячный, муравей; у другого красная, рябая улыбка, белая тряпочка на штыке, письмо. И подпись на письме Куковерову надо прочитать еще раз — еще — и повернуть вот так, к свету:

— Дорда? Дорда... Погодите-ка: а из себя он какой будет? — по лицу у Куковерова морщины, облака, темные, светлые.

—Он-то? Да таконькой вот — небольшой, гвоздочком. А глаза... ух!

— Бритый? Ну, конечно, ну да: он! и на одну тугую секунду перед Куковеровым: синий кусок неба сквозь решетку, табурет у окна, на табурете...

Над овином, ворочая в безруких плечах головой — коршун, все ниже. Там, внизу, на чуть сбрызнутых красной росой травах лежит человек, еще недавно был человек, я: теперь ничком, будто с разбегу, правая рука брошена ладонью вверх, желтые мозоли. И рядом — я, орловский, с платком на штыке, рябой; и я, келбуйский, с пулеметом, голова на шесте; мы оба смотрим на себя мертвого — там, на травах.

— Да, протри, протри полтинники-то свои, погляди, рябая твоя морда: хорошо, а? Трое ребят у мужика осталось да баба брюхатая. Сук-кины дети!

— Ты вот с своим пулеметом — не сукин сын! Наших-то на мосту сколько сверзли? Туда же — разговаривает! Молчал бы! Мы, по крайности, за нашу власть, да, а вы за кого?

— За вла-асть! Тебя бы носом ткнуть в Филимошку в нашего — как кота в дерьмо, так небось бы...

— А ну — ткни? Я, брат, тебя ткну-у! — с белым платком штык — наперевес, ощетиненными глазами — по кругу, с сердитым шмелиным гудом круг смыкается теснее, ближе, топоры. У древлян был обычай: пригнуть два дерева, к верхушкам привязать за ноги вниз головой — и потом отпустить деревья...

В руках у Куковерова вздрагивает папироса, письмо Дорды... бритый, да-да, конечно. Что же — встретимся, да, вспомним, как вместе...

Зачем-то вынул часы: не глядя, начинает заводить их, все туже, туже — раз! — пружина лопнула, стрелки жужжа кружатся сумасшедше, все быстрее — или, может быть, это внутри, в Куковерове.

Когда часы останавливаются, он прячет их в карман, встает, собирает в горсть все глаза, натягивает их, как вожжи, говорит:

— Так вот — письмо. Предлагают нам сдаться, выдать пятерых, самых главных, и все оружие, арестованного нами освободить. Вот. Решайте, как знаете.

Круг, вече. В середине, в траве — тело ничком. Гудят зеленые мухи, тишина. Потом — голос, из-за спин:

— Толковали: у нас пулемет-пулемет. А они вон мост-то за милую душу пересигнули. Да. Ежели эдак пойдет...

Молчат. Куковеров крепче натягивает вожжи:

— Дело ваше. Ключи от съезжей у кого? У тебя, Сидор? Стало быть, пойди, выпусти Филимошку, пусть идет сюда, и скажи ему...

На дыбы:

— Филимошку? Не-ет! К чертовой матери! В шею их! Чтоб Филимошка опять? Не-ет!

Куковеров вдруг чувствует, что устал, хочется сесть, садится, рвет письмо. Рябой скидывает свой глиняный блин-картуз, сморкается в него, снова надел — крепко, по самые уши:

— Та-ак, значить. Ну, до свиданья вам. А только зря вы, ребята. Там что-то, а все-таки — православные...

От городища по древлянской степи медленно идут двое. Один — всякий, тысячный, муравей; у другого — рябое лицо, на штыке — белая тряпочка. Коршун невысоко: видно, как на безруких плечах вправо и влево ворочает головой. Сквозь бинокль — заряженными глазами Дорда глядит навстречу.

И когда на идущих уже веет из кустов зеленой сыростью, сиренью, махоркой — почти неслышный выстрел из овина, с келбуйской стороны. Рябой, пригнувшись, заячьими петлями — в кусты, а тот — серый, тысячный, муравей — покачавшись немного, валится навзничь, и уже никто никогда не узнает, как было его имя.

Дорда вскакивает — он этого ждал, может быть, даже хотел. Вскакивает, весь заряженный, револьверный, пули из глаз — в одного, в другого, в каждого из тысячных.

— Что? Видели? Может, хотите — еще пошлем?

Чей-то мохнатый кряк; тишина. Так подрубленное дерево, падая, крякнет — корявыми лапами зацепилось, секунда тишины — и вдруг рухнуло. Крик, кулаки, зубы, бороды, мать — залпом. Кусты трещат, с ревом прет стоголовый медведь, рты разинуты — но никто не слышит, кровь на траве — но это все равно: через камень, через бревно, через человека, через себя. Только бы добежать, а там по-двое, по-трое, крепко обнявшись — как мужчина и женщина — как уже было где-то . . .

С длинным птичьим криком кружась падает солнце — и взойдет только завтра, а может быть, и не взойдет. На крыльце съезжей прочно, привинченно стоит Дорда — в кобуре кожаной или даже металлической; револьвер стиснут в руке так, что белеют ногти. Рядом — Филимошка, выпячена грудь, одну ногу вперед: как буква Я. И среди штыков Куковеров, без шляпы, вздрагивает папиросой, улыбкой. Из-за забора напротив — чуть слышный запах сирени.

— Этого — под караул, до рассвета . . . — Дорда глядит куда-то поверх серых, как пепел, и как пепел — чуть курчавых волос. — А этих пятерых — сейчас.

И эти пятеро — на лугу, возле древлянских сумрачных теремов. Зеленое в красных рубцах небо, в тугой судороге изогнувшийся мост, над рекой — пар, в последний раз. Невысоко, неслышно накрест перешвыриваются летучие мыши. И навсегда врезанные в стеклянное небо

пять темных спин, пять голов — одна, как на шесте, над всеми.

— Эй, ты, длинный! На коленки бы стал, что ли. А то — кому в башку, а тебе в сиденье? Неладно выйдет.

Это говорит рябой, в глиняной рубахе, говорит добродушно, просто. Там, впереди — длинный становится на колени. Пять темных фигур, врезанных в зеленое застывшее небо . . .

**
*

От поднятой с ножом руки — синяя, литая тень на шее, на спине у слепого. Быть может, он чувствует холод тени — вздрогнул, приподнялся, поджав ноги, садится спиной ко мне, к вам, голову чуть-чуть на бок, по-птичьи, шарит около себя — где же Мать? — сейчас слепые пальцы коснутся ее плеча, она проснется.

Сверху сверкает нож — вот сюда, справа, где возле уха столбиком жила. И тонкая шея вянет, он, не крикнув, клонится вниз, лицом в колени, согнувшись, сидит, неподвижный; я, мужчина, смотрю на него — широко, кругло.

Теперь вытереть холодные капли пота на лбу — левой рукой: правая забрызгана. И еще только один шаг . . . Дрожа, крепче стиснуть нож, и только один шаг — к той, кто когда-то была Мать, а сейчас . . . а сейчас . . .

Глаза: навстречу — ее глаза. Она лежит, готовая, на спине, не двигаясь, но у нее открыты глаза и нельзя — когда человек человеку в глаза, надо скорее забиться в исподлобье — в самый дальний угол, и оттуда . . .

Две ледяные луны качаются совсем на краю, сейчас оборвутся вниз. У нее, у Матери — губы свиты в тугое кольцо — как умирающий в куколку Rhopalocera. Она, лежа, запрокидывает голову назад — темная тень вот здесь, в ямке внизу шеи. Трудный, глухой голос:

— Ну, что же? Вот — вот здесь, вот сюда! — она показывает рукой на свою шею.

Нож звенит на пол. Тогда она подымается, мраморно, медленно. Тень от нее растет все огромней, переламывается на стене — в купол — еще выше. Она смотрит издалека, сверху, на застывшие в последнем взмахе машины, на неподвижные, когда-то убившие друг друга

тела, на это, тоненькое, неподвижно уткнувшееся лицом в колени — оно уже сливается с другими, с тысячами других, чуть темнея на зеленоватом ледяном небе.

Она подходит к мальчику, приподнимает его голову, целует еще теплый рот, голова у него опять падает на колени. И подходит к другому, к мужчине: у него дрожат скулы, ноздри, верхняя губа с чуть заметной ложбинкой, он — человек. Так же подняла бы его голову и поцеловала бы эти — еще пока живые и теплые — губы, но только прозодит рукою по его лицу. И теперь скорее, скорее — чтобы хватило сил кончить . . . Если б не быть человеком — если бы не знать жалости к человеку!

Открыта дверь в последний зал. Две пристальных, диких луны, положивших морды на пол. Какой-то огромный с делениями круг на полу. Да, это произойдет здесь.

Она, высокая, вступает в круг. Секунду стоит неподвижно, мраморная, как судьба; теперь нагнулась, и сейчас — —

**
*

Луна — земная, наша, горькая, потому что одна в небе, всегда одна, и некому, не с кем: только через невесомые воздушные льды, через тысячи тысяч верст тянуться к таким же одиноким на земле и слушать длинные песьи вои.

Таля — в палисаднике, одна, никого. Сейчас под луной почти черны железные листья сирени; ветви сирени согнулись от тяжести цветов: цвести — тяжело, и самое главное — это цвести. Таля сгибается — лицом в холодные цветы, лицо у ней мокрое и мокрая сирень в росе. Там — еще ниже, на железном, чуть согнутом и связанном паутиною листке — окукленное, мертвое тельце Rhopalocera. От этого неподвижного тельца, как от крошечного камня в воде, быстрые, дрожащие круги бегут все шире, все огромней; глаза у Тали стоят, открытые настежь, как двери в доме, где мертвый, и она в первый раз ясно, вся, видит: другое тоже неподвижное тело, согнутые пальцы — один желтый от папиросного дыма. И это немыслимо, невероятно — и что-то надо, что-то надо скорее, больше нельзя стоять так и слушать длинные песьи вои.

В избе. Хозяйка, взгромоздившись на табурет, зажигает перед образом лампадку, ее поднятые вверх руки — в красном вспыхивают, потухают. Самый простой избяной запах — печеного хлеба, но от этого... от этого...

— Тимофевна, милая, я не могу... ну, вот — как же, ну, как же? Вот завтра — трава и солнце, и все кругом возьмут хлеб и будут есть — а он?, а он?

— Что ж, дитенок, живы-здоровы будем — все, Бог даст, помрем. И ты помрешь — ты что же думаешь? А час раньше, час позже — все едино.

Но, может быть, прав Куковеров, одно и то же — минута и год, и иногда час — это вся жизнь. Белая, в вздрагивающем красном свете видна Таля на лавке; глаза стоят все так же — широко распахнутые настежь; руки между колен. Минута, час, год.

Встает, быстро, в лихорадке — перед зеркалом. Тяжелые, согнутые тяжестью цветов ресницы и тень. Вытереть лицо чем-нибудь мокрым — полотенцем, чтобы не видно было следов; теперь пальто...

— Да ты что — ай спятила? Да тебя на улице сейчас зацапают — и поминай как звали!

— А может я и хочу — чтоб сцапали?

Белая под луною пыль. Над забором — черная, острая ветка в небе. От наваленной камнями тишины воют собаки. Знакомое крылечко: столбики с перехватом, на ступенях часовой, винтовка между колен, сидит так же, как вчера сидел тот, келбуйский — и, может быть, он дремлет? Таля делает еще один шаг.

Часовой вскочил, глаза разинуты, как рот — орет ртом, вытаращенными глазами:

— Куды, куды прешь? Кэ-эк вот чучкну по башке прикладом, так... Приказа не знаешь — дома сидеть?

Но в руках у нее ничего нет, чуть пригнула голову, загородилась пустыми руками. Рябое под глиняным картузом лицо — разглаживается, затихло. Не спуская глаз — а вдруг... мало ли, что? — часовой стучит в окошко, темным крестом вырезан переплет рамы в красном свете, и должно быть там сейчас...

Выходит на крыльцо другой в глиняной рубахе — тысячный, муравей, винтовка. Часовой говорит ему:

— Вот что: постой пока тут, а я эту — к начальству представлю.

Собаки, луна, пыль. С выгона — полный, горький ветер, сохнут губы.

— Эх, кобели-то развылись... Скучают... Ты... тебя как зовут-то?

— Наталья.

— Во-от, черт! У меня жена — Наталья, ну, скаж-жи ты, пожалуйста! Эй, эй, под ноги-то гляди: корова наложила — ножки измажешь... Тут у них коровищи — ух! Тут за фунт гвоздей... Места — вообще! Ты что же — соль, что ли, сюда привезла менять, или материю?

— Нет, я тут приехала ребят учить — в училище.

—Господи! Так ты ему — прямо: так и так, ребят, мол, учу. Ничего не будет, право слово. Ты — не бойсь, хоть он и...

— Я не боюсь.

И — дверь открыта, дыхание — стиснутое, сквозь какую-то тончайшую щелочку между зубов. В раме — в колеблющемся круге свечи — навсегда это лицо, заряженные глаза, острия скул и губы: нет губ, нет розовой полосы — нет и не будет никогда слов.

Молча, глазами. Потом вдруг у него разрез рта — не там, а гораздо выше, и верхняя губа очень короткая. Слова:

— Приказ знали?

— Знала.

— Так зачем же?

— Чтоб меня привели к вам.

Свеча, нагорая, трещит, от скул — тени. На столе, на бумагах — револьвер, и два дула — глаза.

— Оружие есть?

Дыхание — сквозь тончайшую щель; стиснутое: «Нет». Он встает из-за стола, на свечке огонь колеблется; минуту — молча. Потом привычно, легко он проводит руками по ее телу, чуть сжимая здесь, на бедрах — где может быть в складках оружие. Тале кажется, что рука у него вздрагивает или это ее дрожь? — у ней сухие губы, и игла сквозь все на один миг: «Это? С ним?» И отвечает себе: «Да, и это, и всё — только бы...»

Не поднимая ресниц, согнутых тяжестью цветов — спотыкаясь , облизывая сухие губы:

— Я — не то... вы напрасно. Я — потому, что у вас... Я знаю: вы хотите его завтра утром. ..

— Кого — его?

— Куковерова. Я — я не могу, чтобы он... И я вам — все, всю себя — что хотите! — я буду вам всю жизнь... Я его люблю, понимаете?

Тишина. Свеча, нагорая, трещит. Теперь на лице у него ясно виден разрез губ, верхняя очень короткая, и в ней легкая дрожь — может быть, тени от свечки.

— Я его — тоже люблю.

Громадные — настежь глаза у Тали:

— Вы?

— Да, я. Мы с ним год сидели вместе в тюрьме. Вдвоем жили. Это не забывается.

— Так, значит, вы... его не...

— Завтра я его расстреляю. Не я — ну, это все равно.

Задыхаясь в нагаре, качается свеча, пол, стены. Тале надо опереться руками о стол, нагнуться ниже глазами в глаза, глаза у нее — крылатые, настежь.

Дорда встает — крепко, весь в кобуре; берет револьвер со стола с бумаг.

— Я сейчас иду к нему. Вы будете ждать меня здесь.

И еще раз его голос — издали, из-за дверей часовому:

— Останешься тут с ней, пока я не вернусь.

Тишина. Фитиль — черным крючком, как ястребиный клюв. Сверху — потолок, тысячепудовый, и дальше — небо, пустыни, льды, темная звезда.



Оцепеневшие в последнем взмахе машины и люди, и немые толпы книг, и века — с неслышным, оглушительным ревом: все это, чтобы в конце выбросить сюда, на голый берег, троих последних людей на звезде.

Голый, пустой зал — только огромный, с какими-то делениями, круг на полу и, пока еще неподвижная, черная стрелка. Это — просто, в этом нет ничего, и все-таки — как зверь, дрожа, чует черную дырочку дула — так и они.

Они двое — сюда лицом. Свет лун — снизу и сзади, их лица в тени, на зеленоватом, застывшем небе вырезаны два темных профиля: мужчина — исподлобья, прижатый к груди подбородок, узлы мускулов пониже пле-

ча; и молодая женщина — острия ресниц, губы, только что сказавшие что-то и еще не закрытые.

Теперь та, старшая, кто тысячу кругов назад была Мать, нагнулась. На стрелке — ее рука, мраморная, и мрамор от руки подымается все выше, и кажется — никогда не сдвинуть с места руки. Брови, зубы, всю себя — еще крепче! — чтобы хрустнуло! Движение; стрелка начинает медленно, со скрипом ползти по кругу.

Это — просто, в этом твое плечо... не бойся, только Прижмись ко мне, чтоб твое плечо... не бойся, только не надо туда смотреть, не надо смотреть. Стрелка ползет со скрипом, вот над какой-то цифрой — да, здесь... остановилась. Это — все.

Она, Мать — стоит, прямая, высокая. По лицу у ней, облака вихрем — обо всем сразу: о мертвом уже мальчике, о них, о себе, о тысячелетиях, об этой — последней —секунде и о том, что произойдет сейчас.

Натягиваясь все больше, тончайший секундный волосок обрывается, где-то внизу огромный, круглый гул. Все вздрагивает; нелепо подпрыгнув и в последний раз сверкнув — проваливаются две луны; в соседнем зале — цепной лязг и звон сорвавшихся машин; сквозь грохот — крик; и внезапная тьма, ночь на темной звезде.



Дорда смотрит в широко, сине раскрытые ему глаза, смотрит, как шевелятся у Куковерова губы, смотрит на его палец - сбоку, около ногтя, желтый, прокуренный табаком. Это — человек, живой человек. И вот знать, именно з н а т ь, что завтра — —

Так: будто бы если Дорда только чуть двинется, вот только карандашом по бумаге, то это случится не завтра, а сейчас, здесь — потому что Куковеров из тончайшего, как папиросная бумага, стекла. И Дорда неподвижен — статуя из темного, кожаного блестящего металла.

— Дай папиросу... — трудный, сквозь сухие губы голос Куковерова.

С папиросой он нагибается над стеклом жестяной лампочки (спичек нет) — красный язык в стекле вспрыгивает вверх, коптит.

— А помнишь, Дорда, как мы с тобой в камере без табаку сидели? Одна папироса — и я хотел, чтобы ты взял, а ты — чтобы я, а потом прибили ее гвоздиком на стене — как память... как...

На платформе — уже пробил третий звонок, и надо скорее — скорее еще о чем-то и еще о чем-то — обрывки. Куковеров курит жадно, на папиросе растет седой, чуть курчавый пепел, в голове у него стрелки кружатся сумасшедше.

— А это: мы с тобой — у окна на табурете, небо — и что-то... Да: трамвайные звонки — и это нам казалось как... как... А сейчас — ты и я... смешно! Я все думал... Вот кружка с водой, жестяная — вот, видишь, тут грязь вверху под рубчиком? Понимаешь — вот я смотрел на нее и думал: она завтра будет совершенно такая же... Там, может быть — совершеннейшая пустота, пустыня, ничего — и, понимаешь, думаю: вдруг увидеть т а м вот эту самую кружку и вот тут на ней грязь — может быть, это такая невероятная радость — такая... Или увидеть: ползет червяк — больше ничего: червяк.

Дорда сидит, крепко подперев голову, рта у него нет, карандашом чертит на бумаге крест — еще больше — не хватает места, надо снять с бумаги револьвер. Но едва касается револьвера — вдруг какая-то мысль. Слышит: раз! два! три! — как часы в бессонницу — сердце. Да, это будет, пожалуй, самое — —

Встал; медленно — к окну; остановился. И спиною — вот где-то тут, между лопатками, хочется даже потрогать это место, там сейчас чуть покалывает — спиною Дорда ясно видит: Куковеров взял оставленный на столе револьвер, теперь поднял. Сквозь окно — небо, пустыни, льды, огромная, синяя звезда, ниже — из крыш чугунной стеной растет туча. Неизвестно почему — на мгновенье: мать на пороге, руку козырьком к глазам... Дорда ждет минуту, еще минуту.

И — ничего. Быстро оборачивается, там Куковеров, нагнувшись над лампой, закуривает новую папиросу. Револьвер лежит на столе, как лежал. В тени, под острой скулой у Дорды вздрагивает какой-то червяк. Дорда идет к столу, берет с бумаги револьвер, на лице — вне-

запно прорезаны красные губы, но не там, а гораздо выше, верхняя губа очень короткая. И слова:

— Ты — идиот, интеллигент! Я тебе это всегда говорил.

— Помню... — улыбка; пепел — седой, чуть курчавый — скоро осыпется, упадет.

— Я бы взял и выстрелил. Это уж будь покоен. Завтра в тебя выстрелю — не я, ну, это все равно.

— Завтра — да. А сейчас ты...

— Довольно, не мели ерунду! Ты, может быть, воображаешь, что я тебе это нарочно подложил? Идиот!

— Ладно. А я, может быть, тебе за эту одну минуту... Слушай: неужели ты не понимаешь, что самое главное...

Сумасшедше кружатся лопнувшие часы, час — секунда. Нет людей, и потому двое — люди, и как после третьего звонка — надо скорее — еще о чем-то и еще о чем-то. На щербатом столе белые трупики папирос, курчавый пепел. У Куковерова морщины возле висков складываются веером, улыбаясь; глаза блестят.

— А знаешь, Дорда? Мне тебя жалко — ну, просто вот... Это, может быть, только сейчас — может быть, завтра я — —

Вдруг — это простое, их обоих, завтра: еще невидное, оно где-то катится сейчас огромной световой волной — все ближе. В тени, под острой скулой у Дорды мечется какой-то червяк. Оба молчат, это кажется очень долго. Потом Дорда говорит тихо, глядя вниз, на карандаш:

— Ко мне приходила твоя... не знаю, кто. Говорила разную... ну, что тебя любит и там — не помню еще что. Неважно. Я, собственно, поэтому.

Дорда смотрит на крест — на бумаге карандашом — и слышит дыхание Куковерова, медленное, тугое, будто весь воздух для него сразу затвердел кусками. Куковеров молчит.

— Ну? Чего же ты молчишь? Ч-черт!

Дорда вскакивает — к окну; там звезды уже нет, все небо — туча, чугун. Опять — к столу, где молчит Куковеров.

— Это, может быть, глупо и нельзя, — но все равно: вот хочешь — она придет сюда, к тебе? Я скажу конвойному. Ну? Хочешь?

Воздух — колючими кусками, слов нет. На лице у Куковерова улыбка, облака — светлые и темные: о том, что это — как день или как . . . — и что это невозможно, нестерпимо. И все-таки кивок головой, чуть заметный: да, хочу.

И когда Дорда встает, чтобы уйти — голос Куковерова, с трудом протиснутый сквозь зубы:

— Оставь мне папирос — у меня нет ни одной. Спасибо. Вообще.

Однажды, давно — последняя папироса была прибита гвоздем на стене. Так было.

* *
*

От Дорды, от Куковерова, от людей, от Земли — железной громыхающей занавесью туч еще закрыто завтра — и закрыта мертвая, вдруг вздрогнувшая звезда. Там — все черное, ночь. Эта ночь — минута, вот уже проступает небо. Но оно не из зеленого льда, какое было над звездою вчера, позавчера: оно вспыхивает красным — как девушка, которая в первый раз увидела, почувствовала — щеки у ней все горячее, и сердце, жужжа кровью, мчится навстречу — чтобы сгореть, сжечь.

Еще одно какое-то деление, волосок и, вместо двух лун, прижавшись носом к стеклу, медленно, огромно подымается небывалая луна: красное, косматое, рябое, жестокое, веселое, равнодушное, любопытное лицо. Прозрачной кровью багровеют стены, красная полоса на груди у младшей женщины — это похоже на трещину в чаше — и красные рубцы у мужчины на плече.

Ноздри у него дрожат — как у зверя, который чует еще далекий, неясный запах и, ощетинившись, пятится. Не сводя глаз с новой страшной луны, — он ступает шаг назад, еще шаг — заслонился ладонью. Вдруг стрелой к двери — скорее отсюда, чтобы не видеть, чтобы — —

Но уже нет двери, она завалена снаружи кусками расколотых стен — глыбы, груды, горы стеклянного льда в красных искрах, назад нельзя, только — вперед. Куда?

Я одна — я, Мать, живу тысячу кругов — я одна знаю, куда. Я слышу, как со свистом, в сто раз быстрее, мы мчимся навстречу Земле, кружась — и ради этого все,

ради этого обречены мною эти двое последних, мужчина и женщина: они еще живы, еще люди.

И я — человек. Если бы не быть человеком, если б... Но вслух нельзя, и я знаю: я сейчас улыбнусь ему — вот! — я улыбнулся.

Обеими руками он крепко держит свою бушующую голову, глаза круглы — как у ребенка, как у зверя. Тихо он говорит ей, Матери:

— Что ты сделала? Что это — там, красное?

— Это — Земля. Я повернула к Земле — чтобы мы... Нет, нет, слушай: там, на Земле — воздух, там — люди, мужчины и женщины, и они все дышат целый день, целую ночь — сколько хотят, и там уже не надо убивать, и там...

Губы у него шевелятся — он повторяет за ней слова, как молитву — на верхней губе у него чуть заметная теплая ложбинка. И уже знать, видеть, как вздернется эта губа в оскаленной последней улыбке, как его зубы...

Вслух:

— И ты... ты будешь дышать — днем, ночью, всегда, сколько хочешь!

Мужчина закрывает глаза — невозможно поверить сразу, сердце стучит; и тотчас открывает, чтобы поверить — чтобы протянуть руки к косматой, прекрасной, страшной Земле — чтобы закричать ей навстречу, как на заре зверь — чтобы в пьяной радости схватить ту, другую женщину, сжать ее грубо, жестоко, нежно.

* * *

Кружась и дрожа, Земля ждет, чтобы ее пронзили до темных недр — чтобы вырвались нетерпеливые бурлящие багровые лавы — чтобы сгореть, сжечь. Дрожа, она закутывает наготу в тучи, льет дождь, обжигающий, как слезы — о том, чтобы это скорее, чтобы это — никогда: это ослепительно, это больно.

С крыши — капли о каменный подоконник, и во всем мире двое — Куковеров и Таля — слышат каждую каплю. Лампочка, деревянный стол, на столе — трупики папирос, согнутые тяжестью цветения ресницы опущены вниз — на Куковерова, он на полу, лицом в теплую долину между талиных колен, где недавно метался червь

Rhopalocera... И в тишине — капли; от капли до капли — века.

Куковеров поднимает лицо, закрытые глаза, улыбку:

— Капли — вы слышите? До чего огромна кажется капля — или, может быть, не то, но вы понимаете? Я знаю: я их буду слышать всегда — всю свою — —

Он хотел сказать: «всю свою жизнь» — и споткнулся. Улыбка белеет, он стоит на коленях молча, потирает лоб вот здесь, над правою бровью — один палец на руке желтый от табаку.

Внутри, в Тале, как живой ребенок, поворачивается сердце с такой болью, что хочется крикнуть и всю себя — что-то, самое невозможное, самое трудное — только, чтобы ему этот час или два...

Куковеров сине, удивленно открывает глаза — потому что вдруг слышит ее смех.

— Слушайте — ну, до чего же я глупая! Ведь я же забыла вам самое главное... Я сейчас с ним говорила — с Дордой, он говорит, что завтра... что вообще вас не... Я не помню... я торопилась — он сказал, что вас перевезут в город — он устроит, чтобы...

Глаза у Куковерова — круглые, как у ребенка — все синее, все шире.

— Но... но он мне — совсем другое — только что... Мы с ним здесь...

— Нет, нет! Потому что я просила, может быть... Я не знаю — он сказал, я же вам говорю!

Папиросу. Спичек нет — красный язык в лампе дрожит и вытягивается вверх. В голове у Куковерова, жужжа, сумасшедше несется, как в часах с лопнувшей пружинкой; выскочившие из клетки слова — друг через друга:

— Да, да, ведь мы когда-то с Дордой вместе... Ему это очень... Вот это вот его папиросы — понимаете? И если... И потом мы бы с вами куда-нибудь... Это очень просто: фамилию можно... Смешно — откуда это? Фамилия была — Пупынин, Пантелей — понимаете? И человек подал прошение, чтобы переменить на «Робеспьер» — Пантелей Робеспьер! Именно, именно: Пантелей Робеспьер!

Тале нужно засмеяться вместе с Куковеровым, потому что если она не засмеется... Одна пустая, страш-

ная, без дыхания секунда, потом смех — кусками, комьями — совершенно сухими, тотчас же рассыпающимися в пыль. Куковеров — опять что-то такое об этом — как они вместе с ней будут... Будут? И больше уже нет сил. Таля кричит:

— Замолчите! Не надо! Я не могу!

Тишина. Капли о камень. Куковеров на коленях, его голова у Тали в руках — вот так, обеими руками, крепко сжать эту голову и не дыша смотреть, еще, еще — чтобы запомнить его на всю жизнь.

В Куковерове навеки — до завтра — отпечатываются чуть холодные, как сирень в сумерках, девичьи губы. И когда он потом целует сквозь шелк, Таля, кружась и дрожа — дрожат и холодеют руки — всю себя, что-то самое немыслимое — быстро расстегивает платье, вынимает левую грудь — так вынула бы ее для ребенка — дает Куковерову:

— Вот... хочешь так?

Капли — за тысячу верст. Горячей щекой губами — Куковеров слышит всю ее — и ее спутанные, соскочившие слова:

— Когда он обыскивал меня — мне показалось... Я подумала, что я могла бы и это — да, могла! Я хочу, чтобы ты — ты... Я хочу, чтобы ты оставил во мне себя, чтобы... Нет-нет-нет, это совсем не потому, что я думаю, что завтра... нет! Я же говорю: он сказал мне — я же говорю! Но разве нужно, чтобы всю жизнь вместе есть и ходить гулять? Ведь самое главное, чтобы... Ну, милый!

Капли о камень, огромные в тишине. И огромно, легко, как Земля — Куковеров вдруг понимает все. И понимает: да, так, это нужно; и понимает: смерти нет.

Идет к двери, прислушивается, накидывает крючок. Запоминается навеки — до завтра: под крючком на дереве полукруг — это прочертил крючок, качаясь часы, годы, века. И еще: окно уже побледнело, черный крест рамы, тучи, какой-то громадный, далекий — круглый гул все ближе.

* * *

Сквозь миллионоверстные воздушные льды, кружась все неистовей, со свистом мчится звезда — чтобы сгореть,

сжечь — все ближе. И там — трое последних. Освещенные новым, красным, последним светом — они, не считая, жадно пьют оставшийся воздух, пьянеют, дышат так, как здесь, на звезде дышали люди давно, тысячи кругов назад. О, один раз в жизни — не думая, без счету — телом, ртом, грудью!

Мужчина и женщина обнялись тесно: двое — одно. И та, старшая, Мать — над ними, над всем. В красное зарево неба врезан ее профиль, брови и губы крепко сжаты, она мраморна, как судьба, чуть согнуты под какой-то тяжестью плечи, стоит, ждет. И вот — пол под ногами вздымается, как живое тело, залитые красным, прорезываются трещины в тысячелетних стенах, звон стеклянных брызг — —

Тишина. В пустынях острые зубчатые тени опрокинутых скал. Зажженные алыми искрами ледяные глыбы стекла, под ними — как сквозь лед на дне — темные груды машин, книг, тел, три мгновенно замерзших, тесно друг к другу, трупа.

В тишине — капли о камень, от капли до капли — века, секунды. В какую-то назначенную секунду — вдруг рушатся тучи вниз, на ослепительно-белом — переплет рамы черным крестом, молнии — столбами, сверху — камни, грохот, огонь.

Из ворочающихся, как медведи, встающих на дыбы изб — выскакивают келбуйские, орловские, и все бегут куда-то, падают в горячие трещины. Земля раскрывает свои недра все шире — еще — всю себя — чтобы зачать, чтобы в багровом свете — новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане — еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы — —

1923.

РУСЬ

Бор — дремучий, кондовый, с берлогами медвежьими, с крепким грибным и смоляным духом, с седыми лохматыми мхами. Видал и железные шеломы княжьих дружин, и куколи скитников старой, настоящей веры, и рваные шапки степановой вольницы, и озябшие султаны наполеоновских французишек. И — мимо, как будто и не было, и снова: синие зимние дни, шорох снеговых ломтей — сверху по сучьям вниз, ядреный морозный треск, дятел долбит; желтые, летние дни, восковые свечки в корявых зеленых руках, прозрачные медовые слезы по закорузлым крепким стволам, кукушки считают годы.

Но вот в духоте вздулись тучи, багровой трещиной расселось небо, капнуло огнем — и закурился вековой бор, а к утру уже кругом гудят красные языки, шип, свист, треск, вой, полнеба в дыму, солнце — в крови еле видно. И что человечки с лопатами, канавками, ведрами? Нету бора, съело огнем: пни, пепел, зола. Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница и бритые арканзасцы будут прикидывать на ладони тяжелые, как золото, зерна; может, вырастет город — звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный — и со всего света, через моря и горы, будут, жужжа, слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уж бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники, с пестрым узорочьем присловий, расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых столетних дедах, о Руси.

Как осташковский Нил-Столбенский-Сидящий, жил в этом бору Кустодиев, и, может быть, как к Нилу, все они приходили к нему — всякая тварь, всякое лохматое зверьё, злое и ласковое, и обо всем он рассказал — на все времена: для нас, кто пять лет — сто лет — назад еще видел всё это своими глазами, и для тех, крылатых,

что через сто лет придут дивиться всему этому, как сказке.

Не Петровским аршином отмеренные проспекты — нет: то Петербург, Россия. А тут — Русь, узкие улички, — вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках, — переулки, тупики, палисадники, заборы, заборы. Замоскворечье с старинными, из дуба резными названьями: с Зацепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой, Бабьегородом; подмосковная Коломна с кремлевскими железными воротами, через какие князь Димитрий, благословясь, вышел на Куликово поле; «Владимиров» Ржев, с князь-Дмитриевской и князь-Федоровской стороной, может и по сей день еще расшибающими друг дружке носы в знаменитых кулачных боях; над зеркальною Волгою — Нижний, с разливанной Макарьевской, с пароходными гонками, с стерлядями, с трактирами; и все поволжские Ярославли, Романовы, Кинешмы, Пучежи — с городским садом, дощатыми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, вкусными — как просфоры, пятиглавыми церквами; и все черноземные Ельцы, Лебедяни — с конскими ярмарками, цыганами, лошадьими маклаками, нумерами для приезжающих, странниками, прозорливцами.

Это — Русь, и тут они водились недавно — тут, как в огороженной Беловежской пуще, они еще водятся: «всех-давишь» — медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, продувные ярославские офени, хитроглазые казанские «князья». И над всеми — красавица, настоящая красавица русская, не какая-нибудь там питерская вертунья-оса, а — как Волга: вальяжная, медленная, широкая, полногрудая, и как на Волге: свернешь от стрежня к берегу, в тень — и, глядь, омут . . .

В городе Кустодиеве (есть даже Каинск — неужто Кустодиева нету?) прогуляйтесь — и увидите такую красавицу, Марфу — Марфу Ивановну. Кто ж родителей ее не знавал: старого мучного рода, кержацких кровей, — жить бы им да жить и по сей день, если бы не пое-

хали масленицей однажды кататься. Лошади были — не лошади: тигры, да и что греха таить — шампанского лошадям для лихости по бутылке подлили в пойло. И угодили сани с седоками и кучером — прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец!

С той поры жила Марфа у тетки Фелицаты, игуменьи — и спела, наливалась, как на ветке пунцовый анис.

Рядом по монастырскому саду из церкви идут: Фелицата — с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Марфа — круглая, крупитчатая, белая. На солнце пчелы гудят, и пахнет — не то медом, не то яблоком, не то Марфой.

— Ну что ж, Марфа — замуж-то, не откладывай. Яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит — расклюет, долго ли до греха!

Была в миру Фелицата, кликали ее Катей, Катюшенькой — и знает, помнит.

Ездят женихи к Марфе — да какие: тузы! Сазыкина взять — богатей первейший, из кустодиевских — Вахрамееву одному уступить. Отец его из Сибири, говорят, во время оно в мороженых осетрах два пуда ассигнаций вывез, и не совсем, будто, тут ладное было — ну, да ведь деньги не меченые. Не речист, правда, Сазыкин и не первой уж молодости и чем-то на Емельяна Пугачева сдает — да зато делец, каких поискать.

Ездит и сам Вахрамеев, градской голова — по другой жене вдовец: будто к Фелицате ездит (еще Катей ее знал), да всё больше с Марфушей шутит. Как расправит свою — уже сивую — бороду, да сядет вот так, ноги расставив, руками в колени упершись, перстнем поблескивая, да пойдет рассказывать — краснобаек у него всегда карманы полны — ну, тут только за бока держись!

А тетка торопит Марфу — чует, недолго уж жить самой:

— Ты, Марфа, — чего тут думать: к такому делу ум — как к балыку сахар. Ты билетики с именами сделай — да вот сюда, к Заступнице, на полочку. Что вынется — тому и быть.

Вахрамеева вынула Марфа — и камень с сердца: тот-то, Сазыкин, темный человек, Бог с ним. А Вахрамеев — веселый, и отца ее знал — будет теперь ей вместо отца.

Как сказала Фелицата Сазыкину, какое от Заступницы вышло решенье — ничего, промолчал Сазыкин, в блюдце с вареньем глядя. Только вытащил из варенья муху — поползла, повизгивая, муха — долго глядел, как ползла.

А наутро узнали: тысячного своего рысака запалил в ту ночь Сазыкин.

И зажила Марфа в Вахрамеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской пожарной каланчой. Как пересаженная яблоня: привезут яблоню из Липецка — из кожинских знаменитых питомников — погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает — и глядишь, привыкла, налилась — и уж снова цветет, пахнет.

Как за особенной какой-нибудь яблоней — Золотым Наливом — ходит Вахрамеев за Марфой. Заложит пару в ковровые сани — из-под копыт метель, ветер — и в лавку: показать «молодцам» молодую жену. Молодцы ковром стелются — ходи по ним, Марфуша. А покажется Вахрамееву, чей-нибудь цыганский уголь-глаз искрой бросит в нее — только поднимет Вехрамеев плеткой правую бровь — и поникнет цыганский глаз.

Ярмарка — на ярмарку с ней. Крещенский мороз, в шубах — голубого снегового меху — деревья, на шестах полощутся флаги; балаганы, лотки, ржаные, расписные, архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на снизке, с музыкой крутится карусель. И, может, не надо Марфе фыркающих белым паром вахрамеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихо загнувшую голову деревянную лошадь — и за кого-то держаться — и чтоб ветром раздувало платье, ледком обжигало колени, а из плеча в плечо — как искра . . .

По субботам — в баню, как ходили родители, деды. Выйдут — пешком, такой был у Вахрамеева обычай — а наискосок, из своего дому, Сазыкин — тоже в баню. Вахрамеев ему через улицу — какие-нибудь свои прибаутки:

— Каково тебя Бог перевертывает? В баню? Ну — смыть с себя художества, намыть хорошества!

Сазыкин молчит, а глаза, как у Пугача, и борода смоляная — Пугачевская.

А в бане уж готов, с сухим паром — свой «Вахрамеевский» номер и к нему особенный, «Вахрамеевский», подъезд, и особенное казанское мыло, и особенные — майской березы — шелковые веники. И там, сбросив с себя шубу, и шали, и платье, там Марфа, атласная, пышная, розовая, белая, круглая — не из морской пены, из жарких банных облаков — с веником банным — выйдет русская Венера, там — крякнет Вахрамеев, мотнет головой, зажмурит глаза — —

И уже ждет, как всегда, у подъезда лихач Пантелей — 15-й № — сизый от мороза курнофеечка — нос, зубы как кипень, веселый разбойничий глаз, — наотлет шапку.

— С малиновым вас паром! Пожалте!

Дома — с картинами, серебряными ендовами, часами, со всякой редкостью под стеклянным колпаком — парадные покои, пристальные синие окна с морозной расцветкой, ступеньки — и приземистая спальня, поблескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то темные, с небывалой тоской на дне, глаза, двухспальный пуховый ковчег.

Так неспешно идет жизнь — и всю жизнь, как крепкий строевой лес, сидят на одном месте, корневищами ушедши глубоко в землю. Дни, вечера, ночи, праздники, будни.

В будни с утра — Вахрамеев у себя в лавке, в рядах. Чайники из трактира и румяные калачи, и от Сазыкина — пятифунтовая банка с икрой. В длиннополых сюртуках, в шубах, бутылками сапоги, волосы по-родительски стрижены «в скобку», «под дубинку» — за чаем поигрывают миллионами, перекидывают пшеницу из Саратова в Питер, из Ростова в Нью-Йорк, и хитро, издали, лисьими кругами — норовят на копейку объехать приятеля, клетчатыми платками вытирают лоб, божатся и клянутся.

— Да он, не побожившись, и сам себе-то не верит! — про этакого божеряку ввернет Вахрамеев — и тот сдался, замолк. Краснословье в торговле — не последнее дело.

Но и за делом Вахрамеев не забудет о Марфе. Глядь — у притолоки стоит перед ней из Вахрамеевской лавки

молодец — с кульком яблоков-крымок, орехов — грецких, американских, кедровых, волошских, фундуков:

— Хозяин вам велел передать.

И мелькает Марфуше искрой цыганский уголь-глаз — и, не подымая ресниц, скажет «спасибо». А потом, забывши про закушенное яблоко, долго глядит в окно на синие тени от дерева — и на тугой груди прошуршал тугой в клеточку шелк — вздохнула.

И зима, зима. От снега — все мягкое: дома — с белыми седыми бровями над окнами; круглый собачий лай; на солнце — розовый дым из труб; где-то вдали — крик мальчишек с салазками. А в праздник, когда загудят колокола во всех сорока церквах — от колокольного гула как бархатом выстланы всё небо и земля. И тут в шубе с соболями, в пестрых нерехтских рукавичках, выйти по синей снеговой целине — так чтобы от каждого шага остались следы на всю жизнь — выйти, встать под косматой от снега колдуньей-березой, глотнуть крепкого воздуха и зарумянятся от мороза — а может и еще от чего — щеки, и еще молодо на душе, и есть, есть что-то такое впереди — ждет, скоро . . .

Пост. Желтым маслом политые колеи. Не по-зимнему крикучие стаи галок в небе. В один жалобный колокол медленно поют пятиглавые Николы, Введенья и Спасы. Старинные, дедовские кушанья: щи со снетками, кисель овсяный — с суслом, с сытой, пироги косые со щучьими телесы, присол из живых щук, огнива белужья в ухе, жаворонки из булочной на горчичном масле. И Пасха, солнце, звон — будто самая кровь звенит весь день.

На Пасху, по обычаю, все Вахрамеевские «молодцы» — к хозяину с поздравленьем, христосоваться с хозяином и хозяйкой. На цыпочках, поскрипывая новыми сапогами, по одному — вытянув трубочкой губы — прикладываются к Марфе, как к двунадесятой иконе, получают из ее рук пунцовое с золотым Х.В. яйцо.

И вдруг один — а может быть только показалось? — один, безбородый и глаза цыганские-уголья, губы сухие — дрожат, губами — на одну самую песчинную секундочку дольше, чем все, и будто не икона ему Марфа — нет, а — —

Сердце . . . нет, не сердце выскочило из рук: алое, как сердце, пасхальное яйцо — и покатилось к чьим-то ногам.

У Вахрамеева — правая бровь плеткой — молодцу:

— Эка, брат, руки-то у тебя — грабли! Чем голову набил?

Одна какая-то ночь — и из скорлупы вышел апрель, первая пыль, тепло. И как зимою ученики по красному флагу на каланче знают, что мороз — двадцать градусов и нету ученья — так тут знают все, что тепло: сундучник Петров — вместе с товаром — вылез из своей лавки на улицу. Расставлены перед дверями узорочно-кованые, писаные розами сундуки, и на табурете, подставив лысую голову солнцу — как подставляют ведро под дождевой жёлоб — сам И. С. Петров с газетой.

— Ну, что новенького? Что вам из города-столицы пишут?

И сундучник — на нос очки и глядя поверх очков — внушительно:

— Да вот в Москве на Трубе кожаного болвана поставили.

— Какого-такого болвана?

— А такого: его, значит, по морде бьют — а он воет, чем ни сильнее бьют — он громче. Для поощрения, значит, атлетической силы и испытания, да.

И так от него двадцать лет все торговые ряды узнают о московских болванах, о кометах и войнах — обо всем, что творится там, далеко, куда бегут, жужжа на ветру, телеграфные провода, куда торопятся, хлопая плицами по воде, пароходы . . .

Пароходы, облака, месяцы, дни, птицы — мимо. А тут жизнь — как на якоре — качается пристанью, и люди — как крепкий строевой лес, глубоко корневищами усевший в землю.

Но ведь говорят старые люди, будто раз в году, когда в мае новый месяц уродится и ночь темна, — раз в году даже всем деревьям, цветам и травам, всем зеленым душам — дозволено ходить, чтобы к утру опять вернуться на место. И на белых, нагих, налитых весенним соком ногах, еще со следами пахучей, сдобной земли — всей толпой бредут они в темную ночь — и такое начинается, что — —

Жара. Дни желтые — тяжелой той желтью, что бывает у яблок, уже спелых и готовых упасть — чуть только качни, погляди, дунь. Из старого Вахрамеевского сада липы и сирень перевесились через забор всей грудью — так в душные вечера, смяв о подоконник пышное тело, выглядывают из окон ярославские, рязанские, замоскворецкие красавицы.

Уже неделя, как все тузы из города укатили на ярмарку. В просторных покоях — Марфа одна. Солнечный квадрат неслышно скользит по кафельной печке — сломался на плинтусе — ползет медленней, по вощеному полу. За обоями в деревянной стене вдруг тихонько затикает что-то — медленней — и замрет: будто завелось в дереве какое-то сердце. И все хочется пить квас со льдом — сохнут губы — или неможется? — или не то: теснит в груди платье. А вечером в спальне — скинет платье, задумается, поплывет в зеркале — и скорее: потушить свечу — потушить запылавшие щеки.

Наутро — под окном казанский «князь», в ватной шапке горшком, лопоухий, глаза вострые — как сквозь замочную скважину.

— Купи, барина, шали шелковые хороши — купи, кавалер любить будет. Ай, хороши! — причмокнет, подкинет шаль на руке, — и ухмыляется, будто сквозь замочную скважину всё подглядел, всё знает.

Опустила Марфа глаза — и рассердилась на себя, что опустила. Вышла на крылечко и сердито купила, что попалось — кружевной носовой платочек. Постояла, поглядела вслед «князю», поглядела на отбившееся от стада облако — вот такие же были когда-то легкие и пухлые девичьи мысли. И уже повернулась домой — вдруг сзади у садового забора шорох, скрип по дощатому тротуару, и из-за угла — цыганский уголь-глаз.

— Марфа Ивановна . . .

Остановилась.

— Марфуша! (— тихо) Марфушенька! (— сухим, как песок, шепотом). Ночью — в сад . . .

. . . Остановилась, чтобы оборвать дерзеца, чтобы сразу охоту отбить. И Бог весть почему — не выговорилось, пересмягли губы. Так, молча, спиною к нему повернувшись, дослушала всё до конца — только шелк шуршал на тугой груди.

А ночью вышла в сад — темною, росною майскою ночью, когда уродился новый месяц и все деревья, травы, цветы — с нагими, белеющими в темноте ногами, налитыми весенним соком — шуршали, шептали, шелестели...

Утро. Из розового золота кресты над синими куполами, розовые камни, оконные стекла, заборы, вода. И всё — как вчера. Не было ничего.

И как всегда — веселый, шутейный, с краснобайками со своими, сундуком, полным гостинцев — приехал домой Вахрамеев. Раскрыл Марфе сундук, вынула гостинцы, поглядела, положила назад, сидит неулыбой.

— Ты что, Марфа? Или муху с квасом невзначай проглотила?

— Так. Сон нынче ночью привиделся.

А был сон в руку. День ли, два ли прошли — а только пообедал Вахрамеев, после обеда лег почивать — да так и не встал. Будто стряпуха за обедом накормила его вместе с сморчками грибом-самоплясом, оттого-де и кончился. Говорили и другое — ну, да мало ли кто что скажет. Одно известно: отошел по-христиански, и последнее, что Марфе сказал: «Не выходи, — говорит, — за Сазыкина. Он мне в Макарьеве муку подмоченную всучил».

Погубила Сазыкина мука: не за Сазыкина вышла молодая Вахрамеевская вдова, а за другого — с угольным цыганским глазом. Был слух: загулял Сазыкин с тоски. Был слух: велел зашить себя пьяный в медвежью шкуру и вышел во двор — во дворе псы цепные спущены — чтобы рвали его псы — чтобы не слышно, как тоска рвет сердце. А потом канул в Сибирь.

Так камень бултыхнет в водяную дремь, всё взбаламутит, круги: вот разбежались — только легкие морщины, как по углам глаз от улыбки — и снова гладь.

Разбежались круги — и опять жизнь мирная, тихая — как бормотанье бьющих о берег струй. За прилавком щелкают счеты, и ловкие руки, мелькая шпулькой, отмеривают аршин за аршином. Опершись о расписной сундук, с газетой, на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник И. С. Петров. Все в белом мечутся половые в трактирах — только как дым за паровозом, вьются следом за ними концы вышитого ручника да кисти от пояса. В конуре своей изограф Акимыч — трактирный

завсегдатай — торопливо малюет на вывеске окорока и колбасы, чтобы в положенный час сесть с графинчиком в положенном уголку — и лить слезы о пропитой жизни.

А вечером — в синих прорезах сорока колоколен — качнутся разом все колокола, и над городом, над рощами, над водой, над полями, над странниками на дорогах, над богачами и пропойцами, над грешными по-человечьи и по-травяному безгрешными — над всеми расстелется колокольный медный бархат, и всё умягчится, затихнет, осядет — как в летний вечер пыль от теплой росы.

МУЧЕНИКИ НАУКИ

1

Начиная с Галилея, все они перечислены в известной книге Г. Тиссандье (изд. Павленкова, СПБ. 1901 г.). Но для наших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, например, нет ни слова о знаменитой француженке г-же Кюри, нет ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Памяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотрительно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный завод. Даже и это, в сущности, было не так еще непоправимо: Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому из честных тружеников завода — и ее биография очистилась бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова, увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным талантом — пускать кольца из табачного дыма.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Сергеевны было причиной того, что третья ее ошибка произошла почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу нагнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через четверть часа в корзинке для грибов лежала эта ее ошибка — пола мужеского, в метрике записан под именем Ростислава.

Из других письменных материалов для истории сохранился также еще один документ, составленный в день отбытия Столпакова-отца на германский фронт. В этот

день кучер Яков Бордюг привел из монастыря всем известную монашку Анну, и полковник Столпаков продиктовал ей:

— Пиши расписку: «Я, нижеподписавшаяся, монашка Анна, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ручательством, что таковой с войны вернется без каких-либо членовреждений и с производством в чин генерала».

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только наполовину: в генералы Столпакова действительно произвели, но через неделю после производства немецкий снаряд снес у Столпакова голову, вследствие чего Столпаков не мог уже пускать табачных колец, а стало быть и жить.

Газету с известием о безголовьи Столпакова с завода привез все тот же кучер Яков Бордюг. Если вы вообразите, что у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачался на своем коне, но все-таки еще держится и геликонным голосом кричит вниз зевакам: «Чего не видали, дураки?» — вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой, когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

— Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!

Яков вышел, и только тогда в тело Александра III вернулась нежная женская душа, Александр III стал монументальной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

— Ростислав, столпачонок мой, единственный...

С тех пор — был только он, единственный, и его собственность. Согласно учению Макса Штирнера и Варвары Столпаковой — его собственностью был весь мир: за него люди где-то там сражались, на него работал столпаковский завод, ради него была монументально построена грудь Варвары Сергеевны — этот мощный волнолом, выдвинутый вперед в бушующее житейское море, для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаковской столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг.

Громыхая стихийными, танкоподобными сапогами, он подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газету.

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что одновременно произошли великие события в истории дома Романовых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романовых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпаковой, а Яков Бордюг — заговорил. Никто до тех пор не слыхал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей, но когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие заголовки и остановилась — Яков Бордюг произнес вдруг речь:

— Ето выходить . . . Ето, стало быть, я теперь вроде . . . ето самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была — в очень сжатой форме — декларация прав человека и гражданина. Как мог ответить на декларацию Александр III? Конечно, только так:

— Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай лошадей — живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался — и пошел запрягать лошадей, как будто все было по-старому. Мы склонны объяснить его поступок действием многолетнего, привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в город Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он в силу того же рефлекса распрег лошадей, засыпал им овса — и вообще остался при лошадях.

В эту ночь сверклосахарные мужики сожгли столпаковский дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что она привезла с собой в чемоданах, и то, что лежало у нее в сейфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобретены сейфы антисейсмической конструкции, как-то: самоварные трубы, ночные туфли, выдолбленные внутри поленья. Поэтому все содержимое сейфа Варвары Сергеевны в октябре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на заранее заготовленные позиции — в мезонине у часовщика Давида Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базарный день — в воскресенье. Вечером он, как каменный гость, прогромыхал по лестнице на мезонин, —

выложил перед Варварой Сергеевной керенки, николаевки, думки — и сказал:

— Ну... благодарим, прощайте.

В ответ — разгневанный императорский бас:

—Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню — самовар пора ставить.

Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остановились: их душевное состояние несколько секунд было неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами — он занимался в течение трех следующих глав.

2

В законе наследственности есть некая обратная пропорциональность: у гениальных родителей дети — человеческая вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ростислава оказался настоящий талант. Это был талант к изливающимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим навстречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математическим катастрофам.

Общественное признание этот талант впервые получил в те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золотых десятки, и надо было это перевести на дензнаки. Бедная морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крыльями-ушами, неслась через астрономические пространства нулей, пока окончательно не закружилась.

— Дайте-ка мне, — сказал Ростислав.

Он нагнул над бумажкой криво заросший черным волосом лоб. Минута — и все было готово: бесконечность была побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

— Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это, наконец, было сказано: профессор. Рукою бедного часовщика был зажжен маяк, осветивший весь

дальнейший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя бога, какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя бы и не с прописной буквы, — в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела к к твердому научно-материалистическому мировоззрению. И Варвара Сергеевна усвоила, что талант составляется из ста двадцати частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла, что пока, до времени, до подвигов более героических, она может служить науке, только снабжая будущего професссора хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материнское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к сахару. На Якове Бордюге была надета стеганая солдатская безрукавка.

— Поди сюда! — вдруг скомандовала Бордюгу Варвара Сергеевна. — Стой . . . Снимай! — она ткнула пальцем в безрукавку. — Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Сергеевны. Зачем все это было — пока никому непонятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря — упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера занимавшаяся маникюром — с любопытством смотрела в окно. Возле окна, на мешках три гражданки спали кооперативно, кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, качаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали чьи-то забытые руки из-под скамьи. Все руки — красные от зари и от холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая безрукавка Бордюга, густо простеганная . . . чем бы вы думали? Гагачьим пухом? Ватой? Нет, сахарным песком. Кроме того, ее материнское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы пока говорить не вправе. Какой-нибудь час — и она дома, сама обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно проехать последнюю станцию . . .

Варвара Сергеевна осторожно запахнула на груди безрукавку — так осторожно, как будто вот сейчас ее бюст вспорхнет и улетит. На скамейке напротив старичок неизвестного пола (бабья куцавейка и борода) понимающе взглянул на бюст, осенил себя крестным знамением и сказал:

— Пронеси, Господи! Подъезжаем...

Погрозив хоботом, мелькнула в окна водокачка. Кооперативные гражданки вскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеевны открыл окно и испуганно ахнул: «Идут!» Под окном на станции запел петух — видимо молодой: он знал только полпетушиной строфы. Но и этой половины было довольно, чтобы Варвара Сергеевна похолодела. Она торопливо скомандовала:

— Закройте окно!

Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам, мешкам, чемоданам, портпледам, баулам: в вагон уже входили они, заградиловцы. Впереди шел веселый, тугощекий парень морковного цвета, сзади — три бабовидных солдата с винтовками на веревочках.

— Ну-ну, граждане, веселей — расстегивайся, распоясывайся! — крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал — и опять сорвался на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только можно было встать и закрыть окно...

Но уже рядом стоял морковный парень и прищурясь глядел на одну из кооперативных гражданок.

— Ты что, тетка, из Киева, что ли — из киевских пещер?

— Нет, что ты, батюшка, я из Ельца.

— А почему же у тебя глава мироточивая?

Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее по шее...

— Ну-ка, снимай, снимай платок! Ну-ка?

Гражданка сняла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе — у гражданки была прическа из сливочного масла в вощеной обертке...

—А у вас? — морковный парень повернулся к Варваре Сергеевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, могучую грудь, как будто еще более могучую, чем всегда. Она молча, императорским жестом, показала на раскрытую ковровую сумку: там были только законные вещества.

— Это все? — парень остановился и острым мышиным глазом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на врага и впустила его в себя, внутрь — как будто внутри ее не было ни сахару, ни...

— Ку-кка-рекк... — опять запнулся начинающий петушиный поэт за окном.

— Да закройте же... — начала Варвара Сергеевна и не успела кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ петуху за окном... запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст: заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой груди...

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда — левого и правого — молодых петушков. Кругом кудахтали от смеха. Госпожа Столпакова была, как послереволюционный Александр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он делает вид, что не знает о ней — но зато знает что-то другое.

Это другое — был сахар: стеганую сахаром безрукавку Варвара Сергеевна все-таки довезла.

3

И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей занялась вся республика — в том числе, конечно, и Варвара Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, меренги, бисквиты.

С корзинкой в руках она воздвигалась на базарной площади, где, понятно, уж всем была известна чудесная история о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось: «Ку-ккаре-ку!» — это человеческие петушки, как зарю, приветствовали Варвару Сергеевну.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось. Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпою, над всеми головами — чью-то одну голову на тончайшей, жердяной шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек. Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

— Вы меня помните? Я — Миша.

Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын бывшего предводителя дворянства — тот самый, какой играл теперь на трубе в ресторане Нарпита. Ростом он

был даже чуть выше Варвары Сергеевны, но это был только человечий каркас, не обтянутый мясом, и когда он двигался в толпе, казалось, что как во времена Марата — добрые патриоты несут эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом — эта трагическая, окровавленная голова — кровь текла из носу и была пролита за Варвару Сергеевну... Варвара Сергеевна, ни секунды не колеблясь, взяла наполеон, отложенный для него, для единственного, для Ростислава и подала Мише: — Вот... не хотите ли?

Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могучего бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны запело — но уже каким-то иным, не петушиным пением... С этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый базар.

Был май, было время, когда все поет: буржуи, кузнечики, пионеры, небо, сирень, члены Исполкома, стрекозы, телеграфные провода, домохозяйки, земля. В мезонине Ростислав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой, Варвара Сергеевна — перед раскрытым окном. За окном в сирени пел соловей, в Нарпите пела труба. Ростислав держал выпускные экзамены во 2-й ступени, — и самый серьезный экзамен начинался для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Варвара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обедне. В самом низу темной лестницы она увидала заткнутый за щеколду букет сирени, а к букету была приколота записка следующего содержания:

— Я к вам — с сиренью, а вы ко мне — с молчанием. Я так не могу больше. Ваш М.»

За обедней Варвара Сергеевна увидела и самого «М.» — Мишу. При выходе из церкви Миша, конечно, оказался рядом с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно прижал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май ...

— Вы... вы чувствуете: мы — вдвоем? — задыхаясь сказал Миша.

— Да, — сказала Варвара Сергеевна.

— И я хочу... чтобы мы... вообще вдвоем навсегда...

Я играю на трубе в Нарпите, так что я могу... Варвара Сергеевна — да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростислава единственного... Нет, уже не единственного! Несокрушимый, казалось, волнолом треснул, рассеялся на две половины, вступивших в смертельную борьбу, и у Варвары Сергеевны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой борьбе.

— Завтра вечером... Приходите... я вам тогда скажу, — ответила, наконец, Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний экзамен — политграмота. И завтра был решительный день для Варвары Сергеевны.

4

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. К обеду он вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он выдержал!

— Студент ты мой! Столпачонок мой, един... — Варвара Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный...

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер и даже допущен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у притолки, он начал приветственную речь:

— Как, знычть, вы... вроде, например, лошадь на ярманке... и ежели благополучно продамши и, знычть, хвост в зубы...

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами. От него пахло стихиями, кентавром, потом.

— Ладно, ладно, спасибо... Иди к себе на кухню... — сморщилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, громыхая, как танк. Ушастой летучей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось трое: Ростислав, Варвара Сергеевна — и тень нависшей над нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она расстегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на свежих, только что вынутых из комода облаках, лежала заря, краснея от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ростислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосился, он крикнул, умирая: «Мама!» Варвара Сергеевна бросилась к нему:

— Что ты? Что с тобой? Ростислав!

Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей газетный лист. Она схватила, обжигаясь, — прочла...

В газете была статья о том, что необходимо, наконец, изменить социальный состав студенчества, о том, что в этом году первый раз прием будет происходить на новых основаниях, о том, что...

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно, как ясен был социальный состав Ростислава. Все для него погибло.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в ресторане Нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг, громыхнул на столе самоваром и стал у притолки. Варвара Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погибло... она молча смотрела...

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!

Тотчас же снаружи, под окном — робкий кашель: это он, Миша, пришел за ответом.

— Да... Да! — отвечая этому кашлю или какой-то своей мысли, сказала Варвара Сергеевна. — Да: только это одно и осталось...

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сергеевны, что такое «это одно», но мы вправе предположить, что Александра III, чистую науку, Мадонну, мать — все в ней сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахнуло пивом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как запах, слово «Варечка». В бюсте у нее запекло, но сейчас же, на полуфразе, оборвалось.

— Миша, я не могу сойти к вам... Миша, если бы вы знали, что произошло! Единственное, что мне теперь осталось... — Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов: — Ведь вы меня... любите? Да? И вы сделаете для меня все?

— Варечка!

— Тогда приходите сюда завтра в десять, и прямо отсюда же пойдем...

— В загс! — крикнул Миша.

— Как вы догадались? — удивилась Варвара Сергеевна.

Казалось бы, догадаться было нетрудно, и скорее удивительно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца женскую душу, где — как буржуазия и пролетариат — рядом живут мать и любовница, заключают временные соглашения против общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто знает, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером и даже — с Яковом Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру подушка ее была мокрой от слез?

5

Ночью шел дождь. День настал свежий, обещающий, как новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна вышла из дому на улицу. Там уже ждал ее Миша, он сиял счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел Морщинкер, а за ним — Яков Бордюг: Миша понял: свидетели для загса. Морщинкер был в сюртуке, на Якове Бордюге был новый синий картуз — он налезал на уши, на глаза, до времени прикрывая таинственность Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы — быть может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы... Это была последняя минута слабости. Затем она выпрямилась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в «розовой гостиной» бывшего земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не было, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат: «Просят отнюдь граждан на столах не разлагаться». И под плакатом сидел человек, в кепке, как судьба — одинаково равнодушный к разложению, к смерти, к любви и к прочим гражданским состояниям.

— Вступаете в брак? — сказал он, закуривая папиросу. — Невеста? — Он взял у Варвары Сергеевны документ, перелистал. — Гм... Ростислав, семнадцати лет... Гм... Ваш сын?

Это было началом генерального сражения. Варвара Сергеевна стояла твердо, незыблемо, как Александр III. Она оглянулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и сказал:

— То есть . . . это — вроде как мой . . .

— Как? — человек за столом даже выронил папиросу.

— Да, — твердо сказала Варвара Сергеевна. — Хотя он и записан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывшего . . . от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет ввиду нового строя и вступления со мною в брак . . .

— Как? — крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.

— . . . и вот эти двое граждан, — Варвара Сергеевна показала на Морщинкера и на Мишу, — подтверждают мои слова.

Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком, Мишина голова. Его посинелые губы еле выговорили:

— Да . . . Подтвер . . . ждаю . . .

— Да, и я говорю то же — да, — подлетел к столу Морщинкер.

Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: родился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно — студент и будущий профессор.

Когда вернулись на мезонин (втроем — Миша туда не пошел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

— Ну, спасибо, Яков. Ты больше не нужен, иди . . . Иди к себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

— Иди же, ставь самовар, — сморщилась Варвара Сергеевна.

Картуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Варвары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, програбил пятерней караковые лохмы и сказал:

— Иди, ставь сама.

Молчание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.

— Ты хто мне теперь, — жана. Ну, так и иди ставь. Слышишь, что я говорю.

Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить самовар.

ИКС

В спектре этого рассказа основные линии — золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень — в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия — по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действия из плана религии в план революции: это — просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотея, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба — в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы перед роеньем.

В тот день (1919, 20/V.) все граждане в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЭПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было «что-то», что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно пользовался теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИКа — так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую

воду и беседовали о головлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма. Здесь — совершенно некстати — дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:

— А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь... штаники сзади... не то чтобы это самое, а вроде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

— Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут — из центра бумага пришла. Только это я вам по секрету...

Когда с двумя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему — конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов — вон там, в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе хранить тайну в душе: призвание поэта — открывать душу для всех. И к утру все от восемнадцати до шестидесяти лет знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, т. е. нечто, прикрывающее наготу Адамов и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев — настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской, непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги — и так далее. Словом прозодежда — это, явно, нечто, подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыльные облака на улице Люксембург, то сквозь чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: «Дьякон... С дьяконом... Где дьякон? Не видали дьякона?» Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок-икс, с на-

живкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было: дьякона надо было искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной. Эта линия пролегает не по Розе Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку, — через минуту мы услышим во дворе розовый Марфин голос: «Кузьма Иваныч, это вы?» — калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает нарисованную на калитке физиономию с злодейскими усами и с подписью внизу: «Быть по сему». Неизвестно, что это значит, но дьякон тотчас вспоминает, что он — бритый: с тех пор как, раскаявшись, он снял усы и бороду — ему постоянно чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершенно неприлично и его надо чем попало прикрыть — это сущая мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит — что же? — значит, она с кем-нибудь... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к улице Розы Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте, возле нежнейшего розового дома, нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку, созерцает усатую физиономию, ждет. Стоит спиной к нам: только темный затылок и уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно — как ручки у самовара.

Вдруг весь Алешка становится ненужным гарниром к собственному правому уху: живет только ухо — глотает шепот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разорвал рукав — и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно — раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех беспощадно нанизанных на веревку ершей, которые вчера вечером болтались в дьяконовой руке перед окном Алешки. В ершовом виде Алешка

простоял ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать рифму (заметьте: рифмой оказалось слово «осечка»). Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и помчался на Розу Люксембург.

Там сейчас подготовлялась катастрофа столкновения. Столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра — красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы — и виден был издалека, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли — к нему, как к магниту, повернулась вся улица Розы Люксембург — к нему прилипли десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом амвоне и с амвона раздавал каждому: «Да, прозодежда . . . Да-да, бумага из центра».

Но один из народа (бас) брякнул:

— Какая там бумага! Ври больше!

— То есть, как это — «ври больше»?

— А так, очень просто.

— Не веришь? Ну, гляди — ну, вот те крест святой, ну? — и, чтобы удержаться наверху, на амвоне, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел — рефлекс другой линии спектра — и (невидимо) грохнул вниз.

Катастрофа была вызвана тем, что из соседнего облака пыли в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная в меховое лицо: Стерлигов из УИКа. И, конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его рукой, другую прижал к сердцу.

— Товарищ Стерлигов . . . Товарищ Стерлигов, простите ради Христ . . . и побагровел еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта цигарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал — и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижимая руку к сердцу, за ним.

Еще пять-десять строк — и глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как раз тут изза угла вывернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

— Осечка! То-есть я... я хочу с вами...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу — непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул цигарку.

— Ну? По какому делу?

— По... по секретному, — шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей — шепот услышали, и он побежал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом — это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от восемнадцати до пятидесяти спасались в подъезды, в подворотни и оттуда глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет — дождь этот одинаково нужен как для хлебов республики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам на влажной земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы Люксембург, — знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе и повести — но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаявшись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИКа. Набранная жирным цицеро булла была расклеена на заборах — и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление — настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так: «Планета Маркс и ее обитатели». Но мне доподлинно известно: то, что в дьяконе произвело переворот и заставило раскаяться — был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих

пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спускалась к реке — искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги — какова сегодня вода? — плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: «Эх, должно быть, крупная играет!» — взглянул... и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы — волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! — ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руку, в зубах — шпилька, зубы — сахарные, голубовато-бледные, на черном шнурочке — зеленый эмалевый крестик между грудей...

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог — по случаю своей наготы; одеваться — белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца — пока Марфа наплавалась, вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с кончиков!), оделась — не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к Евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: «возлюби ближнего своего». Для ближнего — она всегда готова была, по Евангелию, снять с себя последнюю рубашку. «Ах ты, бедняжечка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну, поди, миленький, ко мне — ну поди!» — это она говорила эсеру Перепечко («бедненький, в тюрьме сидел!»), говорила Хаскину из ячейки («бедненький — шейка прямо как у цыпленка!»), говорила телеграфисту Алешке («бедненький, все сидит — пишет!»), говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма — собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

— А я желаю, чтоб ты была моя — и больше никому! Если я тебя... ну вот как... ну не знаю как... понимаешь?

— Ах ты, бедненький мой! Да понимаю же, понимаю! А только что же мне с ними делать, когда они Христом-Богом просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова — и в саду еще горше вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевороты в истории.

Как-то раз вместо хлеба гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босыми ногами по железу — красил в медный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседи ей уж давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке — нечто круглое: может быть — бомба, может быть — отрубленная голова, а может быть — горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) — и вернулась домой. Затем — как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду — дьякон. Он вздохнул раз, другой — выругался:

— Фу ты, ч-черт! И тут краской воняет — никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколота веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе — согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Не удивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться — схватил штаны... Владычица! — не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника — все сиденье красное, и все пóлы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена — то-то оно и пахло!

Дьякон кинулся к шкафу — надеть другие брюки, которые не представляли собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

— Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! — кричала дьяконица. — Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!

Так и пошел — как некогда пророк Елисей — со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катцен-яммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе — сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, на Марфе.

— Ах ты, бедненький! Ну, поди, поди ко мне... Да что это у тебя глаза такие чудны́е?

— Что — глаза! Тут мозги наперекосы пойдут — от всего этого.

Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты — теперь из Маркса — и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа — неужели этого мало?

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919-й). Действие развертывается одновременно на обеих площадках: справа — Стерлигов и телеграфист Алешка, слева — марфист-дьякон и Марфа.

Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике

это видно) произносит, наконец, какое-то слово — у Стерлигова цигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к алешкиной голове — как-будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но несомненно Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь — голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке — явно, любовный диалог. Дьякон начинает его скупо, без жестов — и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там зашита кошка: это — свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром калитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори, кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает губы — так же, как когда говорят ребенку «агу-агунюшки». Это на дьякона уже не действует — мозги у него, явно, пошли наперекосы, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, — видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно, — погоди!» — и уходит с твердым решением (кошка в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится — дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить — как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом — бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком — барышня, из этой особой породы — секретарш (в собачьей вселенной — секретаршами служат, несомненно, болонки).

У Стерлигова сквозь меха на лице — или от волнения — голос глухой:

— Папалаги у себя?

Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:

— Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самим товарищем Папалаги. На столе возле него — тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ее ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги — громадные, черные, острые, греческие — или еще какие усы...

— Ну, гражданин... как вас? ага! — рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер, явно, ночевал на сеннике в сарае.

— Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: острые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше... — Папалаги нажал звонок, в дверях — желатинное лицо.

— Вот что — сегодня вечером на Блинной улице... Впрочем — потом. Пока идите. Вы тоже можете идти (это уж Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

— Черт возьми! — понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдали прозодежду... И дернуло же их там, в Москве, придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтобы реквизировать и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу.

— Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

— Ну, у Перелыгина, так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотней на улице Розы Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта — представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шопотом заволновались:

— Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!

Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок — милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.

Дождь сразу перестал — как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыши что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати до пятидесяти кричал на сцену:

— Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполоборота бросил небрежно — как закурив, бросают спичку:

— Прозодежда.

И от сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:

— Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам — шиш? Граждане, трудящие, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовый враг — пожалуй, даже без «как будто»: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды — волнение. Всем от восемнадцати до пятидесяти по добавочному купону. И выдали спички — один коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти зажужжал еще пуще — как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.

Раскаявшийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван — все прочные д дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных р: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, огрызки, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку — все эти р закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы — где-то за сто верст и в то же время вот тут, рядом: как на карте — кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некой спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый, выбритый дьяконов нос — там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться — надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили — конец! Перекреститься бы — но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене — меховой, похожий на Стерлигова Маркс...

От Стерлигова — как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в уголку — соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели Интернационал — и невозможно, чтоб это все было вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что ей-Богу же — никакого Бога нет, а есть... а есть... Что, ну — что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В огромной зале — за сто верст, на дне — мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушонка за роялью играла миньон, в мешочных рубахах милиционеры пятились миньоном назад, натыкаясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло санитарным вагоном.

Дьякон крикнул:

— Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то, отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с цигаркой:

— Мне товарищу Стерлигову объяснить, что Бога... Мне — по срочному делу: нельзя ли сейчас? — Узнайте.

— Ладно... — и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в три восьмых, пауза, заполненная смесью колокола с Интернационалом (окно открыто). Когда три восьмых прошло, дьякон издали — за сто верст — услышал сквозь дым:

— Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты дошло до дьякона это слово — «задержать». Задержать! Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельным, логически-мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона — и под музыку, пятясь как все, он пошел к двери. Тут набрал, сколько мог, санитарного воздуха — сломя голову вниз по ступеням, на улицу — и побежал.

Как в поезде — столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг кто-то косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад — нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную верею у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым ухом дьякона:

— Выдали!

Кто выдал — все-равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях, крепко — как птичку, которая сейчас улетит — он держал кусок черного хлеба.

— Выдали, — крикнул он, — заместо прозодежды! Я — последний получил, больше нету.

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой! Но Алешка схватил за рукав:

— Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна — на ступенях стоял Сюсин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев — тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюсина:

— Так ты говоришь — хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось. Сюсин упал, на него насели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно — рука Сюсина с зажатым в ней ключом...

Здесь несколько вычеркнутых строк — или, может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментованной на р, как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уж никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И захватив для этого финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свешивалась вниз сирень — сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах — тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно, революционно целовались. От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее — туда, к Марфиному дому, чтобы подстеречь е г о.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень — сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голове — как тогда на реке. Дьякона

обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтобы поднять занавеску, — но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся — и возле Марфиной калитки увидел его. Лица не разобрать — было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская — белой тарелкой — шляпа-канотье.

В кармане — далеко, за сто верст — дьякон трясущимися пальцами нащупал косырь. Потом: нет, пусть он залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит, она ждет...

Дьякон немного помедлил — как, крутясь, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер его зачем-то полой — и, перескочив через забор в сад, сквозь мокрую, хлещущую сирень, бомбой пролетел к скамейке, чтобы одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты мирным революционным делом — готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, арестованных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешеней: на скамейке дьякон никого не нашел — и ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутясь, и увидел: в лиловых майских чернилах белела — быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму — вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона — это теперь осветилось в темноте совершенно ясно. Бежать — куда глаза глядят!

Дьякон несся по Блинной — огромный — и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он — крошечный, с булавочную головку, стоял посередине дороги и смотрел, как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот — огромный — дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры... ну да: вот теперь пятится как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое — дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло — как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыханье, третий звон на кладбище, выстрелы. И, конечно, немыслимо, чтобы один человек сразу же слышал все это и видел звезды, и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дыру в стене — и ахнул: этот в канотье — раздвоился и теперь уже двойной,в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перелыгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл о н — споткнулся — отстал.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища — оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие капли со лба лезли в глаза, — дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный запыхавшийся месяц, дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: «Доктор И. И. Феноменов. Прием от 10 до 2». Раньше дощечка эта висела на дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище — дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с головой у него что-то неладное, надо бы поговорить с доктором — решил ждать, когда начнется прием у Феноменова.

Но дождаться не пришлось: над оградой кладбища опять показался он, в белом канотье. И он размножался с ужасающей быстротой: он был уже не раздвоенный, а распятеренный — в пяти канотье. Дьякон понял, что это — конец, деваться некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

— Фамилия?

— Индикоплев, — ответил дьякон.

— Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст — дьякон знал: нельзя, чтобы родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

— Родителей не... не было.

Папалаги — как рога — наставил на него страшные черные усы:

— Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона прокололо. Значит, уже все известно — тогда все равно.

— Я сознаюсь, — сказал он. — Я перекрестился. Хотя я и отрекся, но перекрестился публично, я сознаюсь.

Папалаги обернулся и кому-то в угол:

— Что он — сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! — Папалаги нажал кнопку.

И тогда вошел он — неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:

— Он самый... пять шляп — эти самые... Пожалуйста, не надо. Ради Христа... то есть — нет, не ради!

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворялся сумасшедшим:

— Увести его в десятый — и сами ко мне сейчас же!

Когда дьякона увели, и затем в кабинете выстроились все пятеро во франтовских канотье, — Папалаги закричал:

— Что это за маскарад такой, что за шляпы, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках.

— Это, видите ли, товарищ Папалаги... это, согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

— Сейчас чтобы снять! Ну, слыхали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно кончился и рассказ, потому что не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

1926

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОВАРИЩУ ЧУРЫГИНУ

Уважаемые гражда́не — и тоже гражданочки, которые вон там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, гражда́не, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.

Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то у вас все как по-писаному идет, а это неписаное, но как естественно было в нашей деревне Ку́ймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.

Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происходит очень темная. Конечно, и я тогда был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию — ну, теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке — царство ему небесное! — было годов эдак двадцать пять, и кроме того он был ростом очень длинный, однако грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой — это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.

Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то-есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почем зря, особенно одна с копьем, вроде бог — конечно, не наш православный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни с фо-

нариками, а наши бабы стоят и сквозь забор пялятся — и Степка тоже.

Степка — он не то что шаболдник был или что, а так вроде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все ему завидуют сзаду и спереду, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а можно сказать, отбросы общества — или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками псалтырь читала.

Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: «Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?» Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идеть. Ну, тут он меня измутыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались — насилу отдох.

А Степка утром — папаше в ноги: «Отпустите, говорит, меня в монастырь. Я, говорит, не могу, как вы, жить ежедневно». А папаша ему произнес: «Ты, говорит, Степка, практический дурак и боле ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону». Степка начал, было, против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной — он и говорит Степке: «А в писании-то в твоем что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должон. Вот это действительно святые слова». Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.

И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков, как телухи, ревут, и притом мороз.

В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои

первой степени с Георгием и вскорости жди меня обратно. Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей — глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие — не слыхать, только пар из роту клубками ввиду мороза.

Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: «Надо повзгодить, покуда он там с своей бабой произведет свидание». И только он это сказал — егорова баба сама к нам ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голосом: «Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться». Ну, думаем, должно быть, исколотил, — надо вступиться за женское существо. Сполоснули руки, пошли.

Входим, глядим — самовар кипит, на лавке постель изделана, все даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да только как стоит: к сундуку прислонен вроде какой куль овса, и голова у него — наровнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны.

Обомлели мы — стоим безо всяких последствий. Спустя, Егор засмеялся нехорошо — так что у меня даже зубы заныли — и говорит нам: «Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь как надо меня кладите при вашей помощи». И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец, себе вот этот вот прищемил, но даже никакой боли не чую: иду — и все в глазах воображение Егора у сундука.

Вечером в егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. Егор — под иконами на лавке, к стенке прислонен, ли стоит, ли сидит — уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собравшись — все на него ужахаются и молчат, и он молчит, курит, а я возле печки, и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шуршат.

Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спиртной предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только это налил другой, как чей-то мальчонка с улицы вкатился и кричит с удовольствием: «Барин! Барин!» Глядим — а уж барин Тарантаев в две-

рях. Бритый весь, и дух от него роскошный — видать пищу легкую принимает. Кивнул нам эдак — и прямо к Егору: «Ну, говорит, Егор, поздравляю, поздравляю». А Егор лицо ухмыльнул на один бок неприятно и произнес: «А позволю себе: с чем вы меня поздравляете?» Барин ему ответственно говорит: «Ввиду, что ты есть гордость и герой, приявший за отечество». А сам дерюжку приподнял, какою были закрыты у Егора нижние места, и нагнулся, глядит.

Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел — да как по шее его дряпнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху ткнул Егора, который на бок, как куль, а подняться не может, с криком: «Бей его! Бей!» Я в составе других подскочил к барину, сердце у меня, как заячий хвост, трясется, и вот ничего мне не надо — только в глотку ему вцепиться. Барин Тарантаев, красный, рот разинул — сказать, но об наши ненавистные глаза обстрекнулся, как вроде об крапиву, и бегом в дверь.

Под напором этой победы мужики затихли и Егору говорят, что ты, действительно, герой первой степени. Егор, конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму присел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам и шмякнуло. «Но мы, говорит, вскорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет». Тут как это услыхали наши — ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам — крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик. И вот, гражда́не, конечно, про этого Григория Ефимыча я теперь понимаю вполне целосообразно, но тогда у меня от этого известия прямо пульс начался.

Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил барина по шее, то вышел у нас с этим пауком полный разрыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный черкес с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в усадьбу ходили насчет газет и прочего, а те-

перь живем в полном лесу и ничего не знаем, какие события на далеком шаре земли, например, в Петербурге.

И так своевременно происходит бывшее Рождество Христово и масленица, мороз переменный. И на масленице папаша получает из города от Степки внезапное письмо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не было и, можно сказать, один читаемый человек Егор, то к нему народу собралось труба — степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет бога — это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство, и потому ждите — вскорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично.

Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: «А что, кричит, я вам насчет Григория Ефимыча-то говорил? Это его работа, уж это уж будьте спокойны!»

Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет Бога ввиду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако, чуем — это все не зря, и, действительно, ждем. Чего ждем не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим — про Григория Ефимыча.

В течение времени этак происходит день или два, и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная естафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится — от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий, и он говорит: «Это — оно самое, начинается. Теперь глядите за усадьбой невступно и мне докладайте».

На случай часовых поставили меня да еще одного — горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и при том все слыхать, какое на дворе волнение и собаки, и мы трясемся. Спустя, глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота, и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку,

просто кричит: «Але!» И, значит, санки — в одну сторону, а этот конный — обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся, и я — прямо как в виде алкоголя — сам не знаю, чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» — и лошадью мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, говорю, ничего, а вот у вас что?» — «Это, говорит, не касается. Але!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, говорю, насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возражает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой — тю-тю: его, слава Богу, давно пристрелили!» — и при этом скачет в направлении.

Тут я что есть мочи — к Егору. В избе у него полное присутствие наших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал докладать, то мне невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу — все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.

Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в Питере происходит торжество революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, наши отдаленные звуки в полной связи с вами, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошелку с сеном и поставили на розвальни. Спустя, Егор объявил из кошелки, что мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а, может, он еще, Бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как вроде у цепного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.

Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице, и вы лучше без послед-

ствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошелки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели, и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно сломаем.

Тут мы слышим молчание и шепотом, потом заскрипели ворота — открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошелке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит вовсю к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: «Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, говорит, мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах, ты такой-сякой!» — и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, говорит, тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».

Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.

Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками — вот этак вот, вроде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»

Что, как — не знаем, и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрился возле статуи на скамейку, варежкой слезы вытирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили, и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошелки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с Богом — круши весь их роскошный бюджет!»

Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил к статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего трупа и говорит: «Это ни в чем невиноватая драгоценная статуя, и я, может быть, вез ее сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».

И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю вроде знамения и предлагаю обнажить шапки».

Я вас, гражда́не, кратно прошу принять, что как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится — индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошелкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.

А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошолке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!»

Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка — незначительный дымок. И, может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела — и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.

Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклёматься не поспели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, а затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!»

Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака и его пронзила пуля из военной руки Егора. И ещ помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.

В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд, с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает псалтырь, и народ с разными слезами.

Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя, приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч или, вкратце, Гришка — был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.

И в заключение я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь они имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это всё — горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава Богу, существует уж на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, граждáне, в ваши неизвестные ряды.

1926

ЁЛА

1.

Двухнедельные тучи вдруг распороло как ножом, и из прорехи аршинами, саженями полезло синее. К полночи солнце уже било над Оленьим островом вовсю, тяжело, медленно блестел океан, кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали, их становилось все больше, они скликали всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке, побежал вверх, в гору. С последнего поворота, по каменной площадке над собою он увидал десятка два морских сапог с острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у норвежской ёлы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки — прочный, смолёный, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:

— Теперь мы ожидаем, что уж придет. После сторма оно должно приходить.

У Клауса был купленный еще до революции норвежский бот — лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь позлей, пообидней — но не успел. Он увидел то самое, чего все искали: недалеко от берега легкие водяные вихры прокалывали снизу водяную гладь, тотчас же опадали, рядом выскакивали новые — и еще, и еще — вся вода в этом месте как будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым простым голосом сказал:

— Играет...

Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, путано, вперебой, как хмельные. Круглое, бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.

Через минуту всё становище взворошилось, в избах хлопали двери, женщины кричали на оголтело шнырявших ребят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в карбасá. Пришел, наконец, долгожданный час: в губе играла селедка, киты загнали ее сюда из океана, люди и чайки торопились хватить ее — она могла уйти в океан так же быстро, как пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила за Олений остров, надо было догонять ее — догонять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил — как будто спокойно. Торопиться ему было нечего: у него не было ни бота, ни ёлы, он нанимался к другим, кто ходил промышлять на своей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной довоенной коробке от Высоцкого чая у него уже лежало двести рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны. Зимой они ели одну треску, но коробки с деньгами они все-таки ни разу не открыли: как ребенок внутри женщины, в этой коробке лежала их ёла, трудно, медленно зрела, питаясь человечьим соком — и, может быть, теперь уже близок был час, когда она, наконец, родится.

— Если селедка продержится три дня, так тогда пожалуй что...

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.

— Хоть дожить, поглядеть, — сказала она и стиснула, повернула на пальце серебряное кольцо. Кольцо было просторно, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток — из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту всё могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по-коровьи, дыша.

— Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку, — сказал он.

— Сколько? — спросил Цыбин.

— По пятнадцать с пуд.

— Двугривенный — меньше не пойду.

Клаус задышал еще громче, побагровел, потоптался и молча зашагал дальше — к Туюлинской избе. Цыбин не двинулся с места, только под скулами на лице у него проступили крутые узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла крупная: ставкой была цыбинская ёла. Если Сашка Туюлин проспался после вчерашнего, так ясное дело — Клаус пойдет в море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда — прощай ёла...

Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось в небе и с открытым глазом дремало над угольно-черными скалами Оленьего острова. Все было вдесятеро слышнее, чем днем, каждое слово, каждый плеск весла, каждый удар сердца.

— А если Клаус не вернется? — сказала Анна.

Цыбин молчал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и ёлам. На одной посудине, громыхая цепью, уже вытягивали якорь. Клауса не было видно. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы не видеть, как все уходят в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.

— Хм... До зимы, пожалуй, дотянут... — сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже говорил это Анне — и освирепел. — Ну, чего стоишь? Чего пялишься? — закричал на нее.

В дверь просунулось красное, бритое лицо Клауса.

— Согласно. Идем... чшорт! — сказал он сердито.

У Цыбина внутри стало быстро, горячо. «Ёла»... — ёкнуло сердце. Он встал.

— Ну, идем... — сделал шаг — и не вытерпел, заорал вовсю, как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер, облапил Клауса, поднял его.

— Ты что? С ума сошел? — еле продышал Клаус.

Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, говорил, белые зубы сверкали, в шлюпке он ударил веслом так, что весло хряснуло пополам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бот рукою по обшивке:

— Эх, Клаус, посудина у тебя! — и прибавил: — Ну, ничего...

А в этом «ничего» и было всё. Наполовину игра была уже выиграна, оставалось взять еще одну карту: у моря

— и тогда... Тогда — ёла, тогда — новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое — как будто оно никогда не вставало на дыбы, не ревело бешеной, белой пастью, не глотало таких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними — вдруг спрятал селедку, нигде не видно было кипеней на воде, все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца у моторов.

Легкая ёла старика Фомича пробежала под самой кормой у Клаусова бота. Короткий, раскорячивши корневища-ноги, Фомич стоял на носу и кричал Клаусу:

— Черти-и! Шлёпалы-ы! Машинами своими всю селедку распугали! Назад, назад ворочай — она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на голубизне черные, как уголь, взят галс — и паруса уже белые, под лопоухими шляпами-зюйдвестками видны лица, ослепительно сверкает чье-то мокрое весло, вода за кормой мурлычет.

Но едва успели повернуть — как селедка опять запрыгала там, откуда только сейчас все ушли. Так, щурясь, мурлыкая, море играло с раскрасневшимися, охрипшими людьми, пока не закинуло в узкую губу все огромное рыбье стадо. Тут для людей и чаек начался пир — и люди и птицы стали как пьяные от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей пищи.

Ёлы и два моторных бота стали у переймы, в губу с сетями побежало два карбаса. Сети ставили ненадолго и тянули их уже грузными, богатыми, с трудом. Бечевка до крови резала Цыбину руки, но чем больнее было рукам, тем ему было шире, радостней, хотелось петь, орать разбойно, вовсю.

Уже никто не знал — день сейчас или ночь. Солнце все время вертелось в небе, как сумасшедшая круговая овца. Все забыли о том, что нужно есть, спать — только вытирали крепкий, соленый, как морская вода, пот и прикладывались к ведерку с нагретой солнцем водой. То черные, то белые поворачивались под солнцем чайки, кричали по-ребячьи, летели за карбасами, не отставая. Грузные, медленные, похожие на возвращающихся из стада, отягощенных молоком коров, карбаса шли назад

в становище — сдавать селедку в магазин, еще живую валить ее в чаны, засыпать солью.

— Эй, Фомич, у вас сколько? — мокрый, белозубый, пьяный, счастливый кричал Цыбин с берега вниз.

— Пудиков триста е-есть!

— Не допрыгнешь! У нас с Клаусом за пятьсот перевалила-а!

Где-то вдали, — а, может, и тут же, рядом, Цыбину как во сне мелькнула Анна, у ней на пальце было серебряное кольцо, она что-то протягивала в руке — должно быть, хлеб, Цыбин отмахивался: «Некогда, не надо...» И снова греб в карбасе, снова нагибался с сетью, пил теплую воду, вытягивал тяжелый, веселый груз. С соседней шлюпки кричали: «Гляди, ребята, кит, кит!»

Над темной гладью поднялся белый водяной столб, но Цыбин даже не повернул головы — кит для него сейчас был куда меньше селедки.

Селедка продержалась в губе почти четверо суток. Потом вдруг засвежело, подула моряна, тучи пошли все ходчей, в какие-нибудь полчаса запарусили все небо, и селедка прочно села на дно. Только тут все почуяли, что выбились из сил, подняли якоря и по ветру побежали назад, к дому.

Лов был такой, какого не бывало давно. На бот Клауса пало больше тысячи пудов. Клаус отсчитал Цыбину двадцать червонцев. Это была ёла — это была его, Цыбина, ёла!

Цыбин шел домой. В лицо, в глаза било косым холодным дождем, но он ничего не чуял, кроме ёлы, кроме зажатых в левом кармане денег, кроме счастливого, накрывающего с головой сна.

Дома он ничего не стал есть, не раздеваясь, бухнулся на кровать и заснул. Во сне он улыбался. Так во сне улыбаются дети, обнявшись с давно желанным и нынче, наконец, полученным в подарок деревянным конем.

2.

Дождя на другой день уже не было, но всё еще дул полунощник — сверху от Новой Земли. Вода в губе была железного цвета, скалы черные, на скалах сидели тучи.

Цыбин проснулся далеко за полдень, сел на кровати. Он знал, что светит солнце и снаружи, и здесь — везде. Потом увидел за окном толстое ватное небо — и все равно: какое-то великолепное солнце было. Он сейчас же вспомнил какое — и засмеялся. Подошла Анна.

— Ты чего? — спросила она.

Но сказать вслух, словами, было нельзя. Цыбин посадил Анну к себе на колени, взял ее рукою за грудь. Грудь сейчас походила на мешочек с высыпавшимся наполовину зерном, а раньше была полная доверху.

— Ну, ничего, Анка, — сказал Цыбин. — Теперь у нас всё пойдет...

Он наскорях выпил чаю, съел печеных селедок и побежал к Фомичу. Говорили, что когда-то в драке Фомич одним ударом уложил человека наповал и что лучше его моря никто не знает. Лет тысячу назад такой же Фомич, может быть на этих же самых каменных берегах, был главою племени. Теперь — его выбирали в восемнадцатом в Учредительное Собрание, его спрашивали — сдавать налог или нет, идти в море или не идти.

Заросший серым волосом, коротконогий, он сидел у себя в избе без штанов — парусной иглой прилаживал к ним заплату. Вошел Цыбин. Фомич зажмурил правый глаз и остро, по-ястребиному, посмотрел левым.

— Ну, что? — спросил он.

Цыбин конфузливо, не глядя — так же, как он стал бы говорить о любви, рассказал Фомичу, что вот теперь деньги есть и надо скорей заказать ёлу.

— Ёлу, говоришь? — Фомич зажег трубку, помолчал. — Так... А только посудину покупать — это, брат, всё одно как жениться. Это надо не торопясь. Это — в жизни раз. Оно, да!

Он снова стал стегать иглою. Стежки были из суровых ниток, медленные, прочные — и также были слова. Да. Заказать ёлу. А где заказать? На казенном заводе? Лапти им плесть, а не строить! В Архангельском — там могут. Это — оно, да. А только там, как у нас в советском кооперативе — в очередь становись. Год ждать — не меньше. Да...

За окном на скалах каменно сидели тучи, всё небо кругом было серое, состарившееся. Цыбину ясно стало: ждать... Ёла уплывала, становилась всё меньше, чуть

виднелась вдали. Он вздохнул, встал. Руки у него висели так, как будто вместо кулаков были гири.

—Ну, что ж... спасибо, Фомич. Пойду...

Фомич опять одноглазо, по-ястребиному поглядел на Цыбина — и даже не так: в Цыбина, внутрь. Поглядел — и сказал:

— Погоди-ка... — Цыбин остановился. — А если тебе не на заказ, а готовую купить? Слыхал я, одна сейчас продается...

Сердце у Цыбина застучало, как пущенный в ход мотор. Он уже не слышал даже слов, какие говорил Фомич, но и без слов — как понимают друг друга рыбы — понял всё, что надо: ёла стоит в Мурманске, не какая-нибудь, а норвежская, продает ее норвежка с Кильдина, муж у нее недавно помер. Теперь одно: скорей попасть в Мурманск, пока никто не перехватил ёлу — его, Цыбина, ёлу. А пароход на Мурманск, на Вардэ — только через неделю. Перехватят в неделю — как пить дать перехватят!

Фомич порылся в серой, спутанной шерсти на лице — и вспомнил:

— А вот — будто Клаус собирался в Мурманск идти. Поршень у него на моторе... Новый надо.

Через минуту Цыбин был уже у Клауса. Клаус молчал, громко сопел по-коровьи. Потом сказал:

— Когда селедка, ты мне двугривенный пуд, но теперь: «Клаус! Клаус!» Но я не вспоминаю. Ты мне помогаешь грузить, и я иду после два дня, воскресенье.

Грузить? Да Цыбин сейчас хоть сто пудов поднять может! Только бы дожить — только бы скорее дожить. Как пьяный, напинаясь на людей, на вещи, Цыбин ходил эти два дня. И как пьяный кружил из стороны в сторону ветер, погода была непрочная, вот только что было ясно — и вдруг налетел осенний шквал, все темнело. Темнел и Цыбин: а что если к воскресенью ветер разыграется как следует и Клаус побоится идти?

Но за ночь будто всё улеглось. Когда утром в воскресенье Цыбин вышел из дому, небо было чистое, легкое, летнее. И пахло по-летнему: мхами и дымком — где-нибудь горел сухой торф. Цыбин заторопил Анну: «Скорее, скорее...» Анна вынула заветную коробочку из-под Высоцкого чаю и пошла провожать.

Уходили на боте вчетвером: Цыбин, Фомич, Клаус и его младший брат, белоголовый Олаф. Цыбин явился в новой, еще не стиранной рубахе, в черном пиджаке. Фомич поглядел на него, потом обмерил одним глазом небо сверху донизу. Внизу, далеко, лезвием ножа блестел океан. Фомич сказал Цыбину:

— Ты куда — в море идешь или нет? Поди кожан надень и буксы. Вырядился — как к невесте!

Цыбин сбегал к себе и принес желтые непромокаемые штаны и куртку. Переодеваться он не стал, не мог: он ехал всё равно что к невесте — Фомич угадал.

В Мурманск шли по ветру. В подмогу машине Клаус поднял кливер и грот, бот бежал быстро — маленькой черной мошкой. Следом за ботом — следом за Цыбиным — летело солнце. Цыбин, обняв колени, сидел на канате возле якоря-храбрина. На темном, смоленом лице его рот расцветал, зубы блестели, впереди было счастье. Он думал о корпусе, о тросах, о парусах, о конопатке, о пеке, о своей ёле, — о том, о чем не спал ночью три года.

В одиннадцать часов белым, чуть желтоватым кусочком сахара открылся маяк, а к часу они уже входили в Мурманск. Небо, всё еще голубое, летнее, было тут изрезано на куски мачтами и трубами. Цыбин среди маленьких, больших, красных, черных корпусов искал ее — свою ёлу.

— Храбрин, храбрин бросай... ччёрт! — кричал ему Фомич, должно быть, давно уж.

Цыбин очнулся, обеими руками поднял якорь-храбрин и сронил его. В лицо брызнула вода, он утерся.

Долго ждали гепеушника — получить пропуск. Показали бумаги, сошли на берег. Олаф остался на боте, из кубрика торчала его беловолосая голова. Клаус сопел и шел медленно. Фомич тоже: ноги увязали в сухом месиве из песка и пыли. Цыбин стиснул зубы, кулаки, всего себя, — чтобы не бежать.

Идти пришлось порядочно: ёла отыскалась только в Базной гавани. Там, среди бокастых двухмачтовых шкун стояли три ёлы — как тонконогие козы, затесавшиеся в стадо коров. Свою Цыбин угадал сразу же, издали. Борт у нее был выкрашен желтой, радостной краской, и такая же желтая, будто окованная золотом, сверкала верхушка мачты, а палуба была выскоблена, как в избе

пол под праздник. Ёла стояла и ждала, нарядная, как невеста. Губы у Цыбина в одну секунду пересохли, он хотел что-то сказать Фомичу — и не мог.

Фомич быстро окинул ёлу одним левым глазом, потом крикнул:

— Эй, хозяйка!

Из кубрика высунула голову женщина, что-то пролопотала по-норвежски, махнула рукой и опять ушла в кубрик. Цыбин понял: ёла уже продана, опоздал! Он ухватился за мачту, — может быть, чтобы сейчас изломать ее в куски, потом кинуться на хозяйку в кубрике.

— Продана? — хрипло спросил он у Клауса.

— Она говорит, что она идет сделать порядок на кубрике. Она не продавала.

Цыбин засмеялся, изо всей мочи тряхнул мачту, мачта чуть скрипнула.

— Эх! И крепка же! — закричал он.

— Да уж что там: оно... — сказал Фомич.

Хозяйка позвала в кубрик. Она не продала ёлу, она была удивительная. У ней были желтые волосы — как обшивка у ёлы, синие глаза, под глазами темные летние тени.

На столе в кубрике стояла бутылка горькой и закуска. Хозяйка налила. Цыбин не дожидаясь схватил и залпом выпил свой стакан. Хозяйка что-то заговорила посвоему с Клаусом, взглянула на Цыбина, засмеялась. Цыбин засмеялся в ответ и на ее руку положил свою — закорузлую, похожую на лапу какой-то большой птицы. У хозяйки рука была холодная.

— Ну, что же, спроси у ней, сколько она хочет, — сказал он Клаусу.

— Шестьсот, — ответил немного погодя Клаус.

У Цыбина было только четыреста сорок, больше не было. Но все равно он знал, что ёла будет его — должна быть, они ждали друг друга всю жизнь. «Милая ты моя синеглазая — пойми ты!» — глазами сказал он хозяйке и прочнее взял ее руку своей.

— Четыреста у меня только и есть, — вслух сказал он.

— Нэй, нэй! — хозяйка вынула руку и опять залопотала с Клаусом. Клаус объяснил: она говорит, что ёла еще совсем молодая, хорошая, таких здесь нет.

— Ты, Клаус, скажи ей, что она сама молодая, хорошая.

Клаус перевел, хозяйка засмеялась, кивнула Цыбину, налила всем еще. Потом пошли наверх и стали всё осматривать: корпус, лебедку, якоря, такелаж, подняли и спустили парус. Цыбин один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый бимс, каждую доску, он улыбался — один, себе, руки у него тряслись. Еще какая-то тоненькая пленочка, волосочек, минута — и все это будет его!

Он вылез на палубу. Ёлу теперь чуть покачивало... Фомич левым глазом глядел вдаль: там — чуть приметная полоса, будто где-то, еще очень далеко, бежал пароход, а за пароходом длинный дым. Но солнце взодрало вверх, сломя голову летело всё выше, было совсем жарко, летне. Спустились опять в кубрик.

Тут Клаус сказал Цыбину:

— Она говорит теперь пятьсот. Меньше нет.

Цыбин набрал воздуху — будто чтобы кинуться с высокого берега в воду.

— Эх... Ну, все равно: ладно! Только пусть сотню подождет до весны.

— Она думает. Она сейчас скажет — и всё будет конец... — перевел Клаус ответ хозяйки.

Хозяйка сидела молча и водила пальцем по краю своего стакана. Цыбин слышал, как неслось в нем сердце, как громко, по-коровьи, дышал Клаус, потом как будто на палубе чьи-то шаги. Только он хотел подумать — чьи же это, как вдруг увидел: Клаус ковыряет стол концом ножа. Цыбин, стиснув зубы, выхватил у него нож:

—Ну, ты! Поковыряй у меня еще, попробуй!

Хозяйка взглянула, должно быть поняла всё, заулыбалась, хотела что-то сказать. Цыбин знал: она сейчас скажет — согласна. Он весь раскрылся, ухватился за нее глазами и ждал, не дыша.

Но тут наверху, в синем квадрате, где была открыта дверь из кубрика на палубу, показались высокие сапоги. В кубрик спускался кругленький человечек в синей вязаной мурманке. Лицо у него было безволосое, пухлое, похожее на булку — неизвестно, мужик или баба. Он тонким голосом спросил:

— Эта самая, что ли, ёла продается?

— Ю... да... пятьсот рублей, — сказал Клаус и опасливо покосился на Цыбина. Цыбин закуривал папиросу, спичка в пальцах у него дрожала.

— Даю! — сказал человек бабьим, тонким голосом.

Цыбин скрипнул зубами, взглянул на хозяйку. Она молчала. Цыбин поднялся, кинул ножик на стол. Снова взял его и пошел к трапу. Руки у него тяжело висели. Не глядя, он столкнул с дороги человека в синей мурманке и вылез наверх.

На голубом небе, дразня, чуть покачивалась мачта с желтой, золотой верхушкой. И покачивалась вся легкая ёла — будто уже плыла, убегала куда-то от Цыбина. Он сбросил картуз, и обеими лапами огребая лицо как медведь — сел на лебедку. К горлу подступило, ему хотелось зареветь по-медвежьи и по-медвежьи крушить всё и ломать. Из кубрика слышались голоса, там продавали его ёлу. Этого нельзя было стерпеть.

Зажав нож в кармане и глотая что-то соленое, он ринулся вниз, в кубрик. Там сразу все замолчали. Человек в синей мурманке встал из-за стола, попятился.

— Ты что? Ты не очень! — крикнул он Цыбину нарочно громко, чтобы подбодрить себя.

— Уходи... — сказал Цыбин чужим голосом и не глазами, а как-то зубами, оскаленными белыми зубами поглядел в пухлое бабье лицо.

— Сам уходи! Ёла не твоя... — человек в мурманке опять сел.

Если бы он не сказал: «Ёла не твоя» — может ничего и не было. Но тут в Цыбине, внутри, будто прорвало шлюз, всё хлынуло в голову. Он вытащил из кармана кулак с зажатым ножом, замахнулся.

Все закричали. Фомич стиснул его руку, так что захрустело, хозяйка вырвала нож. Человек в мурманке сидел, зажмурив глаза, и растопыренными пальцами прикрывал голову.

Цыбин поднял над ним пустые, тяжелые руки, как будто подумал одну секунду, потом схватил его толстое, вязкое тело, комкая, выволок на палубу, подтащил к борту, с веселой, злой легкостью поднял и бросил на берег. Тяжело, как тесто, тело шлепнулось о камни.

Все выскочили из кубрика и стояли сзади. У хозяйки были громадные глаза. Клаус сопел.

— Ты убиваешь. Нехорошо... — сказал он.

— Что ж, и убью! — крикнул Цыбин.

Тело на берегу заворочалось, поднялось. Человек, прихрамывая, не оглядываясь, пошел.

Цыбин вынул из кармана деньги, трясущимися руками пересчитал их и сунул хозяйке, крепко упираясь в нее глазами. Она стояла, не двигаясь. Если не возьмет, значит...

— Бери! — хрипло сказал Цыбин.

Хозяйка медленно поднимала синие глаза. Глубоко посмотрела в Цыбина, может быть, — увидела всё, взяла деньги. Цыбин глядел, раскрыв рот, будто всё еще не верил. Вдруг схватил норвежку, потянул ее к себе, притиснул и стал целовать ее щеки, губы, волосы.

— Ты... ёла! Ёла — моя! — кричал он. — Моя ёла! Моя!

Потом опять все пили в кубрике, и пил Цыбин. Ему казалось — он всё понимает, что говорит по-норвежски хозяйка. Клаус сказал:

— Она тебе говорит, что теперь ёла твоя, а за ёлу она возьмет тебя.

Норвежка засмеялась и тронула рукой щеку Цыбина. Рука была холодная, как у мертвой. Цыбин отодвинулся, встал. Клаус тоже поднялся.

— Пойдем, пора стащить груз с бота, — сказал он. — Потом надо скоро домой.

Втроем — Клаус, Фомич и Цыбин — пошли к боту. Цыбин обернулся еще раз на свою ёлу и смотрел, упиваясь, жадно глотая ее глазами. На самом носу стояла хозяйка, под белой кофтой у нее торчали широко расставленные, острые груди, она кричала что-то вслед Цыбину. За нею, сзади, было совсем ясное, легкое небо, и только внизу, на уровне ее ног, как дымок от очень далекого еще парохода — чуть приметная полоса.

— Н-да... Оно! — сказал Фомич — неизвестно о чем.

3.

К шести часам уже всё было погружено, Клаусов бот подошел и стал рядом с ёлой, чтобы взять ее на буксир. Хозяйка с узелочком ушла с ёлы на берег. Цыбин — пот-

ный, счастливый, влез в кубрик бота и взял в охапку свою морскую одежду.

— Куда ты? — спросил Фомич. — Одевался бы тут скорее.

— Нет уж, я лучше... у себя на ёле... — сказал Цыбин и сам услышал, как он это сказал: «у себя».

В кубрике на ёле Цыбин быстро натянул желтые проолифленные буксы — тройные на заду и на коленях, влез в шуршащий желтый кожан. Потом вышел наверх, запер дверь, еще раз обежал свою ёлу. Все было готово к походу, трюм закрыт, прочно принайтовлены якоря. На кромке Цыбин заметил: чуть-чуть согнуто железное погудало от руля — должно быть, ёлу однажды хватило штормом.

«Ничего! Эта — всякий шторм выдержит!» — Цыбин влюбленно поглядел на ёлу.

— Давай, давай конец! Не копайся! — кричал с бота Фомич.

Цыбин свернул конец петлею и бросил на бот. На своем веку он перебросал так тысячи концов, но как будто делал это сейчас в первый раз, руки не слушались, на него глядели с бота Фомич, белоголовый Олаф. Олаф поймал и закрепил конец. Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка с узелком стояла на берегу. Цыбин увидел: к ней подбежала собака, понюхала платье, ткнулась носом в руку — и вдруг, поджав хвост, с лаем отбежала в сторону. «Руки холодные»... — вспомнил на секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было совсем другое. Буксирный канат уже вылезал из воды, натягивался, ёла дрогнула всем телом и пошла. Это была его, Цыбина, ёла, и она завтра, и зимою, и всегда — будет его...

— Эй, эй! Впереди гляди! Успеешь еще налюбоваться, — крикнул Фомич.

Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край зюйдвестки, чтобы не лез на глаза. Проходили мимо парохода. Это был норвежец, на нем тарахтела лебедка. Над водою был виден весь его черный борт и большой кусок подводной части, окрашенной красным: пароход сбросил на берег уже почти весь груз и высоко вылез из воды.

«Эх, на ёлу не положили грузу... — подумалось Цыбину. — Высоко она сидит. Нехорошо, если ветер».

Но он знал: ничего теперь не могло, не должно случиться, всё было счастливое, легкое, солнце летело. Ветер переменился и, остро посвистывая в снастях, сейчас дул слева, с полуночи. Что ж, еще лучше: опять будет попутный, поставить паруса и, глядишь, к ночи — уже дома, к ночи ёла будет уже стоять на месте, утром все соберутся на нее глядеть... Эх, хорошо жить!

Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, но Фомич, надвинув кустом брови, хмуро, одноглазо смотрел на север. Цыбин налегнул на погудало: уже сворачивали в океан, огибали берег из огромных круглых камней, они всё выше дыбились друг над другом, будто поднятые бурей и навеки остановившиеся волны.

Когда свернули, Цыбин увидел на севере темную стену. За какой-нибудь час она выросла, казалась теперь уже высотою с человека, и над ней, над самым краем, неслось солнце. Маленькой черной мошкой под солнцем бежал бот. Холодная, зеленая шкура, по которой ползла мошка, еще лоснилась, зверь дремал.

Над крышей мотора высунулось круглое, красное лицо Клауса, он паклей обтирал пот. Фомич подошел к нему и сказал:

— А ведь догонит нас шторм. Прибавь ходу... — Потом поглядел одним глазом на Цыбина и помотал головой: — Хм... Оно!

— Ничего-о! Ла-адно! — крикнул ему Цыбин.

Весь он напружен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от радости и поют. Ёла шла сзади, чуть вспенивая штевнем воду, золотая верхушка ее мачты покачивалась в небе. Всё было удивительное, голубое, прекрасное — и так останется навсегда.

Из короткой трубы над кубриком показался дымок: там Олаф кипятил чайник. Фомич нагнулся к дверям и закричал:

— Эй, ты! Не до чаев теперь! Иди к парусам — живо!

Олаф выскочил, на бегу высморкался, обтер пальцы о свои белые волосы и потянул шкот. Деревянные кольца скользнули вверх по мачте. Паруса надулись грудями, в

воде справа легла черная тень. Каменный берег теперь чуть виднелся сзади легким, осевшим в море облачком. Впереди была вода, пустыня. На севере быстро вырастала, нагибалась всё ближе тяжелая серая стена.

Одну секунду солнце покачалось на краю стены — и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом потухла — и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье.

С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся — хорошо! — и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палубе, подал Цыбину. Ветер смаху ударил в паруса, бот накренился, покатилась и грохнулась в борт бочка, Олаф побежал за ней.

— Куда, куда? Брось . . . после! — кричал, стоя у мачты, Фомич. — Рифы бери на парусах, поворачивайся!

Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на ёлу: она шла ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что все будет хорошо.

Ветер сейчас ударил только один раз, и где-то, сколько видно глазу, всюду мчались по черной воде белые гребешки. Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как перепуганное, почуявшее опасность, стадо. Над крышей опять высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-то по-норвежски сказал брату, Олафу. Цыбину вспомнилась хозяйка, ее холодные руки. Он подумал: «Где она теперь?»

Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях засвистело, сразу стало туго дышать. Цыбин раскрыл рот, соленый ветер ворвался и запел во рту, стало еще веселее, еще отчаянней.

Рядом с мачтой, расставив ноги, стоял Фомич, будто вделанный в палубу так же прочно, как мачта. Он прокричал Цыбину сквозь ветер:

— Эй, ру-уль! Право на бо-орт!

Похоже было, что старик сдрейфил и решил повернуть скорее к берегу — все равно куда, чтобы только где-нибудь переждать шторм.

— Что? Боишься? — крикнул Цыбин, держа руль попрежнему.

— Поговори у меня! Клади руль! — яростно заорал Фомич.

Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, понял, что Фомич знает лучше, он сейчас тот, кто может и имеет право убивать, приказывать. Цыбин послушно, из всех сил налег на погудало руля, бот повернул. Очень близко от себя он увидел Олафа, лицо у мальчика было совсем белое. Он пальцем показывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шевелились, но слов не было. Цыбин оглянулся. Море под ними как-будто провалилось, осело, и другое море катилось на них высокой, как дом, стеной, с черной верхушки сплевывалась белая пена.

Крепко вцепившись пальцами в железо, Цыбин глядел, как водяная стена догоняла, догнала ёлу, ёла рванула буксир, зарылась в воду носом — и тотчас же взлетела наверх. Одно мгновенье она стояла там наверху, Цыбин запрокинул голову, любовался на нее и шепотом кричал ей: «Так, так, милая ты моя, так!» Потом огромная, зеленая, как бутылочное стекло, вода выросла совсем перед глазами. Цыбин зажмурился. Его туго ударило в спину, окатило с головы до ног, палуба под ним пошла кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова Олафа, он выплевывал воду и одной рукой сгребал ее с лица.

Вода кругом шуршала, как тысячи аршин шелка. Бот сейчас был внизу, между двух водяных гор. Здесь казалось тихо, ветер свистел наверху, сплескивая белую пену. Фомич взглянул туда одним глазом, как наседка на коршуна. Было ясно, что, когда бот поднимется на волну, штормом разорвет паруса в клочья или сломает мачту.

— Рони паруса-а! — крикнул он Олафу.

Олаф держался за лебедку, отхватиться от нее и сделать по палубе хоть один шаг — для него было то же самое, что для солдата вылезти из окопа. Но он, как и Цыбин, нутром знал, что сейчас можно умереть, но нельзя не исполнить команду Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он пошел к парусам и помог Фомичу спустить их. В ту же секунду со всех сторон облепил ветер, бот был снова на верху волны. Совсем низко, над головой, с шумом неслось темное, каменное небо.

Волна была длинная, цыбинская ёла и бот шли на одном уровне. Бот шел медленно, ветер его теперь почти

не задевал, но этот же ветер быстро гнал вперед порожнюю, высоко сидевшую над водой ёлу. Буксир ослабел. Будто заигрывая, ёла уже подбежала к корме бота. Сквозь пену Цыбин увидел ее веселые, желтые, будто солнцем покрашенные, бока. «Ах, ты... моя!» — сказал он, радуясь на нее. Она была уже совсем близко и, не останавливаясь, все быстрей неслась к боту, Цыбин глядел на нее.

И вдруг всю его радость как смыло волною: обмякшими ногами, животом, всем телом он внезапно почуял — сейчас случится что-то ужасное. Он не успел понять, что́: все это было в одно быстрое, падающее мгновение. А в следующее — ёла с размаху уже ударила в корму, дерево хряснуло, ёла отскочила.

— Фомич! Фомич! — сквозь свист ветра отчаянно крикнул Цыбин.

Фомич все видел, он был уже здесь, около Цыбина, и тут же очутился Клаус с топором в руке. «Зачем же топор?» — издали, со стороны подумал Цыбин. Клаус вскочил на корму, замахнулся над буксирным канатом. Только тогда Цыбину стало все ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет бросить ёлу — его, Цыбина, ёлу — в океане!

Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор и бешено, тихо сказал ему:

— Если ты только... Я тебя самого... ссволочь!

Клаус попятился, губы у него тряслись, он налетел задом на Фомича — Фомич теперь стоял на месте Цыбина, держа брошенное им погудало руля. Клаус закричал плачущим голосом:

— Фомич, говори ему ты, он должен сейчас рубить, он нас всех пропадет!

Бот уже снова поднимался на огромную, черную волну — и снова ёла, перепрыгивая через белые гребешки, неслась к боту. Фомич стоял, крепко вросши в палубу, губы у него были плотно стиснуты, но сейчас они откроются и скажут. Темно, на дне, Цыбин знал: Фомич — это судья, и то, что он скажет — закон. Похолодевшими пальцами вцепившись в топор, Цыбин ждал.

Сквозь косые, серые веревки дождя ёла виднелась уже совсем близко. С трудом, чуть слышно, Фомич сказал, не глядя на Цыбина:

— Руби . . .

У Цыбина перехватило горло, чтобы не видеть — он зажмурился, поднял топор. И закрытыми глазами тотчас же увидел: серебряное кольцо на руке у Анны, белые водяные вихры от играющей в море селедки, бабье лицо человека в мурманке, хозяйку с желтыми волосами и ёлу, какой она стояла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.

Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, и ничего не видя, хватаясь за что попало, пошел — все равно куда. Там, где позади него остались все — ударили топором еще раз, еще раз. Ёлы больше не было, больше не было ничего.

Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебедки. Через ноги перекатывалась вода, и он видел за бортом круглую, черную воду, так, не понимая, видело бы ее зеркало, если его поставить тут, возле лебедки. Потом, как будто сквозь двойную зимнюю раму, Цыбин услышал: кто-то говорит с ним. Это был Олаф. По лицу его катились крупные слезы, он говорил Цыбину: «Ты не плачь, пожалуйста, не плачь». «Я — ничего . . .» — сказал, а, может быть, только хотел сказать Цыбин.

Олаф встал и, стоя над Цыбиным, вглядела в серый, хлещущий воздух. Он толкнул в плечо Цыбина, глаза у него блестели.

— Гляди, гляди! — крикнул он Цыбину.

Цыбин поднял голову и увидел свою ёлу. Теперь, без буксира, еще легче разрезая воду, она неслась сюда, к Цыбину, она не хотела бросить его, она сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу налились теплым, стали живыми ноги, руки, глаза, он вскочил . . . Ёла тут, она — тут, ему нужно что-то сделать — и опять все будет хорошо.

— Эй, эй! Куда! — услышал Цыбин и потом еще что-то по-норвежски — это, должно быть, звала хозяйка ёлы. Потом сейчас же понял: это — Клаус, он на корме возле Фомича. И успел увидеть еще: Фомич, глядя одним глазом на ёлу, круто поворачивает бот, чтобы ёлу пронесло мимо, — чтобы она не задела.

Все это мгновенно падало одно за другим. Нос ёлы мелькнул за кормой, она обогнала, ее ударило ветром, на

одну секунду она ласково, тесно прижалась к боту. И этой секунды Цыбину было довольно, чтобы прыгнуть туда, к себе, на свою ёлу. Ей как будто это и было нужно: она сейчас же отошла от бота, и Цыбин уже не слышал, как вслед ему кричали Фомич, Клаус и Олаф.

Сквозь косо хлещущий сумрак они еще два раза увидели ёлу. Второй раз она была отделена от них и от всего мира глубокой водяной ямой — Цыбина они уже больше не могли разглядеть.

1928

НАВОДНЕНИЕ

1.

Кругом Васильевского Острова далеким морем лежал мир: там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Ивановича котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмосфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь — донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла всё и дома. Так, снаружи, ничего не изменилось. По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть было ей уже под сорок, была все так же легка, строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Ивановичу ночью — и все-таки было не то. Что «не то» — было еще не ясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер, вода в Неве поднималась.

Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула водомерная трубка, нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, подзванивало, жужжало, пело — будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

К вечеру вернулся домой — все еще было нехорошо. Пообедал, лег отдохнуть. Когда встал, все уже прошло,

позабылось — и только вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ — никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.

Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами — подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в темноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было не то, была какая-то яма.

Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспомнилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень... «Оно самое», — вслух сказал Трофим Иваныч. «Что?» — спросила Софья. «Детей не рожаешь, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое. И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из рассохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно собирался перебить на ней обручи, и все было некогда.

Ночью — должно быть, уже под утро, дверь раскрылась, с размаху грохнула в бочку, Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, навзрыд плача, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала — руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови.

«Ты чего кричишь?» — спросил ее Трофим Иваныч. Софья проснулась. Кровь была и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь.

Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неопрятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, и она ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась — хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет — вдруг окажется, что она . . . Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шепотом ночью окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней — он притворялся, что спит. И когда Софье опять снилось, что она одна, в темноте, бежит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее.

Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими — было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» — это значит столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу.

Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и одна, степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать...» — подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была украдена у нее, у Софьи...

Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх к сердцу, Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», — сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали, она нагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.

С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью — Софья вошла к столяру. Направо от двери, у рукомойника докторша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» — спросила Софья. «До завтра дотянет, — весело сказала докторша. — А там работы нам с вами прибавится». — «Работы... Какой?» — «Какой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас сколько?» — Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилось — она засмеялась. «У меня... нету», — не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.

Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у две-

рей и шептались, потом одна, укрытая теплым платком, сказала: «Ну, что ж, милые, так стоять-то?» — и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.

Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-то к обеду — скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное, и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Пришел Трофим Иваныч. Он стоял возле стола широкий, коротконогий — будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то ведь умер», — сказала Софья. «А-а, умер?» — рассеянно, мимо спросил Трофим Иваныч; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами.

«Нет, не будет, не будет детей!» — на лету, отчаянно крикнуло Софьино сердце. А когда Трофим Иваныч взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И седины, и Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе — все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иваныч, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо . . .» Дальше не могла.

Трофим Иваныч поглядел на нее удивленно, потом сквозь угольную пыль слова прошли в него, внутрь, он начал улыбаться — медленно, так же медленно, как развязывал мешок с хлебом. Когда развязал улыбку до конца, зубы у него заблестели, лицо стало новое, он сказал: «Молодец ты, Софья! Веди ее сюда, хлеба на троих хватит».

В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья, лежа, слушала, как она возилась там на лавке, как потом стала дышать ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо» — и заснула.

2.

Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в колчака». Один — «колчак» — прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий Колчак был тоже расстрелян, конину теперь уже никто не ел, в лавках продавали сахар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще тем же донецким углем, но Трофим Иваныч теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой, и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии.

Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома и дома была Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иваныч заставлял ее читать вслух газету. Ганька читала быстро и бойко, но перевирала по-своему все новые слова: «мольбизация», «главнука». «Как, как?» — переспрашивал Трофим Иваныч, закипая смехом. «Главнука», — спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле тела — и на небе тоже тела. «Какие тела?» — уже еле сдерживаясь, говорил Трофим Иваныч. «Ну, какие? Вот!» — Ганька тыкала себя пальцем в грудь, остревшую под платьем. Больше Трофим Иваныч уже не мог, смех вырывался у него из носа, изо рта, как пар из предохранительных клапанов распираемого давлением котла.

Софья сидела одна, в стороне. Главнаука, небесные тела, Ганька с газетой — все это было ей одинаково непонятное и далекое. Ганька говорила, смеялась только с Трофимом Иванычем, а если оставались вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, разговаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней, но что? Так, уставясь в лицо, смотрят кош-

ки, думая о чем-то своем — и вдруг становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой, кошачьей мысли. Софья набрасывала шугайку, толстый платок и шла куда-нибудь — в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспекта — только бы не оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа, ей было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой с выеденными окнами дом. Софья знала: в нем уже никогда больше не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов.

Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда, она торопилась пройти поскорее, не глядя. На лету, углом одного глаза, как видят птицы, она увидала в пустом окне свет. Она остановилась: не может быть! Вернулась назад, заглянула в дыру окна. Внутри, среди обломков кирпича, горел костер, вокруг него сидело четверо отрепышей-мальчишек. Один, лицом к Софье, черноглазый, должно быть, цыганенок, приплясывал, на голой груди у него прыгал серебряный крестик, зубы блестели.

Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то походил на Трофима Иваныча. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще живая, и еще все может перемениться.

Взволнованная, она вошла в церковь напротив. Она не была здесь с девятьсот восемнадцатого, когда Трофим Иваныч вместе с другими заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшалый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то зима проходила, впереди в темноте зажигали свечи.

Когда Софья вернулась домой, захотелось обо всем рассказать Трофиму Иванычу, но о чем же это — обо всем? Она сейчас уже и сама не знала, и сказала только одно: что была в церкви. Трофим Иваныч засмеялся: «В старую церковь ходишь. Хоть бы к живоцерковцам ходила, у этих Бог все-таки вроде с партийным билетом». Он подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды — лицо у него было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных. Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только исподлобья, зеленовато, чуть покосилась на Софью.

С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обедне не явился новый живоцерковный поп с толпой своих. Живоцерковец был рыжий верзила, в куцей рясе, будто переодетый солдат. Старый седой попик закричал: «Не дам, не дам!» — и вцепился в него, оба покатились на паперть, над толпою, как знамена, замелькали чьи-то кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала ездить на Охту, там сапожник Федор — с желтой лысиной — проповедывал «третий завет».

Весна в этом году была поздняя, на Духов день деревья еще только начинали распускаться, почки на них дрожали незаметной для глаза дрожью и лопались. Вечером было непрочно, светло, метались ласточки. Сапожник Федор проповедывал о скором Страшном Суде. По желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные глаза блестели так, что от них нельзя было оторваться. «Не с неба, нет! А отсюда, вот отсюда, вот отсюда!» — весь дрожа, сапожник ударял себя в грудь, рванул на ней белую рубаху, показалось желтое смятое тело. Он вцепился разодрать грудь, как рубаху — ему нечем было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом и хлопнулся об пол в падучей. Около него остались две женщины, все быстро разошлись, не кончив собрания.

От безумных сапожниковых глаз вся напряженная, как почки на деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь была заперта. Софья поняла: Трофим Иваныч с Ганькой ушли куда-нибудь погулять и наверное придут домой только часов в одиннадцать — она сама сказала им, чтобы раньше одиннадцати ее не ждали. Пойти разве наверх и посидеть там, пока они не вернутся?

Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через открытое окно было слышно, как она говорила своему ребенку: «Агу-агу-агу-нюшки. Вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени. Солнце было еще высоко, небо блестело, как глаза у сапожника. Откуда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила: в окне на кухне шпингалет сломан, и наверное Ганька забыла привязать окно — всегда забывала. Значит можно открыть снаружи и влезть.

Софья обошла кругом. И правда, окно не было привязано, Софья легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала: так мало ли кто может забраться — а может уж и забрался? Показалось, в соседней комнате какой-то шорох. Софья остановилась. Было тихо, только тикали часы на стенке, и внутри в Софье, и всюду. Сама не зная зачем, на цыпочках, Софья пошла. Платьем она зацепила прислоненную к двери гладильную доску, доска загремела на пол. Тотчас же в комнате зашлепали босые ноги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну — выскочить — звать на помощь...

Но она ничего не успела: в дверях показалась Ганька, босая, в одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее замахнутся, крикнула: «Трофим Иваныч!» и метнулась назад, в комнату.

Софья подняла доску, поставила ее на место и села. У нее ничего не было, ни рук, ни ног — только одно сердце, и оно, кувыркаясь птицей, падало, падало, падало.

Потом тотчас же вошел Трофим Иваныч. Он был одетый, видно — не раздевался. Он стал посредине кухни большеголовый, широкий, ноги короткие — будто был вкопан по колени в землю. «Ты... ты как же это рано вернулась нынче?» — сказал Трофим Иваныч и сам удивился: зачем он это сказал, как мог это сказать? Софья не слышала. Губы у нее дергались — так дергается пенка на молоке, уже совсем застывшая. «Что ж это, что ж это, что ж это?» — с трудом выговорила Софья, не глядя на Трофима Иваныча. Трофим Иваныч весь сморщился, забился в какой-то угол внутри себя, так молча стоял минуту. Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там Ганька уже постукивала полусапожками, одетая.

Все в мире шло по-прежнему, и надо было жить. Софья собрала ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла хлеб, Трофим Иваныч обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее, обе они столкнулись глазами, и мгновение совсем по-новому, чем раньше, вглядывались одна в другую. Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше, она задышала часто.

Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе — нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья опустила глаза. Ганька усмехнулась.

После ужина Софья мыла тарелки, Ганька стояла с полотенцем и вытирала. Это было без конца, это было, может быть, самое трудное за весь вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья стала делать постель, внутри все горело, ее трясло. Трофим Иваныч, отвернувшись, сказал ей: «Постели мне у окна на лавке». Софья постлала. Она слышала, как ночью, когда она перестала ворочаться, Трофим Иваныч встал и пошел на кухню к Ганьке.

3.

На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стеклянная банка; под эту банку, неизвестно как, попала муха. Уйти ей было некуда, но она все-таки ползала весь день. От солнца под банкой была равнодушная, медленная, глухая жара, и такая же жара была на всем Васильевском Острове. Все-таки весь день Софья ходила, что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот треснет над головой зеленое стекло и наконец прорвется, хлынет ливень. Но тучи неслышно расползались, к ночи стекло становилось все толще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое: одна — зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое — сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка.

Утром Трофим Иваныч уходил на завод. Ганька уже кончила учиться, она оставалась с Софьей вдвоем. Она была очень далека от Софьи: и Ганьку, и Трофима Ива-Иваныча, и все кругом Софья видела и слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не разжимая губ: подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька мела, мыла, колола. Софья слышала удары топора, знала, что это — Ганька, та самая, но это было очень далеко, не было видно.

Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздвинув круглые колени. Один раз, неизвестно

почему, случилось так, что Софья увидела эти колени, чуть подвинутую русую челку на лбу. В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Ганьке, не глядя: «Я сама... Поди на улицу». Ганька, тряхнув челкой, весело убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым приходом Трофима Иваныча.

Она стала уходить с утра каждый день. Пелагея, верхняя, однажды сказала Софье: «Ганька-то ваша с ребятами в пустой дом бегает. Вы бы за ней приглядели, а то добегается девчонка». Софья подумала: «Нужно об этом Трофиму Иванычу...» Но когда пришел Трофим Иваныч, она почувствовала, что не может произнести вслух это имя: Ганька. Она ничего Трофиму Иванычу не сказала.

Так, стеклянно, бесслезно, давя сухими тучами, прошло все лето, и осень шла такая же сухая. В какой-то синий и не по-осеннему теплый день утром задул ветер с моря. Через закрытое окно Софья услышала пухлый, ватный выстрел, потом скоро другой и третий — должно быть в Неве подымалась вода. Софья была одна, не было ни Ганьки, ни Трофима Иваныча. Опять мягко стукнула пушка в окно, стекла от ветра звенели. Сверху прибежала Пелагея — запыхавшаяся, разлапая, вся настежь, она крикнула Софье: «Ты, что же, с ума спятила — сидишь-то? Нева через край пошла, сейчас все затопит».

Софья выбежала за ней на двор. Сразу же ветер, свистя, всю ее туго обернул, как полотном. Она услышала: где-то хлопали двери, бабий голос кричал: «Цыплят, цыплят собирай скорее!» Над головой быстро, косо пронесло ветром какую-то большую птицу, крылья у нее были широко раскрыты. Софье вдруг стало легче, как будто именно это ей и было нужно — вот такой ветер, чтобы все захлестнуло, смело, затопило. Она повернулась навстречу, губы раскрылись, ветер ворвался и запел во рту, зубам было холодно, хорошо.

Вместе с Пелагеей Софья быстро перетаскала наверх свои постели,одежду, съестное, стулья. Кухня была уже пустая, только в углу стояла расписанная цветами укладка. «А это?» — спросила Пелагея. — «Это... ее», — ответила Софья. — «Чья — ее? Ганькина, что ли? Так

что ж ты оставляешь?» — Пелагея подняла укладку и, придерживая ее выпяченным животом, потащила вверх.

Часа в два наверху в окне высадило ветром стекло. Пелагея подбежала — заткнуть подушкой, вдруг взвыла в голос: «Пропали мы... Господи, пропали!» — и схватила на руки своего ребенка. Софья взглянула в окно и увидела: там, где была улица, теперь неслась зеленая, рябая от ветра вода; медленно поворачиваясь, плыл чей-то стол, на нем сидела белая с рыжими пятнами кошка, рот у нее был раскрыт — должно быть, мяукала. Не называя по имени Ганьку, Софья подумала о ней, сердце забилось.

Пелагея топила печку. Она металась от печки к ребенку, к окну, где стояла Софья. В доме напротив, в первом этаже, была открыта форточка; было видно, как теперь ее покачивало водою. Вода все подымалась, несла бревна, доски, сено, потом мелькнуло что-то круглое, показалось, что это голова: «Может, уж и мой Андрей и твой Трофим Иваныч...» — Пелагея не кончила, слезы у нее катились — настежь, широко, просто. Софья удивилась себе: как же это она — будто даже забыла о Трофиме Иваныче, и все время только об одном, о той, о Ганьке.

Сразу обе — и Пелагея и Софья — услышали где-то на дворе голоса. Они побежали в кухню, к окнам. Распихивая дрова, по двору плыла лодка, в ней стояло двое каких-то и Трофим Иваныч без шапки. На нем поверх ватной безрукавки была синяя блуза, ветром ее плотно притиснуло с одного боку, а с другого раздуло, и казалось — он сломан посредине тела. Те двое спросили его о чем-то, лодка завернула за угол дома, за ней, сталкиваясь, пошли дрова.

По пояс мокрый, Трофим Иваныч вбежал в кухню, с него текло, он как будто не замечал. «Где... где она?» — спросил он Софью. — «С утра ушла», — сказала Софья. Пелагея тоже поняла — о ком. «Я уж давно Софье говорила... Вот и догонялась, плывет где-нибудь». Трофим Иваныч отвернулся к стене и стал водить по ней пальцем. Он долго стоял так, с него текло, он не чувствовал.

К вечеру, когда вода уже схлынула, пришел Пелагеин муж. Под висячей лампой блестела его крепкая,

спелая лысина; он рассказывал, как господин с портфелем саженками плыл в свой подъезд, как барыни бежали, все выше подымая юбки. «А утопло много?» — спросила Софья, не глядя. — «Страсть! Тыщи!» — зажмурился извозчик. Трофим Иваныч встал. — «Я пойду» — сказал он.

Но он никуда не пошел: дверь открылась, в двери стояла Ганька. Платье у нее прилипло к груди, к коленям, она вся была захлюстанная, но глаза у нее блестели. Трофим Иваныч стал улыбаться нехорошо, медленно, одними зубами. Он подошел к Ганьке, схватил ее за руку и увел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь. Было слышно, как он сквозь зубы сказал что-то Ганьке и стал ее бить. Ганька всхлипывала. Потом долго плескалась водой и вошла в комнату опять веселая, встряхивая челкой на лбу.

Пелагея уложила ее спать в чуланчике за перегородкой, а Трофиму Иванычу и Софье сделала постель на лавке в кухне. Они остались вдвоем. Трофим Иваныч потушил лампу. Окно побледнело, в тонкой сорочке из облаков дрожал месяц. Белея, Софья разделась, потом — Трофим Иваныч.

Лежа, Софья думала только об одном: чтобы он не заметил, как она дрожит. Она лежала, вытянувшись, будто вся покрытая корочкой из тончайшего льда: в таких непрочных ледяных чехлах бывают ветки деревьев осенью рано утром, и только чуть шевельнет их ветром — все рассыпается в пыль.

Трофим Иваныч не шевелился, его не было слышно. Но Софья знала, что он не спит: во сне он всегда чмокал, как маленькие дети, когда сосут. И знала, почему он не спит: здесь ему уже нельзя было пойти к Ганьке. Софья закрыла глаза, сжала губы, всю себя — чтобы ни о чем не думать.

Вдруг Трофим Иваныч, будто что-то решив, быстро повернулся к Софье. Вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли, она ждала. Месяц, кутаясь в одеяло, дрожал за окном минуту, две. Трофим Иваныч приподнял голову, поглядел в окно, потом осторожно, стараясь не коснуться Софьи, опять повернулся к ней спиной.

Когда он, наконец, задышал ровно и стал причмокивать во сне, как дети, Софья открыла глаза. Она ти-

хонько нагнулась над Трофимом Иванычем, совсем близко, так что увидела один длинный черный волос, спускавшийся у него с брови прямо в глаз. Он пошевелил губами. Софья смотрела, она уже ничего не помнила о нем, его было только жалко. Она протянула руку — и сейчас же отдернула: ей хотелось погладить его, как ребенка, но она не могла, не смела...

Так было каждую ночь все три недели, пока нижняя квартира просыхала. Каждое утро перед заводом Трофим Иваныч спускался туда на полчаса, кое-что поправлял там. Однажды он вернулся оттуда веселый, шутил с Пелагеей, но Софья видела, как он водил глазами за Ганькой: Ганька, нагнувшись, мела комнату. Уходя, Трофим Иваныч сказал Софье: «Ну, перебирайся вниз, пора — все готово». И потом Ганьке: «Печки протопи получше, дров не жалей, чтоб к вечеру тепло было».

Софья поняла: не к вечеру, а к ночи. Она не сказала ничего, не подняла глаз, только губы у нее чуть дергались, как пенка на молоке, уже совсем застывая.

4.

Извозчик, Пелагеин муж, выезжал нынче только после полудня; до тех пор вместе с Софьей и Ганькой он быстро перетаскал все вниз. «Ну, что же, как тебя поздравлять-то: со старосельем, что ли?» — сказал он Софье.

Быстро, в несколько взмахов, как большая птица, Софья облетела глазами комнату. Все стало, как прежде: стулья, тусклое зеркало, стенные часы, кровать, где Софья по ночам будет опять одна. Ей показалось счастьем то, что было наверху: там ночью она слышала его дыхание, он не был с тою, с другой, он был ничей, а теперь — вот сегодня, сегодня же...

Ганьки не было, она ушла за дровами. Софья стояла прислонившись лбом к окну. Стекло позванивало, был ветер, летели серые, городские, низкие, каменные облака — будто опять вернулись те же душные тучи, ни разу за все лето не прорвавшиеся грозой. Софья почувствовала, что эти тучи не за окном, а в ней самой, внутри, они каменно наваливались одна на другую уже целые

месяцы — и, чтобы не задушили сейчас, нужно что-то разбить вдребезги, или убежать отсюда, или закричать таким голосом, как тогда сапожник о Страшном Суде.

Софья услышала: вошла Ганька, из мешка вытряхнула дрова на пол, потом стала укладывать их в печку. Окно вздрогнуло, будто снаружи в него стукнуло сердце. Это была пушка, воду опять гнало ветром, она напруживала синие невские жилы. Софья стояла все так же, не оглядываясь, чтобы не увидеть Ганьку.

Вдруг Ганька негромко, в нос запела — раньше этого не случалось никогда. Софья оглянулась. Она увидела: бросив топор, Ганька сидела на корточках и ножом щепала лучину; круглые, широко раздвинутые колени вздрагивали под платьем, и вздрагивала челка на лбу. Софья хотела отвести от нее глаза и не могла. Медленно, трудно, как баржа, канатом подтягиваемая к берегу против течения — канат дрожит и вот-вот лопнет — Софья подошла к Ганьке. От работы Ганька вся разгорелась, Софью окинуло жарким, сладковатым запахом ее пота — должно быть, ночью она пахла вот так же.

И как только Софья вдохнула в себя этот запах, снизу, от живота, поднялось в ней, перехлестнуло через сердце, затопило всю. Она хотела ухватиться за что-нибудь, но ее несло, как тогда по улице несло дрова, кошку на столе. Не думая, подхваченная волной, она подняла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор в руке. «Господи, Господи, что же это я?» — отчаянно крикнула внутри одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила Ганьку в висок, в челку.

Ганька и не крикнула ничего, только ткнулась головой в колени, потом с корточек мягко перевалилась на бок. Софья еще несколько раз жадно, быстро ударила по голове острием, хлынула кровь на железный лист перед печкой. И будто эта кровь — из нее, из Софьи, в ней наконец прорвало какой-то нарыв, лилось оттуда, капало, и с каждой каплей ей становилось все легче. Она бросила топор, вздохнула глубоко, свободно — никогда не дышала, вот только что глотнула воздуха в первый раз. Ни страха, ни стыда — ничего не было, только

какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки.

Дальше было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от нее думали и делали все, что надо, а она сама, в стороне, блаженно отдыхала, и только изредка глаза у нее раскрывались, она начинала видеть, она смотрела на все с удивлением.

Ганькины туфли, коричневое платье, сорочка, политые керосином, уже горели в печи, а сама она, вся голая, розовая, парная, лежала ничком на полу, и по ней, не спеша, уверенно ползла муха. Софья увидела муху, прогнала ее. Чужие, Софьины руки, легко, спокойно разрубили тело пополам — иначе его было никак не унести. Софья в это время думала, что в кухне на лавке лежит еще недочищенная Ганькой картошка, нужно ее сварить к обеду. Она пошла в кухню, заперла дверь на крючок, затопила там печь.

Когда вернулась в комнату, она увидела, что новая серая, под мрамор, клеенка вытащена из комода и лежит на полу, разорванная на два куска. Софья удивилась: кто же это разорвал? Зачем? Но сейчас же вспомнила, постелила клеенку на дно в мешок и положила туда половину розового тела. На руки к ней садилась, липла к ним та же муха, Софья отогнала ее, она садилась опять. Один раз Софья увидела ее совсем близко: ноги у нее были тоненькие, как из черных катушечных ниток. Потом муха и все исчезло, было только одно: кто-то стучал в кухонную дверь.

Софья на цыпочках подошла к порогу и ждала. Опять стучали, все сильнее. Софья смотрела, как от ударов вздрагивал крючок — и даже не смотрела, а чувствовала: крючок сейчас был частью ее самой, как ее глаза, ее сердце, ее мгновенно похолодевшие ноги. Как будто знакомый голос крикнул за дверью: «Софья», она молчала, чьи-то шаги спускались, затопали по ступеням. Тогда Софья стала дышать, посмотрела в окно. Это была Пелагея, ветром сзади на ней плотно обхлестывало платье, и казалось, что она идет, подогнувши колени.

Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела, что стоит на краю канавы, вода в канаве лиловая, стеклянная от заката, и туда же, в канаву, выброшен весь мир, небо, сума-

шедше быстрые тучи, а за спиной у Софьи тяжелый мешок, и что-то такое под пальто придерживает рука, Софья не могла понять — что. Но рука вспомнила, что это — лопата, снова стало все просто. Она перешла через канаву, отдельно от себя, одними глазами, огляделась кругом: никого, она была на Смоленском поле одна, быстро темнело. Она выкопала яму и свалила туда все, что было в мешке.

Когда было уже совсем темно, она принесла полный мешок еще раз, зарыла яму и пошла домой. Под ногами была черная, неровная, распухшая земля, ветер обхлестывал ноги холодными тугими полотенцами. Софья спотыкалась. Она упала, ткнулась рукой во что-то мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть. Далеко, должно быть на взморье, загорался и потухал огонек, а может быть это было совсем близко — кто-нибудь закуривал папироску на ветру.

Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне и надела на себя все свежее, как после исповеди перед праздником. Зажженные Ганькой дрова давно прогорели, но по угольям еще бегали последние синие огоньки. Софья бросила туда мешок, клеенку, весь мусор, какой еще оставался. Огонь ярко вспыхнул, все сгорело, теперь в комнате было совсем чисто. И так же сгорел весь мусор в Софье, в ней тоже стало чисто и тихо.

Она села на лавку. В ней сразу ослабели, развязались все узлы, она внезапно почувствовала, что устала так, как не уставала ни разу за всю жизнь. Она положила голову на руки, на стол и в ту же секунду заснула — — полно, счастливо, вся.

5.

Маятник на стене метался, как птица в клетке, чующая на себе пристальный кошачий глаз. Софья спала. Это длилось, может быть, час, может быть, только от одного маятника до другого. Когда она подняла голову, перед нею, вросши ногами в землю, стоял Трофим Иваныч.

Ему было тесно, он расстегнул воротник у рубахи. «Где она?» — сказал он, нагибаясь к Софье. Пахнуло

вином, от его тела шел тугой, напряженный жар. «Где Ганька?» — переспросил он. — «Да, где она теперь?» — подумала Софья и ответила вслух: «Не знаю». — «Ага... Не знаешь?» — криво, медленно сказал Трофим Иваныч, совсем близко Софья увидела его глаза, они оскалены, как зубы. Он никогда ее не бил, а сейчас показалось: вот ударит. Но он только посмотрел на Софью и отвернулся — если б ударил, может было бы легче.

Сели обедать. Софья была одна, она чувствовала: Трофим Иваныч ее не видит, видит не ее. Он хлебнул щей и остановился, крепко зажав ложку в кулаке. Вдруг громко задышал и стукнул кулаком в стол, из ложки выкинуло капусту к нему на колени. Он подобрал ее и не знал, куда девать, скатерть была чистая, он смешно, растерянно держал капусту в руке, был как маленький цыганенок, которого Софья видела тогда в пустом доме. Ей стало тепло от жалости, она подставила Трофиму Иванычу свою, уже пустую тарелку. Он, не глядя, сбросил туда капусту и встал.

Когда вернулся, в руке у него была бутылка мадеры. Софья поняла, что это было куплено для той, сердце у нее сразу же зазябло, она опять сидела одна. Трофим Иваныч наливал и пил.

После обеда он молча придвинул к себе лампу и взял газету, но Софья видела, что он читал все одну и ту же строчку. Она видела, как газета вздрогнула: в сенях заскрипели половицы... Нет: это не к ним, это наверх. Опять стало тихо, только, как птица, метался маятник на стене. Было слышно: наверху передвигали что-то тяжелое, там должно быть уже ложились спать.

Ганьки все не было. Трофим Иваныч прошел мимо Софьи к вешалке, надел шапку, постоял, потом сорвал ее с себя так, как будто вместе с шапкой хотел сорвать и голову — чтоб больше не думать, и лег на лавку, лицом к стене. «Погоди, дай я постелю», — сказала Софья. Он встал, посмотрел, его глаза прошли через Софью, как сквозняк.

Она сделала постель, подошла к двери, чтобы запереть на крючок, протянула уже руку — и остановилась: а вдруг Трофим Иваныч спросит, почему она знает, что Ганька не вернется? Было нельзя, но все-таки Софья оглянулась. Она увидела: Трофим Иваныч следит за

ней, за ее рукой, протянутой, и не смеющей дотронуться до крючка. «Что? Что же стала?» — спросил он и усмехнулся неровно, наполовину. «Все знает...» — подумала Софья, маятник перед ней метнулся один раз и застыл. Трофим Иваныч наливался кровью молча, медленно, он оттолкнул стол, что-то упало, это было в Софье, внутри. Вот сейчас, сию минуту он скажет все...

Тяжко вытягивая ноги из земли, он двигался к Софье, на лбу у него вспухла, как Нева, синяя жила. «Ну? Что же ты? — крикнул он: все в комнате остановилось. — Запирай! Пускай где хочет, у кого хочет ночует, на улице, под забором, с собаками! Запирай, слышишь?» — «Как... как?» — еще не веря, сказала Софья. — «Так!» — отрезал Трофим Иваныч и повернулся. Софья накинула крючок.

Она еще долго дрожала под одеялом, пока наконец согрелась, поверила, что Трофим Иваныч не может знать, не знает. Часы над ней громко долбили клювом в стену. На лавке у себя заворочался Трофим Иваныч, задышал жадно сквозь стиснутые зубы. Софья слышала это так, как будто он обо всем говорил словами, громко, вслух. Она увидела ненавистные белые кудряшки на лбу — и в ту же секунду они исчезли: Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет. «Слава Богу...» — сказала она себе и сейчас же спохватилась: «Что, Слава Богу? Господи!»

Опять заворочался Трофим Иваныч. Софья подумала, что ведь и его тоже нет и никогда не будет, ей теперь всегда жить одной, на сквозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно, ступенями, она стала набирать в себя воздух; она, как веревкой, дыханием поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень оборвался, Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и медленно стала опускаться в сон, как в глубокую, теплую воду.

Когда она была уже на дне, она услышала: об пол шлепнули босые ноги. Она вздрогнула и тотчас же всплыла вверх. Там сейчас скрипел пол, Трофим Иваныч осторожно шел куда-то. Так по ночам он ходил на кухню к Ганьке, Софья всегда сжималась в комок, чтобы не дохнуть, не крикнуть, и так же она сжалась теперь. Она поняла: его тянуло туда, он, может быть,

схватит, стиснет там ее подушку, или просто будет стоять там, перед пустой Ганькиной постелью . . .

Половицы скрипели, потом перестали. Трофим Иваныч остановился. Софья приоткрыла глаза: Трофим Иваныч, белея, стоял на полдороге между своей лавкой и кроватью, где лежала она. И вдруг Софью прокололо, что он идет не в кухню, а к ней — к ней! Ее всю опахнуло жаром, зубы у нее застучали, она зажмурилась. «Софья . . .» — тихо сказал Трофим Иваныч и потом еще тише: «Софья». Она узнала его тот самый, особенный, ночной голос, сердце оторвалось от ветки и, неровно перевертываясь, птицей падало вниз. Без мыслей, чем-то другим — стиснутыми до боли коленями, складками тела — Софья подумала, что ему будет проще, легче, если она не откликнется, и она лежала не дыша, молча.

Трофим Иваныч нагнулся к ней, она близко слышала его дыхание, должно быть он смотрел на нее. Это была только секунда, но Софья боялась, что не выдержит, она закричала неслышно: «Господи! Господи!» Наверху, за тысячи верст, где сейчас неистово неслись тучи, чуть слышно засмеялась Пелагея. Горячая, сухая рука коснулась Софьиных ног, она медленно раскрыла губы, раскрылась мужу вся, до дна — первый раз в жизни. Он стиснул ее так, как будто хотел выместить на ней всю жадную злобу к той, к другой. Софья услышала, как он заскрипел зубами, как опять наверху шепотом засмеялась Пелагея — и больше уж не помнила ничего.

6.

Утром был мороз, окна были из леденца, сине-желтый зайчик полз по белой стене. Софья вышла во двор. За ночь все утихло, утро стояло спокойное, прозрачное; дым, прямой и розовый, шел к небу.

На дворе была Пелагея. Она сказала Софье: — «Ганька-то ваша сбежала, а? Вот и корми их, этаких!» Софья посмотрела на нее легкими, прямыми, сделанными из этого утра глазами, попробовала вспомнить вчерашнее — и не могла: это все было очень далеко, скорее всего

ничего этого не было. Пелагея рассказала, что перед заводом Трофим Иваныч заходил к ним, спрашивал, не видали ли Ганьку. Софья про себя засмеялась. «Чему ты?» — удивилась Пелагея. «Так...» — сказала Софья, она смотрела на прямой, розовый дым — такой же дым был в деревне, откуда ее взял Трофим Иваныч. Там сейчас, должно быть, рубят капусту, кочерыжки — холодноватые, белые, хрусткие. Ей показалось, что все это было только вчера, и она сама такая же, какая была, когда ела кочерыжки.

Вернувшись с завода, Трофим Иваныч спросил только: «Ну? Нету?» Софья уже знала, о чем он, она спокойно сказала: «Нету». Трофим Иваныч пообедал и ушел куда-то. Вернулся поздно, темный — должно быть искал, спрашивал у всех, всюду. Ночью он опять пришел к Софье — так же молча, злобно, жадно, как вчера.

На следующий день Трофим Иваныч заявил о Ганьке в милицию. Софью, Пелагею с мужем, соседей вызывали туда. За столом сидел какой-то молодой малый в кепке, на носу у него было серьезное пенсне без оправы, а лицо было цыплячье, конопатое, и на столе под бумагами лежали черные сухари. Все говорили ему одно и то же: что видели, как Ганька гуляла с какими-то ребятами, и не гаваньскими, а пришлыми, с Петербургской Стороны. Пелагея вспомнила: Ганька сказала однажды, что ей тут надоело, что она уйдет. Малый в кепке записывал. Софья смотрела на конопатое лицо, на пенсне, на сухари, ей стало жалко его.

Когда шли оттуда домой, Софья попросила Трофима Иваныча купить новый топор: старый, должно быть, украли, а может и завалился куда-нибудь — не найти. Больше о Ганьке Софья не думала. Трофим Иваныч тоже больше не говорил о ней ни слова. Только иногда он сидел, без конца глядя на одну и ту же строчку в газете, и Софья знала, о чем он молчит. Так же молча он поднимал на нее угольные, черные цыганские глаза, тяжело, молча, глазами плыл за ней, ей становилось жутко, а вдруг он что-нибудь такое скажет, но он ничего не говорил.

Дни были все такие же ясные, хрусткие и только становились все короче, будто вот-вот, не сегодня-завтра, вспыхнут последний раз, как огарок — и темно, конец

всему. Но приходило завтра, все еще не было конца. И все-таки с Софьей началось что-то неладное. Она не спала одну ночь, другую и третью, под глазами у нее было темно, они куда-то осели. Так весною темнеет, оседает, проваливается снег и под ним вдруг земля, но до весны было еще далеко.

Вечером через жестяную лейку Софья наливала в лампу керосин. Трофим Иваныч крикнул ей: «Гляди, гляди — что делаешь-то: через край!» Только тут Софья увидела, что лампа уже полна, и керосин, должно быть давно уж, льется на стол. «Через край» . . . — растерянно повторила Софья, всегда сжатые губы у нее были раскрыты, как ночью; она смотрела на Трофима Иваныча, ему показалось — она хочет сказать еще что-то. «Ну, что?» — спросил он. Софья отвернулась. «Про . . . нее что-нибудь . . . про Ганьку?» — услышала она голос, протиснутый сквозь белые цыганские зубы. Она не ответила.

Когда она подавала ужин, она уронила на пол тарелку с кашей. Трофим Иваныч поднял голову, увидел ее какие-то новые, осевшие, как снег, глаза, ему стало нехорошо смотреть на нее: это была не она. «Да что с тобой, Софья?» И опять она ничего не сказала.

Ночью он пришел к ней, он не был с ней ни разу после тех двух ночей. Когда она услышала тот самый его, ночной, голос: «Софья, скажи, я знаю — тебе надо сказать», — она не выдержала, это было через край, хлынули слезы. Они были теплые — Трофим Иваныч почувствовал их щекой, испугался. «Да что, что? Все равно — говори уж!» — Тогда Софья сказала: «У меня . . . ребенок будет» . . . Это было в темноте, это было не видно. Сухой, горячей рукой Трофим Иваныч провел по ее лицу — чтобы увидеть, у него дрожали пальцы, он почувствовал ими, что Софьины губы широко раскрыты и улыбаются. Он только сказал ей: «Со-оф-ка!» Так он не называл ее уж давно, лет десять. Она блаженно, полно засмеялась. «Да когда ж это?» — спросил Трофим Иваныч. Это случилось в одну из тех двух ночей, сейчас же как пропала Ганька. «Еще помнишь — наверху Пелагея . . . и я еще тогда подумала, что и у меня, как у Пелагеи, будет . . . Нет, вру: я ничего тогда не думала, это я сейчас . . . Да я и сейчас не верю . . . нет, верю!» —

она путалась, слезы текли легко, как талые ручьи по земле. Трофим Иваныч положил руку ей на живот, осторожно, робко провел рукой снизу вверх. Живот был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому не видная, лежала Ганька, и в земле, никому не видные, рылись белыми корешками зерна. Это было ночью, потом опять настал день и вечер.

Вечером к обеду Трофим Иваныч принес бутылку мадеры. Точно такую же бутылку Софья уже видела один раз: лучше бы он теперь принес что-нибудь другое. Это Софья даже не подумала, а так — будто прочитала одними глазами, внутрь это не вошло: все тело у нее улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уж ничего не могло войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче, вот-вот догорят совсем, и тогда — конец, и нужно торопиться, нужно до конца еще успеть сказать или сделать что-то.

Однажды Трофим Иваныч вернулся домой позже, чем всегда. Он остановился на пороге, широкий, крепко вросший ногами в землю, на лице у него была угольная пыль. Он сказал Софье: «Ну, опять вызывали!» Софья сразу же поняла, куда и зачем, внутри в ней маятник остановился и пропустил — раз, два, три удара. Она села. «Ну?» — спросила она Трофима Иваныча. — «Да что ж: сказали — дело кончено, не нашли. Куда-нибудь с хахалем уехала — ну и чорт с ней! Только бы опять не заявилась»... Сердце у Софьи ожило: еще не конец.

И тотчас встрепенулось, ожило в ней, чуть пониже, будто еще одно, второе сердце. Она ахнула вслух, схватилась руками за живот. «Что ты?» — подбежал Трофим Иваныч. «Он... шевелится»... — чуть сказала Софья. Трофим Иваныч мотнул головой, схватил, поднял Софью вверх, она была легкая, как птица. «Пусти», — сказала она. Он поставил ее на пол, зубы у него белели, как клавиши на гармони, он засмеялся во все клавиши сразу. После Ганьки это было впервые, должно быть он и сам это понял. Он сказал Софье: «Ну, вот что, Софка, запомни — если она теперь заявится, я ее...»

В дверь постучали, оба повернулись быстро. Софья услышала, как Трофим Иваныч почти вслух подумал:

«Ганька», и то же самое мелькнуло Софье. Она знала, что это не может быть — и все-таки это было. «Открывать?» — спросил Трофим Иваныч. «Открывай», — ответила Софья совсем белым голосом.

Трофим Иваныч открыл, вошла Пелагея — громкая, разлатая, вся настежь. «Ты что ж это — белая такая? — сказала она Софье. — Тебе теперь, бабочка, есть надо побольше». Пелагея рожала уже два раза, она заговорила об этом с Софьей, снова у Софьи заулыбалось все тело, она забыла о Ганьке.

Ночью, когда она уже совсем опускалась на дно, засыпая, — ей вдруг, неизвестно почему, опять мелькнула Ганька, как будто она лежала где-нибудь на этом ночном дне. Софья вздрогнула, открыла глаза, на потолке плескались светлые пятна. Она услышала: за окном бил ветер, позванивало стекло — так же было и в тот день. Она стала вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить, долго лежала так. Потом, как будто совсем ни к чему, отдельно, увидела: кусок мраморной клеенки на полу, и муха ползет по розовой спине. У мухи ясно видны были ноги — тоненькие, из черных катушечных ниток. «Кто же, кто это сделал? Она — вот эта самая она — я... Вот Трофим Иваныч рядом со мной, и у меня будет ребенок — и это я?» Все волосы на голове стали у нее живыми, она схватила за плечо Трофима Иваныча и стала трясти его: нужно было, чтобы он сейчас же сказал, что этого не было, что это сделала не она. «Кто... кто? Это ты, Софка?» — еле расклеил глаза Трофим Иваныч. «Это — не я, не я, не я!» — крикнула Софья и остановилась: она поняла, что больше сказать ничего, ничего не может, нельзя, и она никогда не скажет, — потому что... «Господи... Родить скорей бы!» — сказала она громко. Трофим Иваныч засмеялся: «Вот дура! Успеешь!» — и скоро опять зачмокал во сне.

Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей почти не было, за окном все время колыхалась тяжелая, светлая вода, не переставая жужжали летние мухи.

7.

Утром, уходя на завод, Трофим Иваныч рассказал, что вчера у них маховиком зацепило смазчика и долго вертело, а когда его сняли, он пощупал голову, спросил: «Где шапка?» — и кончился.

Окно было уже выставлено, Софья протирала тряпкой стекла и думала про смазчика, про смерть, и показалось, что это будет совсем просто — вот как заходит солнце, и темно, а потом опять день. Она встала на лавку, чтобы протереть верх, — и тут ее подхватил маховик, она выронила тряпку, закричала. На крик прибежала Пелагея, это Софья еще помнила, а больше не было ничего, все вертелось, все неслось мимо, она кричала. Один раз она почему-то очень ясно услышала далекий звонок трамвая, голоса ребят на дворе. Потом все с размаху остановилось, тишина стояла, как пруд, Софья чувствовала — из нее льется, льется кровь. Должно быть так же было со смазчиком, когда его сняли с маховика.

«Ну, вот и конец», — сказала Пелагея. Это был не конец, но Софья знала, что до конца теперь только минуты, надо было все скорее, скорее... «Скорее!» — сказала она. «Что скорее?» — спросил Пелагеин голос. «Девочку... покажи мне». «А ты почем знаешь, что девочка?» — удивилась Пелагея и показала вырванный из Софьи живой красный кусок: крошечные пальцы на подобранных к животу ногах шевелились, Софья смотрела, смотрела. «Да уж на, на, возьми», — сказала Пелагея, положила ребенка на кровать к Софье, а сама ушла на кухню.

Софья расстегнулась, приложила ребенка к груди. Она знала, что это полагается только на другой день, но ждать было нельзя, надо было все скорее, скорее. Ребенок, захлебываясь, неумело, слепо начал сосать. Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля — ради этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было все. «Я к себе наверх сбегаю — тебе больше ничего не надо?» — спросила Пелагея. Софья только пошевелила губами, но Пелагея поняла, что ей теперь больше не надо ничего.

Потом Софья как будто дремала, под одеялом было очень жарко. Она слышала звонки трамваев, ребята на дворе кричали: «Лови ее!» — все это было очень далеко, сквозь толстое одеяло. «Кого же — ее?» — подумала Софья, открыла глаза. Далеко, будто на другом берегу, Трофим Иваныч зажигал лампу — шел густой дождь, от дождя было темно, лампа была крошечная, как булавка. Софья увидела белые, как клавиши, зубы — Трофим Иваныч должно быть улыбался и что-то говорил ей, но она не успела понять — что, ее тянуло ко дну.

Сквозь сон Софья все время чувствовала лампу: крошечная, как булавка — она была теперь уже где-то внутри, в животе. Трофим Иваныч ночным голосом сказал: «Ах, ты... Софка моя!» Лампа стала так жечь, что Софья позвала Пелагею. Пелагея дремала около кровати сидя, она вздернула голову, как лошадь. «Лам... па...» — трудно выговорила Софья, язык был, как варежка. «Потушить?» — метнулась Пелагея к лампе. Тогда Софья совсем проснулась и сказала Пелагее, что жжет в животе, в самом низу.

На рассвете Трофим Иваныч сбегал за докторшей. Софья узнала ее: та же самая, грудастая, в пенсне, она тогда была у столяра перед концом. Докторша осмотрела Софью. «Так... хорошо... очень хорошо... А здесь больно? Так-так-так...». Потом весело, курносо повернулась к Трофиму Иванычу: «Ну, надо скорее в больницу». У Трофима Иваныча зубы потухли, рукой с угольными прожилками он ухватился за спинку Софьиной кровати. «Что с ней?» — спросил он. «А еще не знаю. Похоже — родильная горячка», — весело сказала докторша, пошла на кухню мыть руки.

Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо нее прошло все, с чем она жила: окно, стенные часы, печь — как будто отчаливал пароход, и все знакомое на берегу уплывало. Маятник на стене метнулся в одну сторону, в другую — и больше его не было видно. Софье показалось: надо здесь, в этой комнате, что-то еще сделать последний раз. Когда уже открылась дверца в карете, Софья вспомнила — что, быстро расстегнулась, вытащила грудь, но никто не понял, чего она хочет, санитары засмеялись.

Некоторое время ничего не было. Потом опять появилась лампа, она была теперь вверху, под белым потолком. Софья увидела белые стены, белых женщин в кроватях. Очень близко по белому ползла муха, у нее были тоненькие ноги из черных катушечных ниток. Софья закричала и, отмахиваясь, стала сползать с кровати на пол. «Куда? Куда? Лежите!» — сказала сиделка, подхватила Софью. Мухи больше не было, Софья спокойно закрыла глаза.

Вошла Ганька — с полным мешком дров. Она села на корточки, широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встряхнула белой челкой на лбу. Сердце у Софьи забилось, она ударила ее топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне, толстые губы быстро говорили: «Так-так-так...», пенсне блестело, Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на корточки. Софья опять ударила ее топором, и опять докторша, покачивая головой, сказала: «Так-так-так...». Ганька ткнулась головой в колени, Софья ударила ее еще раз.

«Так-так-так... Хорошо, — сказала докторша. — Муж ее тут? Позовите скорей». —« Скорей! Скорей!» — крикнула Софья; она поняла, что — конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил. Сиделка побежала, хлопнула дверью. Где-то очень близко ухнула пушка, ветер бешено бил в окно. «Наводнение?» — спросила Софья, широко раскрывая глаза. «Сейчас, сейчас... Лежите», — сказала докторша.

Пушка ухала, ветер гудел в ушах, вода подымалась все выше — сейчас хлынет, унесет все — нужно скорее, скорее... Вчерашняя, знакомая боль рванула пополам, Софья раздвинула ноги. «Родить... родить скорее!» — она схватила докторшу за рукав. «Спокойно, спокойно. Вы уже родили — кого ж вам еще?» Софья знала — кого, но ее имя она не могла произнесть, вода подымалась все выше, надо было скорее...

Ганька, уткнувшись головой, на корточках сидела возле печки, к ней подошел и заслонил ее Трофим Иваныч: «Не я — не я — не я!» — хотела сказать Софья — так уже было однажды. Она вспомнила эту ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало

совсем бело, ясно. Она вскочила, стала в кровати на колени и закричала Трофиму Иванычу: «Это — я, я! Она топила печку — я ударила ее топором...». «Она без памяти... она сама не знает...» — начал Трофим Иваныч. — «Молчи!» — крикнула Софья, он замолчал, из нее хлестали огромные волны и затопляли его, всех, все мгновенно затихло, были одни глаза. «Я — убила, — тяжело, прочно сказала Софья. — Я ударила ее топором. Она жила у нас, она жила с ним, я убила ее, и хотела, чтобы у меня...» — «Она без ф-ф-фа-мя... без ф-фамяти» — губы у Трофима Иваныча тряслись, он не мог выговорить.

Софье стало страшно, что ей не поверят, она собрала все, что в ней еще оставалось, изо всех сил вспомнила и сказала: «Нет, я знаю. Я потом бросила топор под печку, он сейчас лежит там»...

Все кругом было белое, было очень тихо, как зимой. Трофим Иваныч молчал. Софья поняла, что ей поверили. Она медленно, как птица, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся.

Первым опомнился Трофим Иваныч. Он кинулся к Софье, вцепился в спинку кровати, чтобы удержать, не отпустить. «Померла!» — закричал он. Женщины соскакивали с постелей, подбегали, вытягивали головы. «Уходите, уходите! Ложитесь!» — махала на них сиделка, но они не уходили. Докторша подняла Софьину руку, подержала ее, потом сказала весело: «Спит».

Вечером белое стало чуть зеленоватым, как спокойная вода, и такое же за окнами было небо. Возле Софьиной постели опять стояла грудастая докторша, рядом с ней Трофим Иваныч и еще какой-то молодой, бритый, со шрамом на щеке — от шрама казалось, что ему все время больно, а он все-таки улыбается.

Докторша вынула трубочку, послушала сердце. Софьино сердце билось ровно, спокойно, и так же она дышала. «Так-так-так... — Докторша на секунду задумалась. — А ведь выживет, ей-Богу, выживет!» Она сняла пенсне, глаза у нее стали как у детей, когда они смотрят на огонь.

«Ну, что же — начнем!» — сказал бритый молодой человек и вынул бумагу, ему было больно, но он улыбался шрамом. — «Нет, уж пусть спит, нельзя, — сказала докторша. — Придется вам, товарищ дорогой, завтра приехать». — «Хорошо. Мне все равно». «А ей уж и подавно все равно, теперь что хотите с ней делайте!» Пенсне у докторши блестело; — молодой человек, улыбаясь сквозь боль, вышел.

Докторша все еще стояла и смотрела на женщину. Она спала, дышала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были широко раскрыты.

1929.

ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ДРАМА

Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы.

Действие открылось возгласом кондуктора:

— Благовещенская площадь, — по-новому площадь Труда!

Этот возглас был прологом к драме, в нем уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны — труд, с другой стороны — нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося Деве Марии.

Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошел очаровательный молодой человек с нумером московских «Известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие гриперлевые брюки и поправил на носу очки.

Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие — на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский Остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там

не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.

И, наконец, он появился. Он вошел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, не ощутимое землетрясение, колыхало под его ногами, он покачивался. Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок...

— Тютька, тютька... Тютёчек ты мой!

Он нагнулся — погладить щенка, но невидимое землетрясение подкосило его и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив лакированного молодого человека.

— Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? — сказал он. — Им-мею полное право, да! Потому — вот они мозоли, вот, глядите!

Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный человек.

Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа — белые, красивые — от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком — и остановился, привлеченный блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбались все шире, шире — и, наконец, в полном восторге, он воскликнул:

— О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну, и хорош! Милый ты мой!

Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой.

Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нем со-

вершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило — и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь.

— А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! — вдруг сказал он, вставая. — Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, будто я тебе не шуществую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!

Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному — нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы.

Мастеровой подошел к молодому человеку, вынул руку из кармана...

Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза — чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав:

— Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается!

— Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! — угрожающе буркнул мастеровой.

Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился.

— Большой проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! — пробормотал кондуктор, робко открывая дверь.

— Большой Проспект? Мне тут слезать надо. Ну, нет, я еще не слезу! Я останусь!

Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдет, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой.

Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. «Известия» трепетали на гриперлевых брюках.

— Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! — сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами замигали. Трамвай все еще стоял. У окаменевшего

кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над «членом капитала».

— Ну, — сказал он, — я слезу и может никогда тебя больше не увижу. А на прощанье — я тебя сейчас...

Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к звонку.

— Стой! Не смей! — крикнул мастеровой. — Дай кончить!

Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь — и закончил фразу.

— На прощанье... Красавчик ты мой — дай я тебя поцелую!

Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы — и вышел.

Секундная пауза — потом взрыв: трамвайная аудитория надрывалась от хохота, трамвай грохотал по рельсам все дальше — сквозь ветер, тьму, вдоль замерзшей Невы.

1929.

ЧАСЫ

В этом рассказе не появляются на сцене никакие в Бозе почившие высокие особы. Мой скромный герой Семен Зайцер — или, если угодно, товарищ Зайцер — благополучно здравствует по сей день и проживает все там же, в доме № 7 по Караванной улице в Ленинграде. И тем не менее — это рассказ исторический, ибо описываемые здесь происшествия случились в ту романтическую эпоху, когда время в России считалось еще на года, а не на пятилетки, когда водка была объявлена буржуазным ядом и жаждущие забвения пили одеколон, когда в синей морозной пустыне петербургских улиц всю ночь щелкали выстрелы, когда веселые бандиты отпускали домой прохожих в одном воротничке и галстуке, когда лучшим подарком любимой девушке был перевязанный ленточкой фунт сахару, когда всего за один воз дров товарищ Зайцер приобрел свои знаменитые золотые часы.

Зайцер был великий человек: он заведывал заготовкой дров для замерзающего Петербурга, он подписывал дровяные ордера, он согревал людей, как солнце — круглый, рыжий, сияющий. И если вы осмеливались когда-нибудь смотреть на солнце, вы заметили, вероятно, что у него не только сияющий, но как бы несколько ошеломленный своим собственным сиянием вид. Именно такое самоудивление было на лице товарища Зайцера: брови у него всегда были выразительно вздернуты вверх, как будто он до сих пор никак не мог поверить, что он, Зайцер, вчерашний портновский подмастерье в городе Пинске, сидит теперь в собственном служебном кабинете, что в его распоряжении находится секретарша Верочка, что у него в жилетном кармане лежат золотые часы, что . . .

Впрочем, раскроем лучше все карты сразу и, не тратя драгоценных строк, скажем прямо, что вышеупомянутый фунт сахару с розовой ленточкой был преподнесен именно товарищем Зайцером секретарше Верочке, и что золотые часы были им приобретены тоже ради Верочки — в качестве противоядия серебряному кавказскому поясу, на днях появившемуся на тонкой талии товарища Кубаса, секретаря коммунистической ячейки и редактора стенной газеты в зайцерском учреждении.

Но Верочка — увы! — не замечала знаменитых золотых часов. Товарищ Зайцер уже несколько раз щелкал крышкой, он положил часы перед собой на груду бумаг, а Верочка по-прежнему рассеянно смотрела в окно на медленные хлопья снега. Товарищ Зайцер, наконец, не выдержал и сказал:

— Слушайте, товарищ Верочка, вы видели такие часы, а? Так я вам скажу, что вы — нет, не видели!

Он сверкнул в воздухе часами, сунул их в жилетный карман — и Верочка сейчас же услышала как бы исходившую из недр самого Зайцера нежнейшую фейную музыку и затем серебряный звон: девять. Верочка широко открыла глаза (они были синие). Зайцер, сияя, объяснил, что стоит только незаметно нажать в часах «вот здесь, на ихний, так сказать, животик, — и вы уже имеете и музыку, и время»! Верочке сейчас же захотелось попробовать самой — можно? Боже мой, ну что за вопрос! Ну, конечно!

Верочка подошла к товарищу Зайцеру. Она стала нащупывать рукой скрытую в его груди (точнее — в жилетном кармане) музыку. Совсем близко перед глазами Зайцера была ее шея, ее обнаженная до локтя рука. Верочка была вся чуть позолочена, она вся была покрыта тонким золотым пушком, она была слегка меховая — и может быть, именно это-то в ней и было то самое, что могло свести с ума хоть кого. Когда Верочка нашла, наконец, часы и надавила на них рукой, это было так, как будто она тихонько сжала в руке сердце товарища Зайцера. Его пойманное сердце забилось, он решил: как только часы кончат свою музыку — он немедленно скажет Верочке то, что он давно уже хотел сказать, но все никак не мог набраться храбрости.

Очень вероятно, что он и в самом деле сказал бы, если бы в этот момент в кабинет не вошел товарищ Кубас. Верочка, покраснев, выпрямилась, Зайцер зашуршал бумагами, ядовитый змеиный хвостик улыбки мелькнул и спрятался в углу губ товарища Кубаса. Он нарочно помедлил секунду и затем подсушенным официальным тоном заявил, что товарищ Вера должна быть сегодня откомандирована для составления очередного номера стенной газеты. Зайцев приветливо улыбнулся:

— Дорогой товарищ Кубас, вы же забываете, что сегодня вечером у нас заседание и я должен продиктовать моей (подчеркнуто) секретарше доклад о весенней кампании по заготовке дров. Товарищ Вера, принесите сюда свою пишущую машинку, я вас прошу...

Верочка вышла. Снимая чехол с машинки, она слышала сквозь дверь кабинета, как голоса там становились все громче, как они поднялись до крика. «Без нее я не могу выпустить стенгазету! Вы срываете работу по политическому воспитанию трудящихся!» — кричал Кубас. «А вы суете свою палку в колесо отопления красной столицы!» — кричал Зайцер. Верочка знала, что именно от нее зависит политическое воспитание трудящихся и отопление красной столицы. Но она до сих пор не могла понять своего сердца: кто — товарищ Зайцер или товарищ Кубас? Зайцер — уютный и теплый, у него дрова и часы и квартира (не комната, а целая квартира!). У Кубаса — перетянутая серебряным поясом тонкая талия, у него острые птичьи глаза, с ним страшновато, но...

Что «но», Верочке было неясно. Ясно было только одно, что срок пришел, что если не сейчас — там, в кабинете, то сегодня вечером, ночью, завтра утром все должно было, наконец, как-то разрешиться. Но как? Как — чтобы не пришлось потом жалеть о сделанной ошибке? Верочка вздохнула, своими пушистыми руками осторожно подняла тяжелую, как судьба, машинку и понесла ее навстречу роковым решениям в кабинет.

— Сидите, прошу вас, — сказал Верочке Зайцер. — Я сейчас буду вам диктовать.

— Ах, так? Очень хорошо! — товарищ Кубас клюнул Зайцера глазами и вышел.

Верочка положила руки на клавиши. В тишине было слышно, как тяжело дышал Зайцер. Он смотрел на ее руки... За окном падал пушистый снег.

— Да... Так вот, значит — весна, — сказал Зайцер.

— Весна? — удивилась Верочка.

— Если я говорю, что весна, то, значит, — да, весна. Пишите: «К началу нашей весенней кампании»...

Товарищ Зайцер, наперекор стихиям, был прав. Вы думаете, что весна — это розовое, голубое и соловьи? Сентиментальный предрассудок! На снежной поляне два вчера еще пасшихся рядом оленя вдруг кидаются один на другого из-за оленьей девушки — это весна. Вчера еще смирные, как олени, люди сегодня становятся героями и окрашивают снег своей кровью — это весна. Цвет весны не голубой, не розовый, а красный — опасности, страсти, лихорадки, сражения.

Вечернее заседание в зайцеровском кабинете было сражением, вернее поединком. Верочка лихорадочно стенографировала выстрелы — иначе нельзя было назвать реплики, которыми обменивались противники. Каждый пункт в докладе Зайцера Кубас осыпал двенадцатидюймовыми цитатами из Ленина. Каждый куб дров становился чем-то вроде знаменитого «дома паромщика» в марнских боях.

— Слушайте, товарищ Кубас, этак мы и к утру не кончим! — не выдержал председатель.

Чтобы не компрометировать себя капиталистическим блеском золота, Зайцер еще в начале заседания положил свои часы в ящик письменного стола. Теперь он незаметно выдвинул ящик, взглянул: двенадцать. Уже замолкли звонки последних трамваев, уже вышли на промысел ночные бандиты, когда, наконец, началась баллотировка. Верочка в лихорадке подсчитывала голоса: она знала, что голосуются не кубические метры дров, но человеческие сердца.

Десять голосов против одного. Этот один, разбитый наголову, туго стянув свой серебряный кавказский пояс, ушел, не прощаясь ни с кем. И, разумеется, счастливый победитель — Зайцер отправился провожать Верочку домой.

Чуть сияющие снегом ущелья улиц были темны и пусты: нигде ни души, ни единого огонька в черных ок-

нах. Если бы товарищ Зайцер был теперь в этой пустыне один, он может быть шел бы на цыпочках, чтобы не было слышно скрипа его сапог на снегу, он вероятно шарахнулся бы от первого встречного в сторону, он конечно пустился бы бежать во всю прыть. Но сейчас, когда где-то впереди мелькнул выстрел и теплая рука Верочки вздрогнула в его руке, Зайцер только засмеялся:

— Ну и что? Пусть себе стреляют, я же с вами.

Это был новый, героический Зайцер. Этому Зайцеру даже хотелось, чтобы случилось что-нибудь страшное, он ничего не боялся. Кроме только одного: предстоящего сейчас объяснения с Верочкой. Боже мой... как, с чего начать? Начать — это страшнее всего.

Зайцер неистово крутил пуговицу своего пальто, как будто она-то и мешала ему раскрыть рот. Пуговица, наконец, оторвалась, Зайцер заговорил:

— «Я вам хочу сказать, Верочка, одну вещь...»

«Вот оно!» Верочкина рука вздрогнула, как недавно от выстрела.

— Какую вещь? — спросила Верочка, хотя она и отлично знала — какую.

— У моей мамаши — кошка вчера окотилась, — выпалил Зайцер.

Верочка в полном недоумении посмотрела на Зайцера. Зажмурив глаза, он продолжал умиленным, теплым голосом:

— ...Знаете, лежит и себе поет, и семеро котят. И я смотрю и говорю: «Ой, Семен, ты тоже мог бы петь, как эта счастливая семейная кошка...»

По-видимому, Верочка слишком живо вообразила товарища Зайцера в счастливом положении семейной кошки: ямочка на правой щеке у ней задрожала, она закрыла рот рукой. Зайцер увидел это и понял: она сейчас вслух засмеется — и тогда погибло все... Он в ужасе ждал этого смеха, как в романах Толстого герои ждут взрыва крутящейся бомбы.

И вдруг он почувствовал, что пальцы Верочки крепко стиснули его руку, она вся прижалась к нему. Зайцеру захотелось неистово закричать от счастья. Он нагнулся к Верочке ближе...

— Да смотрите же! — испуганно шепнула ему Верочка.

Тогда Зайцер увидел: с противоположной стороны улицы наперерез им быстро шел высокий человек в военной шинели без погон. Одну секунду, не больше, существовал прежний Зайцер, попятившийся назад. Но тотчас же, новый, героический Зайцер скомандовал Верочке: «Прячьтесь в подъезд!», шагнул навстречу бандиту и, заняв позицию недалеко от проглотившего Верочку темного подъезда, остановился. Зайцер весь дрожал, но это не был страх: так, бурля, дрожит паровой котел, напряженный до предела своих пятнадцати атмосфер.

Человек в военной шинели подошел и тоже остановился. Страшная бесконечная пауза. Зайцер не мог больше ждать. Пересохшим голосом он сказал:

— Ну, и что?

Держа руку в кармане (револьвер!), человек молчал. Зайцер успел схватить глазами наглые, как у кайзера Вильгельма, усы и очень белые, крупные зубы.

Человек молчал, явно издеваясь: это для Зайцера было ясно. И еще яснее это стало, когда усы зашевелились и хрипло спросили:

— Спички есть?

Зайцер кипел, ему хотелось сразу же кинуться, ударить, но он принял вызов, он притворился, что поверил в спички, он достал коробок, зажег. Человек нагнулся к Зайцеру совсем вплотную, бесцеремонно взял его рукою за борт пальто, отогнул — чтобы ветром не задуло зажженную спичку, закурил. Зайцер увидел: на пальце человека блеснул перстень (снятый с кого-то, может быть, в эту же ночь). Зайцер почувствовал легкое, едва заметное прикосновение чужой руки. Он хотел уже потушить спичку, чтобы не видеть этих издевательски шевелящихся усов, как вдруг в красноватом пламени спички перед Зайцером проплыли в воздухе . . . золотые часы.

Потребовалась какая-то доля секунды, чтобы Зайцеру стала ясна вся механика проделанного бандитом трюка с закуриванием папиросы. И еще доля секунды, чтобы схватиться за свой жилетный карман: часов там уже не было. Сердце у Зайцера бешено забилось, он бросил еще горящую спичку прямо в лицо грабителя, выхватил у него свои часы и дико заорал (он никогда не думал, что у него может быть такой голос):

— Руки вверх! Застрелю! — и сунул руку в карман своего пальто.

Этот жест был так решителен, отпор был так неожидан, что бандит поднял руки вверх, а затем, не дожидаясь, пока Зайцер выстрелит, согнулся и, делая петли, побежал в темноту за углом.

Зайцер вынул из пальто платок (никакого револьвера, конечно, у него там не было) и вытер пот. Он еще весь дрожал, когда к нему подбежала бледная Верочка.

— Что? Что? — схватила она его за руку.

— Ничего. Вот... Зайцер встряхнул на ладони отвоеванные часы. — Негодяй! Он их уже вытащил, вы понимаете? Но он-таки серьезно ошибся со мной.

— Но как же вы не боялись, что он... Нет, я даже не думала, что вы — такой! — глаза у Верочки восторженно блестели.

— Я вам скажу, Верочка, что если бы он даже выстрелил, то мне это все равно, потому что я сейчас как сумасшедший, потому что я вас... Ой, Боже мой, вы же, Верочка, знаете!

Верочка, блестя глазами, молчала. Но там, внизу, в темноте, рука Верочки, ласкаясь, как кошка, медленно вползла в рукав Зайцера, его ладони коснулась кисть, покрытая невыносимым пушком. Сердце Зайцера оторвалось, как от ветки сладкое, спелое яблоко, и упало вниз.

— Ну, и что же вы молчите? Я же не могу больше! — крикнул Зайцер.

— Я вам лучше скажу завтра утром, хорошо?

Но Верочкины глаза и легкое движение ее руки все сказали Зайцеру уже сейчас... На утро осталась, повидимому, только банальная счастливая развязка. Впрочем, не правильнее ли будет сказать, что банальной из зависти называют ее те, кому не дано судьбой чувствовать весну в любое время года.

Неизвестно, спал ли товарищ Зайцер в эту весеннюю снежную ночь (едва ли). Неизвестно, спала ли Верочка (может быть). Но наутро к приходу товарища Зайцера все в его учреждении уже знали, что он — герой. Когда, наконец, он появился, его окружили, его засыпали вопросами, поздравлениями, улыбками. Не останавливаясь,

пробормотав что-то неясное, Зайцер устремился в свой кабинет. Странно, но вид у него был совершенно не соответствующий его геройскому положению: он был растерян, бледен. Может быть это было результатом бессонной ночи, может быть, он слишком волновался в ожидании встречи с Верочкой и ее обещанного ответа. Еще страннее было, что вбежав в свой кабинет он только испуганно, боком взглянул на Верочку, кивнул ей и сейчас же кинулся к письменному столу. Торопливо расстегнув пиджак, он вынул свои золотые часы, бросил их на груду бумаг, выдвинул ящик стола — и, нагнувшись над ним, застыл. Брови его были подняты до крайнего, допускаемого природой, предела.

— Что случилось? — испуганно подбежала к нему Верочка.

— Что случилось? — чужим голосом сказал Зайцер. — Вот что случилось!

Из ящика письменного стола он достал и рядом с золотыми часами положил... золотые часы. Верочка круглыми глазами смотрела, ничего не понимая.

— Так я же его ограбил — этого негодяя! — в отчаянии закричал Зайцер. Вот же мои часы, они себе лежали здесь, а тот подлый бандит имел свои часы, вы поняли, да?

Верочка поняла. Зайцер увидел, как задрожала ямочка на ее правой щеке. Она отвернулась. Какой-то странный звук, похожий на задушенное рыдание, через секунду — взрывы, неистового, неудержимого смеха — и Верочка стремглав вылетела в дверь.

Вероятно, она упала там, корчась, задыхаясь, на первый попавшийся стул. Из кабинета было слышно, как она сказала, вернее, крикнула что-то, столпившимся около нее сослуживцам — и следом за тем стихийная катастрофа хохота, перекидываясь из комнаты в комнату, из этажа в этаж, охватила все учреждение товарища Зайцера.

Засунув пальцы в волосы, он сидел один в кабинете. Перед ним лежало двое золотых часов. Когда скрипнула дверь и в кабинет просунулась чья-то голова, Зайцер, не поднимая глаз, пробормотал:

— Я сейчас занят. Завтра...

Больше уж никто не рисковал к нему войти — и меньше всех Верочка: она знала, что как только она его увидит — она не вытерпит и опять засмеется ему в лицо.

Когда в учреждении затихли последние шаги, захлопнулись последние двери, Зайцер встал, сунул в карман свои (настоящие свои) часы, подошел к столику, на котором стояла прикрытая чехлом Верочкина машинка. Горькими глазами он посмотрел на ее пустой стул, прижал руки к сердцу. Рядом с сердцем помещались часы — и эти проклятые, погубившие его часы, заиграли свою музыку. Зайцер яростно надавил рукой, чтобы музыка перестала, в часах что-то хрустнуло — они замолчали.

Пустые, обезлюдевшие комнаты, лестница, вестибюль. На стене, в вестибюле Зайцер увидел экстренный номер стенгазеты, выпущенный сегодня Кубасом (и может быть Верочка ему помогала). Там был изображен маленький смешной человечек с свирепо вздернутыми бровями, в каждой руке у него были огромные часы. Внизу была крупная подпись: «Руки вверх!»

Зайцер поспешно отвернулся и вышел, навсегда, из своего учреждения, из сердца Верочки, из этого рассказа.

Париж, июль, 1934.

ВИДЕНИЕ

Водка была особенная, настоенная на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Иванов и Куколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт, ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв.

У Куколя очки сползали на нос, его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз, лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него стучала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого маленького человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей и вил себе гнездо из газет.

Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где — на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и они вышли вместе, друг перед дружкой стараясь шагать как можно тверже.

В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас, перед рассветом, накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножившиеся луны. Кремлевские башни превратились в вавилонские: их верхушки уходили в белую бесконечность. Иванову вспомнился человечек на верху буфета и он осторожно спросил Куколя:

— А этого, на буфете, который гнездо вил — помнишь? Вот чудак!

— На буфете . . . гнездо? — вытаращил глаза Куколь. Потом спохватился и неуверенно сказал: — Да, да помню.

Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, испытующе поглядывая друг на друга.

Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще, он спустился на узкие переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, только шел все быстрее.

— Ну, где же это самое твое шоссе? Скоро? — спросил наконец Куколь.

— Сейчас, сейчас! — с притворной бодростью сказал Иванов.

И в самом деле, они перешли, спотыкаясь, через рельсы и выбрались на какое-то шоссе. Какое — Иванов не знал. Но Куколь успокоился, снял очки, даже запел что-то.

Вдруг шедший впереди Иванов остановился, во что-то вглядываясь, потом круто повернулся спиной к дороге и стал, зажмурив глаза. Куколь подошел.

— Что такое? — спросил он, ничего не понимая.

— Да нет, ничего особенного... — Иванов открыл глаза, он изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла, губы у него дрожали.

— Ну, так идем. Чего же ты стал? — сказал Куколь.

Иванов вынул платок, тщательно протер глаза. Он медлил, он боялся: а что, если повернувшись, он снова увидит *это*? Но близорукие, прищуренные без очков, глаза Куколя с такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с духом и повернулся.

И справа, на пересекавшей шоссе дороге, он снова увидел *это*.

Уже рассветало, дул легкий ветер. Разорванный туман летел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный от земли, призрачный висел в воздухе черный лесок. И к лесу медленно приближался, колыхаясь вправо и влево... белый слон! Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза — и снова увидел слона.

Его прошиб пот: ему стало ясно, что он допился до галлюцинаций. Если бы не было этого проклятого Куколя, можно было бы сесть, с закрытыми глазами просидеть полчаса, пока не пройдет хмель и не исчезнет этот нелепый белый слон. Но Куколь весело напевал за спиной,

Иванову во что бы то ни стало надо было идти вперед — туда, где в тумане плыл слон. И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая глаза и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продолжается. Он потерял всякое представление о времени: может быть, он шел так час, а может быть всего только пять минут.

До его сознания смутно дошло, что сзади, где напевая плелся Куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял, что Куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянулся и увидел: разинув рот, Куколь сквозь очки пристально глядел куда-то. Как только он заметил, что Иванов смотрит на него, он торопливо сбросил очки.

— Я бы, знаешь, посидел бы... Покурим, а? — робко сказал он Иванову.

На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сговорившись, оба сели спиной к лесу, около которого Иванову привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, мучительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки к глазам, потом, с опаской покосившись на Иванова, снова опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро глянул через плечо — и сейчас же отвернулся. Длинное лошадиное лицо его было бледно, испуганно.

Иванову пришла в голову дикая мысль, что у Куколя — тоже галлюцинация, что он тоже увидел что-то. Но что? Иванов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя.

Догоревшая папироса обожгла Куколю пальцы — только тогда он очнулся, бросил окурок и сказал Иванову:

— Ну, что же, надо идти, а?

Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопределенное движение ногами, как будто собирался встать, но не встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился на него, на себя, и вскочил, нарочно толкнув Куколя плечом.

Когда он повернулся и глянул вдаль — ему захотелось орать от радости: галлюцинация исчезла, впереди были только белые ленты тумана и черный лес. Он косолапо, по-медвежьи побежал к лесу, крикнув Куколю: «Догоняй». Но пьяные ноги слушались плохо, он плюхнулся в грязь. Догнавший его Куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, — как курица, когда она пьет.

Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была заросшая кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась. Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз, где как блюдо с молоком лежала налитая туманом круглая полянка.

И на повороте, будто наткнувшись на какую-то невидимую стену, оба враз остановились. Совсем близко на поляне Иванов снова увидел белого слона и ему показалось даже, что он успел разглядеть короткий, мирно помахивающий слоновый хвост. В галлюцинации ничего не было страшного, но Иванову страшно было убедиться, что он сходит с ума. Не оглядываясь, он побежал во весь дух. Сзади он слышал прерывающееся, хриплое дыхание Куколя.

В двадцати шагах под березой вился дымок: рябой, с облупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Облупленный нос — это было так просто, трезво, реально, что Иванов сразу опамятовался. Он, все еще тяжело дыша, присел возле костра и спросил:

— Вы, товарищ, в Москву? Служите там?

— Да, служба! Черт бы ее взял! — сердито плюнул красноармеец.

— А что? — участливо спросил Иванов, с нежностью глядя на облупленный нос.

— Да как же... сукин сын, а? На последней станции перед Москвой забунтовал, пришлось снять его с поезда.

— Кого — его? — осторожно вставил Куколь (он уже тоже сидел у костра).

— Да слона этого самого. Из Ливадии везем: сиамский царь нашему подарил, а теперь, значит, ввиду революции — в Москву, в зверинец... Белых у вас нету.

— Нету, нету! — восторженно подхватил Иванов. — Я еще издали на шоссе его увидал и обрадовался: вот, думаю, московским трудящим подарок! Спасибо, дорогой товарищ!

Он влюбленно стиснул руку удивленному красноармейцу, и пошел. Куколь за ним.

И молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга, они зашагали через лес к шоссе.

ЛЕВ

Все началось с происшествия совершенно фантастического: именно — великолепный царь зверей, лев оказался вдребезги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок, это была совершенная катастрофа.

Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней балета копье: тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно — и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса — лев подложил такую свинью! Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя: на спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у «красного директора» театра шло SOS-ное заседание.

В дверь постучали, и в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребякин. «Красный директор» (он сейчас на самом деле был красный — от злости) накинулся на него:

— Ну, что, что надо? Некогда! К черту!

— Я, товарищ директор . . . я — насчет льва, — сказал пожарный.

— Ну, что насчет льва?

— Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть . . .

Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза. Если бывают, то громадный, в чугунных сапожищах, Жеребкин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев? Он божился, что выйдет, что он из-за кулис смотрел на все репетиции, что он когда еще был солдатом, играл

в «Царе Максимилиане». И в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор приказал Жеребякину сейчас одеться и попробовать.

Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку «марш льва». Лев Петя Жеребякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в рязанском селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз — и запнулся.

— Падай же, черт... падай! — бешеным шепотом зашипел на него режиссер.

Лев послушно рухнулся вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в последний момент — опять катастрофа?

Его подняли. Он вылез из шкуры, он стоял бледный, держась за спину и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская (впрочем, в медведях — всегда есть что-то детское, не правда ли?)

К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор стал его торопить:

— Ну, товарищ, назвался львом — полезай в шкуру. Лезь, лезь, брат, скоро начнем!

Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть: он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что это была за экстренная надобность — он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал напомнить, что Жеребякин — кандидат в партию, что он — ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить — и, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра.

— Ну, куда, зачем его черт понес? — снова красный от злости спрашивал директор. — Какие-такие у него секреты?

Красному директору никто не мог ответить: секрет был известен только Пете Жеребякину — и, разумеется, автору этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем

переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет.

Ночи в ту ночь не было: это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург исчезает; вместо него — Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним Дворцом, у решетки Александровского сада — милиционер с винтовкой.

Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных рабочих. Из-за плеч Пете Жеребякину видно только лицо милиционера — круглое, похожее на рязанское яблоко-медовку. Происходит что-то очень странное: милиционера хватают за руки, за плечи — и наконец, один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с милиционером — и милиционер так же внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург: перед Жеребякиным — девушка в милиционерской фуражке и гимнастерке, первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились, из глаз — искры.

— Стыдно вам, товарищ, — только и сказала она Пете Жеребякину, но как сказала! Он растерялся, он забормотал виновато:

— Да это же ей-Богу не я! Я просто домой шел...

— Эх ты... А еще рабочий! — посмотрела на него милиционерка, но как посмотрела!

Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк — и это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд.

Назавтра — снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин шел со своего дежурства в театре домой, и снова у решетки Александровского сада — милиционерка. Жеребякин хотел прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него — и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки

отсвечивала заря, сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него пять лет на разных фронтах.

Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязанской губернии, и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну, как же: и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету...

Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума — и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно.

В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребякин спросил милиционерку:

— А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей можно замуж? То есть, не при исполнении, а вообще — как ваша служба вроде военная...

— А зачем — замуж? — опершись на винтовку, сказала Катя-милиционерка. — Мы теперь — как мужчины: хочем и так любим...

Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребякина — и договорила:

— Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочинял... Или бы актер: чтоб вышел и ему бы весь театр захлопал...

Яблоко-медовка: и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше: его дело — конченное...

Нет, не кончено! Бывают еще чудеса на свете! И когда случилось невероятное это происшествие, что лев, Божьим изволением, напился пьяным — Петю Жеребякина как осенило, он кинулся в кабинет к директору...

Впрочем, это все — уже позади: сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это — рядом с театром, и счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка — это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у ней просту-

пали росинки — и никогда она не была милее, чем вот такая, домашняя.

Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле — она не поверила. Потом — заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него (но как посмотрела!) и сказала, что придет непременно.

Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенснэ в ложе. На сцене, за закрытым еще занавесом, балерины оправляли юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребякина волновались режиссер и директор.

— Помни: ты ударник! Смотри — не подгадь! — в львиное ухо шептал директор.

Занавес пошел вверх — и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, до верху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребякиным, он вылезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился — и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось — он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои, сразу ставшие чужими руки и ноги, медленно полез на скалу.

На верху скалы лев поднял голову — и совсем близко от себя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю: она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз, два! — и остановилось. Он весь дрожал: сейчас решалась его судьба, уже летело в него копье. Раз! — ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так — и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни — куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа...

В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное: смертельно раненый лев стоял неподвижно на верху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услыхали, как режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт, падай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастическое: лев поднял правую лапу, быстро перекрестился — и камнем рухнул со скалы...

Секунда всеобщего оцепенения, потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.

1935.

ВСТРЕЧА

Человек с колючим бобриком, в мундире жандармского полковника, по-военному отчеканил свои показания и сел. Он производил у подсудимого обыск, его показания были бесспорны, точны, убийственны. Но подсудимый даже не посмотрел на него. Он не дыша, боясь шевельнуться, прислушивался к мерному топоту солдатских ног: сейчас в зал должен был войти тюремный конвой — и с ним последняя надежда на спасение для подсудимого. Подсудимый знал, что конвоем командует Попов, тоже революционер, как и он сам, и что Попов попытается в удобный момент передать ему револьвер.

Но Попов дошел только до эстрады, на которой сидели судьи: тут, вместо того, чтобы подойти с конвоем к подсудимому, он растерянно остановился и, не мигая, вытянув шею, глядел в глубь зала. Шея у него была неожиданно тонкая для его широких плеч — как будто по ошибке взятая от чужого человеческого комплекта. Он стоял и удивленно, забыв обо всем, смотрел на жандармского полковника.

Кроме полковника, никто этого не заметил, никому не понятна была причина происшедшего замешательства. Впрочем, ничего не понял и полковник: он только почувствовал, как немигающий взгляд конвойного офицера с журавлиной шеей споткнулся на нем.

Раньше времени зазвенел звонок: перерыв. Продолжение заседания суда было отложено. Судьи, сверкая генеральскими эполетами, встали, задвигались. Все торопились в буфет, чтобы успеть там наспех проглотить чаю или кофе. Последними вышли из зала огромный краснолицый извозчик и лысый нищий, тоже вызванные в качестве свидетелей по делу.

В буфете после ярко освещенного зала показалось темно — тускловатые, пыльные лампы были, вдобавок,

завешены табачным туманом. Было открыто окно, всякий раз распахивалась дверь от сквозняка, подвешенные к потолку лампы слегка покачивались — и все внизу под ними тоже слегка покачивалось, все было непрочно, как во сне. И в самом деле — особенно после суровой реальности того, что происходило в зале, все здесь было похоже на сон или бред.

Мелькали в дыму солдаты, цыгане, мужики, офицеры. Священник, приводивший на суде свидетелей к присяге, обнимая цыганку, напевал шансонетку. К столику, за которым о чем-то спорили извозчик и нищий, дружески подсел жандармский полковник. «Из-за чего изволите горячиться, ваше превосходительство?» — спросил он нищего. Здесь, во сне, никто не удивлялся, что нищий принял титул превосходительства, как должное, но даже и здесь полковнику показалось нелепым, когда нищий сердито показал на извозчика: «Из-за того, что прапорщик Симков позволил себе сесть за мой столик, не спросив разрешения у меня, как полагается по уставу. Он забывает о моем чине!» Прапорщик-извозчик, добродушно колыхаясь животом, захохотал: «Все мы тут, дорогой мой, в одном чине: фи-гу-ранты! И всем нам одна цена: сто франков в день. Исключение — полковник: во-первых, получает сто двадцать, во-вторых — играет самого себя. Это называется «повезло!»

И, действительно, повезло: в этом фильме из русской жизни бывшему жандармскому полковнику дали роль жандармского полковника. Режиссер говорил, что он играет превосходно, а он совсем не играл: он просто стал прежним самим собой. Стал настолько, до таких мелочей, что вот сейчас, закурив папиросу, помахал спичкой совершенно прежним ленивым жестом — и, как бывало тогда, бросил спичку еще горящей.

Сверху, из табачного тумана, спустилась рука и взяла из пепельницы еще горевшую спичку. Полковник взглянул вверх — и встретился с глазами длинношеего конвойного офицера Попова. Нагнувшись, Попов пристально смотрел полковнику прямо в лицо. Догоревшая спичка обожгла ему пальцы, он бросил ее, не закурив — и молча исчез в фантастической толпе цыган, солдат, мужиков.

«Что это значит?» — сказал полковник. «Что — что значит?» — удивленно переспросил извозчик. Полковник попробовал объяснить, но не мог, потому что ничего, в сущности, не произошло. Вернее, произошло только одно: полковнику показалось, что этого длинношеего офицера он уже встречал когда-то. Но когда? Где? В Крыму? В Константинополе? Он никак не мог вспомнить и это не давало ему покоя, как застрявшая где-то в зубах незаметная рыбья косточка, которую непременно нужно вынуть.

Прапорщик-извозчик, вкусно подхохатывая, рассказывал что-то про цыганку, про какую-то подвязку, но слова не доходили до полковника: мешала рыбья косточка. А может быть и не в ней было дело: просто хотелось пить, а кофе еще до сих пор им не принесли. Гарсон опять пролетел в тумане мимо их столика. Полковник обернулся, чтобы поймать его — и сзади себя, совсем близко, снова увидел Попова: перед самым носом священника он встряхивал на ладони два револьвера. «За каким чертом ты таскаешь с собой настоящий револьвер, раз тебе здесь дают бутафорский?» — спросил священник. «Об-обожаю револьверы... с детских лет...» — сказал Попов, слегка заикаясь.

Как только полковник услышал этот захлебывающийся, заикающийся голос, в голове у него, как в театре, мгновенно раздернулся какой-то занавес — и он все вспомнил, даже увидел с какой-то испугавшей его самого ясностью.

Этот человек, тогда — в студенческой форме, сидел спиною к нему, нагнувшись над железным столиком тюремной камеры. Полковник смотрел на него сквозь стеклянный глазок двери. Студент увлекся и не замечал ничего: перед ним на столике были сделанные из хлеба шахматы, он играл сам с собою. Полковник вошел в камеру, схватил разграфленный листок бумаги вместе с шахматами, скомкал и сунул к себе в карман. Он был сам шахматист и знал, что это будет самым чувствительным наказанием для заключенного, а этот упрямец заслуживает наказания. Студент взглянул на полковника и ничего не сказал, только сделал глотательное движение, на тонкой шее поднялся вверх и опустился кадык. Полковник, не отрывая глаз от его шеи, сказал очень

ласково: «Вы получите свидание с вашей невестой. Я объяснил ей, что если вы будете молчать, то вам грозит петля, и она обещала убедить вас быть откровенней».

Свиданий с невестой у студента было не одно, а несколько. Это тянулось целый месяц. Полковник слышал, как девушка плакала, умоляла, целовала. В конце концов студент заговорил откровенно. Когда полковник подписал приказ о его освобождении, студент секунду, не мигая, смотрел на него ненавидящими глазами, потом, заикаясь, сказал: «Ллу-ллучше бы вы меня повесили! И з-знаете, если мы к-когда-нибудь встретимся»... Он запнулся и так, не кончив фразы, ушел.

И вот — теперь, здесь — они встретились. Кругом них в бредовом тумане мелькали ненастоящие цыгане, офицеры, мужики, нищие. Прежние свои роли играли только они двое: полковник — себя, Попов — революционера, хотя он и был теперь в офицерской форме. И в буфете уже звенел звонок, призывая их продолжать игру — и может быть теперь закончить ее.

Прапорщик-извозчик и превосходительный нищий ушли еще до звонка. Полковник шел в студию один. Из головы у него не выходил этот студент. Полковник вспомнил, что его невесту звали Мусей и что однажды он увидел, как она, покраснев, старалась спрятать палец, высунувшийся из прорванной перчатки, но лицо ее он совершенно забыл. «Какая странная вещь — память: забыть человеческое лицо — и запомнить прорванную перчатку...» — подумал полковник.

Он открыл дверь — и увидел себя на полутемном дворе, заваленном какими-то огромными пустыми ящиками. Он понял, что забыл во время свернуть направо и никак не мог сообразить сейчас, куда идти. Ощупью он нашел, наконец, дверь, через которую попал сюда, дернул ее — остановился: перед ним стоял «Попов». Вытянув длинную шею, усмехаясь, он сказал: «Зза-за-заблудились?» И продолжал стоять, глядя на полковника и держа руки в карманах.

«Сейчас он вынет из кармана револьвер...» — волосы на голове у полковника стали колючими. Он рассердился на себя и решительно шагнул на Попова: «Позвольте пройти!» Попов, не вынимая рук из кармана, посторонился. Полковник шел и слышал сзади себя шаги, все

ближе. Он изо всех сил старался идти не спеша — и чувствовал, что идет все быстрее.

В студию он вбежал, запыхавшись. Его уже ждали. Режиссер громко, при всех, сделал ему замечание, но полковник подумал только об одном: наверное он — этот Попов — тоже слышит это...

Полковник оглянулся: Попов сидел направо, немного сзади, так что полковнику нужно было только чуть повернуться, чтобы увидеть эти немигающие, неотступные глаза. Потом уже не поворачиваясь, он как-то затылком, шеей, правым ухом (оно горело) чувствовал на себе этот взгляд — и это связывало его, опутывало как паутина.

Режиссер крикнул: «Allons!», лампы зашипели. Полковник встал, чтобы снова повторить свои десять убийственных для подсудимого слов. Он хотел, как делал тот, прежний, полковник, вытянуть руку, показывая на подсудимого, но искоса, углом глаза, увидел: держа руки в карманах, Попов тоже встал. Полковник сделал рукой какое-то совершенно нелепое, деревянное движение и замолчал среди фразы: все слова вдруг вылетели из головы: «Да вы что — хватили лишнее или больны? — закричал на него режиссер. — Уходите вон! Проветритесь — тогда придете...»

Кто-то засмеялся. Согнувшись, стараясь быть поменьше, понезаметней — полковник вышел из студии. Впрочем, он уже не был полковником, как все эти дни: он снова стал тем человеком, который недавно мыл окна и получал на чай. Он шел по длинному, белому, пустому коридору и, стиснув кулаки, мысленно говорил режиссеру все то, что он вслух сказал бы, если бы мог.

В буфете было безлюдно, из экономии горела теперь только одна лампа. Полковник сел за столик, заказал кофе, потом остановил буфетчика: «Нет, лучше дайте коньяку!» Буфетчик что-то переспросил. «Ах, да все равно что — только поскорей!» — с досадой махнул полковник рукой: он, кипя, продолжал объясняться с режиссером, а тут этот буфетчик...

И вдруг он забыл сразу и режиссера, и обиду, и буфетчика, и все: к его столику от дверей шел Попов, покачивая головой на тонкой шее. Он остановился перед полковником и, как будто еще не решаясь, нащупывал

что-то в кармане рукой. Полковник уже знал, что такое это «что-то». Сердце у него заколотилось, но его руки и ноги были спутаны какой-то паутиной, он не мог ни встать, ни крикнуть.

Буфетчик принес кофе и коньяк, поставил на столик и ушел в кухню. Бывший полковник и бывший студент остались вдвоем. Полковник слышал, как, жужжа о потолок, шлепалась большая муха.

А ведь я вас сразу узз-узнал... — сказал «Попов», снова пошевелив рукою в кармане.

Полковник хотел сказать: «Что вам от меня нужно?», но понял, что это выйдет нелепо, смешно: он ведь знал, зачем нашел его здесь этот человек. Он ждал, не двигаясь, только сердце у него заколотилось еще сильнее.

— Помните, как вы в к-к-камере взяли у меня шахматы? — и сказали, что вы т-т-тоже шахматист? Я все п-п-помню! — продолжал «Попов», хитро щурясь и понемногу, медленно вынимая руку из кармана.

Полковник видел теперь только эту руку, она заполняла собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, увидел черные часы на ремешке с наискось треснувшим стеклом.Оставалась еще секунда. Полковник втянул голову в плечи, как черепаха, и закрыл глаза.

Прошла секунда, две — выстрела не было. «Целится» ... — мелькнуло в голове и, не выдержав, полковник открыл глаза.

«Попов» стоял перед ним, вытянув руку. В руке у него была карманная шахматная доска.

— Сыграем? — сказал он и, не дожидаясь ответа, сел напротив полковника.

1935.

БИЧ БОЖИЙ

1.

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днем падали в цене. Вечное, бессмертное золото вдруг стало больным, люди потеряли в него веру. Это было последнее, ничего прочного в жизни больше не осталось.

Прочной перестала быть самая земля под ногами. Она была как женщина, которая уже чувствует, что ее распухший живот скоро изрыгнет в мир новые существа — и она в страхе мечется, ее бросает в холод и жар.

Была зима, когда птицы замерзали на лету и со стуком падали на крыши, на мостовую. Потом настало такое лето, что деревья цвели три раза, а люди умирали от лихорадочного жара земли. В июльский день, когда земля лежала с черными, пересохшими, растрескавшимися губами, по ее телу прошла судорога. Земля выла круглым, огромным голосом. Птицы с криком носились над деревьями и боялись на них сесть. Молча падали на дали стены, церкви, дома. Люди бежали из городов как животные и стадами жили под открытым небом. Время исчезло. Никто не мог сказать, сколько часов или дней это длилось.

Вся покрытая холодным потом, земля наконец затихла. Все бросились в церкви. Сквозь трещины в сводах зияло раскаленное небо. Пламя свечей пригибалось от человеческих испарений, от тяжести выбрасываемых

вслух человеческих грехов. Бледные священники кричали с амвонов, что через три дня мир разлетится в куски, как положенный на уголья каштан.

Этот срок прошел. Земля по временам еще чуть-чуть вздрагивала, но она уцелела. Люди вернулись в дома и начали жить. По ночам они знали, что все прежнее кончилось, что теперь жизнь надо мерить месяцами, днями. И они жили бегом, коротко, задыхаясь, спеша. Как богач перед смертью торопится все раздать, так женщины, не жалея, раздавали себя направо и налево. Но они теперь не хотели больше рожать детей, груди им стали ненужны, они пили лекарства, чтобы стать безгрудыми.

И как женщины — незасеянными, бесплодными оставались поля. Деревни пустели, а города переливались через край, в городах нехватало домов. Было нечем дышать в театрах и в цирках, не замолкала музыка, огни не потухали всю ночь, красные искры сверкали в шелку, в золоте, в драгоценностях — и в глазах.

Эти глаза были теперь всюду. Лица были желтые, мертвые и только как уголья горели глаза. Они жгли. Они тройными кострами обкладывали подъезды театров, церквей, богатых домов. Они молча смотрели на выходящих. Всем запомнилась одна женщина: она держала на руках завернутого в лохмотья ребенка с почерневшим лицом, она считала его за живого, она его баюкала. Мимо нее бежали, зажимая носы надушенными платками, бежали скорее жить, чтобы до конца еще успеть истратить свое золото, тело, душу. Пили вино, прижимали губы к губам, кричали музыкантам: «Громче!» — чтобы не думать, не слышать . . .

Но однажды услышали: земля снова завыла. Она, как роженица, судорожно напрягла черное чрево и оттуда хлынули воды. Море с ревом бросилось на столицу и тотчас же опрокинулось назад, унося дома, деревья, людей. Когда рассвело, головы еще виднелись в розовой пене, затем пропали. Взошло солнце. На крыше дома боком лежала барка, ее дно было зеленое от водорослей, они свисали как женские волосы, с них текли ручьи. Огромные серебряные рыбы, сверкая, бились на мостовой. Голодные толпы с криками хватали их, убивали о камни и уносили, чтобы есть.

Все ждали новой волны — и скоро она пришла. Как и в первый раз, она поднялась на Востоке и покатилась на Запад, сметая все на пути. Но теперь это было уже не море, а люди.

О них знали, что они живут совсем по-другому, чем все здесь, в Европе, что у них зимою все белое от снега, что они ходят в шубах из овчины, что они убивают у себя на улицах волков — и сами как волки. Оторвавшись от Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих степей, они катились вниз — на юг, на запад — все быстрее, как огромный камень с горы.

От каменного топота тысяч лошадей земля глухо выла как во время землетрясения. Была ранняя весна, в итальянских долинах деревья стояли круглые и белые от цветов, листьев еще не было. Конники скакали, сбрасывая с себя овчины и смешивая свой запах с дыханием миндального цвета. Их вел Радагост, названный так по имени бога руссов. Одно ухо у него было отрублено и потому он никогда не снимал волчьей шапки. Римляне бежали от него, не оглядываясь, у римских солдат уже давно кубки были тяжелее их мечей.

Но золото в Риме еще было, золотом была куплена помощь Улда, князя хунов, которых многие называли также скифами. Улд и его хуны стали на пути Радагоста. В полдень Улд приехал к римлянам, держа на копье бородатую голову в волчьей шапке. Шапка с нее свалилась, и все увидали, что одно ухо у ней отрублено. Улд услышал, как римляне били в свои щиты и кричали ему навстречу. Слова были чужие, он разобрал только свое имя. Но и оно у римлян стало мягким, как мясо сваренное для стариков в воде, — «Ульд! Ульд!» Ему стало смешно, он кашлял от смеха, так что голова с его копья упала в белую пыль. Ее подняли и положили в винный мех, наполненный уксусом, чтобы сохранить ее и показать римлянам в день триумфального шествия Улда.

Этот день был назначен сенатом на 12 апреля. Год от Рождества Христова был 405-й.

— — —

Черная апрельская ночь. Закутанный в ночь Рим не был виден, его многоэтажные громады обозначались только вырезанными во мраке красными отверстиями окон.

Дома вздрагивали, посуда звенела. По каменным мостовым всю ночь громыхали военные повозки, тысяченого топали императорские гвардейцы. Рим готовился. Никто не знал, чем кончится завтрашний день, когда город будет наводнен полчищами хунов Улда и буйной чернью столицы. Перед вечером, как обычно, пролетариям выдавали хлеб, они стояли длинной очередью. Хлеба на всех не хватило. Толпа зажгла городские пекарни, одна из них догорала за мостом. На красном небе зубцы замка св. Ангела были угольно-черные.

Когда взошло солнце, человеческие потоки с окраин хлынули в центр. Узкие улицы нещадно сжимали пахнущую лохмотьями и потом толпу, вверху между семиэтажных домов была синяя трещина вместо неба. Люди задыхались, лица у них багровели. Они текли, кричали, рты были раскрыты, но крика не было слышно. Они текли, они заливали все, как лава. Чья-то голова на длинной гусиной шее вертелась над толпой во все стороны. В подъезде на ступенях египетский монах с бритым черепом встряхивал голубые мешочки. «Небесное лекарство — пыль с могилы святого Симеона — наилучшее небесное слабительное!» В толпе старуха закричала: «Продавай это тем, кто обожрался!» В монаха попал камень, он исчез. От старухи пахло вином, у нее было расстегнуто платье, виднелись высохшие длинные груди. Она стала проклинать монахов, апостола Петра, Юпитера, святую Деву. В толпе вертелась голова на гусиной шее. Люди текли. Откуда-то со дна вынырнула грязная рука, на ней сидел розовый попугай, он пронзительно крикнул: «Граждане, я — ветеран!» Попугая держал на руке солдат с прислушивающимся, поднятым вверх лицом, глаз у него не было, они были выжжены на войне. Ему стали бросать деньги в корзину. Старуха проклинала императорских солдат, она вспомнила о самом императоре, о его сестре: эта курва Плацидия со своим братом . . .

Внезапно она замолчала, обернулась. Человек с гусиной шеей схватил ее за плечо и сказал: «Ты пойдешь со мной». Уже совсем недалеко внизу был виден мост, в открытых воротах замка св. Ангела — солдаты префектуры. Улица шла вниз, под ногами были ступени, все спотыкались, но упасть никто не мог: шли так тесно, что каждый чувствовал плечи, локти, дыхание соседей.

Человек с гусиной шеей раскрыл рот, чтобы крикнуть — и не успел. Его длинная шея согнулась, голова повисла: сзади в него воткнули нож. Он не мог упасть, он медленно шел мертвый в толпе, голова у него моталась как у пьяного, кругом смеялись. Он упал только тогда, когда толпа перешла мост и разлилась по площади. Вдали, на форуме, трижды пропели трубы: там уже началось.

Пять солнц сверкали в конце форума — пять корабельных грудей, обшитых медью. Они плыли высоко над толпой, вделанные в мрамор ораторской трибуны. Там стояла сотня людей, женщин и мужчин, это были избранные. Дул ветер, им было холодно, на них снизу смотрели глаза. Кругом холодные колонны густо росли вверх, будто тяжелое синее небо грозило рухнуть и Рим хотел его подпереть. В мраморе чернели трещины от недавнего землетрясения, несколько колонн уже упало и упало несколько статуй. На пустых пьедесталах, цепляясь друг за друга, сидели теперь люди в лохмотьях, им было сверху лучше видно.

На помост под трибуной взошел человек с каменной, сизой от бритья челюстью. По этой челюсти все сразу узнали его, это был префект. Он говорил, выбрасывая в толпу слова, как камни из праща. «Его вечность император...» — «Громче!» — «Его вечность, император Гонорий болен лихорадкой, он отбыл в Равенну. Вместе с врачами заботы о больном разделяет его сестра, божественная августа Плацидия»... Внизу пробежал шепот, смешки. Префект перечислил императорские милости, он объявил, что сегодня рукою консула будет освобождено пятьдесят рабов — в честь триумфатора Улда.

Это имя упало на толпу как ветер: «Ульд! Ульд!» Белые ладони всплескивали над головами, ничего не было слышно, кроме этого имени: «Ульд». В конце живой улицы, огороженной императорскими гвардейцами, шли певчие в фиолетовых одеждах, они должно быть пели, рты у них были беззвучно раскрыты как на картине. Фиолетовый епископ, благословляя, поднял руку, на перстне у него блеснул камень. За ним шел консул и римские власти. Ветер бросил им пыль прямо в глаза, толпа навстречу им бросила варварское имя: «Ульд! Ульд!», они нагибали головы.

Вдруг все стихло. В тишине было слышно, как фыркает от пыли лошадь, но ее никто не видел, все смотрели вверх: там, покачиваясь, плыла голова, поднятая на копье. Одно ухо у нее было отрублено, на опущенных веках сидели мухи, ветер трепал рыжую бороду. Оскалив зубы, голова улыбалась римлянам, по спинам у них бежал холодок. Потом как стадо гнали пленных. У них были такие же бороды, черные, рыжие, и такие же оскаленные белые зубы.

Обгоняя шествие, к пленным подъехал конник. Это был тоже варвар. На нем были широкие кожаные штаны. Его лошадь фыркала от пыли розовыми ноздрями. Он нагнулся с коня и что-то сказал пленным, они засмеялись. Он проехал мимо них вперед.

На громыхающих двуколках везли неприятельское оружие, по ветру летели варварские знамена из конских хвостов. И, наконец, сзади трофеев, заблестела золотом триумфальная колесница, запряженная четверкой белых коней. Все жадно вытягивались, поднимались на носки, чтобы увидеть его.

Но золоченая колесница была пуста. Толпа растерянно молчала. Никто не понимал, что это значит. На помосте, ожидая триумфатора, стоял римский консул, видно было его высохшее, темное лицо и волосы, зимнебелые. Внизу кто-то крикнул: «Обманули!» Толпа загудела, шпалеры гвардейцев зашатались. В ту же минуту консул спустился по красным ступеням помоста и протянул руку, в руке был венок из лавров. Варвар в кожаных штанах нагнулся с коня и взял венок. Тогда все поняли, что это и был триумфатор Улд. Это имя опять взлетело над форумом, весь форум закипел, ладони плескали: «У-ульд! У-ульд! У-ульд!»

Он теперь стоял уже на помосте и смеялся, ему было смешно мягкое «Ульд». На нем была шапка из белой кожи, он не снял ее, венок он держал в руке. Консул отошел от варвара в сторону, потому что от него пахло кожей, потом. Горбун-переводчик с синей дворцовой перевязью через плечо бегал от консула к Улду, он показал Улду на выстроившуюся перед помостом длинную шеренгу рабов. Улд ничего не говорил, он кивнул горбуну и взял лавровый венок под мышку, чтобы почесаться. Над головой у него на ораторской трибуне за-

смеялись. Он оглянулся, зрачки у него были узкие, кошачьи.

Префект, двигая сизой челюстью и заглядывая в список, стал по одному выкликать освобожденных рабов. Первым поднялся на помост молодой раб, еще почти мальчик, кожа на лице у него была по-девичьи белая. Консул, исполняя обычай, поднял коричневую сухую руку и ударил его по щеке. Раб стал свободным, в глазах у него темнело, он, спотыкаясь, бежал вниз. На его белой коже были видны красные пятна от удара. «Сюда, сюда!» — кричали ему из толпы. Он кинулся в толпу, закрыв глаза, все еще не веря. К консулу уже подходил следующий.

Этот был широкоплечий, высокий, но он шел согнувшись, как будто нес на плечах тяжесть. Слева на черной голове у него было похожее на серебряную монету пятно седых волос. Он так дрожал, что его голые коленки стукались одна о другую. Консул заметил это, он удивленно посмотрел на раба. Налетел ветер и завернул перекинутый через локоть край консульского плаща. Консул поправил плащ, потом поднял руку, чтобы ударить раба по щеке.

Внезапно раб стал на голову выше консула: он выпрямился и схватил консула за руку. Так они стояли секунду, как вырезанные из мрамора. Толпа замерла. Консул отдернул свою руку, будто обломив ее. Два солдата схватили раба. Он громко закричал, внизу подхватили, толпа качнулась и, прорвав цепь гвардейцев, хлынула к триумфальному помосту, к ораторской трибуне. Это были два маленьких острова, было ясно, что они сейчас будут затоплены.

К краю помоста подошел Улд. Он положил два пальца в рот и длинно, пронзительно свистнул. Толпа дрогнула как взбесившийся конь от удара бича и остановилась. Улд снял с себя белую шапку и надел на голову лавровый венок. Толпа захлопала, нестройно, неуверенно. Громче всех, забыв о приличиях, хлопала публика на ораторской трибуне, женщины оттуда бросали Улду цветы. Консул торопливо кончил церемонию освобождения рабов.

По красным ступеням помоста поднимались теперь десятка два мальчиков, все были светловолосые, только

один был темный. Улду уже все надоело, его разморило солнцем, он сонно взглянул на мальчиков. Но тотчас же его глаза открылись шире, он весь повернулся к ним. Не отрывая от них глаз, он спросил что-то у горбуна-переводчика. Переводчик ответил, что это сыновья франкских и бургундских князей, они присланы отцами в Рим, как заложники. Улд молча показал рукою на одного из них. Переводчик взглянул на Улда умными собачьими глазами, какие всегда бывают у горбунов, и вытащил за руку мальчика с темной головой. На нем была белая рубашка, вышитая золотом, и широкие, завязанные у щиколоток штаны. Он стоял, нагнув голову, как будто на ней были рога. — «Да, он из твоей страны, — сказал переводчик Улду, — это сын хунского князя Мудьюга». — «Мудьюга? Я хорошо помню, у него было два сына. Как зовут этого?» — «Его зовут Атилла», — ответил горбун.

Улд подошел к мальчику и сказал ему что-то на своем языке. Атилла молчал, нагнув голову. Улд взял его за подбородок и поднял вверх его лицо. Мальчик как будто начал улыбаться, потом вдруг быстрым как прыжок движением, вонзил зубы в руку триумфатора. От неожиданности или боли Улд громко вскрикнул и отскочил назад, из руки у него капала кровь, он зажал руку своей белой шапкой. Потом, не оглядываясь, быстро сошел с помоста, вскочил на коня и, пригнувшись, поскакал через форум.

Тишина была такая, что было слышно, как копыта его коня падали на камень. И только когда он исчез, толпа опомнилась, все разом заговорили, все спрашивали друг друга:

«Что это значит? Что это за звереныш? Почему он вдруг укусил его?» Никто не знал.

2.

Из степей прибежали суслики. Их было множество, они были жирные, их жарили на огне и ели. Потом люди, один за другим, стали пухнуть, чернеть, умирать. Тогда Мудьюг понял, что надо бросить все и уйти отсюда, чтобы не умереть всем.

Это был уже конец зимы, снег не скрипел больше, от лошадей шел пар. Они прошли к реке, которой имя было Атил, ее называли также Ра, и еще позже — Волга. Было близко утро. Заря висела на небе клочьями, как куски сырого мяса, красными каплями падала на снег. Жена Мудьюга закричала так, что все остановились. Ее положили на войлок, на снегу она раздвинула ноги, ее распухший живот сотрясали судороги. Плечи у ребенка были такие широкие, что он, выходя, разорвал у матери все, и она умерла. По имени реки отец назвал его Атилла.

Они шли дальше, и шли всю весну так, чтобы солнце садилось у них перед глазами. а вставало сзади них. Когда Мудьюг видел дым, он приказывал сворачивать в сторону, он не хотел биться с людьми, потому что у него люди и лошади были усталые. Они остановились опять перед большой рекой, на ней были камни, белая вода с шумом била в них. Ночью на другом берегу небо стало распухшим и красным от огня, оно приподнималось и опускалось, собаки выли. К Мудьюгу привели двух людей, бороды у них были спалены огнем, они переплыли оттуда. Они сказали, что эту реку у них зовут Напр, а у римлян — Борисфен, и что готы к утру возьмут их город. Тогда хуны с шумом, как река, хлынули на другой берег и смыли готов, Мудьюг остался здесь князем.

Город был похож на череп. На макушке желтой и лысой горы как венец лежал дубовый тын, торчали рубленые из дерева башни. Под желтым лбом темнели пещеры, они оставались от древних насельников, о которых никто ничего не знал. В одной пещере была теперь кузница, вечером она мигала красным глазом. Весь торг и жилье были на подоле, под горой, у самой воды. Огромная желтая плешь внутри города была пуста, там стояло только пять жилых срубов, в одном жил Мудьюг, в других его ближние кметы. Временами город внезапно наполнялся людьми, он гудел, как улей. Это значило, что окрест в лесах кричат готы, приложив губы к щитам, или авары подползают, пересвистываясь, как тысяча птиц.

На остриях левой стены, по вечерам, солнце торчало, как отрубленная голова, потом падало вниз. Вдоль всей стены стоял высокий, темный дом, на бревнах были

вырезаны люди, звери и птицы. Обшитые медью ворота, открываясь, сверкали, из них выводили белого коня. Атилла долго не знал, что там внутри. Он учился стоять, хватаясь за ноги стреноженных лошадей, теплой и круглой была грудь женщины, теплым был щенок, вместе с которым он спал. Холодным был брат, Бледа. Он был выше Атиллы, он холодными руками толкал его сзади, Атилла ударялся коленями и подбородком об пол. Он знал, что если лежать, то больше этого не будет. Но он всегда поднимался и снова падал, чувствуя на шее холодные руки.

В черной стене был белый четырехугольный глаз. Атилла стоял на скамье и смотрел наружу, в него вливалось желтое, зеленое, синее. Рядом с его лицом было другое. Вдруг оно задрожало, Атилла почувствовал это пальцами, он почувствовал также капли на щеке, они были теплые. Неизвестно отчего, его пальцы тоже стали дрожать, он водил ими по лицу. У женщины были большие, влажные и теплые губы, она прижималась губами, становилось тепло внутри.

Это была Куна, жена Мудьюга. Оба, и Атилла, и Бледа, были не ее дети, но в тот день Атилла перестал для нее быть чужим. Свеон Адолб неслышно подошел сзади, взял мальчика под мышки и, смеясь, сказал: «Стыдно уж тебе быть с женщинами, пойдем со мной».

У Адолба был только один глаз и оттого он был как будто меньше других, он был как будто в том же мире, что и Атилла. Он дал Атилле стрелы и лук. Мальчик напряженно смотрел, как, впиваясь в стену, стрела долго дрожала. От камня стрелы прыгали вбок, щенок, лая, кидался за ними. Его черные уши болтались, он был весь теплый, желтый, от него пахло молоком. Атилла пустил в него стрелу — и попал. Щенок скакнул вверх, потом смешно повалился на бок, бок у него стал красным. «Хорошо», — сказал Адолб. Атилла, сев на корточки, напряженно смотрел. Щенок дергался, потом перестал, глаза у него были закрыты. Атилла толкнул его рукой, он хотел, чтобы щенок опять прыгал, но его щенок лежал, как камень. Атилла встал: «Что это?» — спросил он Адолба. «Ничего, издох, вот и все». Маленький, четырехугольный, нагнув лоб, думал Атилла, он не понимал, но ему стало холодно. «Тебе холодно?» — сказал он Адолбу.

— «Почему — холодно? Что ты!» — засмеялся Адолб. Атилла бросил лук наземь и побежал по ступеням вверх. Дома он лег у окна на лавку и с открытыми глазами лежал до вечера. На другой день он обо всем забыл.

Утром, выйдя, он увидел, что ворота в том большом доме уже не блестят, потому что они открыты. Было еще рано, розовые капли висели на листьях. Из открытых ворот выбежал старик, у него было белое меховое лицо и белая рубаха, в руке зеленый веник. Он с шумом жадно втянул в себя воздух и опять вбежал внутрь. Внутри было пусто, темно, высоко, солнце косым ножом разрезало темноту. Потом глаза привыкли, Атилла увидел в глубине четыре красных столба и сквозь наполовину отдернутую занавесь, огромные колени и ступни. Старик, согнувшись, мел около них пол, маленький, как муравей. Левой рукой он зажимал себе нос и рот, чтобы своим дыханием не осквернить это место. Потом он выскочил наружу и снова стал дышать. Атилла стоял у входа, прижавшись к воротам щекой, он чувствовал холодную от росы медь. «Уходи, уходи отсюда скорей!» — закричал на него старик.

Днем все шумело людьми. Когда Адолб, держа за руку Атиллу, вел его по ступеням, под ногами у них шуршали колосья. Они вошли в открытые медные ворота, там всюду были люди, это было так же как в реке, когда Атилла, купаясь, входил в нее и вода обнимала его со всех сторон. Все нагнули головы и зажали себе рукой дыханье. Адолб поднял Атиллу на плечо, он увидел, как медленно разошлась вправо и влево завеса на столбах. Там стоял огромный, выше Адолба, выше всех, человек с двумя головами, глаза у него блестели, ласточки метались над ним с писком. «Кто это?» — громко спросил Атилла. — «Ш-ш-ш... молчи!» В это время занавесь закрылась, все задышали с шумом. — «Это бог», — сказал Адолб. Атилла подумал и спросил: — «А ты?» — Адолб его не понял.

Потом все раздвинулись. В проходе шли и пели девушки, они были круглые, внутри становилось тепло. Они тащили за собой на веревке огромный хлеб. Сверху Атилле было видно, как утренний старик спрятался за этим хлебом и громко спросил: — «Видите вы меня?» — «Нет, не видим!» — весело закричали все. — «Пусть и

в будущее лето хлеб закроет меня», — закричал старик. — «Я хочу есть», — сказал Атилла, и Адолб унес его.

Снаружи, за окном, весь вечер пели, Атилла слышал быстрый тяжелый топот, девушки, шутя или умирая, завизжали. Из окна пахло горячим хлебом, телом, землей. Дверь скрипнула, Атилла увидел белую, круглую руку, Адолб встал. Он подошел к Атилле, единственный его глаз горел. Он задернул мальчика занавеской. — «Я бог», — вспомнив, сказал Атилла. — «Спи, спи сейчас-же!» И Атилла закрыл глаза.

Он увидел, что все — внизу, а он стоит огромный и у него две головы... Потом все шумно задышали, от этого стало жарко. Атилла поднялся, откинул занавеску. Показалось, что в том углу, где вчера спал Адолб, было сейчас две головы, и там шептались. — «Адолб!» — хотел позвать Атилла, но не сделал этого, почему, — он сам не знал. Ему было жарко. Он сбросил с себя все и лег голый. Месяц упал на стену, бревно стало белое и круглое, как рука.

Кони ржали и стучали копытами о дощатый помост. Мудьюг вынул из-за пояса плеть с золотой рукоятью и поднял ее. Он уехал на большую охоту, чтобы привезти лосей, медведей. С ним пошли все, это было как война. Город стоял пустой, были только одни женщины; Адолб и старики остались, чтобы оберечь их. По целым дням в тишине шумел дождь. Потом земля, деревья, небо — все стало как из молока, это был снег. Под окном черная птица сидела на дереве, легкие капли молока летели мимо нее, она не шевелилась. Было слышно, как из огня падают на пол угли. Атилла кидал их в окно, чтобы спугнуть птицу, но она не улетала. Вошел Адолб весь белый. Он сказал, что странник просит пищи и огня. Куна кивнула: «Пусть он войдет».

Когда странник поел, он сел ближе к огню, от его одежды пошел пар и запах мокрой шерсти. Он не шевелился, как птица, и у него был такой же загнутый острый нос. «Откуда ты?» — спросила Куна. — «Я»? — Он подумал. — «Я с севера, от моря, где родится янтарь. Я везу янтарь в Константинополь, там римляне дают за фунт янтаря фунт золота... Ты знаешь, что такое золото?» — Он взял Атиллу за щеку, его руки царапали

как ветка от дерева. — «Я знаю», — сказал Бледа и раскрыл свой большой рот.

За окном на дереве все еще сидела птица, как будто чего-то дожидаясь. Падал снег. Странник рассказывал о Константинополе, где столько золота, что от блеска его люди слепнут, и рассказывал о народах, которые живут на востоке и на севере. Около Рифейских гор есть люди, плешивые от рождения, они питаются плодами, каждый живет под деревом и на зиму окутывает его белым войлоком. Еще выше на север лежит земля Югра, там люди на вид так ужасны, что их никто никогда не видит: они ночью кладут на снег шкуры голубых лисиц и уходят, а купцы, придя, кладут около свой товар и, взяв шкуры, бегут не оглядываясь. А около моря сидят лютичи, у них город Радагост треугольный, лютее их никого нет в бою, они живут без князя.

Из огня упал на пол черный уголек. Странник поднял его и раздавил пальцами. — «И еще вагры на острове Фембра, и руяне на острове Руя, где город Аркана на черной скале. Корабли у них — то же, что кони у вас, и их все боятся». — «И тебя тоже?» — спросил Атилла. Человек засмеялся и прикрыл рукою лицо, рука у него была в угле, на щеке остались черные пятна. Он поклонился Куне и сказал, что пойдет спать. Окно было завешено ночью, дерево стояло теперь синее, птицы на нем уже не было.

Они еще долго, одни, сидели у огня. Большой рот у Бледы был раскрыт. Атилла стоял, нагнув лоб, и думал, почему есть люди, которых никто не видел. Вдруг он почувствовал что-то, оглянулся и ему показалось, что в окне мелькнуло лицо и щека с черными угольными пятнами. — «Смотри, смотри! — он схватил Куну за платье, — это он!» — «Кто?» — Куна вздрогнула. В окне никого не было, там была ночь... — «Поди, вели, чтобы Адолб не спал», — сказала она женщине, которая положила себе на полу войлок.

Атилла натянул на себя мех, ему стало тепло, потом жарко, он бежал все быстрее. Стены шли треугольником, никакого выхода, никаких ворот нигде не было. Он кинулся и изо всех сил застучал в стену, так что стало больно руке.

Руку ему изо всех сил стиснула Куна, она нагнулась над ним вся белая и говорила: «Скорей, скорей!» — Он увидел Адолба, Адолб стоял у окна на скамье, пригнув голову к левому плечу и изо всех сил натянув лук, за ногу ему уцепился Бледа и что-то кричал. Адолб отпихнул его ногой. — «Скорей, скорей!» — говорила Куна, плоская глиняная лампа в руке у нее тряслась, огонь, дымя, ложился, в дверь били чем-то тяжелым. Широкая доска на полу была поднята, из дыры несло холодом и чернотой. Куна бросила туда Атиллу, чьи-то руки подхватили его, доска захлопнулась. Он ничего не видел, он только слышал как рядом с ним колотится чье-то сердце. Большие, теплые губы, дрожа, нашли его лицо, он понял, что это Куна. Над самой головой у них застучали ноги, мягко рухнуло об пол, шурша посыпалась сухая пыль, стало очень тихо.

Он опустил руку, и почувствовал зерна, изо всех сил сжал их, они прошли между пальцев.

Тишина была только минуту, потом на дворе закричали: «Арчь! Арчь!», ночь снаружи обросла голосами, шумом, железом.

Сердце билось в лохматой, волчьей темноте, зерна шуршали меж пальцев. Опять сверху посыпалась пыль, над головой у них ходили. Они услышали, закутанный в темноту, далекий голос.

— Это он! — и Куна опять больно сжала руку Атилле. В нем быстро возникло и исчезло лицо с черными от угля пятнами.

— Это он, он! — Куна вскочила, Атилла тоже встал, ноги у него по колено ушли в зерно. Тотчас же доску над головой подняли, ворвался свет, громкий, красный. Атилла зажмурил глаза, он понял: сейчас конец.

Но Куна засмеялась, ее смех был мягкий и теплый как шерсть. Тогда Атилла открыл глаза.

Это был Мудьюг, отец. Он обхватил Куну вокруг тела, рукой сжимал ее грудь, и Куна смеялась. Потом он взял Атиллу за щеку, как всегда делал утром, но сейчас как будто вспомнил что-то и толкнул его от себя, так что мальчик упал в зерно. Он поднялся и смотрел, ничего не понимая.

За поясом у отца блестела золотая ручка от плети. Он ударил Атиллу глазами и сказал: — «Иди наверх».

Атилла увидел, что у него стал красным старый белый шрам на лбу.

Наверху было уже утро, крепкое, румяное, как яблоко; дерево за окном было розовое и белое. Куна тихонько тронула Атиллу и сказала ему: — «На, ешь». — Он взял яблоко, оно было холодное в руке, он не стал его есть. Бледа стал рядом, спиною к окну. — «Возьми, вытри», — и Мудьюг протянул Бледе свой меч. Атилле захотелось кинуться, отнять, но он только сильнее сжал яблоко, оно было холодное, от него холод шел по всему телу. Он чувствовал на себе как железо глаза Мудьюга.

Вошел Адолб. У него на ногах был снег, он постучал ими об пол и подошел к Мудьюгу. — «Я нашел их следы, они на лодках бегут вниз по реке, еще можно догнать их». — «Сейчас», — сказал Мудьюг. Он больно схватил за плечо Атиллу и повернул его к себе. — «Ты спрятался вместе с женщинами, ты трус!» Атилла не знал этого слова, но он все же понял, он сказал: — «Нет!» — «Это я, это я его спрятала!» — крикнула Куна. — «Молчи! Почему он не остался наверху, как Бледа?» — Атилла на мгновенье увидел, как Бледа хватал тогда за ноги Адолба и как Адолб отпихнул его, он хотел сказать об этом, но не сказал. Он стоял, нагнув лоб, на лбу жесткие вихры торчали как рога. — «Когда я вернусь, я тебя выпорю. Слышишь?» Все стало тяжелое, яблоко было как камень, оно выпало из рук Атиллы и покатилось. Куна вышла вместе с Адолбом и Мудьюгом. Атилла остался вдвоем с Бледой.

Исподлобья, не поднимая головы, Атилла увидел, как у Бледы ползли длинные, тонкие губы. — «Трус», — шепотом сказал Бледа. Атилла почувствовал как снизу, от живота, горячо хлынуло вверх, стиснуло горло. Ему показалось, что его руки схватили за горло Бледу, но этого не было, он только поднял голову и посмотрел Бледе глазами в глаза. Бледа сказал: — «Что ты, что ты!» — у него затряслись губы, он прижался к стене и стоял так. Атилла, не тронув его, вышел.

Он взял горсть снегу и съел, потом приложил снег к щекам. Куна, проходя мимо, остановилась, но ничего не сказала. Атилла понял, что она ничего не может, что он один. Солнце поднялось вверх, медные ворота, сверкая, открылись, и из них вышел старик — он вел за

собой белого коня. Атилла увидел себя на этом коне, он скачет по лесу, пригибаясь от ветвей: если это сделать пока не вернулся отец... Он подбежал, ухватил коня за белую гриву, конь покосился розовыми глазами. «Не трогай!» — крикнул старик. — «Это конь бога!» Атилла вспомнил огромные тяжелые ступни и колени: бог был больше и страшнее, чем отец. «А он может»... — начал Атилла, но не мог говорить дальше. У старика были красные, тяжелые веки, он поднял их и сказал: «Он может все. Пойди туда и сильно подумай о том, что тебе нужно».

Атилла вошел внутрь. Огромные, закопченные стены покрыли его, занавесь чуть дышала на красных столбах. По спине у него пошел холод, он широко открыл глаза, он почувствовал, что весь выходит через них. «Я хочу, чтоб этого не было!» — шепотом сказал он, потом стоял и ждал. Все было тихо, конь, снаружи, храпел.

Мудьюг вернулся, когда только начали есть. От него пахло свежим снегом, лицо от холода было красным, шрам на лбу — белый как тропинка. — «Мы их догнали, только один ушел», — сказал он, взял нож и разрезал мясо. Все ели молча. Атилла не мог есть, его сердце, перепрыгивая через куски мяса, неслось вперед. Перед глазами у него было окно, белое дерево блестело, медных ворот отсюда не было видно, но Атилла знал, что они есть, что они сверкают. Когда женщины унесли кувшины и блюда, Куна под столом тихонько погладила руку Атилле, и он понял, что *это* будет сейчас. «Я хочу, чтоб этого не было, не было!» — изо всех сил подумал он, глядя в окно, весь выходя через глаза.

Но это все-таки было. Отец приказал ему повернуться лицом к стене. Атилла сказал: «Нет!» Тогда отец схватил его за шею и пальцами приковал к стене, как железом. Атилла стоял, стиснув зубы, ему показалось, что щеки его стали твердыми как дерево. Потом он почувствовал, что его голые ноги дрожат, он сжал себя всего и перестал дрожать, он ни разу не крикнул. Когда все кончилось, он обернулся, посмотрел на отца зубами и выбежал наружу.

Там был снег голубой, мягкий, на нем оставались следы. Белое дерево стояло под окном, солнце на синем блестело. Но он только видел это глазами, это уже не

было в нем, как прежде, он был один, отдельно от всех, у него были огромные ступни и колени, он слышал как где-то, очень высоко, зубы его стучат.

Медные ворота были открыты, он вошел внутрь медленными шагами. Солнце низко светило сзади него, тень его легла длинная до самой занавеси и загнулась вверх. Он подошел и отдернул занавесь. Ласточки, свистя крыльями, как плети, закружились вверху двух огромных голов. На почерневших, деревянных щеках Атилла увидел белые следы от птичьего кала. Это было хорошо, Атилла улыбнулся. Он посмотрел вверх, на бога, так же как смотрел на отца, его глаза были оскалены как зубы. Потом он увидел на полу золото, золотые чаши, лук, посередине и по краям обделанный белой костью. Он поднял лук, поставил его на землю, наступил на один конец ногой и наложил стрелу. Тетива была туга, руки у него были еще детские, он не мог натянуть ее.

Он вернулся домой только тогда, когда все уже стало черным и синим. Он знал, что он сейчас сделает. До ночи он ходил по лесу, вдали пели волки, он понимал их пенье. У дверей дома он увидел человека в меховой рубашке, высоко над ним, отдельно, блестело синим острие копья, еще выше острые звезды. «Что ты тут бродишь ночью? Все давно спят», — сонно сказал он Атилле и открыл ему дверь.

Атилла услышал, как Адолб в своем углу зашевелился, потом снова начал храпеть, тогда Атилла пошел дальше. Он шел, пригнувшись, различая в темноте запахи спящих, слушая всем телом. Без ошибки, как будто было совсем светло, он схватил рукою нож, который всегда висел возле Адолба на стене. Адолб опять перестал храпеть, Атилла, подняв плечи, весь заострившись, стоял и ждал.

Когда по темной лестнице он поднялся в верхний сруб и осторожно приотворил дверь, на стену слева упала красная полоса, внутри горел свет. Он услышал свое частое дыхание, замер, впившись пальцами в холодное железное кольцо от двери. Потом сейчас же понял этими пальцами и всем телом, что уйти все равно не может, и вошел внутрь.

Плоская, глиняная лампа стояла на столе. Красный, похожий на копье, огонь качнулся, остановился. Отец

и Куна спали рядом, было жарко натоплено, меховое покрывало было сбито к стене. Голая рука отца лежала на груди Куны, его лицо было прикрыто рукою: у Куны одна нога была согнута в колене, Атилла увидел в красном сумраке белизну ее тела. Атилла смотрел, внутри него все шумело, как река, которая несется через пороги. В него вошло нечто новое, чего он до сих пор не знал. Это длилось только одно тонкое, как волос, мгновенье, но этого было довольно, чтобы Мудьюг проснулся, потому что его тело даже во сне всегда чувствовало сталь. Он успел отодвинуться, и нож Атиллы только слегка, боком, скользнул по ребру. Притянув к себе за руку Атиллу, Мудьюг долго смотрел на его крутой лоб, на упрямые, как рога, вихры. Понемногу брови у Мудьюга разошлись, шрам опять стал белый, он улыбнулся. — «Так. Это хорошо», — сказал он и отдал Атилле нож. — «Теперь иди спать». Мудьюг говорил тихо, Куна спала, Атилла опять посмотрел на нее. — «Подожди», —сказал Мудьюг. Он подумал. — «Я должен послать заложника в Рим. Ты поедешь туда завтра же, и с тобой поедет Адолб».

Когда, спустившись с лестницы, Атилла проходил через сени, он в темноте наткнулся на что-то. Рукою он узнал кадушку с медом, она всегда стояла здесь. Еще вчера вечером он тайком брал отсюда мед, но сейчас ему показалось, что с тех пор прошли целые годы. Это кончилось и больше не будет никогда.

В эту ночь Атилла видел отца в последний раз. На другой день, когда Атилла еще спал, Мудьюг призвал к себе Адолба и говорил с ним, потом снова уехал на охоту. Вечером он гнался по лесу за кабаном, было уже плохо видно. Мудьюг привстал в седле, чтобы метнуть в кабана копье, и на всем скаку ударился лбом о дубовый сук. Все засмеялись. Мудьюг тоже засмеялся — и умер. Вместо него сел править брат его, Ругила.

Атилла и Адолб в это время были уже далеко от дома.

3.

Круглые, как медведи, горы лежали и молчали. Потом они как будто встали на дыбы, из-под копыт у коней сыпались камни, маленькие и большие. Через день горы

стали зелеными, снег исчез, везде были листья и цветы. Это не могло быть, Атилла знал, что дома еще зима, но все-таки это было, это он видел глазами. Люди здесь жили в домах из камня, лица у всех были голые, одинаково у мужчин и женщин, они говорили, как птицы, но Адолб умел говорить с ними и смеяться. Атилла молча пожирал их глазами, как мясо ртом.

Они ехали, почти не останавливаясь. Как Адолб, как все, Атилла умел спать, положив голову на шею коня. Ночи и дни падали, как дождь, сначала были крупные отдельные капли, потом они слились, все стало сплошным. Плечи Атиллы болели как от тяжести, он был полон до краев. Когда однажды ночью они въехали в город и Адолб сказал: «Это Рим», Атилла только кивнул, в него уже ничего более не могло войти. Он упал на постель, раздавленный сном, он спал как камень всю ночь, днем проснулся только чтобы проглотить что-то и снова спал до утра. Его разбудил шум, чужой, огромный, железный, каменный, все дрожало.

Они вышли. Было еще рано, земля была мокрая. Но это была не земля, это был камень, гладкий как черный лед. Кони Адолба и Атиллы боялись идти по нем, они храпели, косили глазами, и Атилла смотрел на все искоса, углом глаза, как его конь. Улица шла вниз, лошади, скользя, садились на задние ноги.

Их обогнали носилки, занавеси были подняты, Атилла увидел внутри человека с голым, бледным лицом — он лежал. И еще другие носилки, там лежал огромный, распухший как тесто человек, громко дыша. Потом носилок стало много, занавеси были красные, синие с золотом и желтые, там тоже лежали люди. Атилла спросил Адолба: «Они не ходят — они все больные?» Адолб посмотрел на него одним глазом и подумал, потом сказал: «Они — богатые». Но Атилла видел их лица, он знал, что они больные. Он сжал ногами коня, он почувствовал, что у него ноги крепкие, ему стало весело. Он ударил свою лошадь, она поднялась на дыбы, люди внизу, пригибаясь, бросились в стороны. Адолб крикнул ему: «Тише! Ты забыл, где ты?» Они поехали тихо. На них смотрели. Атилла увидел слепого, который нес розовую птицу, птица что-то кричала человеческим голосом, но Атилла не удивился, как он ничему не удивлялся во сне.

Они слезли с лошадей, перед ними были золотые ворота. Золото ослепительно блестело; Атилла зажмурился, Адолб толкнул его: «Да смотри же, ты! Это — дворец, здесь император». Сердце у Атиллы понеслось, он знал, что император — это как его отец, как Мудьют, такой же большой и сильный. Он вспомнил, как отец взял его тогда за шею и приковал к стене, как железом. И как тогда, он стиснул зубы, он почувствовал, что щеки у него стали твердыми и сердце пошло ровно, как лошадь.

Он открыл глаза. Перед золотыми воротами тесно, как стадо, стояли люди с голыми как у женщин лицами и с голыми ногами, без штанов. Одежда была у всех одинаковая, белая с красными полосами внизу, и Атилле показалось, что у всех одинаковые, как их одежда, лица. «Сенаторы», — шепнул ему Адолб. Это слово было пустое, как орех, в который можно свистеть, внутри этого слова для Атиллы ничего не было. «Хун! Хун!» — услышал он их голоса и понял, что это про Адолба и про него, все показывали пальцами на их кожаные штаны и смеялись. Однажды дома на двор к ним пришел старик сверху, из лесов, он привел на цепи медведя, медведь плясал на снегу, все смотрели, мальчишки снизу тыкали в медведя палками. Вот так же было теперь. Атилла оскалил на сенаторов зубы, нагнул голову, как бык. Адолб схватил его сзади за плечо, Атилла крикнул: «Пусти!», но Адолб держал крепко, он повернул Атиллу лицом к воротам и Атилла забыл о медведе.

Ворота теперь были открыты, там стояли большие золотые солдаты, на солнце блестели их мечи. Один стоял впереди, у него было жирное лицо старухи и под его одеждой, как спрятанный круглый хлеб, выпирал живот. Он отрывал от кисти синие ягоды и ел их. Сенаторы подходили к нему поодиночке, они все одинаково улыбались. Атилла вспомнил, как улыбались собаки отца, когда он бросал им мясо. Солдат со старушечьим лицом ощупывал поверх одежды каждого из подходивших, они стояли перед ним, подняв руки. Атилла посмотрел на Адолба, спрашивая его глазами. «Он ищет, нет ли у них оружия, — ответил Адолб, — чтобы они не могли с оружием придти к императору». — «Он боится? Он не

может бояться», — сказал Атилла. Адолб прищурил свой глаз: — «Я не знаю. Но у них делают так».

Солдат начал ощупывать Адолба, лицо у Адолба стало красное. Атилле стало жарко, он услышал, как у него задрожали плечи и руки, он крикнул Адолбу: «Я не дамся, я ударю его ножом!» Адолб что-то сказал солдату. Сморщенные старушечьи губы сплюнули от синей ягоды, потом какое-то слово. Он вынул из-за пазухи кисть ягод, дал Атилле и толкнул его вперед. Атилла, все еще дрожа, пошел рядом с Адолбом, Адолб вытирал пот со лба, Атилла бросил ягоды на пестрые, блестящие камни и наступил ногой, так что брызнул сок, похожий на кровь.

Они вошли в комнату. Но это не была комната, это было как дом бога с двумя головами, где старик мел зеленым веником пол и где однажды девушки тащили на веревке огромный хлеб. Это все было далеко позади, из всего прежнего сюда пришел только Адолб, это было последнее, и Атилла крепко держал его руку. Нагнув голову набок, одним глазом, как смотрят птицы, Адолб смотрел на потолок. Там были золотые звезды и люди с крыльями и какой-то голубой дым.

Атилле было трудно дышать, он посмотрел: сзади, на низком столбе из розового камня, стояла чаша, оттуда шел дым. Атилла расширил ноздри и вдохнул, это не пахло ни огнем, ни зверем, ни людьми, это было не настоящее, противное. Он нагнулся и плюнул в чашу, чтобы потушить то, что там горело. Адолб больно дернул его руку и испуганно покосился: не видел ли кто? К ним уже бежал маленький горбун с синей перевязью через плечо. Он заговорил с Адолбом по-римски. Атилла смотрел. Руки у горбуна были длинные, белые как корни. Вдруг он повернул лицо к Атилле и сказал ему обыкновенными, понятными словами: «Так ты сын Мудьюга? Император будет доволен, он сейчас выйдет». Он пошел, но тотчас же вернулся и сказал Атилле: «Ты не бойся». Он положил на плечо Атилле свои длинные белые пальцы. Атилла стряхнул их. «Я не боюсь!» Нагнув голову, он смотрел на горбуна, они были одинакового роста, глаза у горбуна были теплые. Он улыбнулся и хотел говорить еще, но за высокими дверями из другой комнаты послышался шум, сенаторы встали.

Атилла ждал — ушами, глазами, как на охоте, когда под его рукою была туго натянутая тетива. Ему показалось, что за дверью крикнул петух, это не могло быть, он сделал свое ухо острым и после этого уже ничего не услышал кроме человеческих голосов. Двери открылись.

Вошел огромный в золотом панцире человек, в голой руке он держал меч, рука была налита силой, он был на голову выше Мудьюга. За ним шел какой-то небольшой человек, потом тот солдат со старушечьим лицом и еще много людей. Атилла, не отрываясь, смотрел на великана с мечом, это был он, он! «Это — он?» — потянул он за руку Адолба, но Адолб не ответил, он тоже смотрел. Сердце у Атиллы мчалось.

Император, держа меч, поднялся на ступени, теперь он стал еще выше. Там стояло кресло, на нем сверкали маленькие солнца, как в росе утром. На кресло сел небольшой человек в красной одежде. «Вот он, император Гонорий, он на троне, он сел, видишь?» — шепнул Адолб. Атилла смотрел, не веря. У этого человека было белое, сонное лицо и маленький кривой рот, сдвинутый влево, от этого казалось, будто что-то болит. Человек в золоте с мечом, огромный как бог, стал позади трона. Тогда Атилла поверил, что тот, другой, который сидел, был император.

Белые сенаторы поднимались к трону, согнув голову. Император обнимал и целовал каждого из них и что-то говорил каждому, не глядя, сонно. Солдат со старушечьим лицом стоял сбоку, прислонившись круглым животом к трону. Сенаторы, проходя, улыбались ему. Потом внизу перед троном стал юноша, по лицу у него катился пот, большие красные руки дрожали. Он стал говорить императору нараспев, в нос, он говорил один, все молчали. Адолб сказал Атилле: «Он читает стихи». Атилла не понял. Тогда Адолб сказал: «Он хвалит императора, он говорит что император — самый мудрый и самый сильный из всех людей». Атилле показалось, что Адолб смеется над ним, он хотел рассердиться, но не успел.

Двери из соседней комнаты снова открылись, оттуда вышел старик. Он был высокий, строгий, с серебряными волосами, все на него смотрели. У него в руках был большой белый петух с толстым красным гребнем, сзади

гребня была подвязана маленькая золотая корона. Нагнув голову вбок, петух сердито глядел желтым глазом и, не переставая, кричал: «Ко-о! Ко-о! Ко-о!»

Император как будто только теперь проснулся, он быстро встал с трона и взял на руки птицу. Его маленький рот, улыбаясь, еще больше сдвинулся влево, он целовал петуха сзади короны и теплым голосом говорил ему: «Рим, мой маленький Рим, ты хочешь кушать, да?», и петух отвечал императору: «Ко-о! Ко-о!» Поэт, который хвалил императора, торопливо сунул большую красную руку к себе за пазуху и потом подставил ее петуху, на ладони были зерна. Петух, склонив голову на бок, взглянул желтым глазом и стал клевать зерна. Сенаторы, толкаясь, тоже протягивали ладони, у одних были зерна, у других куски мяса. Петух, жадно глотая мясо, дергал шеей, его красный гребень и золотая корона вздрагивали. Было тихо, как в доме бога. Золото блестело. Из чаш на розовых столбах шел голубой дым. Атилла смотрел на петуха, на императора, на протянутые ладони. У него вдруг затрясся живот, как бывало раньше, когда Куна шутя щекотала его, и он громко засмеялся.

Все сразу повернулись к нему, лица у всех были испуганные. Император смотрел на Атиллу, глаза у него были большие и холодные как вода. Атилла сделал свою шею железной, он выдержал эти глаза. Император отвернулся и, кривя рот, сказал что-то горбуну. Горбун подбежал к Атилле и взял его за руку: «Иди! Иди отсюда скорей!» Через узенькую дверь он втащил его в длинный коридор. Адолб шел за ними. Со стен смотрели головы людей пустыми глазами, у них были ямы вместо глаз. Здесь пахло хорошо, это был запах кожи, тут стояли кожаные красные сундуки возле стен.

Горбун, запыхавшись, сел на сундук, и Атилла сел рядом с ним. Адолб нагнулся, его единственный глаз был желтый и злой. «Как у петуха!» — сказал Атилла и опять, вспомнив, стал смеяться. — «Дурак! Молчи! — Адолб стиснул его плечо. — Если ты так будешь и дальше...» — «Мне хочется смеяться», — сказал Атилла. — «Нельзя! — голос у Адолба был злой. — Здесь нельзя, это — не дома». Горбун посмотрел на Атиллу теплыми как шерсть глазами. «Здесь нужно лгать, мальчик», — сказал он. — «Что это — лгать?» — спросил Атилла.

Горбун обернулся к Адолбу: «Объясни ему ты». Адолб сказал: «Ты помнишь — мы ходили на лисицу? Ты помнишь — мы смотрели ее следы?» Атилла увидел гладкий голубой снег, и на нем — чуть посинее — следы лисьих пальцев, следы были вывернутые, лисица бежала, пятясь задом. «Она пятилась, чтобы обмануть собак, — продолжал Адолб. — Здесь кругом тебя собаки, помни это». Атилла кивнул молча, теперь он понял.

Горбун встал и пошел, качая длинными белыми руками. Он привел Атиллу и Адолба в комнату с большим окном, на окне были прозрачные, красные, желтые, синие звери и люди, но через окно ничего нельзя было увидеть и стены были из больших камней. «Ты будешь жить здесь», — сказал горбун. Адолб молчал, он стоял, отвернувшись, постукивал согнутым пальцем в стену, толстые камни глотали стук. Потом горбун снова повел их, и они вошли в другую комнату, там не было окон, были только стены, но было светло, солнце падало сверху. Здесь были мальчики и юноши, их было десять или немного больше. Атилла не мог сразу взять их всех в себя, он только запомнил, что все были одеты по-римски, а на одном были черные штаны. Они все говорили вслух и теперь сразу замолкли.

К Атилле подошел человек в запачканной белой одежде, его желтая лысина блестела, все лицо шевелилось и будто ползло на Атиллу. «Это Басс, учитель», — сказал Атилле горбун, потом Атилла услышал чужие римские слова и среди них имя своего отца, Мудьюга, и свое имя. Все столпились вокруг него и ощупывали, трогали его глазами.

Он увидел, что Адолб уходит вместе с горбуном. Он хотел крикнуть: «Адолб, не уходи!», но он запретил себе. Они ушли. Атилла остался один. Кругом были чужие стены и люди. Нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами, он стоял и ждал. Басс положил ему на плечо руку, Атилла сделал движение плечом, чтобы рука ушла, но она осталась.

4.

Каменная река Рима ревела неумолимо всю ночь, и от этого сон был непрочный. Утром зазвонили в церкви.

Ослик под окном мелко просыпал копыта по камню, потом закричал так, как будто вспоминал, что загублена вся его жизнь. И от этого отчаянного вопля Приск проснулся.

Он несколько мгновений растерянно, близоруко смотрел, не понимая, где он. Кто-то дышал рядом. Не поворачивая головы, только скосив глаза, Приск увидел голое плечо, маленькие груди, накрашенные соски смотрели в стороны, как раскосые глаза... Приск сразу вспомнил все. Он покраснел так, что кровь загудела у него в ушах. За этим ли он ехал из Константинополя в Рим? Что сказал бы Евзапий, если бы узнал об этом?

В Константинополе все профессора считали Приска тупицей и лентяем. Этот толстый, неуклюжий юноша думал на лекциях неизвестно о чем, отвечал невпопад, над ним потешались. Так было, пока однажды он не услышал историка Евзапия. Евзапий говорил не об атомах, не о законах стихосложения, не о модной философии Платона, но о том самом, о чем мучился Приск. В конце лекции Евзапий открыл книгу и прочитал оттуда: «Постыдимся хотя бы зверей. У зверей все общее: и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса. А человек делается свирепее зверя, говоря эти холодные слова: „То твое, а это мое".» На другой день по приказу Константинопольского префекта Евзапий был арестован. Евзапий, улыбаясь, показал префекту книгу, тот увидел, что преступные слова принадлежат святому Иоанну Златоусту. На первой лекции Евзапия после его выхода из тюрьмы студенты неистовствовали, своими рукоплесканиями они долго мешали ему начать.

После лекции Приск пошел за Евзапием к нему домой и говорил с ним, пока не стало совсем темно. Утром он написал отцу, что больше не хочет брать у него денег, и с тех пор жил перепиской книг. Он стал любимым учеником историка. Через три года Евзапий умер, завещав ему сделать то, что не успел сделать сам: написать книгу об этих великих и страшных годах, быть может последних, когда, шатаясь, еще стоят обе империи — византийская и римская. Он оставил Приску немного денег, чтобы тот мог поехать и увидеть Рим. Приск ехал туда в полной уверенности, что будет смотреть на все глазами врача, который исследует больного. И вот, вместо этого,

на другой же день после приезда он проснулся в постели у этой женщины!

Это была первая женщина в его жизни. Он не знал, кто она, не знал даже ее имени. Она была еще почти девочка, ей не было больше семнадцати лет. Но эта девочка ночью учила его таким вещам, что он сейчас стыдился своего тела, рук, рта. Под окном опять отчаянно закричал ослик. Приск решил уйти сейчас же, пока она еще спит. Но сколько оставить ей денег? Это были деньги Евзапия... Кровь зашумела у Приска в ушах. Он увидел седую голову учителя, его бедную одежду, чернильные пятна на ней. Странно, но это было так: не будь этих чернильных пятен, Приск наверное не оказался бы здесь.

В день приезда Приск сразу же, с утра, пошел в публичную библиотеку на Трояновой площади. Он наслаждался самым запахом, видом книг, скрипом перьев. Он опомнился только тогда, когда сторож подошел и сказал, что читальный зал закрывается. На улице было уже темно. Приск вспомнил, что у него есть рекомендательное письмо к профессору логики Бассу. Он еще весь был полон книгами, идти ему туда не хотелось, но он решил, что надо.

Басса он застал запирающим дверь своего дома и обрадовался, что можно уйти. Но Басс сказал, что не отпустит его: они должны поужинать вместе у «Трех Моряков», это теперь самое модное место в Риме. Приск смутился, стал отказываться: он недостаточно хорошо одет, чтобы идти туда. Басс засмеялся. Приск увидел его небрежную, запачканную чернилами одежду, точь-в-точь как у Евзапия. Ему сразу стало хорошо с этим человеком, он казал: «Если так — я согласен». — «Что „если так"?» — переспросил Басс. Приск не мог объяснить, он покраснел. Басс с любопытством смотрел на этот девичий румянец, он предвкушал на сегодняшний вечер редкостное удовольствие.

Они спустились на мост. Внизу в черном зеркале лежал опрокинутый Рим: многоглазые с красными освещенными окнами дома, белые и круглые от цветов деревья, темные дворцы. Все покачивалось, непрочное, каждую минуту готовое исчезнуть без следа. Приск заговорил о том, зачем он приехал сюда, он с жаром стал

рассказывать о своей будущей книге — и вдруг остановился, почти испуганный тем, что он увидел на лице Басса. Это не была улыбка, его губы были неподвижны, но множество, десятки улыбок шевелились всюду на этом лице. Приглядевшись, Приск понял, что это было просто движение его бесчисленных морщин. «Мы пришли», — сказал Басс. Он откинул красную занавеску, освещенную изнутри, и толкнул Приска вперед.

Приск остановился на пороге, он не верил глазам. Он приготовился увидеть ту самую римскую роскошь, о которой ему столько говорил Евзапий, о которой он читал у Ювенала, Сенеки, Плиния, Аристида. Вместо этого перед ним был подвал с закопченным потолком, задыхающиеся в чаду лампы, грязные деревянные столы, какие-то разбойничьи рожи, отрепья. У самого входа сидел матрос с завязанным глазом. Рядом с ним на скамье, шатаясь, стояла пьяная девка. Она мутно взглянула на Приска. «А, сосунок! На, возьми!» — она быстро нагнулась и сунула в лицо Приску голую, остро пахнущую грудь. Приск отстранился. Женщина потеряла равновесие и упала, ему пришлось поддержать ее. Она повисла на нем, он не мог от нее освободиться, она крепко обнимала его тело голыми ногами, скрестив их у него за спиной. Кругом хохотали. Матрос ударил девку, она отпустила Приска и снова влезла на скамью. Приск растерянно огляделся кругом, ища глазами Басса.

Теперь он был сбит с толку еще больше: среди бродяг, матросов, проституток он увидел за столами богато одетых людей, блеснули перстни на тонких женских пальцах. К матросу с завязанным глазом подошла женщина в черном без всяких украшений платье, у ней был только тяжелый золотой обруч на шее. Матрос посадил ее к себе на колени, обхватил ее шею рукой и медленно стал сжимать. Женщина забилась, захрипела, Приск не выдержал и, сжав кулак, шагнул к матросу, но почувствовал: сзади его схватили за руки. Это был Басс. «Не мешай, она это любит», — спокойно сказал он. — «Любит?» — «Да. Это дает ей аппетит для игры в постели». Приск начал медленно краснеть. Морщины на лице Басса зашевелились, поползли, подкрадываясь — и вдруг он огорошил Приска вопросом: «Скажи, сколько женщин было в твоей жизни?» Приск молчал. «Ни одной?»

Приск покраснел до того, что у него выступили слезы. Ему было стыдно сказать правду и стыдно было своего стыда, он ненавидел сейчас этого улыбающегося римлянина, его ласковый голос, его прищуренные глаза.

«Басс! Басс!» Кругом хлопали, кричали, что Басс должен произнести речь. «О чем же?» — спросил Басс. В своей чаше с вином он увидел жирную зеленую муху, вынул ее и сказал: «Хотите об этой мухе?» Все захохотали. «Вы смеетесь напрасно: эта муха достойна уважения не менее, чем я — или чем вы, дорогие мои слушатели . . .»

Это была его обычная манера: он мог взять любой, попавшийся ему на глаза предмет и логикой извлечь оттуда самые неожиданные выводы. Он мгновенно сделал из мухи совершеннейшее из Божьих творений. Разве от мухи не рождаются черви, мудростью Творца предназначенные для истребления падали? Разве сам он, Басс, и все присутствующие — это не великолепные, жирные черви, пожирающие останки Рима? Он не щадил никого, черви корчились от его беспощадных похвал, но они должны были смеяться, они смеялись.

Приск забыл, что минуту назад он ненавидел Басса. Сейчас он наслаждался игрой его морщин, его голосом, он любил чернильные пятна на его одежде, этот человек другими словами говорил то же, что когда-то говорил Евзапий.

Неожиданно Приск услышал свое имя: каким-то необъяснимым поворотом логики Басс от мухи перешел к Приску. Играя десятками улыбок, он предложил выпить за успех своего молодого друга, который привез прекрасным римлянкам редкостный дар. Он сделал паузу. «Какой? Какой дар?» — закричали кругом. «Свою невинность», — ответил Басс.

Рукоплескания, возгласы, смех оглушили Приска. Он вскочил, чтобы бежать отсюда, но уже был окружен, перед ним была ограда из любопытных женских глаз, раскрытых губ, улыбок. Чьи-то надушенные руки влили ему в рот вина, его обожгло, он проглотил. Пятясь, он отступал куда-то, пока не наткнулся на барьер: это была маленькая ложа, отделенная от подвала занавесками. Занавески чуть раздвинулись, мелькнули раскосые глаза и тотчас же исчезли. Приск увидел бегущую по барьеру

крысу. Женщины испуганно кричали, поднимали платья. Крыса спрыгнула на пол, кинулась в какую-то раскрытую дверь в глубине подвала — и туда же стремглав выбежал за нею Приск.

Он очутился на дне узкого каменного колодца, в черном квадрате вверху близоруко, растерянно мигали звезды. Это был грязный дворик, пахло помоями, мочой. В углу цвело дерево, Приск удивился, когда сквозь вонь до него дошел нежный, сладкий запах. Он обошел двор кругом, он хотел выйти отсюда так, чтобы не возвращаться в подвал. Рядом с той дверью, через которую он попал в этот дворик, Приск увидел темную, низкую арку. Приск нагнулся и пошел туда, ощупывая руками шершавые кирпичные стены.

Вдруг его рука наткнулась на что-то теплое и мягкое. «Ты хочешь выйти отсюда? Иди за мной». Она взяла его за руку и повела. От нее пахло сладкими духами и еще чем-то, похожим на запах птицы. Через несколько шагов она опять засмеялась в темноте: «Я была уверена, что ты пойдешь здесь».

Они вышли на улицу. У выхода ждали два раба, один поднял фонарь и осветил женщину. Приск увидел ту, которая его вывела. У нее были пушистые, чуть раскосые глаза. Сквозь тонкий шелк платья смотрели в сторону острия широко раздвинутых, тоже как будто раскосых грудей. «Если хочешь, рабы отнесут и тебя», — предложила она, влезая в носилки. Приск хотел сказать «нет» — и сам удивился, когда услышал, что сказал «да». Осторожно, стараясь не коснуться ее, он лег рядом с ней в носилки. Деревянные жалюзи с треском упали.

Ремни носилок поскрипывали в такт шагам рабов. В темноте блестели ее зрачки, все было полно ее запахом. Должно быть один из носильщиков споткнулся: носилки накренились. Чтоб удержаться, Приск уперся рукой — и сквозь шелк его ладонь обожгло нежное острие, он испуганно отдернул руку. Тотчас же он услышал, как его спутница часто, неровно задышала, как от быстрого бега. Приск понял это дыхание, сердце у него неистово заколотилось. Он почувствовал: к нему прижались теплые, круглые колени. Потом началось что-то похожее на неожиданное падение с горы, когда больно, весело и все равно, что будет внизу.

Приск осторожно, чтобы не разбудить ее, слез с постели. Кругом все было незнакомое, было несколько дверей. Он смутно помнил, как ночью она пошла в ванну и сказала ему, чтоб он шел за нею и смотрел. Он отыскал эту дверь, пустил в мраморный бассейн горячую и холодную воду и стал быстро мыться, весь, с ног до головы. Из спальни он услышал смех, это была она. Приск замер так, как стоял: с поднятыми руками, в них таз полный воды. Он со страхом ждал, что сейчас она позовет его или войдет сюда, но ни того, ни другого не случилось. Тогда он быстро вылил на себя воду, почти не вытираясь, оделся и с забившимся сердцем открыл дверь в спальню.

Там никого не было, только пахло духами и еще чем-то, похожим на запах птицы. На мраморном столике, рядом с деньгами, оставленными Приском, лежало несколько золотых монет, это было вдесятеро больше того, что хотел заплатить ей Приск. Что это значит: что он оставил ей мало — или это была ее плата ему? Весь красный, зажав в руке золото, Приск выбежал из спальни, чтобы сейчас же отыскать женщину и отдать ей эти деньги. Он пробежал через небольшую приемную, дальше за дверью оказалась площадка и лестница вниз. На площадке было открыто окно, слышно было, как звонили в церкви напротив. У окна стояла маленькая седая старушка и молилась, у ее ног лежал веник. Приск подошел к ней: «Где твоя госпожа?» — «Это не моя госпожа. Молодая дама заплатила за комнату и ушла. Здесь гостиница». — «Куда ушла? Ты не знаешь, где она живет?» — «Нет, господин, не знаю». Старушка начала мести пол, Приск растерянно смотрел, как двигался веник. Но может быть еще не поздно, может быть удастся догнать ее на улице? Приск побежал по лестнице вниз.

Пронзительно, как птицы в ветер, кричали торговки. Цирюльники колотили в поднятые над головами медные тазы. Гремели по камням телеги, на них, бесстыдно раскинув ноги, лежали бычьи туши. Улица кружилась, неслась, человеческие лица мелькали, жили один миг, чтобы сейчас же утонуть навсегда. Той, которую искал Приск, нигде не было видно, она исчезла.

Внезапно грохот телег замолк. На передней кучер, оскалив зубы, стегал лошадь так, как будто хотел ее

убить, но проехать все же не мог: впереди был затор, люди стояли плечом к плечу, один влез на ступеньки, что-то читал. Приск подошел.

К двери был прибит большой белый лист, это была только что вывешенная официальная газета. «Не все слышали, еще раз!» — закричали голоса. Человек с длинной, гусиной шеей начал читать снова. Никаких оснований для тревоги нет. Возле Орелиана крестьяне взбунтовались из-за налогов, но они окружены императорским войском. Завтра обычной выдачи хлеба не будет... Толпа глухо заворчала, но человек с гусиной шеей, читая, повысил голос: «Ваш хлеб съедают иностранцы. По приказу префекта, все иностранцы, кроме медиков и учителей, будут высланы из Рима...»

Толпа зашевелилась, захлопала, закричала. «Правильно!» — «Вон их!» «Они жрут наш хлеб!» Молодой курчавый еврей, обвешанный медными кувшинами, нырнул в переулок, вся толпа с ревом бросилась за ним. Было слышно, как медные кувшины звякнули о камень. На ступеньках возле газеты было теперь пусто. Приск поднялся и прочитал в самом конце сообщение, что варвары под предводительством Радагоста вторглись в Империю.

К полудню это знали все, но об этом говорили только молча, глазами, об этом старались забыть. Все было так, как будто ничего не случилось. Солнце, не оглядываясь, летело, сотни солнц сверкали в золоте, в камнях, ожерельях, браслетах у ювелиров на Виа Сакра. Тонкие, шелковые женщины останавливались перед витринами. Они вели на привязи маленьких собачьих уродов, это было в моде. На углах у меняльных контор нельзя было пройти, здесь была лихорадка, курс римских денег сегодня понизился, здесь покупали и продавали. Татуированный, голубоглазый островитянин из Британии медленно шел через толпу. Его окружили, замелькали поднятые кулаки. «Вон! Вон из Рима!» Он хладнокровно обвел кругом голубыми глазами и спокойно пошел — так, как будто перед ним никого не было. Толпа опешила, расступилась перед ним.

Приск бродил по городу весь день и жадно собирал все в себя, это были зерна, из которых вырастет его книга. Перед сумерками пошел теплый весенний дождь, на

Марсовом Поле сладко задышали белые от цветов деревья. Бесконечные галереи быстро заполнялись людьми, гуляющие спасались от дождя. Женщины смеялись, в тонких намокших платьях они были как раздетые. Приску почудилось, что он услышал запах знакомых духов. Наступая на ноги, он догнал женщину, заглянул ей в лицо. Это была не она, не та.

Разбрасывая лужи, по аллее Марсова Поля скакал всадник. Он был весь в грязи, в крови, одна рука у него была забинтована. Это был солдат, оттуда, с полей, где сейчас быть может решалась судьба Рима. Из галереи все бросились к нему, под дождь. Он остановил лошадь и что-то говорил. Приск уже не слышал: ему пришло в голову, что он может узнать что-нибудь о своей незнакомке там, где они были вчера с Бассом, он побежал туда.

У «Трех Моряков» было еще пусто. У откинутой занавески на пороге сидела вчерашняя девка. Но она была совсем другая, она чинила одежду, она походила на чью-то жену или сестру. Она позвала матроса с завязанным глазом. Приск, краснея, спросил у него о той, которая вчера была в ложе. Матрос ничего о ней не знал. Тогда Приск медленно пошел домой.

Его комната была высоко. Поднимаясь, он машинально считал ступени, все время без слов думая о другом. Он загадал, что если будет больше двухсот, то... Ступеней было двести пять. Он сразу успокоился, ему показалось, что теперь все будет хорошо. Торопливо он зажег лампу и сел, чтобы записать все, что видел. Большая муха, жужжа, билась о потолок, и будто от этого Приск никак не мог найти нужные слова. Он решил начать с цифр, собранных вчера днем в библиотеке, и записал:

«В Риме живет до двух миллионов людей. Здесь 46 000 домов с наемными квартирами, 1790 дворцов, 850 бань, 1352 бассейна с фонтанами, 28 библиотек, 110 церквей, 2 цирка, пять театров. В одном только амфитеатре Тита вмещается до 80 000 человек. И никто не мог назвать число статуй, иные считают, что их более 10 000, но мне показалось, что их в городе столько же, сколько живых людей. Многие статуи лежат разбитые в куски недавним землетрясением. Равным образом и многие живые люди...»

Жирная зеленая муха ползла по столу к лампе. Приск взглянул на нее и тотчас же увидел медленно шевелящиеся морщины на лице Басса, потом мелькнула крыса, в отверстии занавески — раскосые глаза, темный двор с деревом в углу, шершавые кирпичные стены. Пальцы Приска, отдельно от него, вспомнили то горячее и мягкое, на что он наткнулся, ощупывая кирпичи. Все цифры исчезли, он ничего больше не мог написать.

Он потушил лампу и высунулся в окно. Каменная река Рим шумел, не замолкая. В темноте стояли деревья, белые от цветов, они походили на женщин в ночной одежде. Сюда, в окно, доходило их сладкое дыхание, смешанное с нечистым запахом города.

Приск лег в постель, уверенный, что ему не удастся заснуть, но заснул сейчас же. Утром он встал свежий, новый, как будто выздоровевший от тяжелой болезни. Он пошел в публичную библиотеку и начал там работать, но во время работы ни на минуту не переставал думать о ней, сам этого не сознавая. Так бывает иногда в море: прохладная, прозрачная вода наверху, а под ней — другое, мутное и теплое течение, невидимое для глаза.

И вдруг это течение со дна поднялось вверх: неожиданно для себя самого Приск закрыл книгу с совершенно готовым решением — немедленно идти к Бассу, он один мог знать, кто о н а и где ее найти.

Приск долго стучал в дверь к Бассу, все сильнее, все нетерпеливей. У соседей открывались окна, оттуда смотрели с любопытством. Приск ушел, не достучавшись. Он несколько раз возвращался сюда в следующие дни, но никогда не заставал Басса дома. Однажды, наконец, дверь ему открыл глухой старик с красными, больными глазами. Старик с трудом понял, что нужно Приску, и сказал, что каждое утро Басса можно найти в императорском дворце, где он занимается с учениками.

5.

Их было тринадцать: бургунд, вестгот, каледонец, бреон, франк, лонгобард, сакс, баювар, аллеман, бритт, иллириец, перс — и хун, сын Мудьюга, Атилла.

Они считались гостями императора. Дворцовые стены крепко обнимали их, так что они никуда не могли уйти. Сначала они чувствовали это, они вспоминали свои леса и степи, потом они видели это только во сне, а потом и самые их сны становились римскими. Тогда наступало счастье. Августейший хозяин был щедр к ним. Их учили лучшие учителя Рима. Они получали еду с императорской кухни. Они могли есть сколько угодно, они жирели. Горбун пускал для них в ход огромный водяной орган, и под музыку они переваривали пищу. На большом дворе был обозначенный красным песком круг, они могли скакать по этому кругу на лошадях. Они гуляли в императорском парке, там все стены были прикрыты розами. У входа большая удобная клетка, по ней, не переставая, взад и вперед, ходил волк.

Когда мимо его клетки шел Басс, волк, щеря зубы, кидался на прутья клетки, шерсть у него на шее вставала дыбом. Может быть это было потому, что Басс часто появлялся не один, а вместе с Пикусом, своей обезьяной.

Басс любил обезьян. Он уверял, что мог бы сделать из них достойных римских граждан, если бы ему дали для этого достаточно времени и денег. Он доказывал, что Бальбурий Медиоланский ошибался, когда видел в обезьянах человеческое прошлое: напротив — это будущее человека. Если Басс оставался во дворце обедать со своими питомцами, он сажал Пикуса по правую руку от себя и разговаривал с ним. Пикус умел все есть и умел пить вино. «Знаешь, Пикус, — говорил Басс, — чтобы иметь женщин, тебе не хватает только одного: денег». Ученики Басса смеялись и хлопали. Они были счастливее Пикуса: Басс сам выбирал для них женщин и сам оплачивал их из сумм, отпущенных ему на воспитание юных варваров.

Они обожали его, они хотели быть как он, но знали, что это невозможно: к нему, как к Богу, можно было стремиться, но достигнуть его было нельзя. И они боялись его, как Бога, хотя он никогда не наказывал никого из них. Если он бывал кем-нибудь недоволен, он за обедом начинал говорить о нем. Басс не говорил ничего дурного, напротив — он хвалил. Тонкая сеть морщин на его лице шевелилась едва заметно, но пойманный в эту сеть не знал куда деваться, кругом хохотали, он сидел крас-

ный, весь исхлестанный смехом, он запоминал это на всю жизнь.

Из всех тринадцати только двое ходили не в римской одежде, а в штанах, как варвары. Эти двое были лонгобард Айстульф и хун Атилла. Айстульфу это было позволено, он должен был скоро умереть, он всегда дрожал в лихорадке. С Атиллой было иначе. Вечером перед обедом горбун принес ему римскую одежду и сказал: «Это тебе посылает император, ты будешь теперь носить это». Атилла стал смеяться, ему было смешно, он представил себе, что будет без штанов, как девка. Он пришел есть вместе со всеми, одетый как до сих пор, в своей белой рубашке и широких штанах, завязанных у щиколоток. Басс ничего не сказал, он только с любопытством посмотрел на Атиллу. Справа от Басса сидел Пикус, он тоненькими черными пальцами ловко вынимал кости из рыбы и ел ее.

Атилле было трудно есть. Пища была чужая, мягкая, надушенная, она отрыгивалась назад, но он глотал ее снова, пока она не оставалась внутри. Басс, нагнувшись, говорил с Пикусом, потом он стал говорить со всеми. Атилла тогда не знал еще римских слов, он не понимал. Но внезапно, не глядя, он почувствовал на себе глаза. Это было у него отцовское, от Мудьюга, который не глядя чувствовал всякое направленное на него острие. Все смотрели на Атиллу. Напротив него было курносое лицо толстого бритта Уффы. Его нос сморщился, он захохотал первый, а за ним все. Басс сказал еще что-то, и они уже не могли лежать за столом, они вскочили и смеялись, стоя или сидя, они сквозь слезы смотрели то на Пикуса, то на Атиллу. Тогда Атилла понял, что Басс говорил о нем, что все смеялись сейчас над ним.

Кровь с шумом наполнила его голову. Он забыл советы горбуна и Адолба о том, что здесь надо быть как лисица. Он выскочил из-за стола, его глаза были оскалены как зубы, он вцепился глазами в Басса и пригнулся, чтобы прыгнуть на него. Он не успел: все закричали, его схватили сразу десятки рук.

В тот день было тепло, обедали под большим платаном в парке. Атиллу потащили к выходу и здесь в углу, около волчьей клетки, били его, потому что он осмелился броситься на их божество. Их было много, они были силь-

нее Атиллы, он лежал молча. Они испугались, что он молчит, перестали бить и ушли.

Стало тихо, Атилла слышал только: кто-то часто дышит около него. Он поднялся и увидел, что сквозь прутья клетки волк смотрит на него желтыми глазами, как будто молча говоря ему. Было так, как будто чья-то рука сжимала Атилле горло, ему нужно было, чтобы его коснулось сейчас теплое, каким в детстве была Куна. Он протянул руку через прутья и положил ее на теплую шею волка. Волк вздрогнул, но продолжал стоять, его глаза были крепко связаны с глазами Атиллы. «Я его убью», — сказал Атилла. Волк, не шевелясь, как будто все понимая, слушал.

С этого дня Атилла приносил волку мясо и говорил ему то, что ему нужно было сказать вслух и что он не мог держать запертым в себе. Больше ему не с кем было так говорить, он был один, Адолб уехал домой. Уезжая, он сказал Атилле: «Помни, что велел тебе отец: узнать у них все, что они знают». Атилла молча кивнул. Адолб как будто нечаянно тронул его лицо шершавой рукой и ушел.

Басс сказал горбуну-переводчику, чтобы он скорее научил маленького хуна римским словам. Для Атиллы эти слова были похожи на их еду: его уши отрыгивали эти слова, но он упрямо повторял их, пока они не оставались в нем, внутри. Скоро он знал их уже много, но они выходили из его рта жесткие как дерево, они скрипели и скрежетали. Горбуну было смешно слушать, его пальцы, длинные и белые как корни, шевелились на коленях и он улыбался. Но улыбался он совсем иначе чем Басс, глаза у него были теплые. Атилле захотелось говорить с ним. «Ты его любишь?» — спросил он у горбуна. — «Кого?» — «Учителя, Басса», — сказал Атилла. Пальцы на коленях у горбуна задвигались быстрее, как будто убегая, и он ответил только: «Тебе следует любить его». Атилла понял, что горбун убегает как лиса, он решил сделать то же и сказал: «Я его люблю». Горбун засмеялся: «Вот как, мальчик! Ты уже умеешь лгать?» Атилла увидел, что не умеет, ему было неприятно, как бывало раньше, когда Адолб учил его стрелять и он не попадал в цель. Это было то же самое, этому надо было учиться, как стрельбе.

Горбун занимался с Атиллой в библиотеке. Здесь были цветные окна, ковры, книги. Белые каменные головы смотрели опустошенными глазами. Рим почти не был слышен. Атилла опрокинул тишину, он ворвался запыхавшийся, крича: «Крыса! Крыса!» Император смертельно боялся крыс, если кто-нибудь во дворце видел крысу — за ней начиналась настоящая охота, пока ее не убивали. Горбун выскочил в коридор, Атилла показал ему место под красным кожаным сундуком, куда юркнула крыса. Со всех сторон сбегались люди. Атилла увидел толстого Уффу, баювара Гарицо Длинного и других, которые тогда били его в парке. Уффа, пыхтя, лежал на полу и заглядывал под сундук. Крысу так и не нашли. Ее не могли найти, потому что ее не было. Атилла выдумал ее. Горбун и все поверили, это было хорошо. В следующие дни он продолжал учиться этому.

Однажды во дворце было необычное движение. Люди шептались по углам. Атилла заметил, что когда он проходил по коридору, то все провожали его глазами, он не понимал, что это значит. Он встретил в коридоре Уффу, Гарицо Длинного и беловолосого Теодорика, сына вестготского короля. У Теодорика были нашиты на одежде христианские кресты, он был самый набожный из всех. Он показал другим глазами на Атиллу, и все трое стали на его пути. «Если они будут бить . . .» — подумал Атилла, но не успел кончить. Гарицо Длинный нагнулся к нему сверху, положил ему руку на плечо и сказал: «Отлично, отлично! Ты, кажется, уже начинаешь говорить. Если хочешь, я буду заниматься с тобой, когда уедет горбун». Гарицо гордился тем, что он умеет говорить чуть картавя, как римляне; он был надушен. Атилле хотелось сбросить его руку, ему был невыносим этот запах, но он уже умел многое, он не двинулся с места, он зубами улыбнулся Гарицо, Теодорику и Уффе. Но почему они так говорили с ним? Он не мог этого понять.

В библиотеке горбун сказал Атилле: «С завтрашнего дня ты начнешь заниматься у Басса и у других, ты у меня уже достаточно научился. Мне надо уехать». — «Куда?» — спросил Атилла. Пальцы на коленях у горбуна метались, дергались. Он вскочил и забегал по ковру, он говорил может быть не с Атиллой, а с самим собой —

о том, что варварские конники уже несутся по итальянским долинам, они уже недалеко от Флоренции, и если что может теперь спасти Рим, то это только хуны... «Хуны?» — переспросил Атилла не веря. — «Да, я еду к их князю Улду, — сказал горбун, — он куплен Римом, он и его войско». — «Нет!» — закричал Атилла, он повторял только одно слово, он забыл все другие. Горбун испуганно закрыл ему рот ладонью: «Не кричи, не кричи! Не надо, чтобы тебя слышали!»

Тогда Атилла понял, почему Гарицо и другие внезапно стали так ласковы с ним.

Это был тот тревожный день, когда все в Риме уже знали, что под Флоренцией начался бой. В этот день Приск пошел к Бассу в императорский дворец.

Басс был в библиотеке, он разговаривал с чернобородым врачом. В стороне, на краю огромного кожаного кресла, как зимний воробей, дрожал маленький лонгобард Айстульф, глаза у него тускло блестели. Врач тихо сказал Бассу, что мальчик проживет неделю, не больше. Басс похлопал Айстульфа по спине: «Веселей, мальчик! Тебе осталось ждать немного: доктор говорит, что через неделю твоя болезнь совсем кончится. Иди!» Доктор увел маленького варвара. Теперь Басс был свободен, он подошел к Приску и заговорил о том, о чем сегодня говорили все в городе: о приближающихся к Риму варварах.

Он как всегда шутил и улыбался. Казалось, непроницаемой сетью улыбок он был защищен от всего, он мог отшутиться от всех опасностей, страданий, может быть даже от самой смерти. Он весело сказал Приску: «Итак, мой юный друг, может быть через несколько дней и мы, вместе со всем Римом, будем навсегда исцелены от всех болезней, как этот маленький варвар? Ты должен быть доволен: для твоей книги — это находка, ты увидишь замечательный спектакль. Снова — хаос, снова — первый день творенья. Разница от Библии только в том, что скоты окажутся созданными в первый день, а человек — может быть потом, если у бога истории найдется свободное время, а если нет...»

Не переставая говорить, он под руку вел Приска по длинному коридору. «Вот сейчас свернем за угол — я

остановлю его и спрошу о н е й», — решил Приск. Когда свернули за угол, он покраснел, набрал воздуху, чтобы говорить — и не мог. Басс остановился у открытых дверей, крикнул ожидавшему на пороге беловолосому юноше: «Сейчас, Теодорик, сейчас» и стал прощаться с Приском. У Приска на лбу выступил пот: «Если я сейчас не спрошу — конец, я уже никогда ее не найду».... Басс увидел его растерянные, что-то кричащие глаза. «У тебя ко мне какое-нибудь дело?» — «Да» ... — пробормотал Приск, от стыда ненавидя и себя и Басса. «Тогда посиди на моих занятиях, когда я кончу — мы поговорим», — предложил Басс. Приск, сутулясь, пошел за ним. Он оставил дверь полуоткрытой. Беловолосый Теодорик хотел встать и закрыть ее, но не успел: Басс уже начал говорить.

Он медленно обвел глазами всех, как цепью связывая их взглядом. В углу он увидел Атиллу. Тонкая сеть на лице Басса зашевелилась. «Здравствуйте, мои юные римляне!» — громко сказал он. Он говорил так каждый день, надо было, чтобы эти варвары хорошо запомнили, что они — уже римляне. «Да здравствует Рим!» — закричали все. Атилла молчал, нагнув лоб с двумя торчащими вихрами, похожими на рога. Басс подошел к нему: «Почему ты один молчишь?» Атилла продолжал стоять все так же. «Ну, что же? Мы ждем ответа!» Все глаза были нацелены на Атиллу, он это чувствовал. «У меня болит язык», — сказал он; римские слова, выходя из его рта, скрипели и скрежетали. «Болит язык? Покажи, покажи-ка, может быть это опасно!» Басс взял Атиллу за подбородок. Тогда Атилла сжал свой язык зубами, так что сам услышал, как во рту хрустнуло. Потом он высунул язык и показал его Бассу, по языку струилась кровь, все увидели это.

Атилла смотрел в глаза Бассу, они боролись глазами как копьями — и Басс отвернулся. Сердце у Атиллы полетело, широко размахивая крыльями, он понял, что он победил. Но это длилось только одно мгновение. Все лицо Басса зашевелилось, как клубок змей, и он сказал, уже обращаясь ко всем: «Жаль, жаль, что наш юный друг не может приветствовать Рим. Остается нам, римлянам, приветствовать его, как соотечественника хунов, которые теперь благородно сражаются за нас. И чтобы вы все знали, как Рим ценит благородство, я вам скажу,

что за него заплачено тысяча пятьсот фунтов чистейшего, как это благородство, золота . . .»

Атилла задышал так громко, что все обернулись к нему. Уезжая, Адолб оставил Атилле свой нож, Атилла носил его на поясе под одеждой, и теперь ему казалось, что нож толкает его. Этого никто не знал, но все почувствовали, что сейчас, в следующую секунду, что-то произойдет. В тишине были слышны частые удары молотков, это работали на фабрике статуй под дворцовой стеной, молотки стучали как сердца.

Все разрешилось совершенно неожиданно: через неплотно прикрытую Приском дверь, хлопая крыльями, влетел петух императора, белый «Рим». Следом за ним в комнату вбежала девушка с протянутыми руками. Все встали: это была Плацидия, сестра императора. Ее волосы сверкали, они были огненно-рыжие и были осыпаны золотой пудрой. У нее были чуть раскосые зеленоватые глаза и будто такие же раскосые маленькие груди. «Лови его, Басс, лови!» — закричала она. Басс присел, расставив полы одежды. Петух остановился, золотая коронка у него съехала на бок. Плацидия взяла его на руки, белые перья на шее у него встопорщились, он нацелился и клюнул девушку в грудь, в острый кончик, обтянутый платьем. Она повела плечами, засмеялась, раскосо посмотрела вокруг, каждому показалось, что она посмотрела именно на него.

«Это мой юный друг Приск, из Византии», — сказал ей Басс, положив руку на плечо Приска. Он почувствовал: это плечо под его рукой дрожало. Красный, полуоткрыв рот, Приск смотрел на Плацидию. «Из Византии?» — рассеянно переспросила она, раскосо скользнув глазами по лицу Приска. В это время петух снова клюнул ее в левую грудь. «Бесстыдник! Возьми его, Басс, и неси за мной, он не может спокойно смотреть на меня!» — «А ты думаешь, я или кто-нибудь из нас — может?» — играя морщинами, сказал Басс. Девушка исподлобья взглянула на него и засмеялась. Потом она быстро, остро клюнула глазами каждого из тех, кто был здесь, и вместе с Бассом вышла.

И все-таки она осталась здесь, она была в каждом. (Ее запах вошел в ноздри Атиллы. Это был теплый запах ее пота, смешанный с чем-то чужим, приторным, как

дыхание падали. Атилла отвернулся и перестал дышать, он умел удерживать дыхание надолго). Гарицо Длинный облизывал губы. «У этой девочки должно быть волосы везде такие же золотые, как на голове. Я бы хотел полежать с ней! Даю голову на отсечение, что в этом искусстве она...»

Гарицо не кончил: что-то с грохотом упало, зазвенело. Это был столик, на котором стояла ваза. Приск задел ее, по-медвежьи, тяжело шагнув по направлению к Гарицо. Уже подойдя, он как будто вспомнил что-то, растерянно заморгал, повернул под прямым углом и выбежал в дверь.

В глубине гулкого, с огромными окнами коридора он увидел Басса, Басс передавал свою драгоценную ношу седоволосому хранителю императорского петуха. Немного подальше шла Плацидия, солнце показывало ее круглые ноги сквозь тонкую ткань. Она уже сворачивала за угол коридора, еще мгновение — и она исчезнет... «Приск, подожди — куда ты?» — крикнул Басс. Приск только взглянул на него дикими глазами и, ничего не ответив, быстро пробежал мимо.

Плацидия услышала за собой его шаги, остановилась, обернулась. Это была божественная августа, сестра императора. Она высокомерно, удивленно посмотрела на Приска. «А вдруг — я ошибся, вдруг и это только случайное сходство!» — пронеслось у него в голове. Он забыл все слова, он стоял молча, весь красный. «Тебе что-нибудь от меня нужно?» — спросила она. «Нет...» — пробормотал Приск. Она пожала плечами и ушла, не оглядываясь. Приск увидел, как огромная — в два человеческих роста — дверь в императорские покои открылась перед ней, потом захлопнулась. Все было кончено.

6.

Три дня Атилла не видел волка. Теперь он взял спрятанный за обедом кусок мяса и пошел в парк.

Была полная луна, каменные плиты на дворе лежали мягкие и белые, как будто это был снег. Под дворцовой стеной была черная тень. Атилла шел, все время держась в тени, чтобы его не увидели часовые: они стояли у золотых ворот, один чуть слышно пел песню о том, как он рубил дерево, а из дерева потекла кровь.

Ступая неслышно как волк, Атилла проскользнул в парк. Там тоже все было белое и черное. Под деревьями, белея, стояли голые женщины из камня. Внизу из оврага был слышен женский смех, голоса, Атилла знал, что там Басс, Гарицо, Уффа и остальные играют с женщинами. Ни около волчьей клетки, ни поблизости никого не было, можно было кормить волка и чувствовать его теплоту.

Атилла вошел в черный круг дерева, под которым стояла клетка. В темноте глаза волка блестели, как два зеленых светляка. Атилла просунул мясо сквозь прутья, светляки отодвинулись, волк ворчал. «Что ты? Это я, это я», — сказал Атилла, но волк продолжал ворчать, забившись в дальний угол.

Атилла понял, что волк был злой. Гарицо и другие часто дразнили его, просовывая палки сквозь прутья — наверное так было и сегодня. Атилла вдруг громко засмеялся — и сейчас же закрыл себе рот ладонью, чтобы никто не услышал. Но он продолжал смеяться внутри, он не мог перестать, потому что он сейчас видел все, что произойдет. Он нагнулся и открыл дверь клетки. Волк, блестя глазами, сидел все так же, забившись в угол, но Атилла знал, что потом он выскочит. Внизу в овраге голос Гарицо закричал: «Лови ее, лови!»

Мягкими волчьими шагами Атилла снова прошел по белым плитам двора. Если бы это был снег, он бы скрипел под ногами. Внезапно ему так захотелось, чтобы это был снег, что ему даже стало больно внутри, он остановился. «Эй, кто там?» — крикнул часовой у ворот. Атилла быстро нырнул в тень и прижался к стене за водосточной трубой. Часовой вышел на середину двора, постоял, потом вернулся к товарищам, что-то сказал им и снова запел. Опасность миновала. Маленькая боковая дверь во дворец была рядом.

У себя в комнате Атилла стоял, не шевелясь, сделав уши острыми, как волк, чующий добычу. Он ждал, что сейчас в парке закричат, он видел, как Гарицо испуганно лезет на дерево и его одежду рвут сучья, все бегут в разные стороны, волк прыжком опрокидывает Басса...

Но в парке все было тихо. А может быть волк из клетки выбежал не в парк, а во двор, потом на улицу — и теперь уже мчится где-нибудь по полям? Атилла по-

бежал вместе с волком, все дальше. Ему опять стало больно внутри, потому что он увидел волчьи следы на снегу, это было уже не здесь, а там, дома. Под окном стояло дерево, сучья у него были белые и мягкие от снега. На шее лежала теплая ладонь Куны. Странник с птичьим клювом сидел у огня и рассказывал о треугольном городе...

«Императора... Где император? Скорее разбудить императора!» Красная полоска из-под двери разрезала темноту комнаты, как нож. Были слышны испуганные, задыхающиеся от бега голоса. Атилла побежал к двери и чуть приоткрыл ее. Он увидел: солдаты с факелами обступили евнуха, красный свет дрожал на его старушечьем лице. Он еле выговорил трясущимися губами: «Что? Что случилось?» Атилла знал, что: это — его волк, сейчас солдаты расскажут, что он сделал.

Но он услышал совсем другое — такое, что у него забилось сердце и он едва не вскрикнул от радости. Солдаты, перебивая друг друга, рассказывали евнуху, что они стояли у ворот, как вдруг подскочил всадник, его лошадь задыхалась, с ее губ падала пена. Всадник привез известие, что хуны изменили, они внезапно напали на римскую заставу и изрубили всех. — «Это был сам Улд!» — «Они идут на Рим, утром они будут здесь!» — «Тише! Тише!» — отчаянным шепотом закричал евнух. — «Где он, где этот человек?» — «Он сам ранен, он лежит на дворе»... «Он может быть уже умер», — перебил другой солдат. Все замолчали. Смола с факелов, шипя, падала на пол. Евнух махнул рукой и побежал, солдаты за ним. В коридоре дворца стало темно.

Раненый, привезший известие о неожиданной измене Улда, был еще жив. Он подтвердил все, что говорили солдаты. Нужно было разбудить императора, но все боялись, никто не смел входить к нему ночью. Это могла сделать только Плацидия, но что если она сама сейчас там? Все во дворце знали, что император часто спит с сестрой.

К счастью они сегодня спали отдельно. Торопливо закручивая вокруг головы свои рыжие волосы, Плацидия выбежала на стук в белой ночной одежде и в красных туфлях. Одна туфля зацепилась за порог и соскочила. Плацидия даже не заметила, она быстро шла в

одной туфле, это увидел евнух, он сказал ей. Она, не останавливаясь, сбросила на ходу вторую туфлю и пошла дальше.

У дверей императорской спальни стоял огромный светловолосый аллеман, любимец Гонория. Плацидия вошла в спальню и сзади нее, на цыпочках, евнух. Белый мальтийский щенок императора выскочил из-под кровати и залаял. Император поднял налитые сном веки, они сейчас же снова упали. Он, не глядя, опустил руку, поднял подол Плацидии и провел рукой вверх по ее горячей, круглой ноге. «Дурак! Оставь! — оттолкнула она его руку. — Случилось несчастье».

Гонорий открыл глаза и увидел трясущиеся губы евнуха. «Рим . . . Рим» . . . — евнух не мог говорить. — «Что — Рим?» — «Рим — погиб!» — неожиданно громко выкрикнул евнух и заплакал. Император вскочил. Его маленький, тесный рот сдвинулся влево, глаза стали круглыми, как у птицы, собирающейся клюнуть. «Мерзавцы! — закричал он. — Обкормили? Принесите — сейчас же принесите его мне сюда!»

Евнух разинул рот, нижняя губа его висела синяя как мясо, ему показалось, что император лишился рассудка. Потом он понял: император говорит о своем любимом петухе. «Нет, не петух! Город Рим! Империя!» — сказал евнух, с силой вталкивая в императора каждое слово. Гонорий громко, с облегчением вздохнул. «Фу, как ты меня напугал! Значит, мой маленький „Рим" жив? Ну, хорошо. Тогда что же случилось?»

Евнух рассказал. Когда император, наконец, понял, что хуны изменили, что завтра утром они уже могут ворваться в Рим, ноги у него стали мягкими, он лег. «Как завтра? Нет, не завтра, это не может быть, это не может быть» . . . — растерянно повторял он, стараясь плотнее закутаться одеялом. Плацидия резко дернула его за руку: «Вставай сейчас же, слышишь?» Ее зеленые глаза кололи. Император испуганно, исподлобья посмотрел на нее и быстро спустил с кровати худые голые ноги.

Случилось так, что в тот вечер, когда Атилла выпустил волка, Басса в парке не было. Он остался дома, у него был Приск.

Приск пришел к Бассу так, как люди идут к хирургу: они знают, что сейчас в их живое тело войдет нож, но уж лучше это, чем медленная, ни на минуту не умолкающая боль. Эта боль называлась Плацидией. Приск знал, что Басс поднимет его на смех, но ему надо было выкричать перед кем-нибудь свою боль, и у него никого не было, кроме Басса.

То, что он увидел у Басса, было так неожиданно, что он на время совершенно забыл, зачем он явился сюда. Он с удивлением смотрел на жалкий облупленный потолок, на брошенный на полу травяной веник, на черствый кусок сыра на столе. Басс стоял в странной позе: лицом к стене. Он не повернулся, он сказал только: «А, это ты, Приск?» — и продолжал стоять все так же. Приск растерялся. «Прости, Басс, я хотел тебя увидеть, но если . . .» — «Ты хотел меня увидеть? — перебил его Басс. — Так вот, смотри!»

Он повернулся лицом к Приску. Приск отступил на шаг: как, это — Басс? Да, это был Басс, его лысый огромный лоб, и на лице — та же сложная сеть морщин. Но вместо всегдашних улыбок по этим морщинам сейчас ползли вниз . . . слезы! Приск услышал, как Басс проглотил их, это было похоже на булькание брошенного в воду камня. «Басс, это — ты?» — нелепо спросил Приск. — «Да, это — я . . . — Басс взял отрезанный кусок сыра и внимательно разглядывал его. — Я, к сожалению — человек. Ты, кажется, этого не думал?»

Он сел и опустил лоб на руку, в руке по-прежнему был кусок сыра. «Ничего, ничего не осталось, — сказал он совершенно спокойно. — Ни богов, ни Бога, ни отечества. Очень холодно. А у нее были теплые, живые губы, ее звали Юлия, она умерла . . . Моя жена умерла сегодня». — «Как? У тебя была жена?» — спросил Приск и покраснел, он вспомнил все, что говорил Басс о женщинах. Басс поднял голову, глаза у него были сухие, капли на лице как будто проступали через кожу изнутри. Он ударил кулаком по столу, кусок сыра сломался, в руке осталась только половина. «Она давно ушла от меня с низколобым кретином, цирковым атлетом, быком! Ты видел теперь, как я живу? Почему? Потому что все свои деньги я отдавал ей и ее любовнику, я содержал их обоих. Но зато хоть изредка она позволяла мне при-

ходить к ней, а теперь...» Он стал внимательно разглядывать корку сыра, которую все еще держал в руке, вдруг бросил ее на стол и вышел, захлопнув за собой дверь.

Приск стоял, ошеломленный, и думал без слов, глядя перед собой на стену и ничего не видя. Потом он разглядел на стене картину в золотой засиженной мухами раме: Пасифая, стоя на четвереньках, отдавалась быку, ее лица не было видно, оно было закрыто ее распущенными волосами. Приску показалось, что если бы можно было откинуть назад эти волосы, то он увидел бы знакомые раскосые глаза. Под картиной стояли на столике водяные часы — две стеклянных змеи, соединившихся жалами. Время текло в них тоненькой голубой струйкой. Басса все не было.

Когда он вернулся, тот новый, неожиданный человек, который на мгновение мелькнул Приску, уже исчез: теперь это был прежний, беспощадно улыбающийся Басс. «Не правда ли — это было смешно? — сказал он. — Я отлично помню: у меня в руке все время был кусок сыра... — он засмеялся. — В сущности, все обстоит превосходно: я сразу разбогател, мне теперь уже незачем тратить себя на обтесывание кретинов ... Впрочем, нет: это меня забавляет. Там, во дворце, у меня есть молодой хун, он держится крепко, но я добьюсь своего!»

Басс говорил очень быстро, глаза у него блестели, как будто его сжигала такая же смертельная лихорадка, как маленького лонгобарда Айстульфа. В руке он держал небольшую серебряную коробку — как раньше кусок сыра. Он заметил, что Приск смотрит на нее. «Ах, это? Это — отличное лекарство, привезенное из Китая, они мудрее нас, они умеют лечить даже души». Он быстро, остро взглянул на Приска, вернее — не на него, а в него, внутрь — и протянул ему коробку: «Возьми, попробуй, тебе это тоже будет полезно». Приск послушно взял и проглотил горькую пилюльку. «А теперь — идем к «Трем Морякам» и выпьем в честь нашего нового вождя — Улда. Как? Ты еще не знаешь о его победе под Флоренцией?» Он начал рассказывать, его морщины шевелились как клубок змей, его слова жалили. Сзади жалобно скулил увязавшийся за ними щенок с вывернутым наизнанку ухом.

Когда они прошли несколько кварталов, с Приском началось что-то очень странное. Было так, будто отодвинулись какие-то стены и Приск стал расширяться, сначала медленно, а потом все быстрее. Скоро он почувствовал, что весь мир, все бесчисленное множество вещей больших и малых — не вне его, как всегда, а внутри, в нем. Горькая, зеленоватая луна в небе, облитые бледным светом поля под Флоренцией, темные, ничком, трупы, фонарь над лотком ночной торговки, красное зарево позади замка св. Ангела, гогочущая римская толпа, пьяный бородатый монах, пляшущий на бочке, грохот рушащейся в огонь крыши, сквозь огонь — черные человеческие волны, несущиеся с Востока, попавший под ноги щенок с вывернутым ухом, этот раздавленный щенок и Басс, и сам Приск, непонятно слитые в одно живое существо, розовый попугай на руке у слепого солдата, боль от звона брошенной ему монеты, голос, выкрикивающий объявление о завтрашнем триумфе, Пасифая-Плацидия на четвереньках — голая, мерзкая, прекрасная... Он видел, слышал, чувствовал все это сразу, он был как вездесущий Бог.

«Да, д а. Ибо: „Человек имеет повеление стать Богом", этому учил нас Василий Великий. Так что мы, милейший мой Приск, выполняем завет церкви... с помощью китайских пилюль!»

Они стояли на мосту, как в день первой их встречи. В черной воде дрожали огни Рима, каждое мгновение готовые рассыпаться, исчезнуть. «Она исчезла, — с горечью во рту сказал Приск. — Она притворилась, что не узнала меня. Еще бы! Она — божественная августа, а кто я?» — «Ты же только что утверждал, что ты — бог, — засмеялся Басс. — Бедный бог!» Но тотчас же он стал серьезным, он опять стал тем неожиданным человеком -Бассом, которого впервые увидел в тот вечер Приск. Человек-Басс пристально, глубоко посмотрел на Приска: «Мой юный друг, уезжай отсюда скорее. Ты станешь, как я, ты здесь погибнешь». — «Я уже погиб, — сказал Приск. — Я буду ждать ее целые дни, у ворот дворца, у входа в театр, на улице, всюду, где она может появиться, я подойду к ней при всех, я скажу ей... Я не могу отсюда уехать, потому что здесь она. Не могу! И пока у меня есть деньги...» — «Деньги, которые тебе дал Евзапий?»

— перебил его Басс. Приск остановился, как будто с разбегу налетел на стену.

Это была стена в бедной комнате Евзапия. На столе среди книг лежал черствый кусок сыра, травяной веник валялся на полу. Евзапий сказал, что ему стыдно напоминать об этом — о том, что он жил как нищий, во всем отказывал себе, только чтобы собрать эти деньги и дать Приску возможность написать книгу. Такую книгу, великую и страшную, мог бы написать Ной в дни потопа — если бы он умел писать. «Ты, Приск, избран был Ноем, тебе была доверена эта книга, а ты . . . Говори! Оправдывайся! Что же ты молчишь?» — сурово сказал он.

Это был Евзапий, но это в то же время был Басс. Под ногами качался и исчезал утопающий Рим. Уши у Приска горели, во рту была нестерпимая горечь. «Я напишу эту книгу! — крикнул он. — Клянусь тебе: я напишу ее, я уеду отсюда!» — «Я тебе верю», — сказал Басс. Оглянувшись по сторонам, он обнял и крепко поцеловал Приска.

7.

С городской хлебопекарни пожар перекинулся на другие дома. Багровое, распухшее небо над замком св. Ангела покачивалось, готовое рухнуть. В императорской спальне зловещие красные пятна проступали на белом шелке стен, на подушках, на бледных щеках Гонория. Перед ним стоял евнух с императорским панцирем наготове. За дверью ждали министры, придворные, тревожно перешептывались солдаты дворцовой гвардии.

«Ты меня не жалеешь, — сердито сказал Гонорий и сунул Плацидии руку. — На, смотри: у меня опять лихорадка. Пусть как хотят — без меня . . . Я уеду в Равенну!» Он выхватил из рук евнуха панцирь и бросил его на пол. Плацидия стиснула мелкие, острые зубы, ей хотелось крикнуть грубое матросское ругательство, но она удержалась.

Она открыла дверь. Шепот замолк. Подняв голову, она отчетливо, сверху, сказала: «Император болен, он отбывает в Равенну. Он уверен, что вы и без него сумеете достойно наказать этих изменников — хунов». Ше-

пот среди солдат стал слышнее, сквозь него, как огонь, уже пробивались отдельные громкие голоса. «Что такое?» — сказала Плацидия и пошла прямо на солдат. Они замолкли и попятились. Плацидия, не торопясь, пошла обратно, в дверях остановилась. «Не пускать никого», — приказала она огромному белокурому аллеману. Однажды ночью, доведенная до неистовства бессильными ласками Гонория, она ушла от него и позвала в свою спальню аллемана. Это было только один раз, но он запомнил это навсегда. Он посмотрел на нее сейчас как на бога и стал у дверей.

Скоро по каменным плитам двора прогремели колеса закрытой кожаной каруццы, простой, без всяких украшений. Император хотел проехать через Рим неузнанным, он не брал с собой ни конвоя, ни свиты. Луна уже зашла. На дворе было пусто, черно, только красные пятна зарева шевелились на дворцовых стенах, поблескивая в зрачках лошадей. Гонорий вышел из маленькой боковой двери, он прижимал к груди своего петуха, под ногами у него вертелся его мальтийский щенок.

Вдруг щенок злобно залаял и кинулся в другую сторону двора, где чернели вдоль стен кусты роз. Он жалобно, пронзительно взвизгнул там, потом еще раз и замолк. «Что там такое, что там?» — испуганно сказал император. Евнух, колыхая животом, пошел туда, но через несколько шагов остановился и стал пятиться назад, потом побежал. Все увидели освещенную красным светом огромную собаку, выскочившую из кустов.

Первыми поняли всё лошади: они, храпя, взвились на дыбы и промчались к воротам. Волк постоял секунду, как будто выбирая, потом прыгнул на людей. Император вцепился в руку Плацидии. Евнух упал и, лежа, вопил тонким женским голосом: «Помогите!» От ворот во весь дух бежали часовые. Плацидия успела подумать, что они не добегут — и пусть: лучше так, чем если когда-нибудь убьют солдаты . . .

Огромный аллеман прыгнул так же быстро, как волк, на камнях забился живой узел, в котором перепутались животное и человек. Волк остался лежать, аллеман встал. Из его бедра по голой ноге ручьем текла кровь. Он тяжело дыша остановился перед Плацидией и счастливо, молитвенно смотрел на нее. Плацидия, сорвав с себя

шарф, перевязала ему рану. Из всех выходов дворца сыпались люди, переполошенные криками евнуха.

Он стоял теперь перед императором, нижняя губа его отвисла и тряслась. «Это заговор! — кричал Гонорий, его маленький рот съехал совсем влево. — Кто выпустил его из клетки, кто? Ты это узнаешь — или ответишь за это сам!» Он влез в экипаж. «Когда я вернусь», — тихо сказала Плацидия аллеману и села рядом с Гонорием. Золотые ворота, медленно блестя, открылись, колеса загремели железом по камню.

Каруцца императора ехала так, чтобы миновать Эсквилин и Виминал — 5-ый округ, сплошь населенный пролетариями. Когда выехали из города, Гонорий высунулся из экипажа и оглянулся, как будто своими глазами хотел убедиться, что все осталось уже позади. Луны не было, римские стены были черные, только на самом верху их мелькали багровые, дымные огни: это бегали солдаты с факелами, римский гарнизон готовился к бою. «Красиво, правда?» — сказал император. Плацидия не ответила. Император вынул из-под сиденья экипажа дорожный горшок, помочился, поставил посуду на место и спокойно, счастливо заснул.

Перед зарей на верху стен стало холодно. Солдаты сидели кучками и, прижавшись друг к другу, дрожали. Злые, усталые начальники когорт покрасневшими глазами вглядывались в белый туман внизу: оттуда каждую минуту могли появиться хуны. Было тихо, только где-то далеко, как часовые, перекликались в темноте петухи. Вдруг на стене у Аппиевых ворот что-то закричали и быстро, как огонь по смоляной нитке, крик побежал от башни к башне. Солдаты вскакивали: «Хуны! Где? Где?» — хватались за оружие . . .

Но через несколько минут все уже знали, что из императорского дворца получен приказ: всем немедленно разойтись по казармам. Офицеры ничего не понимали: что ж это — предательство? Сдают Рим без боя? Они пытались удержать солдат, но солдаты, не слушая, весело бежали вниз по лестницам: жалованье они получили только вчера, а на остальное им было наплевать.

Стены быстро опустели. Рим остался беззащитным.

Завтра Улд возьмет Рим! Атилла слушал и, прикрыв рот ладонью, смеялся от счастья. Он понял, что Улд обманул римлян, как лисица обманывает собак на охоте.

Когда солдаты и евнух ушли будить императора, Атилла вышел в коридор. В огромном окне плясало зарево, Атилла смотрел. Ему было тесно, сердце билось в ребра, как в прутья клетки. Оно вырвалось и полетело над завтрашним днем. Зарево стояло уже над всем Римом, Улд ехал по улицам, красный от огня, такой же большой, как отец, Мудьюг. Атилла ехал рядом с ним, он вдыхал его запах, сердце билось. Они взглянули друг на друга и засмеялись: навстречу им конники гнали императора, он был внизу, маленький, босой, за ним — тоже босых — гнали Басса, Гарицо, Уффу, Евнуха, Плацидию . . .

Босые ноги шлепали по коридору. Это был Уффа, в ночной рубашке. Он был белый, жидкий, как тесто, из которого Куна пекла хлеб. Он подбежал к Атилле, схватил его трясущейся рукой. «Скажи, это верно, что Улд...» «Верно», — перебил его Атилла и ушел в свою комнату, он рассердился, что Уффа помешал ему видеть Улда.

Он лег на постель и закрыл глаза. Скоро он увидел тот самый треугольный город Радагост, о котором давно, дома, рассказывал странник. Город был в руке у Атиллы. Он сжал руку. Запертые в треугольнике, метались маленькие, как муравьи, люди. Атилла сжал руку крепче, люди забегали еще быстрее, и на руку к нему закапал красный сок. Руке стало горячо, он проснулся. Внизу, на дворе, кто-то тонким голосом кричал: «Помогите! Помогите!» Хлопали двери, по коридору стремглав бежали люди. «Улд!» — подумал Атилла. Сердце его взлетело, он побежал вместе со всеми.

Внизу на дворе он увидел волка. Волк уже лежал мертвый, темный на белых плитах. Атилла вспомнил теплоту его шеи, горячий шершавый язык, лизавший руку. Теперь Атилла остался совсем один... Нет, не один: завтра здесь будет Улд! Атилла услышал, как император приказал найти того, кто выпустил волка из клетки. Атилле стало смешно, это было как игра: они искали его, а он был здесь, рядом с ними.

Во дворце никто не ложился в эту ночь. Она уже шла к концу, небо позеленело, на дворе стало холодно.

Все толпились в нижнем зале. Атилла вошел туда и увидел евнуха отдельно от всех. Евнух сидел в полукруглой нише окна, выходившего в парк, перед ним стоял рябой солдат. Атилла сразу же узнал его: этот солдат вечером стоял на часах у ворот и пел, от него Атилла спрятался за водосточную трубу. К солдату подошел Уффа, солдат посмотрел на него, покачал головой: «нет». Потом также прошли мимо солдата Гарицо Длинный и другие, которые вечером были с женщинами в парке. Атилла понял.

Он все понял в одно мгновение, без слов, как понимает лисица каждое движение догоняющих ее собак. По телу у него пробежал веселый холодок. Он почувствовал спиною, что сзади него двери во двор открыты. Рябой солдат что-то хотел сказать евнуху, но остался с разинутым ртом, глядя в ту сторону, где стоял Атилла. Все так же без слов, Атилла понял, что солдат увидел, узнал его и что теперь нельзя терять ни одного мгновенья. Вскочивший с кресла евнух и солдат и другие уже бежали сюда. Атилла быстро повернулся к дверям...

В дверях стоял горбун. Атилла ошибся: все бежали потому, что увидели вошедшего горбуна. Длинные его руки висели ниже колен, лицо было серое от усталости и от дорожной пыли. Его окружили, спрашивали, дергали, все знали, что он был у хунов, что сейчас он оттуда. Горбун ничего не отвечал, он сказал только: «Пить»! Какой-то солдат дал ему флягу с вином. Евнух с ненавистью смотрел, как, жадно глотая вино, двигался кадык на шее горбуна. «Довольно! Говори!» — крикнул он, не дождавшись, и вырвал у горбуна флягу.

Горбун рассказал, как все произошло. Улд, обогнавши войска, ехал впереди всех. Начальник римской заставы не рассмотрел его в темноте, схватил его коня под узды и крикнул: «Стой! Нельзя!» — «Нельзя! Мне?» Улд засмеялся и убил его, а люди Улда убили остальных. Спасся только один — тот самый, какой в начале ночи прискакал во дворец и поднял тревогу. Горбун объяснил Улду, что из всего этого может получиться. Тогда Улд послал горбуна в Рим, сказать, что он «пошутил» и что он готов за каждого убитого римского солдата заплатить по два коня.

Из дворца тотчас же поскакали гонцы с приказом гарнизону сойти со стен и вернуться в казармы. Дворцовый зал быстро опустел, все вдруг почувствовали, как они устали в эту ночь. Горбун тоже хотел идти к себе, но остановился: он заметил Атиллу. Таким он его никогда не видел: маленький хун был так бледен, как будто из него выпустили всю кровь. Горбун испугался. «Что с тобой? Ты болен?» — «Не трогай меня!» Атилла оттолкнул руку горбуна и пошел куда-то, ему было теперь все равно куда идти, потому что Улда больше не было.

Наутро такой же бледный он стоял внизу, возле устланного красным сукном помоста. Он, не отрываясь, жадно следил глазами за каждым движением Улда. Вместе с другими Атилла поднялся на помост. Улд был теперь близко. Он подошел к Атилле и взял его за подбородок, Атилла перестал дышать и мгновение не видел и не слышал. Он опомнился только тогда, когда почувствовал: его зубы с наслаждением впились во что-то. Во рту у него стало тепло и солоно, это была кровь Улда, он стал дышать, то, что его душило — теперь прошло.

Солдаты держали его за руки и вели во дворец. Он слышал, как кричала толпа, но он не хотел смотреть на них, он шел, нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами. «Подними морду! Тебе говорю — слышишь?» — Это был голос евнуха, Атилла поднял глаза. Золотые дворцовые ворота блестели, около них стоял рябой солдат, тот самый. Солдат, прищурясь, весело посмотрел на Атиллу и сказал: «Это он!» Синяя нижняя губа у евнуха затряслась, он замахнулся. Атилла оскалил глаза как зубы и взглянул на евнуха, и тот опустил руку. Брызжа от злости слюной, евнух закричал солдатам: «Тащите его туда и заприте, пусть сидит там!»

Железный засов лязгнул и вошел в петли. Атилла был закрыт в пустой волчьей клетке, на дверь повесили большой замок. Рябой солдат повернулся спиной к Атилле, поднял свою одежду и похлопал себя рукой по голому заду, исполосованному белыми рубцами. Атилла понял. Он бросился к двери, вцепился в прутья и изо всех сил затряс их, железо звенело. Солдаты смотрели и смеялись. Атилла отвернулся от них и стоял, скрипя зубами. На плечах и на спине он чувствовал от их смеха жгучие полосы, как от ударов кнута.

Потом он узнал картавый знакомый голос, это был Гарицо и его компания, с ними было несколько молодых римлян. Изображая хозяина бродячего зверинца, Гарицо ломаным языком расхваливал диковинные свойства запертого в клетке зверя. Жилы на лбу у Атиллы напряглись, ему казалось, что они сейчас лопнут, но он стоял все так же. Что-то толкнуло в бок, в спину. Он не повернулся, но углом глаза увидел конец длинной жерди, просунутой в клетку. К его ногам упало надкусанное яблоко, потом в голову ему ударил метко брошенный небольшой камень. Он стоял, не двигаясь. Тем стало скучно, они ушли. Вместо них появились другие люди, мужчины и женщины. Атилла слышал их голоса. Их становилось все больше, как будто весь Рим собрался в парке смотреть на посаженного в клетку хуна. Когда они заходили сбоку, чтобы взглянуть ему в лицо, Атилла закрывал глаза. Он стоял, крепко сжимая руки, как если бы в них был треугольный город, на мгновенье приснившийся ему ночью. Он стоял и думал, что когда-нибудь это будет на самом деле и тогда он сожмет всех их так, что из них брызнет сок.

Евнух отправил посла вдогонку императору, чтобы известить его обо всем происшедшем. Гонец догнал императора перед вечером, когда уже садилось солнце. Император лежал на красном ковре в лесу, недалеко от дороги. Он только что кончил ужинать, за ужином он съел больше чем надо, ему было грустно, он думал о Боге. Но как только Плацидия начала читать ему доклад евнуха, он развеселился. «Что? Что? Укусил триумфатора?» Он хохотал до слез. Потом он вытер глаза, и Плацидия стала читать дальше — о том, что этот же маленький хун выпустил волка из клетки, евнух спрашивал, как поступить с ним. Император, скривив рот, молчал, подумал. Затем взял перо, написал несколько слов евнуху и отдал письмо гонцу.

На другое утро евнух с солдатами пришел к клетке, снял замок и открыл дверь. «Выходи, эй, ты!» Но Атилла ни за что не хотел выйти, он вцепился в железные прутья, его не могли оторвать. Рябой солдат ударил его по пальцам ножнами меча, побелевшие пальцы разжались, тогда его удалось вытащить. Солдат сказал: «Ты

чего брыкаешься? Теперь ты будешь сидеть не в клетке, а в комнате, до того дня, когда . . .» — «Не разговаривать!» — крикнул евнух. Солдат замолчал. Атиллу отвели в пустую незнакомую комнату и заперли там.

Дверь была низкая, окованная железом. В комнате не было углов, она была круглая. Атилла ходил кругом, толстые стены молчали, у них не было ни начала ни конца. Ему стало казаться, что так было всегда и никогда не было ничего другого, ни травы, ни снега, ни теплой руки Куны, ни одноглазого Адолба. Он вспомнил брата Бледу и подумал, что обрадовался бы, если бы почувствовал сейчас на шее его холодные пальцы. Еду и питье ему приносили, когда он спал, он не видел ни одного человека. По полу неслышно двигалось светлое пятно с черным переплетом — тень от решетки круглого окна наверху. Черная тень медленно выползала на стену, на потолок, потухала. Это повторялось, это тоже было круглое. Потом внезапно круг разорвался: открылась дверь, вошли люди.

Окно еще только чуть светлело, но Атилла не спал. Он вскочил и хотел закричать, но потом подумал, что тогда все соберутся и будут смотреть на него и это будет еще хуже. Он сказал: «Я пойду сам». Спустились во двор. Он жадно глотнул запах мокрой травы из парка и посмотрел вверх, небо было исполосовано красными рубцами зари. Покрытое росой золото ворот было тусклое. Он шел спокойно, но глазами уже выпрыгнул за ворота, он сказал себе: «Когда выведут туда» . . .

Ворота медленно приоткрылись, Атиллу вывели на улицу. Он весь напрягся — так, что все в нем как будто зазвенело. В одно мгновение он пролетел над лежавшим внизу в тумане Римом до синей полосы дальнего леса и вернулся назад. Здесь был старик в войлочной шляпе с веткой в руке вместо кнута, он шел около воза дров, одно полено торчало. Атилла схватил его глазами, чуть заметно пригнулся и сделал ноги стальными для прыжка. Сзади, с каменной скамьи около ворот, встали какие-то люди. Атилла почувствовал это движение и в самый последний момент, уже весь устремленный вперед, почти летящий, углом глаза оглянулся на вставших. Тотчас же глаза, ноги, руки, сердце — все в нем остановилось. Он глотнул воздух и не мог его выдохнуть, он смотрел, не

дыша: от скамьи к нему шел одноглазый Адолб... Кинуться к нему, прижаться всем телом, дышать с ним!

Но Атилла запретил себе это, он стоял, не двигаясь, он знал, что римляне смотрят на него. Адолб подошел и взял его за руку. «Что ты тут натворил? Нас известили, чтобы мы приехали и взяли тебя домой». Губы у Атиллы шевелились, но он не мог сказать ни слова в ответ. Тогда Адолб сбоку, одноглазо как птица, посмотрел на римлян и спросил Атиллу как начальника, как князя: «Прикажешь, господин, ехать сейчас?» Он сказал это уже на римском языке, так, чтобы римляне поняли. «Да, сейчас», — приказал Атилла. Его сердце, стуча, мчалось, ему хотелось лететь, но он велел себе идти медленно. Он шел, не оглядываясь.

Они ехали тем же самым путем, как три года назад. Атилла узнавал города из белого камня, мутные и желтые от глины реки, похожие на зеленых медведей горы. Но теперь у него были новые глаза, он видел не только это.

Однажды перед вечером они въехали в деревню, чтобы купить хлеба и мяса, но в деревне никого не было. Все двери стояли открытые настежь, ветер покачивал их на петлях. Видна была брошенная на столах посуда, оголенные постели. У порога одного дома, широко раскрывая рот, кричала худая кошка. «Не прошла ли здесь чума?» — сказал Адолб. Лошади косились и поводили ушами.

Скоро они догнали двигавшийся по дороге обоз. На заваленных узлами телегах сидели женщины и дети. Мужчины шли возле. Адолб спросил их, они сказали, что не могли больше платить за землю и бросили ее. Они увидели, что их слушают, и все разом стали кричать, грозя кому-то, проклиная, богохульствуя. Атилла смотрел на них, собирая в себя их лица, потом засмеялся. «Почему ты смеешься?» — спросил Адолб. — «Потому что все это хорошо», — сказал Атилла. Адолб долго молча ехал рядом с ним, потом взглянул на него так, будто в первый раз увидел его и сказал: «Вон ты какой!»

Недалеко от Марга дорога кольцами, как змея, ползла вверх на гору. Адолб торопился попасть в Марг до за-

хода солнца, пока городские ворота были еще открыты. Но на повороте Атилла вдруг остановил своего коня и, перегнувшись, стал смотреть вниз, в долину. Адолб рассердился и начал браниться. Атилла обернулся, он ничего не сказал, но его глаза прошли сквозь Адолба как железо. Адолб разинул рот и замолк.

Внизу в долине остановился римский отряд, солдаты строили лагерь, Атилла смотрел на них. Через два часа там вырос маленький четырехугольный город, черные среди зелени земляные валы кругом, ровные белые улицы палаток. Атилла не шевельнулся, не оторвал глаз, пока все не было кончено, только тогда он тронул поводья и поехал. Солнце уже спрятало голову, от него остался только распущенный по небу хвост из красных перьев. Когда подъехали к Маргу, ворота были заперты. У Адолба глаз стал злой, круглый, он хотел сказать Атилле, что это из-за него они опоздали, но посмотрел на него и ничего не сказал: он почувствовал, что не смеет, и сам удивился этому, когда понял.

Утром выехали из Марга. Каменная дорога, бежавшая от самого Рима через поля, реки, горы — здесь кончилась. Конские копыта теперь ударяли мягко, под ногами был уже не камень, а земля, степь. Она лежала под солнцем, теплая, влажная. Сверху, будто из солнца, ручьями лились жаворонки. Тугой ветер летел, пел во рту. Атилла глотал его ртом, ноздрями, всем телом. Он раскраснелся, глаза у него блестели, он снова стал мальчиком. На всем скаку он, держась ногами, повис под брюхом лошади, сорвал пук травы и замахал им, оглядываясь на Адолба.

В полдень они проехали между двух столбов, на столбах были деревянные головы с висячими медными усами. Запахло конским навозом, рекой, дымом. Внизу, на берегу, кипел торг, хлопали бичи, лошади ржали. Недалеко от столбов стояла кузница. Сзади нее, под глиняной желтой стеной, Атилла увидел несколько человек: повесив пояса на шею и спустив штаны, они сидели на корточках и неторопливо разговаривали. В Риме Атилла совсем забыл про это, а сейчас мгновенно вспомнил, что много раз видел это в детстве. Он засмеялся так громко, что Адолб удивленно посмотрел на него. «Да смотри же, смотри!» — Атилла показал пальцем на сидевших под кузницей. Он захлебывался от смеха, от

счастья, что узнал своих людей, свою землю, но у него не было слов, чтобы объяснить это Адолбу.

Адолб так и не понял. Он озабоченно, как наседка высматривающая ястреба, одним глазом смотрел вдаль: кто знает, что там ждет их?

Огромный круглый зал был полон, не было ни одного свободного места. Сотни глаз, не отрываясь, следили за каждым движением великого Язона. Он был в одной шелковой тунике, шелк был алого цвета — чтобы на нем не видно было пятен крови.

На мраморном столе перед Язоном лежала женщина, обнаженная до пояса. Ее круглые груди, белые, с голубыми жилками, едва заметно поднимались и опускались, она по-видимому спала. Язон нагнулся к ней, в его руке блеснул нож. Лица зрителей в первом ряду побледнели. Язон ободряюще улыбнулся им чуть подведенными глазами. Потом, взявшись за розовый сосок, он оттянул кожу на груди женщины, сделал ножом незаметное движение — и из разреза брызнула кровь. Женщина не пошевелилась, она продолжала спать.

Это было действие чудесного снадобья, изобретенного Язоном. Его публичные операции были теперь в Риме самым модным зрелищем, светские дамы обожали Язона, конкуренты ненавидели его. Это они вскочили сейчас в разных местах зала, размахивая кулаками и крича, что это — убийство, что женщина — римская гражданка, Язон не имеет права, они не позволят! Улыбаясь толстыми, красными губами, Язон поднял руку. Зал затих. «Предположим на время, что мои дорогие коллеги правы», — сказал Язон. Он оставил женщину, пошел в другой конец эстрады и отдернул занавеску. Все увидели человека, неподвижно сидевшего там в кресле. «Этот человек — мой, — сказал Язон. — Это раб, я купил его, он мой, целиком, весь. Но я возьму у него только одну ногу — и затем отпущу его, он получит свободу. Надеюсь, что теперь никаких возражений я не услышу?» Захваченные врасплох конкуренты Язона молчали.

Он нагнулся к рабу. «Камель!» — громко позвал он его. Раб сидел все так же, он спал, свесив коротко остриженную черную голову. Над левым ухом было видно

на черном похожее на серебряную монету пятно седых волос.

Приск сразу вспомнил: красный помост, ветер, завернувшийся край консульского плаща, рука консула поднята для удара... Это был тот самый раб, который схватил консула за руку.

Приск стоял у входа в зал, в густой толпе запоздавших. На операцию Язона он попал случайно. Сегодня был его последний день в Риме, у него уже было куплено место на корабле, вечером отплывавшем из Остии в Константинополь. Багаж был уложен, у него еще осталось несколько свободных часов, и он зашел в Троянову библиотеку. Он не мог пробраться в читальный зал, его подхватила шуршащая шелком и шепотом, возбужденная, жарко дышащая толпа: модные проститутки и светские женщины, лысые юноши и молодящиеся старички, пахнущий конюшней цирковой атлет и надушенный женскими духами епископ. Приск решил в последний раз окунуться в этот Рим, чтобы увезти его с собой для своей книги, как Ной увез в своем ковчеге образцы всяких тварей. Стиснутый со всех сторон, он стоял у дверей и, близоруко щурясь, торопливо укладывал в себя лица.

В зале была сейчас душная, напряженная тишина. Было слышно только громкое, хриплое дыхание, это было дыхание Рима, почувствовавшего запах крови. Раб лежал на столе, его круглая, сильная нога выше колена была красной, и на белом мраморе под ней все шире расплывалось красное пятно. О мрамор резко звякнул брошенный Язоном нож, он взял пилу, осматривая ее, нарочно помедлил: так искусный актер делает тонко рассчитанную паузу, чтобы у зрителей захватило дыхание. Пауза кончилась — и весь зал услышал жестко скрежущий звук пилы, врезающейся в живую человеческую кость. Побледневшие женщины дышали сквозь зубы, стиснутые как от боли или от нестерпимого наслаждения, они прижимались к мужчинам, стонали.

Приск стоял красный, ему хотелось кричать, бить, кинуться вон отсюда, но он уже не мог уйти, он, замирая, ждал этой последней секунды, когда круглая, живая нога отделится от человека, он ничего не видел сейчас, кроме двигавшейся взад и вперед пилы.

Внезапно он почувствовал острую боль в правой руке. Не отрывая глаз от пилы, он отдернул руку, боль прекратилась. Но через мгновение она стала еще острее. Тогда Приск, не понимая в чем дело, посмотрел вниз.

Рядом с ним стояла Плацидия. Ее влажный красный рот был открыт, блестели острые зубы, ногтями она впилась в руку Приска. Она смотрела на него, ее зеленые глаза были такие же, как в ту ночь в гостинице. «Бежать... сейчас же...» — Приск сделал движение, но Плацидия сделала его руке еще больнее и заставила его нагнуться. Он почувствовал на своем ухе ее горячее, быстрое дыхание. «Сегодня, когда стемнеет... у входа в ту гостиницу — ты ее помнишь?» — «Да», — сказал Приск. Он тотчас же понял, что надо сказать другое. «Я уезжаю сегодня, я не могу, не хочу!» — хотел он закричать, но Плацидии около него уже не было: ее увидели, толпа раздалась в стороны. Она уже входила в зал между склонявшимися перед ней рядами. Приск бросился за ней, расталкивая уже снова сомкнувшуюся толпу. Он толкнул какую-то женщину, ее спутник, атлет с бычачьими глазами, схватил Приска за руку и требовал объяснений. На них оглядывались. Приск, красный, бормотал какие-то извинения, путаясь в словах. «Иностранец?» — спросил атлет, выпятив нижнюю губу и как будто именно ею глядя на Приска. «Да, иностранец», — сказал Приск, краснея еще больше. Атлет выпустил руку Приска и повернулся к нему спиной. Теперь Приск мог уйти.

Снаружи был ветер, он поднимал пыльные вихри, они, кружась, росли, поднимались головою до неба. Похожие на огромных серых странников, они, покачиваясь, бежали по дороге вон из Рима, Приск смотрел на них. Он сидел в каком-то парке, перед глазами у него, мешая смотреть, качалась круглая, белая от цветов ветка, от нее сладко и как будто знакомо пахло. По дороге с грохотом проехала большая открытая каруцца, в ней сидел человек, обложенный сундуками и свертками. «Через несколько часов и я ехал бы вот так же», — подумал Приск. «Почему *ехал бы?*» — чуть не закричал он вслух и с отчаянием, с ужасом понял, что все в нем уже бесповоротно решено, что он никуда не поедет, он пойдет к Плацидии...

Внизу у дороги была таверна. Ветром оттуда донесло запах пережженного оливкового масла. Приск вскочил: он вспомнил, что его ждет у себя Басс, они накануне условились пообедать вместе на прощанье... Как, какими словами сказать теперь, что он не поедет? Эта встреча с Бассом показалась Приску стыднее и мучительнее всего, но он все-таки пошел к нему.

Басс сидел со своей обезьянкой Пикусом на коленях. Пикус черными, тоненькими человечьими пальцами выбирал ядра из расколотых орехов и быстро совал их себе за щеку. Когда вошел Приск, он остановился и внимательными, умными глазами посмотрел на него и так же посмотрел на него Басс. «Что случилось?» — спросил Басс, ссадив Пикуса на пол. — «Почему ты думаешь, что что-то случилось?» — «Почему? Посмотри на себя в зеркало, оно сзади тебя». Но Приск не обернулся, ему было стыдно увидеть свое лицо. «Я остаюсь, я никуда не поеду из Рима»... — и захлебываясь, мучаясь, торопясь, он рассказал об всем происшедшем на лекции Язона.

Он кончил и сидел, боясь поднять глаза на Басса. «Превосходно!» — закричал Басс. Приск, ничего не понимая, посмотрел на него круглыми глазами. «Очень эффектная по неожиданности развязка!» — и, перебирая другие возможные комбинации, Басс с увлечением стал доказывать, что судьба, как искусный драматург, выбрала наилучшую. «Впрочем»... — он остановился, задумался. — «Что же ты? Продолжай! — горько сказал Приск. — Я для тебя — как тот раб, которого сегодня резал Язон». — «Да, да...» — рассеянно согласился Басс, явно думая о чем-то своем. Он смотрел на водяные часы, там тоненькой голубой струйкой текло время, неотвратимое как судьба. Басс извинился, что не может обедать с Приском: у него есть одно срочное дело, ему нужно сейчас же идти. На улице он обнял Приска: «Не сердись на меня. Обещаешь?» Приск пожал плечами. Дойдя до угла, он оглянулся и увидел, что Басс тоже смотрит на него.

В первой же попавшейся таверне он спросил вина. «Нет, есть я не хочу», — сказал он девушке. За соседним столом галдело несколько бородатых евреев, в углу подвыпившие матросы громко передразнивали их. Занавеска на окне хлопала как парус. На мгновение Приск ясно

увидел качающийся на волнах корабль. «Еще вина мне, — сказал он девушке. — И похолоднее». Девушка принесла. По холодному, отпотевшему стеклу бутыли ползли вниз медленные капли. Приск вспомнил лицо того, неожиданного, только раз мелькнувшего Басса. «Если бы он был таким сегодня, может быть я»... Но думать Приск не успел: наливая вино, девушка коснулась его плеча острием груди. Тотчас же Плацидия, будто дремавшая в нем где-то на дне, всплыла наверх, он ясно увидел ее: она лежала в носилках, слегка поскрипывали ремни в такт шагам...

Ему показалось, что за окном уже темнеет, что он опоздал. Лоб у него от страха стал мокрый. Он торопливо расплатился и выскочил на улицу. Солнце садилось, измученное сухим ветром небо было бледно. Обливаясь потом, Приск все ускорял шаги, потом не выдержал и побежал бегом.

Гостиница, где Плацидия назначила ему встречу, была недалеко. Когда Приск добежал туда, было еще светло, но под навесом над дверью в гостиницу уже был зажжен фонарь, он, скрипя, качался от ветра. Недалеко от двери стояли два солдата, они пересмеивались с проходившими мимо женщинами. Приск, задыхаясь от бега, сел на скамью у церкви наискосок, отсюда вход в гостиницу был хорошо виден.

На опустошенном ветром небе легли длинные красные полосы, как от ударов кнутом. Потом они исчезли. Возле гостиницы остановились носилки, Приск бросился к ним. Оттуда вышел толстый человек и, пыхтя, стал подниматься по ступеням. Приск с ненавистью смотрел на розовые, свиные складки у него на затылке.

Вдруг сзади кто-то тронул Приска за руку. С неистово забившимся сердцем он обернулся, но увидел только тех же самых двух солдат. Они осмотрели его с ног до головы, переглянулись. У одного в верхнем ряду не хватало двух или трех зубов, он сказал, выговаривая «с» вместо «т»: «Сы Сарквиний Приск, грек из Константинополя?» — «Да, я». — «Тогда возьми это и прочти». — «От нее... не придет»... — подумал Приск. Он начал читать под фонарем, фонарь от ветра качался, буквы прыгали. Он прочитал и не поверил, начал читать снова...

Это был приказ от римского префекта о немедленной высылке Тарквиния Приска, на основании недавнего декрета об иностранцах. Щербатый солдат сказал, что им велено сейчас же ехать с ним в Остию и там посадить его на корабль. «Но я не могу сейчас, я не могу — поймите!» — в отчаянии сказал Приск, хватая солдата за руку и стараясь заглянуть ему в глаза, будто от этой встречи глаз все сразу же могло измениться. «Сюда, сюда!» — закричал кому-то солдат. Приск увидел: из-за угла гостиницы вышло еще двое, ведя лошадей. Он понял, что спорить бесполезно, что все решено, все кончено. Солдаты посадили его на лошадь, он поехал.

В Остии пришлось прождать целую ночь. Была буря, на набережную выпрыгивали из воды черные, в белой пене, звери. К рассвету буря утихла, и корабль отвалил, увозя с собой Приска. Он, близоруко щурясь, смотрел на белый остийский маяк и с горечью спрашивал себя: зачем Плацидии понадобилось унизить его этой комедией высылки? Маяк становился все меньше, он как будто опускался в воду и, наконец, море совсем поглотило его.

Через несколько месяцев, уже в Константинополе, Приск получил подарок из Рима: водяные часы в форме двух соединившихся змей. К подарку было приложено письмо от Басса, он писал, что «не мог устоять против соблазна дать еще один вариант неожиданной развязки» и потому устроил высылку Приска...

Эти часы всегда теперь стояли на столе перед Приском, и всякий раз, как он садился писать, он с нежностью и благодарностью вспоминал Басса. Сквозь стеклянные жала змей время текло чуть заметной голубой нитью, отсчитывая дни и годы. Снаружи, за стенами тихой комнаты Приска, время бушевало наводнением, потоком, события и люди мелькали, он еле успевал записывать. Он начал писать свою книгу, как историю Византии, но вышло так, что ему больше всего пришлось говорить о хунах. Его первая запись о них была следующая:

«Императорский переводчик Вигила, посланный к хунам для переговоров о торговле, вернулся с известием о смерти их царя Октара. Следует знать, что до Октара той страной владел брат его Мудьюг, который умер,

оставив после себя двух сыновей. Но так как эти сыновья были еще малолетними, то вместо них правителем стал Октар. Имена этих сыновей Мудьюга: Атилла и Бледа. Утверждают, что имя одного из них — Атилла — происходит из слова, означающего на их языке „железо"... Я не знаю, справедливо ли это, ибо их язык мне неизвестен. Но в те годы, когда я был в Риме, этот Атилла был там, как заложник от хунов. Мне суждено было видеть его и много слышать о нем, и все, что мне о нем известно, оправдывает его имя. Октар был склонен скорее к подвигам за пиршественным столом, нежели на поле битвы, и потому мы жили с хунами в мире. Но что будет, если теперь власть перейдет к Атилле и если это железо направится острием на Европу?

По моему разумению, сказанному Атилле сейчас менее 20 лет. Еще нельзя знать, станет ли царем он или его брат Бледа, или же, пока они не придут в возраст, областью их будет править один из их дядей. Как утверждает императорский переводчик Вигила, знающий их обычаи, там старейшины, собравшись, выбирают царя. С разных концов неизмеримой страны, от Рифейских, иначе — Уральских гор, до Дуная, они должны собраться теперь для погребения Октара и для избрания нового правителя. Имя его мы узнаем уже скоро, и я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что тогда мы узнаем и ожидающую нас судьбу.

Ибо наши руки уже подобны потерявшим крепость рукам стариков, и нашу судьбу держат в своих руках другие народы».

1928—1935

О МОИХ ЖЕНАХ, О ЛЕДОКОЛАХ И О РОССИИ

Русских недаром обвиняют в легкости нравов: вот, например, я — двоеженец, и что еще хуже — не стесняюсь открыто, вслух заявлять об этом. В оправдание могу сказать только одно: я — не первый и не единственный, в истории русской литературы такие случаи уже бывали. Антон Чехов в своих письмах признался, что у него тоже было две жены: законная жена — медицина и незаконная — литература.

Мои две жены: техника и литература. И сегодня я хочу изменить литературе со своей старой, технической женой: я хочу написать... о ледоколах.



Ледокол — такая же специфически русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом беспощадной зимой — и чтобы не быть тогда отрезанными от мира, приходится разбивать эти оковы.

Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая.

И так же ход ледокола непохож на движение приличного европейского корабля. Я даже не уверен, можно ли ледокол назвать кораблем. Корабль, как всем известно, существо морское, он идет только по воде, а ледокол — это амфибия, половину своего пути он делает по суше. По суше? Да, по суше, потому что лед — конечно, суша.

Люди, никогда не видевшие работы ледокола, обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому, должно быть, нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно, нос у него — русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим тяжелым носом ледокол вползает на лед, проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх, и опять — вниз. Льдины бьют в борта, скрежещут, ломаются с пушечным треском. Через лед нужно пробиваться, как через вражеские окопы. Это — война, борьба, бой, к счастью — не человека с человеком, а человека со стихией.

* * *

...И вдруг ледяные пушки замолкли, бой затих, все остановилось. Вы выскакиваете на палубу. Неожиданная тишина слышнее, чем грохот. Кругом развороченные, синие, ледяные внутренности, осколки, глыбы. И больно глазам от белизны еще не тронутых ледяных полей впереди.

Капитан на мостике ругается самыми крепкими русскими словами: оказывается, в боевом азарте мы зарвались, ледокол слишком далеко забрался на лед. Лед попался такой толщины, что выдерживает чудовищную тяжесть, трещит под ледоколом, но не сдается, не ломается. Нужно отступать и, вместо лобовой атаки, обойти ледяные укрепления с фланга. Но отступить не так-то легко: мы застряли, засели на льду. Шесть тысяч лошадей нашей машины, работающей задним ходом, пробуют стащить ледокол со льда в воду — и не могут. Машина бессильна, она не нужна, она остановлена, винт затих. Но какая-то жизнь идет в машинном отделении, там что-то готовится...

Проходит пять, семь, десять минут — и вдруг вы видите, что серая стальная амфибия-ледокол начинает медленно шевелиться на льду, тяжело клониться на один бок, потом на другой, и еще и еще раз... Если не знать ледокольных секретов — это кажется чудом. А секрет в том, что борта у ледокола — двойные, между наружным и внутренним бортом — пустое, ничем не заполненное пространство («бортовые цистерны»), и сейчас

огромные центробежные насосы, каких не бывает ни на каком другом корабле, в несколько минут перекачивают тысячи тонн воды с одного борта на другой, чтобы расшевелить, раскачать застрявшую амфибию.

Но вот уже снова кипит вода за кормой — это заработал гребной винт, и снова кипит на мостике капитан: мы засели слишком крепко, раскачка не помогла. Чтобы слезть со льда и двинуться дальше, нужно пустить в ход другие средства, например... якоря.

Позвольте: якоря, чтобы двинуться? Всем известно, что якоря на корабле служат для того, чтобы корабль прочно стоял на месте! Да, да! Но на этом парадоксальном корабле, на ледоколе, есть особые, «ледяные» якоря, и они для того, чтобы двигаться.

Эти ледяные якоря спущены теперь на лед сзади ледокола, их зацепили за ледяные глыбы, и вот уже бегут назад, к кораблю, по снегу черные человеческие муравьи. Снова гудят колоссальные насосы в машинном отделении: теперь они перегоняют всю воду в корму, в кормовую цистерну — и корма ледокола медленно тяжелеет, оседает, и нос поднимается вверх. Готово. — Полный задний ход! — командует капитан. Винт бурлит — и одновременно начинают громыхать лебедки ледяных якорей: лебедки эти, вместе с машиной гребного винта, изо всех сил тянут назад, в воду, застрявший ледокол.

И, наконец, капитан снял фуражку и, отдуваясь, вытирает пот со лба: ледокол выбрался из плена, он свободен. Пятясь задом, он отступает. Разбитые льдины снова шуршат и скрипят под бортами. Это отступление — только для того, чтобы найти у врага слабое место и снова начать бой...

* * *

Но случается и так, что сверкающие, бесстрастные, беспощадные ледяные поля обложили ледокол прочной блокадой, нигде никакого слабого места, никакой лазейки не найти. Тогда ледокол начинает работать, так сказать, «подпольным методом»: пускают в ход гребной винт, глубоко, незаметно для глаза запрятанный в носовой части ледокола: сильно и умело направленная струя во-

ды постепенно размывает, разрыхляет, подтачивает лед снизу. И к моменту следующей атаки ледяной враг уже ослабел — как слабеют разложенные агитацией воинские части. Лед не выдерживает натиска, ледокол прорвался, помог на этот раз носовой винт...

Внимательный читатель, вероятно, уже схватился за этот «носовой винт» и пробует остановить зафантазировавшегося автора: где же это видано, чтобы винт у корабля был не в корме, а в носу? Да, ни на одном нормальном корабле этого не увидите, но от ледокола всего можно ждать, даже носового винта вдобавок к кормовому.

«Подпольная работа», как известно, всегда дело рискованное. И не менее рискованна работа носового винта на ледоколе: как этот винт ни законспирирован, льдины все-таки часто умеют найти его и обломать крепкие стальные лопасти. Правда, на ледоколе всегда есть водолаз, вот он уже стоит у борта, одетый в свой скафандр и похожий в этом костюме на морлоков Уэллса. Через час он кончит свою работу — поставит на винт, вместо сломанной, запасную лопасть. Но как поручиться, что еще через час лопасть опять не сломается? Сейчас поэтому предпочитают строить ледоколы без носового винта, тем более, что у ледокола всегда остается тот способ, каким пользуются русские бабы, если у них исчерпан весь запас ругани: они поворачиваются к неприятелю задом, подняв свои юбки. Так и ледокол: когда ему приходится трудно, он поворачивается ко льду кормой и размывает лед кормовым винтом, вместо носового.



Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра — «шпангоуты», особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно — нужны ледоколу, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все еще было бы мало: нужна особенная хитрая увертливость, похожая на русскую «смекалку». Как

Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке — вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо — и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль.

***

Их еще мало, их всего только штук двенадцать на четыре русских моря. Дед всех ледоколов — это «Ермак», и это самый большой из построенных до сих пор ледоколов. Дед «Ермак» жив и работает до сих пор: так прочно и надежно строили англичане в те годы, когда еще прочен и надежен был их фунт стерлингов. Построен был «Ермак» на заводе Армстронга в Нью-Кастле, а основы проекта этого первого ледокола были разработаны адмиралом Макаровым, погибшим во время русско-японской войны.

После «Ермака» новых ледоколов в России долго не строили, и только незадолго до мировой войны появился у «Ермака» потомок — «Царь Михаил Федорович». Как и подобает, этот царь после революции, конечно, тоже свергнут, и называется как-то иначе — не помню как, но хорошо помню самый ледокол: через мои руки проходили его проекты. Поставщиками этого царя (как и многих других наших царей) были немцы: ледокол этот был построен на верфи «Вулкан» в Штетине.

И затем во время войны — сразу целый выводок, целая стая ледоколов: «Святой Александр Невский» — после революции превратившийся в «Ленина», — «Красин» — до революции «Святогор», два близнеца — «Минин» и «Пожарский» (не помню их новых имен), «Илья Муромец» и штук пять маленьких ледоколов. Все эти ледоколы были построены в Англии, в Нью-Кастле и на заводах около Нью-Кастля; в каждом из них есть

следы моей работы, и особенно в «Александре Невском» — он же «Ленин»: для него я делал аванпроект, и дальше ни один чертеж этого корабля не попадал в мастерскую, пока не был проверен и подписан: „Chief surveyor of Russian Icebreakers' Building E. Zamiatin".

«Ленина», никак не подозревая, что корабль будет носить это имя, строил завод сэра Армстронга (в свое время строивший «Ермака»). Часто, когда я вечером возвращался с завода на своем маленьком Рено, меня встречал темный, ослепший, потушивший все огни город: это значило, что уже где-то близко немецкие цеппелины и скоро загрохают вниз бомбы. Ночью, дома, я слушал то далекие, то близкие взрывы этих бомб, проверяя чертежи «Ленина», и писал свой роман об англичанах — «Островитяне». Как говорят, и роман, и ледокол вышли удачными. Ледокольщики (критики более строгие и более компетентные, чем литературные) считают «Ленина» едва ли не лучшим из всех русских ледоколов. С ним конкурирует только знаменитый «Красин» (к постройке которого, кстати сказать, я имел меньше отношения, чем к постройке других ледоколов).

Но, все-таки — что же это? Оказывается, все «русские» ледоколы импортированы в Россию из-за границы? Да, но при ближайшем рассмотрении многое, что кажется сейчас специфически российским, оказывается импортным материалом. Даже — марксизм, родившийся, как известно, на германской территории. Даже... самовары, которые — как теперь установлено — были в ходу у китайцев еще тысячи за две лет до Рождества Христова. Но фактам — грош цена: самовары все же навсегда останутся русскими.



Пусть они построены за границей, пусть их пока только двенадцать, но они делают свое дело: в мертвом, глухом, равнодушном льду — они пробивают дорогу от Европы к России. И сейчас, когда по улицам гуляют в легких пальто, там, среди бескрайних ледяных полей, команда ледоколов работает без отдыха, там сейчас идет

атака. Каждый из ледоколов делает совершенно то же самое трудное дело, какое так прославило «Красина». «Красин» был только удачливей, чем другие ледоколы: из-за неудачника Нобиле за работой «Красина» следили миллионы глаз, имя «Красина» обошло весь мир. Другие ледоколы — то же, что «неизвестные солдаты» во время войны.

Но разве дело «неизвестного солдата» меньше, чем известного? По-моему, даже больше: «неизвестный» не получает за свое дело платы звонкой монетой славы.

ТЕАТР

ОГНИ СВ. ДОМИНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица:

Граф Кристобал де-Санта-Крус.
Балтасар — его сын.
Родриго (Рюи) — его сын.
Инеса — невеста Рюи.
Диэго — мажордом.
Фра-Себастьяно — поэт.
Дама — (сеньора Сан-Висенте).
Гонсалес де-Мунебрага — инквизитор.
Нотариус.
Фра-Педро, Фра-Нуньо — доминиканцы.
Секретарь инквизиции.
Первый мастер инквизиции.
Второй мастер.
Желтый горожанин с женой.
Румяный горожанин с женой.
Первый гранд.
Второй гранд.
Король Филипп II. Кабальеро и дамы. Алгуасилы.
Служители инквизиции. Еретики. Монахи. Народ.

Место действия: Севилья.

Время: вторая половина 16-го века.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Внутренний двор в доме Санта-Крус. Справа и слева — стены дома; узкие, глубокие ниши окон, все в плюще. На заднем плане высокая каменная ограда с зубцами; над зубцами полоса черносинего неба, звезды. Тяжелая, обитая железом, дверь на улицу; на двери герб: крест из двух мечей, на конце одного меча сердце. Возле рампы, справа и слева — две винтовых лестницы дома, истертые каменные ступени. Недалеко от одной из лестниц — столик с книгами и принадлежностями для письма. Посредине двора — обеденный стол. Диэго расставляет блюда — бутылки, вазы с фруктами.

Дон-Кристобал *(берет одну за другой бутылки, смотрит на свет)*. А где же малага? Ай, Диэго, за эти три года ты уже успел забыть, что Рюи больше всего любит малагу. Ну, чего же стоишь и сияешь, как медный таз Алонсо-цирюльника? Рад, старик, что Рюи вернулся, а? Впрочем, я и сам, должно быть, как медный таз... Три года! Ты бы сбегал наверх, Диэго: может быть, Рюи уже пришел из собора?

Диэго. Из собора? Да он туда и не ходил.

Кристобал. Как, разве? А я думал — он вместе с Балтасаром и Инесой...

Диэго. Нет, сеньор, Рюи сказал дон-Балтасару, что он устал с дороги. Должен заметить, сеньор, что я это не одобрил: пожалуй, еще кто-нибудь скажет, что наш Рюи набрался разных мыслей в этих самых Нидерландах.

Кристобал. Ну, хотел бы я посмотреть, кто осмелится что-нибудь этакое сказать об одном из Санта-Крусов. *(Помолчав)*. Нет, а какой он стал: совсем мужчина! Ты приметил, Диэго, как он вошел: голову назад, взглянул вот так... А говорит... как говорит! Нет, в нидерландских университетах учат хорошо. Я не жалею, что послал его туда.

Диэго. А я, должен заметить, сеньор, не одобряю. Там, говорят, еретиков, что орехов в Барселоне. А у неверных, конечно, и наука неверная. Вот уж у нас в Испании, если дважды два, так спокойно можешь сказать, что это — с благословения Святой Церкви — четыре. Взять, например, вашего старшего, дон-Балтасара...

Р ю и *(медленно спускается по лестнице справа, в руках у него книга, читает на ходу. Спохватился, закрыл книгу, входит).* Как хорошо! Вино, а не воздух: пьешь и хочется все больше... А где Инеса?

К р и с т о б а л. А-а, мальчик, вот чем ты пьян? Инеса? Рыцарь, Санта-Крус, и сдался в плен... Кому же? Девочке! И не стыдно?

Р ю и. Сеньор отец...

К р и с т о б а л. Ну-ну, Рюи, я шучу. Когда-то — так давно и так недавно — я ведь и сам был такой, как ты, и я помню... Что это у тебя за книжка?

Р ю и *(смущенно).* Это... это так... *(Прячет книгу за спину).* Это... *(Громкий, отчетливый стук в дверь. Рюи поспешно засовывает книгу под плющ, в оконной нише. Диэго открывает дверь. Входит Балтасар).*

Б а л т а с а р. Не запирай, Диэго: там Инеса и гости. *(Идет к Рюи).* Ну, Рюи, дай обнять тебя еще раз. Я так торопился в собор — не успел даже разглядеть тебя. Да, теперь у тебя в глазах как будто... Нет, не знаю... А это... Погоди-ка, ведь это на щеке у тебя тот самый шрам! Помнишь тот наш детский турнир из-за Инесы? И еще ты боялся, что след у тебя останется на всю жизнь? Неужели...

Р ю и. Да, Балтасар, это на мне твоя печать. Так и умру с ней.

К р и с т о б а л *(смотрит на сыновей, мигает).* Ну вот — оба теперь. Ну, давайте же... *(Наливает бокалы — вытирает глаза).* Пыль — с улицы: дверь открыта...

(Входит Инеса, Рюи к ней навстречу с бокалом. Становится на одно колено, целует у ней руку и подает ей бокал).

Р ю и. Инеса, вам бокал — и... я просто боюсь — я расплескаюсь, перельюсь через край, так полно!

К р и с т о б а л. Инеса... Рюи... Пошли вам счастья, Святая Дева! И ты будь счастлив, Балтасар!

(Балтасар берет свой бокал, смотрит на Инесу, на Рюи — ставит свой бокал обратно на стол. Входят Гости... Впереди фра-Себастьяно — говорит кому-то, оборачиваясь назад).

Ф р а - С е б а с т ь я н о. Нет, ведь это просто ужас! Говорят, что монахи из Сан-Изодоро — тоже... И вот, по ночам все эти отступники от веры...

Гость. Ну, фра-Себастьяно, вы поэт, а поэты склонны... как бы это сказать...

Фра-Себастьяно. Нет, нет, уверяю вас, мне говорил сам инквизитор де-Мунебрага...

(Кристобал и Балтасар идут навстречу Гостям. Инеса и Рюи — в стороне, меняются незаметно бокалами и пьют, не отрывая глаз друг от друга. Слышны смешанные восклицания Гостей).

Гости. Позвольте и мне, дон-Кристобал... — Нет, нет, фра-Себастьяно, тут какая-то ошибка... — Теперь, дон-Кристобал, вы можете спокойно...

Первый гранд *(второму — глядя на Инесу и Рюи)*. Смотрите: сейчас во всем мире их только двое. Никого нет: только их двое.

Второй гранд. Никого нет? Сеньор, вы, по обыкновению, говорите так, что я... *(Проходят).*

Рюи *(Инесе)*. А наше Эльдорадо: вы помните, Инеса? В башне, когда смеркалось, камни начинали шевелиться — и я спасал вас от великанов. И вот теперь бы мне каких-нибудь эльдорадских великанов, что-нибудь самое трудное для вас...

Толстый сеньор *(подходит)*. Чтоб не забыть: не скажете ли вы мне, дон-Родриго, чем они там откармливают свиней? У них ведь — свиньи лучшие в мире.

Гости *(подходят)*. Да, да — расскажите, расскажите нам что-нибудь!

Рюи. Свиньи? Сеньор, я крайне сожалею, но я был занят более... более необходимым: я изучал метафизику.

Толстый сеньор. Более необходимым? Что значит молодость!

Кристобал *(подходит)*. А где же дон-Фернандо? Странно: он так хотел видеть Рюи — и он всегда точен, как часы. Не заболел ли? Ну что ж, я думаю, мы не будем его ждать? Прошу, сеньоры. Инеса, ты мне поможешь? *(Вместе с Инесой и частью Гостей идет к столу).*

Рюи *(взял со стола какую-то книгу, раскрыл)*. Нет, вы только посмотрите! *(Смеется. Идет к большому столу, где Гости, и читает)*. «О том, что есть торговля, и об искусстве тончайшем очарования покупателя. Посвящается Императрице Неба, Матери Вечного Слова, Чистейшей Деве Марии». Нет, это великолепно! *(смеется).*

Б а л т а с а р *(сурово).* Перестань, Рюи. Что тут смешного?

Р ю и . Нет, Балтасар, ты только ... О торговле — деве Марии ... Нет, не могу!

К р и с т о б а л *(с добродушной усмешкой).* Ты, Рюи, не шути с ним: ведь он у нас — ревнитель веры. Три месяца уже, как он стал el santo.

Р ю и . El santo?

К р и с т о б а л . Ну да. Бедный мальчик! Чему же там вас учили в Нидерландах? Ты не понимаешь?

Р ю и . Нет, сеньор отец, прошу вас извинить меня, но право же ...

К р и с т о б а л . Я помню — это было очень торжественно, после мессы, собор полон рыцарей и дам. Вас было десять: не так ли, Балтасар? И каждому из десяти сеньор де-Мунебрага, инквизитор севильский, вручил вот этот белый знак. *(Показывает на грудь Балтасара).* Тишина в соборе такая, что слышно было, как шуршали шелковые складки фиолетовой одежды де-Мунебраги. И в тишине каждый из десяти поклялся перед алтарем — бороться с еретиками, поклялся забыть, согласно заветам Христа, об отце, о матери, о братьях, и кто бы ни были еретики — всех предавать в распоряжение Святейшей Инквизиции. Обет тяжелый, но Санта-Крусы всегда в первых рядах сражались против врагов церкви — против турок, мавров и против ...

Р ю и . Прошу прощенья, сеньор отец. Но с маврами — Санта-Крусы, насколько знаю, сражались мечом, а не доносами. Я ушам не верю: испанский рыцарь — пойдет с доносом в инквизицию! И об этом так, вслух ...

Б а л т а с а р *(с шумом отодвигает кресло, берется за шпагу).* Рюи, у тебя на щеке еще цел след от моей рапиры, и если ты ...

К р и с т о б а л *(хватает его за руку).* Тише, тише! Вспомни, Балтасар, что Рюи уже три года не был в Испании и потому ...

Б а л т а с а р . Там три года или не три года ... Но должен же он понять, что служба инквизиции — это служба Церкви, и потому это честь для каждого из нас! *(кулаком по столу).* Неужели же не ясно, что убийство, ложь — все, что угодно, ради Церкви — благородней,

чем благороднейший из подвигов ради сатаны и его слуг — еретиков?

Толстый сеньор *(сидел рядом с Рюи — теперь предусмотрительно отошел в сторону вместе с женой).* Браво, браво, дон-Балтасар! *(Жене, тихо):* Как он неосторожен — этот Рюи. Что значит молодость!

Балтасар *(садится. Спокойнее).* Неужели же тебе не ясно, Рюи, что было бы жестокостью предоставить еретикам идти их пагубным путем? Разве не милосерднее спасти их?

Рюи. Насильно? Тюрьмой? Костром?

Балтасар *(опять вскакивает. Вызывающе).* Да! Да! А разве Бог не посылал казни на избранный народ? Разве не Бог приказал Моисею истребить смертью четыреста поклонников Ваала? Разве не ясно, что генеральный инквизитор — вовсе не Мунебрага, а сам Господь? **И мы**, воины Инквизиции, в руках его — как благородный, беспощадный меч Тисон в руках Сида Кампеадора ...

Гости. Браво! Браво!

Фра-Себастьяно *(встает).* Сеньоры, кстати, о Сиде: если разрешите, я прочту свою новую поэму, посвященную Его Преподобию, сеньору Мунебраге. Там как раз ...

Гости. Просим! Просим!

Балтасар. Нет, позвольте! Я хочу, чтобы Рюи ответил мне прямо на вопрос: считает ли он, что Католическая Церковь ... *(За стеной на улице слышен топот бегущих ног и неясные крики погони; Балтасар сбивается.)* Что Церковь ...

Фра-Себастьяно *(стоит с листком в руках).* Сеньоры ...

Толстый сеньор *(возле него теперь еще несколько Гостей).* Ого! Этот турнир между братьями становится серьезным!

(Крики за стеной ближе. Слышно: «Держи! Где же она? Сюда!»)

Гости. Что там? Что случилось? Слышите? *(Вскакивают).*

Кристобал. Посмотри, Диэго.

(Диэго выходит на улицу. Крики затихают вдали. Диэго возвращается).

Кристобал. Ну? Кто же это сейчас там был на улице?

Диэго. Только один человек, сеньор.

Кристобал. Кто же?

Диэго. Я, сеньор.

Кристобал. Ну, ты уж... *(отчаянно машет рукой).* Хорошо, иди.

Фра-Себастьяно. Итак, сеньоры...

Гости. Да, да, фра-Себастьяно! — Конечно! — Мы ждем!

Фра-Себастьяно *(читает).*

Гремите, трубы и литавры,
Хвалите Бога, стар и млад:
Покорны были Сиду мавры —
Покорен Мунебраге ад.
Как Сидов меч, Тисон могучий,
У Мунебраги — крест Христов:
Взмахнет — все выше, выше, круче —
Горой тела еретиков.
Как под Валенсией у Сида,
Уж руки...

(Тихий стук в дверь).

Фра-Себастьяно *(сердито оглядывается и продолжает громче.)*

Уж руки по локоть в крови:
Господь его благослови —
Де-Мунебрагу...

(Снова слышится стук).

Рюи. Простите, Фра-Себастьяно. Но там стучат. Быть может, это, наконец, дон-Фернандо...
(Идет к двери, открывает. Входит Дама. Прислонившись к стене, смотрит на всех широко раскрытыми глазами, молча).

Дама *(к Рюи).* Закройте... Ради Святой Девы — скорей, скорей...

Кристобал. Как — вы? Одна? А что же дон-Фернандо? Но что с вами?

Дама *(тихо).* Дон-Фернандо взяли.

Кристобал. Дон-Фернандо? О, нет! Что вы, что вы!

Дама *(сперва тихо, потом громче, возбужденней).* Они окружили весь дом, они заняли все входы... Во

всех комнатах, все книги, письма... Они схватили Дон-Фернандо — у него свалилась шляпа, он наступил на шляпу... и его повели неизвестно куда... Нет, хуже: известно! Святая Дева — они сказали: в этот проклятый замок Инквизиции, в Триану, в тюрьму...

Балтасар *(еле сдерживаясь)*. В Святой Дом. Это называется — Святой Дом, позвольте вам сказать, сеньора. Это Святой Дом, а не тюрьма. Благодарите Бога и Мадонну, что есть люди, которые...

Дама *(не слушая)*. Они рыщут по всему городу. Они оцепили целые улицы. Они повсюду. Гнались за мною. Я видела: ведут мужчин и женщин. В замке Инквизиции все окна освещены. Они замучают, они сожгут его! Дон-Кристобал, скажите — дон-Кристобал, что мне делать, что, что?

Кристобал *(дрожащими руками наливает ей вина)*. Вот, выпейте... Я думаю, все это ошибка. И завтра же... Нет, дон-Фернандо... это смешно! Балтасар, ведь ты же знаешь его. Ты знаешь!

Балтасар *(угрюмо)*. Да, знаю. И знаю, что однажды он дал приют еретику, которого разыскивал Святейший Трибунал.

Дама *(делая движение к Балтасару)*. Да, да, дон-Балтасар — вот вы понимаете: он был такой добрый... Святая Дева! Почему я говорю «был»? О, он шел без шляпы — один, а сзади, и спереди, и с боков — они. А он — один...

(Ее окружают Гости и Гостьи. Все встали из-за стола. У лестницы справа — Толстый сеньор и группа других поглядывают на происходящее издали и сперва перешептываются, а потом — громко):

Толстый сеньор. Я вам говорю, сеньоры: берите шляпы — и домой. Я вам говорю: в этом доме пахнет огнем.

Толстая сеньора *(радостно)*. Нет, вы обратите внимание, как бледен дон-Родриго. Уж поверьте: ну что-то... *(Прощаются с дон-Кристобалом, уходят; за ними другие Гости. Дама остается; возле нее Кристобал, Диэго, Балтасар; Инеса и Рюи в стороне — возле ниши, где Рюи спрятал книгу).*

Инеса. Мой милый Рюи, что с вами? Вы смотрите на меня так, как будто я из стекла. Вы — совсем другой.

Рюи. Разве? Мне кажется... я... Мне неприятно, что этот вечер, такой радостный — был омрачен... В этом я вижу дурной знак.

Инеса. А я ничего на свете не вижу, кроме... *(Пристально смотрит на Рюи).* Рюи, вы что-то скрываете от меня.

Рюи *(неохотно).* Ну... если хотите, дон-Фернандо — был мой друг. И может быть — даже больше... *(После паузы, решительно):* Инеса, что бы вы сказали, если б я...

Инеса. Что — вы?

Рюи. После. Здесь Балтасар...

(Диэго, поддерживая, уводит Даму внутрь дома по лестнице налево. Дон-Кристобал и Балтасар — сзади).

Кристобал. Но, Балтасар, подумай: куда же она пойдет, ночью, одна? Ведь это же...

Балтасар. Сеньор отец, я повторяю: она скрылась от служителей Святого Трибунала. Вы можете принудить меня к тому, чего я не хотел бы... И я настаиваю...

Кристобал. Что? Довольно! Или я уж не хозяин в этом доме? *(Уходит по лестнице налево).*

Балтасар *(вслед ему).* Сеньор отец, предупреждаю, что я должен... Сеньор отец! *(Некоторое время Балтасар стоит нахмурившись, глядя вслед ушедшему Кристобалу, потом идет к нише направо, где Инеса и Рюи. Рюи, не глядя на Балтасара, быстро поворачивается и уходит по лестнице в дом).*

Балтасар. Ушел, не хочет... Инеса! *(Инеса молчит).* Инеса, если бы вы знали, как мне трудно сейчас... Понимаете: часы. Хотят или не хотят — но они неизбежно должны пробить двенадцать. Должны! Инеса! *(Осторожно берет ее за руку).* Если бы вы когда-нибудь... я не говорю сейчас — но может быть когда-нибудь... если бы вы согласились разделить со мною...

Инеса *(вырывает руку и прячет ее за спину. Нащупала книгу, спрятанную Рюи, вытащила ее и перелистывает, чтобы не смотреть на Балтасара).* Я очень сожалею, дон-Балтасар, но если бы вы оставили меня одну, мне было бы приятнее. Вы, кажется, снова начинаете о том, о чем мы уже столько раз говорили.

Балтасар. В последний раз — больше никогда. Скажите мне в последний раз... *(Снова касается ее руки: Инеса роняет книгу; Балтасар ее поднимает).*

Инеса (*встает*). Если вы не перестанете, дон-Балтасар, я сейчас же уйду.

Балтасар (*некоторое время молчит, глядя в книгу. Резко*): Чья книга? Ваша? (*Протягивает Инесе*).

Инеса (*встает*). Вам это так интересно? Нет, не моя. (*Открывает книгу*). Здесь пометки. Как будто, почерк Рюи. Ну да, конечно же, его...

Балтасар (*в ужасе*). Рюи? Вы говорите, что это... это его, Рюи?

(*Инеса изумленно поднимает голову. Входит Рюи. Увидел раскрытую книгу в руках Инесы — и как споткнулся: стоит, не отрывая глаз от книги. За стеной голоса, шаги, звон оружия*).

Инеса (*к Рюи*). Опять они: слышите? Весь город полон ими... Что за ужасная ночь!

Балтасар. Да, это... Я должен... (*Делает два-три шага к двери на улицу, останавливается, возвращается обратно. Секунду стоит возле окна; проводит по лицу рукой — раз и еще раз*).

Инеса (*прислушиваясь*). Прошли.

Балтасар (*очнувшись*). Мне надо... Я скоро вернусь — сейчас... Ты за мной закроешь? (*Подходит к Рюи, кладет ему руки на плечи, опускает глаза*). Прощай, Рюи! (*Целует его.*) Спокойной ночи, донья Инеса! (*Уходит на улицу*).

Рюи (*поспешно закрывает дверь и бросается к Инесе*). Он видел? Раскрывал ее? (*Крепко стиснул руку Инесы*).

Инеса. Что? Я не понимаю... Пустите же, Рюи, мне больно!

Рюи. Он видел? Он видел, что это за книга?

Инеса. Пустите же! Я не знаю... Я уронила... Он спросил, чья книга... Пустите!

Рюи. Он видел!

Инеса. Рюи, ради Святой Девы — что все это значит?

Рюи. Что значит? Это значит, что вы сами того не подозревая, подожгли фитиль у бочки с порохом — и через час, через минуту, я не знаю, когда — все взлетит на воздух...

Инеса. Но что же, что я сделала? Вы меня пугаете.

Р ю и. Разве вы не видите: это Новый Завет по-кастильски, это сделанный Жуаном Перецом перевод с латинского...

И н е с а. Не понимаю. Если это Новый Завет — если это Евангелие...

Р ю и. Дитя! Вы не знаете, что для них — для Балтасара — это ересь? Что это то самое Евангелие, какое читал дон-Фернандо, и десятки, и сотни других, кого сегодня ночью...

И н е с а. Рюи, вы — вы! — тоже... Как дон-Фернандо...

Р ю и. Да, я — тоже.

И н е с а *(после паузы, тихо)*. Но неужели вы можете думать, что Балтасар... *(Громче):* Но это же нелепо! Вы не знаете, как он... Когда вы были в Нидерландах, один — кто, я не скажу — нехорошо отзывался о вас при Балтасаре. И Балтасар вызвал его на поединок, был ранен... Нет же, Рюи, это невозможно, чтобы Балтасар, — я знаю.

Р ю и. Я тоже знаю: одной и той же рукой — он может убить из-за меня и может убить меня...

(Слышно: в городе медленно бьют башенные часы).

И н е с а. Постойте. Он что-то говорил о часах... Не помню. У меня все путается в голове. Какой-то сон... И эта книга, и то, что вы отреклись от Христа и Мадонны, и то, что Балтасар может...

Р ю и *(перебивая, горячо)*. Инеса, я не отрекся от Христа: я только полюбил Его — и возненавидел всех, кто снова распинает Его, кто заставляет Его быть предателем, Иудой. Тюрьмы, казни во имя Христа! Инеса, вы только представьте: Христос — сейчас там, на улицах. Неужели вам не ясно, что... *(Обрывает. За стеной снова шаги. Остановились).* Тише: там, кажется, кто-то... *(Громкий троекратный стук в дверь).*

И н е с а. Рюи...

Р ю и *(прижимая к себе Инесу)*. Ничего, ничего, Инеса. Это только... Это... Кто там?

Б а л т а с а р *(за дверью)*. Это я. Откройте...

И н е с а. Но там — там еще какие-то голоса... Рюи, я дрожу вся, Рюи...

Р ю и. Нет, нет, это вам показалось. Это Балтасар. Диэго сейчас откроет. Пойдемте.

Инеса. Я не... не могу...
(Рюи бросает книгу в нишу, подхватывает Инесу обеими руками и уносит по лестнице направо. Снова стук в дверь, нетерпеливые голоса).

Диэго *(застегиваясь на ходу, бежит к двери).* Кого вам надо?

Балтасар *(за дверью).* Это я. Открой, Диэго! *(Диэго открывает. Входит Доминиканец, откидывая капюшон. Рядом с ним Балтасар. Отряд алгуасилов Инквизиции).*

Диэго *(всплескивая руками).* Сеньор Иисус!

Балтасар *(большими шагами идет к нише, берет оттуда книгу, подает ее Доминиканцу).* Вот эта книга!

Доминиканец. Подумайте! За эту ночь я вижу уж чуть ли не десятую. Весь город засеян семенами дьявола, и я полагаю... Позвольте, позвольте, куда же вы?
(Балтасар, не слушая, быстро выходит на улицу. Весь дом проснулся. Мелькают огни. Открываются окна, высовываются и прячутся чьи-то головы. По лестнице слева спускается Кристобал).

Кристобал *(Доминиканцу).* Что вам здесь надо? Вы ошиблись, отец мой. Это — мой дом, дом графов Санта-Крус.

Доминиканец. Сеньор, простите. Но вот приказ Святого Трибунала. Вы видите печать: меч, ветвь оливы и собака с пылающей головней. И вот девиз: справедливость и милосердие.
(Часть алгуасилов уходит в дом по лестнице налево).

Кристобал *(руки у него дрожат).* Я... я... не могу... Здесь неясно.

Доминиканец *(насмешливо).* Возможно. Ведь имя вписано сию минуту, на улице под фонарем. Но оно вам знакомо.

Кристобал *(поднимает бумагу к свету — и садится, согнувшись, постарев сразу).* Как? Мой сын? Рюи?

Доминиканец. Да, сеньор Родриго де-Санта-Крус. И супруга еретика Фернандо Сан-Висенте.
(На лестнице справа — показывается Рюи; останавливается на последних ступеньках).

Кристобал *(растерянно).* Но... он... ведь только приехал сегодня утром... Только приехал, понимаете? *(С отчаянием):* Я хочу сказать: его здесь нет — нет!

Рюи *(выходит)*. Я здесь. Я Родриго Санта-Крус.

Кристобал *(встает; выпрямившись, смотрит на Рюи. Гордо)*: Да, это он.

(По лестнице слева алгуасилы ведут вниз Даму).

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Низкая, глухая комната в замке Триана. Сводчатый потолок. Узкое окно с решеткой; створки с цветными стеклами открыты внутрь, на стеклах играет солнечный луч. На одной стене — две задернутые черные занавески; за ними, вероятно, двери или ниши. Возле другой стены — покрытый черным бархатом стол и четыре кресла. Перед столом скамья подсудимых: на выкрашенных в черное деревянных крестовинах — положен треугольный брусок, острым ребром кверху. Отдельный столик для Секретаря Инквизиции. Под окошком стоят два мастера, в длинных черных одеждах, с капюшонами, закрывающими голову и лицо; в капюшонах прорезы для глаз, рта и носа.

Первый мастер *(фыркает)*.

Второй мастер. Ты чего?

Первый мастер. Да уж очень смешно. Вчера-то, помнишь? Раздели ее, стали к доске прикручивать, а из грудей молоко как брызнет! Прямо мне на руку! Теплое... *(Помолчав)*. Младенец, должно быть, дома, у ней...

Второй мастер *(молчит)*.

Первый мастер. Ты что молчишь, нос повесил?

Второй мастер. Девочка у меня заболела. Младшая.

Первый мастер. А, это которая — палец тряпкой завязан. Еще я ей куклу на тряпке...

Второй мастер. Ну вот — теперь у ней всю руку раздуло. Кричит, просто сердце переворачивается. Скорей бы домой.

Первый мастер. Попадешь тут домой! Дадут тебе какую-нибудь упрямую лютеранскую собаку...

Второй мастер *(со злостью).* Ну, у меня нынче живо... Так завинчу...

Первый мастер. Тише! Идут...

(Входит Мунебрага с Нотариусом, за ними два доминиканца и сзади всех Секретарь с бумагами и Служитель. Мунебрага — румяный, с ямочками на щеках; доминиканцы — два желтых черепа с венками седых волос. Нотариус на каждом шагу приклانивается и все время идет на полшага сзади Мунебраги).

Нотариус. Ваше преподобие, изволили вы...

Мунебрага *(мастерам).* Можете пока идти к себе. *(Служителю).* Там есть кто-нибудь наверху в приемной?

Служитель. Сеньор Балтасар. Хочет вас видеть, Ваше Преподобие.

Мунебрага. А-а, это кстати. Веди его сюда! *(Нотариусу):* Вы что-то спрашивали, сеньор Нотариус?

Нотариус. Я хотел узнать: изволили ли вы, Ваше Преподобие, читать поэму, написанную фра-Себастьяно? Как метко: сверкающий огнем меч Тисон — именно огнем, заметьте. И Ваше Преподобие — в виде доблестного Сида.

Мунебрага. Да, это, конечно, не Петрарка. Но... *(вытаскивает из кармана изюм, кладет его в рот)* зато в авторе — бескорыстная преданность Церкви, что делает его ценней Петрарки.... Ах, кстати: позвольте, фра-Педро, поблагодарить вас за скворца. Вы прямо чудеса делаете со своими птицами! Понимаете, сеньор Нотариус: скворец — насвистывает Te-Deum.

Нотариус. Te-Deum! Так мудро использовать естественное стремление птицы петь! Te-Deum! Как бы я хотел послушать...

Мунебрага. За чем же дело? Вот кончим, приходите завтракать ко мне. *(Зажмуривается).* А каких мы вчера ели омаров! Мы получаем их из Англии, с Святого Острова. Да, уж этот остров подлинно взыскан благоволением Божиим.

Секретарь *(подносит для подписи).* Приговор, Ваше Преподобие. Костер.

Мунебрага *(не глядя, подписывает. Продолжает).* Слегка поджарены, с соусом из взбитых яиц и с красным канделедским перцем... Пальчики оближешь! И к этому

вино — из рейнских лоз. Да, еретики в Германии умеют делать вино, что говорить!

Нотариус (*с поклоном и многозначительной улыбкой*). И еретики на что-нибудь полезны, как все созданное Господом.

Мунебрага. Ах, я все забываю спросить вас. Старик дон-Кристобал...

Нотариус. Разве я не докладывал Вашему Преподобию? Он поторопился отправиться в чистилище — чтобы заблаговременно приготовить там апартаменты для сына. Он этого мальчика, кажется, очень любил.

Мунебрага. Да, знаю, знаю, я не о том. Сколько он оставил? Вам, сеньор, это, я думаю, известно.

Нотариус. Около двадцати тысяч дукатов, Ваше Преподобие. И, стало быть, после конфискации его имущества...

(*Входит Балтасар. Мунебрага встает ему навстречу*).

Мунебрага. Хвала и честь вам, дон-Балтасар. Я вас с тех пор не видел и еще не имел случая сказать вам, как меня глубоко тронул ваш подвиг. Вы подлинно достойны имени Санта-Крус: вы мужественно стали на защиту Святого Креста и Церкви, вы не пощадили даже...

Балтасар. Ваше Преподобие, простите: я пришел справиться о нем — о Рюи... о дон-Родриго, моем несчастном брате.

Мунебрага. Не могу скрыть от вас: у нас есть опасение, что нам не удастся вырвать его душу из когтей Сатаны. Он тверд, как железо. Одна надежда, что и железо делается мягким на огне. Сегодня мы допросим его в третий раз, и если он будет все так же упрям — как ни прискорбно, придется прибегнуть к инструментам...

Балтасар (*вскакивает*). Ваше Преподобие! Вы хотите... вы хотите его, Рюи... (*Замолкает*).

Мунебрага (*с усмешкой*). Вы хотите что-то сказать, дон-Балтасар?

Балтасар (*снова опускается в кресло. Устало*). Нет. Ничего.

Мунебрага. Нет? Тогда позвольте мне сказать вам — или, вернее, доказать — как я ценю вас. Я хочу, чтобы вы были спокойны, и предоставлю вам самому возможность судить, насколько мы будем правы, если отведем его туда... (*Показывает на ту дверь за зана-*

весью, в которую ушли *м а с т е р а*). Вы сами услышите, как он говорит и что. Прошу вас сюда, сеньор. (*Открывает одну из занавесей в передней стене: за занавесью кресло в нише. Балтасар по-прежнему сидит возле стола, согнувшись*). Ну, что же? (*Балтасар медленно, тяжело идет, садится в нише. Мунебрага задергивает занавесь, подходит к столу, звонит. Входит служитель*). Сороковой номер здесь?

С л у ж и т е л ь. С утра здесь, Ваше Преподобие.

М у н е б р а г а. Сюда его. (*Садится на место, вынимает из кармана и жует*).

Н о т а р и у с (*тихо*). Вы не опасаетесь, Ваше Преподобие, какого-нибудь... недоразумения? (*Кивает головой в сторону ниши*).

М у н е б р а г а. Недоразумения? Наоборот — я жду большего разумения того, насколько мы следуем нашему священному девизу: справедливость и милосердие. (*Предлагает нотариусу изюм*). Угодно? Это синий, из Малаги. Если у вас желудок не в порядке, если вас крепит — так это прекрасное средство!

(*Служитель вводит Рюи. Рюи босой, в арестантской одежде*).

М у н е б р а г а. Сын мой! Взгляни туда... (*Показывает на окно*).

Р ю и (*оборачивается*). Какое синее! (*Закрывает глаза — и снова поворачивается к столу. Как бы оправдываясь*). Я отвык.

М у н е б р а г а. Сын мой! Мы хотим, чтобы твоя душа была в этом неизреченном свете, а не в кромешной тьме геенны. У тебя есть еще время покаяться. И есть путь: сказать нам чистейшую, как это небо, правду.

Р ю и. Ни один из Санта-Крусов не нуждается в таком щите, как ложь.

М у н е б р а г а. Тем лучше. Тогда скажи: известен ли тебе указ нашего доброго короля — указ о том, что всякий перепечатывающий, продающий или читающий эту книгу (*осторожно, двумя пальцами, как бы опасаясь запачкаться, поднимает со стола книгу*) — должен быть казнен на костре, на эшафоте или в яме?

Р ю и (*вздрагивает*). Известен.

М у н е б р а г а. И, значит, ты признаешь, что впал в ересь сознательно, с открытыми глазами вступил на этот сатанинский путь?

Р ю и *(спокойно)*. Мой путь не сатанинский, а путь Христа.

М у н е б р а г а *(негодующе)*. Вы слышите? Что он говорит, что он говорит, безумный! Если твой путь — есть путь Христа, то, следовательно, наш — сатанинский? Ты, следовательно, считаешь, что Святая Церковь . . . нет, мой язык не в состоянии произнести такую хулу! Секретарь, отметьте: богохульствует.

Ф р а - П е д р о *(доминиканец слева от Мунебраги)*. Неслыханно!

Р ю и *(все еще спокойно)*. Вы просто хотите придать другой смысл моим словам. Я утверждал раньше и утверждаю, что ни в чем не отступил от учения Христа.

М у н е б р а г а. Но раз Церковь — раз мы говорим тебе, что ты впал в ересь . . . Ты, стало быть, хочешь сказать, что Церковь может ошибаться? Ты не веришь тому, чему учит Церковь?

Ф р а - Н у н ь о *(доминиканец справа от Мунебраги)*. Это, Ваше Преподобие, настолько очевидно, что я полагал бы . . .

Ф р а - П е д р о *(горячо)*. Несчастный! Да если бы мне Церковь сказала, что у меня только один глаз — я бы согласился и с этим, я бы уверовал и в это. Потому что, хотя я и твердо знаю, что у меня два глаза, но я знаю еще тверже, что Церковь — не может ошибаться. А ты, несчастный . . .

Р ю и. Вот именно, отец мой: я твердо знаю, что у меня два глаза. И обоими глазами я вижу ясно, что в этой книге — учение Христа.

Ф р а - П е д р о *(кричит)*. Молчи! Это Дьявол подсказывает тебе на ухо ответы! Вот — я вижу, я вижу: шевелятся его бородавчатые, лиловые губы! Это — тот самый, какой сегодня ночью меня . . .

М у н е б р а г а. Успокойтесь, фра-Педро! *(К Рюи):* Сын мой! Пойми же: мы любим тебя — как отец любит даже и блудного сына. И от твоего упорства — сердце у нас по каплям исходит кровью. Пойми же, наконец, свою выгоду: если ты не покаешься — как упорный еретик, ты

будешь сожжен на костре; если ты покаешься — как сознавшийся в ереси, ты будешь сожжен на костре, но...

Р ю и *(с усмешкой)*. Я выгоды не вижу.

М у н е б р а г а. Ты не дал мне кончить. Пойми: кратковременным страданием — ты искупишь свой грех. И раньше или позже — из чистилища ты перейдешь в светлое Христовое Царство. Покайся же!

Р ю и. Мне не в чем каяться.

М у н е б р а г а *(встает, руки к небу)*. Святая Дева! Помоги мне смягчить его окаменевшее сердце! *(выходит из-за стола, становится перед Рюи на колени. С дрожью в голосе):* Сын мой! Я на коленях молю тебя: покайся! Ты видишь у меня слезы на глазах... Сжалься над нами, дай нам спасти тебя!

Р ю и *(пытается поднять его. Растерянно)*. Встаньте же... Ведь это... Я... я просто... *(Доминиканцам):* Помогите же мне...

М у н е б р а г а. Не встану — пока не скажешь: каюсь!

Р ю и. Клянусь Святым Крестом: если бы я чувствовал, что я... Но я же не могу...

М у н е б р а г а *(встает. Секретарю)*. Запишите: упорствовал и ложно клялся Святым Крестом. *(Садится)*. К прискорбию, я вижу, нам остается только одно... *(Звонит два раза. Входят* м а с т е р а*)*. Принесите инструменты. А вы, фра-Нуньо, объясните ему. Я обессилен — он измучил меня своим упорством.

Ф р а - Н у н ь о *(по мере того, как приносят инструменты — объясняет. Говорит ласково)*. Вас положат на эту лестницу, сеньор Родриго. Руки привяжут вот тут, наверху, а ноги вот к этой веревке. А здесь вот — видите? — это ворот, и воротом вас будут тянуть вниз, пока суставы не хрустнут — и вы будете становиться все длиннее, длиннее, длиннее... А вот тут, на этой скамье — тут гвозди... *(Что-то смахивает с гвоздей)*. Это ничего: это остались клочки... Вас прикрутят осторожно к скамье — сапог на вас нет? — отлично; ноги будут вот здесь, в колодке. Внизу поставим жаровню — вот так! — подошвы вам смажем маслом, слегка, и будем подогревать... пока не лопнет кожа, и мы не увидим какого цвета кости у вас. А если вы все же будете молчать, так наши мастера на-

денут на вас вот эти сапоги. Уж вам придется извинить нас, если они окажутся немного просторны. Но видите ли, здесь есть винт, и если подвинтить — боюсь, вы станете жаловаться, что сапоги вам слишком тесны... *(Рюи отступает к скамье подсудимых, хватается рукою за стойки).* А это... не пугайтесь, дон-Родриго: здесь всего только вода, чистейшая, как слезы Мадонны. Вода и кусок полотна. Полотном мастера прикроют вам нос и рот — и сверху будут лить воду. Правда, вы будете захлебываться, и один только глоток воздуха покажется вам драгоценней, и слаще, и желанней мадригальского вина... Но стоит вам только сделать знак рукою, что вы готовы подчиниться нашим отеческим советам — как тотчас же...

Мунебрага. Довольно. Я вижу: он согласен. Не правда ли, сын мой?

Рюи *(тихо).* Этим... этим, быть может, вы заставите меня сознаться в чем угодно. Может быть, я даже скажу вам, что Господа Иисуса Христа убил я, а не кто другой. Но помните... *(Твердо и громко):* Помните, что на другой день — я повторю вам все то же: я ни в чем не нарушил заветов Христа, изложенных вот в этой книге.

Мунебрага. Так? *(Подходит к инструментам и благословляет их).* Во имя Божие и святого Доминика... *(Мастерам):* Ведите его. *(Мастера ведут Рюи).*

Фра-Нуньо *(Мунебраге — тихо).* Перед тем, как наши мастера... — пожалуй, было бы очень кстати посвятить его в то, что его отец уже... понимаете? Это пробьет в упрямце брешь — и облегчит мастерам штурм...

Мунебрага. Вы мудры, как змий, фра-Нуньо. *(Мастерам):* Эй, постойте! Сын мой, пока не поздно — в последний раз, именем твоего покойного отца...

Рюи *(вырывается из рук мастеров к столу).* Вы сказали... отца... Он умер? Умер?

Мунебрага *(скорбно).* Да, сын мой. Он не вынес. И это ты убил его своим преступным...

Рюи. Я? Нет, не я, а вы — ваш Балтасар... Он убил отца, да, он! И меня он... *(Задыхается).* Из низкой зависти, что Инеса...

Балтасар *(за занавесью).* Ложь! *(Выходит).* Ложь! Замолчи! Ты не знаешь, чего мне стоит...

(За столом смятение. Все вскакивают с мест).

Рюи. А-а, ты там подслушивал! Ну что же: ты все идешь вперед. Недаром же на щите у Санта-Крусов девиз: «Только вперед».

Балтасар. Замолчи!

Нотариус *(Мунебраге)*. Я говорил!

(Мунебрага быстро становится между Рюи и Балтасаром).

Мунебрага *(Мастерам)*. Возьмите его! Живей!

Рюи. Я сам пойду. Но теперь, когда я знаю, что мой милый брат будет сидеть с вами и ждать, пока я... Будьте уверены: теперь я не скажу ни слова! *(Мастерам)*: Я готов.

(Уходит с мастерами. Все рассаживаются. Балтасар тяжело опускается на скамью подсудимых).

Мунебрага. Ах, дон-Балтасар, боюсь — вы испортили нам все дело ... Но садитесь сюда: вам там не место.

Балтасар. Не знаю. Быть может, именно на этой скамье...

Мунебрага. Мужайтесь, дон-Балтасар. Я понимаю: вам не легко. Но вспомните — Христос сказал Иуде... то-есть, наоборот: Иуда сказал...

Балтасар *(поднял голову, прислушивается — перебивает)*. Постойте, кажется...

Нотариус *(любезно)*. О, нет, сеньор. Тут стены очень толсты — и дверь ... Так что это вам только показалось.

Балтасар. Ваше Преподобие — я умоляю вас: распорядитесь остановить. Я умоляю!

Мунебрага *(сурово)*. Я не узнаю вас, дон-Балтасар. Вы вмешиваетесь в действия Святого Трибунала. Остановить пытку?

Балтасар. Да, да... Мне пришло сейчас в голову... Потому что, ведь он все равно ничего не скажет, я знаю его. Мне пришло в голову, что есть другое средство...

Мунебрага. Действительнее пытки? Не думаю, сеньор.

Балтасар. Да, вы сейчас увидите сами ... Только прошу вас — прошу вас — остановите скорей...

Мунебрага *(пожимая плечами)*. Хорошо. Но если окажется, что вы... *(Звонит два раза. Показывается Второй мастер — утирает рукою пот с лица)*. Остановите... пока.

Второй мастер *(недовольно)*. Уже остановить?

Мунебрага. Я сказал. *(Мастер уходит)*. Мы ждем, дон-Балтасар.

Балтасар. У него... у моего брата — невеста... Инеса — он только что назвал ее.

Мунебрага *(заинтересовываясь)*. А-а! Невеста?

Балтасар. Она готова жизнь отдать, чтобы спасти его. И ей надо обещать, что если ей удастся убедить Родриго покаяться, то ему будет дарована жизнь. И я уверен — тогда...

Мунебрага. Дон-Балтасар, сегодня вы расстроены и говорите очень странно — чтоб не сказать больше. Неужели мне объяснять вам — вам? — что мы не вправе прощать еретиков. Неужели и вам надо напоминать о том, что щадя их тело — мы безжалостно оставляем их душу во власти...

Балтасар. Ваше Преподобие, вы поняли меня превратно. Я сказал: обещать.

Мунебрага. Обещать? Позвольте, позвольте... Вы хотите сказать, что...

Балтасар *(перебивая, горячо)*. Я люблю его. И чтобы спасти его душу... Это мне дороже страданий его, моих и... и чьих угодно. Дороже чести...

Мунебрага. Дон-Балтасар, простите меня: я на минуту усомнился в вас... и, кажется, даже был резок... Вы правы — тысячу раз правы. Я вас понял. Я понял. Это гениально! Мы испробуем ваш способ завтра же — непременно. Вы правы... А пока, сеньоры, кончим — и, надеюсь, вы не откажетесь разделить со мною мою скромную трапезу?

Нотариус. Как всегда — вы истинно-христиански скромны, Ваше Преподобие. Скромная трапеза!

Балтасар. Благодарю за честь, Ваше Преподобие... Но...

Мунебрага. И слышать не хочу! Идемте. *(Берет Балтасара под руку; идут к двери направо)*. Индейка, кормленная каштанами — вы понимаете? Это не индейка, а трехлетний ребенок в масле, персик, облако... *(В дверях):* Нет, нет. И слышать не хочу!

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Приемная де-Мунебраги. Окна с ярко расцвеченными витражами, много солнца. На устланном ковром возвышении в кресле — Мунебрага. Зала полна посетителей. Жужжание сдержанного говора. Отдельно — группа доминиканцев.

Первый доминиканец *(восторженно)*. Это, я вам скажу, была охота! Он выскочил через окно в сад, мы загнали его в угол. Так что же бы вы думали: стал, проклятый, прыгать на стену, цепляться ногтями. Потом сел в углу, лицом в стену — и захныкал. Тут мы смело навалились кучей...

Второй доминиканц. Да, в эту ночь Сеньор Иисус благословил наши сети, как некогда сети галилейских рыбаков...

(Разговаривая, уходят. Остаются фра-Педро и фра-Нуньо. Фра-Нуньо что-то шепчет на ухо фра-Педро).

Фра-Педро *(жадно)*. Где? Где?

Фра-Нуньо. Вон — рядом с дон-Балтасаром на диване. Вся в черном — видите?

Фра-Педро *(отплевывается)*. Тьфу! Тьфу! Vade retro! Какая мерзостная красота! Точь-в-точь, как тот суккуб, какой вчера ночью...

Фра-Нуньо. А вот попробуем, не удастся ли нам и суккуба обратить в орудие церкви. Того — Родриго — тоже привели: ждет внизу. Сейчас кончится прием и тогда... Я просто умираю от нетерпенья: удастся — или не удастся?

(В это время Мунебрага знаком подзывает к себе Секретаря Инквизиции и что-то приказывает).

Секретарь *(стоя на возвышении, громко)*. Его Преподобие сегодня больше не принимает. Остальные — завтра.

(Посетители начинают выходить. Снаружи, за дверью, какой-то шум, визгливый женский голос).

Женский голос. А я вам говорю — пойду! А я говорю...

Мунебрага *(морщась)*. Что там такое? Скажите, чтобы...

(Вырвавшись от алгуасилов, вбегает высокая, растрепанная женщина и падает на колени перед Мунебрагой. По-

сетители задерживаются в дверях, с любопытством смотрят).

Женщина. Ваше Преподобие! Сеньор! Я не могу терпеть такого надругательства над верой! Я должна...

Мунебрага. Встаньте, дочь моя. В чем дело?

Женщина *(захлебываясь от негодования).* Сеньор... Этот подлый Хуан, мой муж... Он подарил турецкую шаль соседке Марии. Это ей-то! Да у ней только и хорошего, что жирное вымя, а глупа, как...

Мунебрага. Но вымя — это не входит в круг наших задач, сеньора.

Женщина *(не слушая).* Так я ему и сказала: глупа, как мул. А он на меня — с кулаками. Я схватила со стены медное распятие, размахнулась и хотела... Не помню: кажется — я хотела его благословить.

Мунебрага. Благословить? *(Еле сдерживает смех).*

Женщина. Да, кажется. А он, негодный, ударил кулаком, вышиб распятие — и потом всю меня... Вот видите — синяки: вот, вот... Он оскорбил меня — и Святой Крест...

Мунебрага. Вас, милая сеньора, как будто уж не так легко оскорбить. Но то, что он ударил изображение Божественного Спасителя... Я прикажу арестовать его.

Женщина. Да хранит вас Матерь Божия, сеньор! Вы заступник веры и слабых женщин... А уж с этой Марией — я с ней разделаюсь... я ей... *(Что-то приговаривая, уходит).*

(Сдержанный смех среди посетителей. Мунебрага сперва закрывает рот платком, затем смеется громко, роняет платок. Несколько посетителей бросаются поднимать).

Первый гранд *(у авансцены — Второму гранду).* Турнир из-за платка — смотрите: сражаются де-Кастро, и Вега, и дон-Мендоса... целый букет севильских рыцарей...

Второй гранд. Сеньор, я не пойму: как вы можете улыбаться?

Первый гранд. Нет, отчего же? Это зрелище — прекрасно. Инквизиция — могущественна; могущество — красиво; преклонение перед красотой — прекрасно. Ergo...

Второй гранд. Сеньор, в ваших словах есть вкус полыни...

(Уходят вместе с остальными. Секретарь, фра-Нуньо и фра-Педро — удаляются через другую дверь во внутренние покои Мунебраги. В приемной остаются Мунебрага и Балтасар с Инесой).

Мунебрага *(подходит к Инесе).* Итак, сеньора...

Инеса *(прерывающимся голосом).* Дон-Балтасар говорил мне, что вы были так... так добры, что разрешили мне свидание с моим... с моим женихом... дон-Родриго...

Мунебрага. Прелестная сеньора! Если бы я не разрешил раньше, то, конечно, разрешил бы теперь — увидев вас. Какие ручки! Говорят, такие же были у мавританки Ахи Галианы, и такими же — она погубила душу рыцаря Нальвильоса...

Инеса *(смущенно).* Вы... вы очень добры, отец мой...

Мунебрага *(продолжает).* Но вы, быть может, этими руками спасете дон-Родриго.

Инеса *(радостно).* Спасу? Вы говорите — я... О, дон-Мунебрага, неужели... Дон-Мунебрага, это неправда, что говорят о вас — что вы жестоки... *(Горячо):* Это неправда — я вижу!

Мунебрага. Сеньора, вы не допускаете мысли, что вы — лишь вы — заставили меня вдруг перемениться? Вот если бы вам так же удалось и дон-Родриго сделать менее жестоким по отношению к нам! *(Берет и гладит ее руку. Инеса закусывает губы, но сдерживается).* Так вот, сеньора. Вы должны убедить жениха покаяться — и тогда...

Инеса. Что — что тогда?

Мунебрага. Первое — мы завтра же переведем его из Трианы в монастырь Святого Доминика: дон-Родриго там будет легче. А затем — посмотрим. Надеюсь, нам удастся сохранить его для вас. Разумеется, если он будет чистосердечно отвечать на все наши вопросы.

Инеса. Я сделаю! Сеньор де-Мунебрага! Я все сделаю! Он покается! Дайте — дайте мне только увидеть его!

Мунебрага. Я ухожу, сеньора: сказать, чтобы его привели. Но помните: вы должны от него добиться... вы должны! *(Уходит).*

Инеса *(Балтасару — возбужденно).* Неужели — неужели все это правда? Я верю — и боюсь поверить. Я

думала, что Мунебрага — . . . а он такой же, как все, как мы все — самый обыкновенный. Но зачем он так мои руки . . . Была одна минута — я чуть не схватилась за свой кинжал: ведь вы знаете — он всегда при мне . . .

Б а л т а с а р . Этим кинжалом вы прежде всего убили бы его, Рюи. Вы должны взять себя в руки и помнить, что сейчас от вас — только от вас — зависит, какова будет судьба Рюи.

И н е с а . Постойте — он сказал: в монастырь . . . но ведь . . . Это только сейчас пришло мне в голову . . . Ведь это же . . . понимаете? Если нельзя устроить побег отсюда, то из монастыря . . .

Б а л т а с а р *(молчит)*.

И н е с а *(спохватившись, жестко)*. Прошу прощенья. Я забыла, что говорю с тем, кто заключил Рюи в Триану. *(Помолчав)*. Но ведь это вы же устроили мне свидание с ним — и чтоб спасти его, вы . . . Нет, я вас не понимаю — я боюсь вас!

Б а л т а с а р *(молчит)*.

И н е с а . Берегитесь, дон-Балтасар! Не забудьте: во мне есть мавританская кровь. Недаром Мунебрага вспомнил Аху Галиану . . . Но, впрочем, нет: тут же не может быть, не может быть ничего такого . . . Ну, скажите — что не может! Ну, что же вы молчите?

Б а л т а с а р . Я могу сказать только одно: если вы убедите Рюи — он будет спасен.

И н е с а . Порукой в том ваше слово — слово честного рыцаря и графа Санта-Круса?

Б а л т а с а р *(твердо)*. Да. *(Горячо)*: Если бы вы знали, чего бы только я не дал, чтобы он покаялся! Ведь я же брат ему! И ради его спасенья — я готов . . .

(За дверью справа — голоса).

И н е с а *(торопливо)*. Я вам верю.

Б а л т а с а р . Они . . . Я буду ждать внизу. *(Уходит во внутренние покои)*.

М у н е б р а г а *(входит. За ним два служителя вводят Рюи)*. Ну вот, сеньора: я отдаю этого упрямца в ваши нежные руки — и, вероятно, вы предпочтете остаться с ним вдвоем?

И н е с а . Да, если бы . . .

М у н е б р а г а . Хотя по нашему уставу это и не разрешается, но для вас, сеньора . . . *(Служителям)*: Ступай-

те! *(Инесе):* Когда вы кончите — вы постучите мне в ту дверь. Но торопитесь.

(Инеса и Рюи — на диване. Инеса обняла Рюи и молча прижимает его голову к груди. Пауза).

Инеса. Мой бедный, мой милый мальчик... Простите — что я так... но вы для меня сейчас — как мое единственное дитя — мое дитя! *(Пауза).* Если б вы знали, как я все это время... я не спала, я целые ночи металась по комнате — и все об одном: ведь это я, я — вот этими руками! Я взяла там, в нише, эту книгу! И я должна...

Рюи. Инеса, не надо... Я не могу говорить... Понимаете: после соломы и крыс — вдруг солнце — и вы здесь, со мною! Инеса, сделайте, чтоб я поверил: вдруг проснусь, вдруг всё...

Инеса. Мой бедный! Ну, слушайте — вот сквозь шелк — вы слышите, как бьется мое сердце?

Рюи *(секунду слушает).* Инеса! *(Прижимается губами к тому месту, где слушал. Выпрямившись):* Инеса! Неужели, это — последний раз? *(Инеса опять нежно берет его голову и прижимает).* Что вы делаете со мной? Все время я был в каких-то железных латах, а сейчас...

Инеса. Не надо лат. Я не хочу, чтобы вы были в латах — со мною. И не бойтесь: не последний раз. Мы вас спасем. Понимаете — спасем. И я здесь для того, чтобы...

Рюи. Спасем? Меня? Кто это — «мы»?

Инеса. Я и Балтасар.

Рюи *(нахмурившись).* Балтасар?

Инеса. Да, это он устроил все. Мне кажется, он очень изменился и так страдает... Он устроил — и я только что говорила с дон-Мунебрагой...

Рюи. Инеса, зачем вы... Если вы хотели утешить меня обманом — так не надо. Не надо лучше! Я уже приучил себя к мысли, что скоро я... Зачем же вы...

Инеса. Рюи, милый, вы мне не верите — мне? Взгляните мне в глаза. Ну? Неужели они не говорят вам...

Рюи *(медленно).* Да. Да, как будто... *(Отодвигаясь, качает головой).* Нет. Это невозможно. Я знаю их. Нет...

Инеса. Балтасар вот только сейчас, здесь, дал мне слово, что если вы исполните то, что я скажу вам — вы будете спасены. Понимаете: дал слово. Не станет же он... И Мунебрага — сам обещал мне...

Рюи. Ах, знаю я их спасенье!

Инеса. Ну, пусть даже вы и правы... Хотя я говорю вам: Балтасар дал слово. Но ведь это остается: Мунебрага обещал мне завтра же перевести вас в монастырь Святого Доминика. А оттуда... *(Тихо):* Рюи... вы понимаете? — оттуда, позже, вы можете...

Рюи *(оживляясь)*. В монастырь? Постойте, постойте.. Но что же я должен?

Инеса. Рюи — так немного, так немного... Только сказать им, что вы ошибались, сказать, что теперь вы признаете это — только сказать! *(Умоляюще):* Рюи!

Рюи *(угрюмо)*. Сознаться? Покаяться?

Инеса. Рюи, слушайте. Если они убьют вас — я тоже не буду жить. Я в тот же день убью себя. Вы знаете — я ведь не бросаю слов на ветер.

Рюи. Инеса, что вы делаете, что вы делаете со мною!

Инеса. Рюи, слушайте. Неужели у вас хватит духу убить меня?

Рюи. Монастырь Святого Доминика... Да, я вспоминаю: дон-Пабло удалось бежать оттуда... Да, помню... *(Загораясь):* Инеса! *(Берет ее за руки).*

Инеса. Я победила! Я вижу! Я спасла вас!

Рюи *(тихо)*. Инеса — и ведь вы тоже со мною? Когда я вырвусь — мы уедем вместе?

Инеса. Да, Рюи! Да! Да!

Рюи. И где-нибудь далеко... Мы найдем наш Эльдорадо... Далеко от всех этих... *(вздрагивает)* и от их инструментов...

Инеса. Рюи, милый, не надо об этом. Это уж кончено: забудьте. И помните — только помните, что скоро... *(Поднимается).*

Рюи. Одну минуту... *(Прижимается лицом к ее груди и целует).* Прощайте...

Инеса. Нет, Рюи, не прощайте. Я знаю: мы опять скоро увидимся. Я чувствую. И увидимся не так, как сейчас — все будет другое... *(Подходит к двери, стучит).*

Мунебрага *(входит)*. Ну что ж, сеньора? Я жду — с нетерпением.

Инеса *(радостно)*. Он согласен!

Мунебрага. Сеньора, я говорил, что эти очаровательные ручки... Нет, право, нам необходимо включить

хотя бы одну женщину в число членов Святого Трибунала. Тогда наша работа пошла бы гораздо быстрее — и легче — и приятней для тех, кого нам приходится спасать от дьявольских когтей... *(Инеса делает движение, чтобы отойти).* Еще немного терпенья. Я хочу, чтобы все это при вас... Так вернее. *(Заглядывает в отворенную дверь).* Сюда, прошу вас. И захватите с собою бумаги. *(Входит секретарь, фра-Педро и фра-Нуньо).* Итак, сеньор Родриго, вы передумали? И больше уж не хотите мучить нас своим упрямством?

Рюи *(не отрываясь взглядом от Инесы. Тихо).* Да.

Мунебрага. Вы признаете, что впали в преступную ересь?

Рюи *(по-прежнему).* Да.

Мунебрага *(Секретарю).* Пишите. *(Поворачиваясь к Рюи).* И каетесь, и просите Святую Церковь отпустить вам прегрешения?

Рюи. Да.

Мунебрага. Пишите. Ну, вот видите, как просто. Вот и все! *(Инесе):* От имени Святого Трибунала — благодарю вас, сеньора. *(Секретарю):* Сегодня понедельник... завтра... нет, когда у нас аутодафе?

Секретарь. В четверг.

Мунебрага. Сегодня уже поздно, сеньора. И вдобавок, вечером нам придется еще раз немного поговорить с дон-Родриго. Но завтра — ручаюсь вам — он будет в монастыре Святого Доминика.

Инеса. Сеньор, я так — так благодарна вам! Сейчас я выйду отсюда — и в первый раз этой весной увижу, как цветут деревья, и как... Прощайте, дон-Родриго, и помните всё, что я вам сказала — помните, что завтра вы уже в монастыре...

Рюи *(с тоской).* Инеса! *(Служители уводят его направо).*

Мунебрага *(Инесе).* Сюда, прошу вас. *(Секретарю):* Проводите!

Фра-Педро. Спасен! Господь премудр — и руками той, кто погубил блаженство человека в раю, руками любимицы дьявола — спасен. Господь премудр...

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Площадь в Севилье. В глубине, заслоняя солнце, высится черный, как уголь, С в я т о й Д о м — замок Триана. Ближе — к в е м а д е р о : каменный эшафот, по углам четыре гигантских медных статуи апостолов. В нижней части статуй открыты двери: видны разложенные внутри статуй костры; костры также и на свободной площади квемадеро. Между квемадеро и замком — овраг: нежно-зеленые листья олив, золотые апельсины. Слева — фасад дома и балкон; с балкона спускается черное сукно — на сукне серебром королевский герб. Под балконом — трибуны, обтянутые черным; у подножия трибун — несколько лож для знати. Фасад дома заканчивается (недалеко от рампы) круглой башней, под башней — ворота. Справа от квемадеро — небольшой, тоже черный, помост для инквизиторов и духовенства, украшенный гербами инквизиции. Площадь наполнена народом, на трибунах — все больше и больше разодетых кабальеро и дам. От середины квемадеро через всю площадь тянутся шпалерами алгуасилы: охраняют проход для шествия. Шныряют разносчики прохладительных напитков, торговцы фруктами, монахи. Вдали глухой, медленный звон колоколов.

Т о р г о в е ц ф р у к т а м и. Персики, гранаты, гранаты! *(Офицеру алгуасилов, любезничающему с девушкой).* Сеньор алгуасил, купите: персик обойдется вам куда дешевле этой сеньориты, а пушок такой же приятный, как у нее на губах. Право! *(Гладит себя персиком по щеке).*

Д е в у ш к а. Бесстыдник! Сеньор алгуасил, скажите ему, чтобы он...

Т о р г о в к а *(румяная, руки красные, засучены по локоть, вскакивает на табуретку).* Вон, вон уж видно: спускаются, завернули! Еретиков-то нынче сколько! Целое стадо!

Т о л п а. Пусти же, дай мне! — Не давите, я вам не виноград! — Пожалуй, посочнее... — Чего там, волоки ее за ноги! *(Стаскивают торговку. Смех).*

(Слева из-под башенных ворот показывается пара: горожанин с лимонно-желтым лицом, опирающийся на палку; с ним рядом — сеньора с двумя сумками в руках. Справа

другая пара: обливающийся потом горожанин с румяным лицом, рядом сеньора с веером).

Сеньора с веером. Чтоб их чума заела! Надо же им было устроить это перед самым нашим домом! От этих еретиков такая жирная сажа: опять закоптят мне все стены — чистить потом...

Румяный. Осторожней! Не видишь: сосед навстречу. Время теперь такое: кто его знает...

Желтый. Чтоб их черт взял! Вместо того, чтобы лежать — я, человек больной, должен вот с самого утра...

Сеньора с двумя сумками. Ш-ш, тише! Навстречу нам этот толстый боров. Кто его знает... *(встречаются).*

Желтый. А-а, любезный сеньор сосед! О чем это вы так горячо беседовали с супругой?

Румяный. Мы радовались, что квемадеро так близко от нас. Хвала отцам инквизиторам: без них мы давно забыли бы о душе и погрязли в низменных заботах о плоти.

(Возле разговаривающих появляется Идальго, похожий на дон-Кихота, и, уронив монету, усердно ее ищет; разговаривающие косятся на него).

Желтый. Вполне согласен. Вот я — собрал последние силы и все-таки пришел. Я мог бы взять удостоверение от медика, что по болезни не мог придти, но я не хотел упустить счастливый случай.

Сеньора с двумя сумками. К тому же — выгодно: ведь Его Святейшество обещал дать всем присутствующим бесплатное отпущение грехов на сорок дней, а если купить индульгенции у монахов — это выйдет... Сорок раз по пять... *(Проходят).*

Первый гранд *(в воротах под башней).* Улов у них богатый. Подумайте, какие имена: де-Кастро, Сан-Висенте, младший Санта-Крус...

Второй гранд. Дон-Родриго? Нет, вы ошибаетесь, сеньор! Я слышал, что старший, дон-Балтасар, использовал свою близость к Святому Трибуналу, и ему удалось...

Первый гранд. Что ему удалось отправить брата в Триану — это верно. Но чтобы он раздумал посредством костра излечить Родриго от вредных мыслей...

Едва ли. Едва ли, сеньор! Скорей у этого медного апостола случится изжога после сегодняшней дичи...

(Неподалеку появляется Идальго, похожий на дон-Кихота, роняет монету, ищет ее).

Второй гранд. Не так громко, сеньор. Вон тот Идальго уж что-то слишком долго ищет свою монету.

Первый гранд *(оборачивается. Громко).* Как спокойно и радостно на душе, когда чувствуешь за собой бдительный, любящий взгляд! Невольно вспоминается, что к каждому из нас от рождения приставлен белокрылый Ангел-Хранитель, любовно стерегущий наш каждый шаг...

(Похожий на дон-Кихота Идальго поднимает свою монету и ретируется. Первый гранд смотрит ему вслед с усмешкой).

Второй гранд. Вас не поймешь, сеньор, когда вы в шутку, и когда серьезно...

(Проходят. Из толпы — Балтасар и Инеса).

Торговец фруктами. Персики, сеньор, персики! Кожа нежная, как у вашей... *(Пригвожденный к месту взглядом Балтасара, замолкает, пятится в толпу).*

Инеса *(поднимает голову, увидела квемадеро, остановилась).* Я не могу... Эти медные лица — и все время колокол... Я не могу! Слушайте: вы уверены, что ему — Рюи — вчера передали этот поддельный ключ и оружие и что он успел...

Балтасар. На нас смотрят. Успокойтесь, прошу вас. Ведь вы же понимаете...

Инеса. Да, да... Сейчас... Я — я помню... Я знаю: Рюи не может быть здесь. Но при одной мысли, что он тоже мог бы... Дайте мне руку... нет, не надо. Сегодня — я так вас ненавижу! Ведь это вы его — вы... Пусть даже потом вы сами — помогли...

Балтасар. Донья Инеса. Я знаю, вам трудно простить меня. Но попробуйте понять: я не мог иначе! Что бы ни случилось, помните: я не мог, я должен был — как стрелка часов — все вперед, до конца... Каков бы ни был конец... А мы никогда не знаем, каков он будет.

Инеса. Какой конец? Почему не знаем? Не мучьте меня, ради Святой Девы!

Балтасар. Не смотрите на меня так. Зачем — зачем вы пошли сегодня?

Инеса. Я не могла ждать до завтра. А сегодня — я своими глазами увижу, что его здесь нет, что он — спасен...

(К ним подходят Первый и Второй гранды, низко кланяются. Все четверо проходят к ложам).

Торговка *(опять на табуретке)*. Идут! Идут!

Толпа. Пусти, говорят тебе! Ты и так, как колокольня... — Ты что больше любишь? Это — или бой быков? — Ай, ожерелье! Оборвали мое ожерелье!

Алгуасилы *(осаживают толпу)*. Назад, эй! Назад, говорят вам! — Ты, деревенщина, дойная корова что ли: ноги-то расставил! Что-о?

(Показывается шествие. Впереди угольщики, с пиками: за ними доминиканцы с белым крестом, обвитым черным крепом. Мальчики, ученики духовных коллегий, в белом. Поют: «Ora pro nobis»).

Торговка. Вот они! Глядите!

Девушка. Сеньор алгуасил, а эти, с пиками — зачем?

Офицер алгуасилов. А это, красавица, угольщики — поставщики святых костров.

Девушка. У-угольщики! Я думала... А знаете, сеньор алгуасил, вам бы очень пошли рыцарские шпоры. Я бы хотела, чтобы вы скорее завоевали какую-нибудь французскую крепость.

Офицер алгуасилов *(покручивая усы)*. Сеньора, я как раз пытаюсь завоевать самую неприступную крепость — ваше сердце.

Девушка. Сеньор алгуасил, тогда вы уже заслужили шпоры...

(Приносят важную сеньору в носилках).

Сеньора в носилках *(высовываясь)*. Еще не зажгли? Я не опоздала?

Офицер алгуасилов *(покручивая усы)*. О, нет, сеньора! Но если вы будете смотреть туда — я, на основании собственного опыта, чувствую, что костры сейчас же загорятся...

(Носилки уносят. На виду — два мальчика и девочка; сложили костер из сухих трав и сучьев. Спорят).

Первый мальчик. Я буду палач...

Второй мальчик. Нет, я!

Первый мальчик. Да-а... *(Плаксиво):* Ты всегда себе самое лучшее. Король — ты, палач — ты...

Офицер алгуасилов. Вы, там! Тише! Не видите: король сейчас...

(На балконе два пажа — открыли двери и стали по сторонам. Медленно выходит король Филипп II, с ним рядом — невеста, принцесса Елизавета Французская, и свита).

Толпа. Да здравствует король — роль-о-о-о! *(Гул).*

Король *(делает знак рукою. Толпа затихает. Король невнятно бормочет что-то).*

Толпа. Что — что он сказал? — Что такое усердие к вере... — Невеста-то! Ах, бедненькая! — Ну, я хотела бы... — Он сказал, что каждому из присутствующих будет выдано из королевской казны... — Что за вздор!

(В это время король подошел к перилам балкона и увидел Балтасара. Милостиво кивает ему и, полуобернувшись назад, отдает пажу какое-то приказание. Паж вбегает в ложу, где Балтасар и Инеса — и говорит с Балтасаром, показывая рукой наверх. Балтасар и Инеса проходят в дом, появляются на балконе и вскоре вместе с королем и частью свиты скрываются внутрь. Возле башенных ворот раскладывает свой столик торговец прохладительными напитками. Сюда подходят Первый и Второй гранды).

Первый гранд *(торговцу).* Шербет для меня и для этого сеньора. *(Второму гранду, продолжая разговор).* И вот, сеньор, Его Величество ответил так: «Если бы мой сын оказался еретиком — я бы первый поджег для него костер». Не правда ли: слова, достойные христианина? Естественно, что узнавши о благородном подвиге дон-Балтасара, король... Смотрите, смотрите: кладет ему руку на плечо...

Второй гранд *(недоуменно).* Не понимаю вас, сеньор: серьезно вы это или только в шутку?

Первый гранд. А это: почтить прибытие невесты таким благочестивым и блестящим зрелищем, как аутодафе. По крайней мере, эта француженка сразу поймет, что Испания — единственная страна в Европе, где пекутся не о телах, но о душах...

(Проходят. Шествие аутодафе, остановившееся, пока говорил король, снова двинулось. Группа духовенства в траурных ризах. Герцог Медина Сэли, со знаменем инк-

визиции. Служители инквизиции с украшенными серебром черными палицами. За ними — осужденные на сожжение живьем еретики: они в желтых «Сан-Бенито», в колпаках, расписанных изображениями бесов и языков адского пламени. В руках у них зеленые зажженные свечи, каждого сопровождают солдат и два монаха. Монахи, горячо жестикулируя, негромко увещают еретиков. Впереди всех еретиков — гордо идет, улыбаясь, очень красивая молодая женщина).

Торговка *(на табурете, размахивая руками).* Эй, вы! Бросьте увещать эту ведьму! Ослепли, что ли? Она вам в глаза смеется. Пусть ее сожгут живьем!

Толпа. Улыбается, а? Глядите! — Ткни ее палкой! — Женщину? Связанную? Ткни сам! — Какая женщина? Это еретичка! — Живьем! *(Напирают на алгуасилов, размахивая руками, палками).*

Алгуасилы. Назад! С ума сошли? — Назад!

Толпа. Бей! Живье-е-ем! *(Рев. Рвутся сквозь цепь алгуасилов).*

Алгуасилы. Назад! — Здесь же король, бараны! — Назад!

(Алгуасилы действуют рукоятками алебард. Толпа перестает наседать и постепенно затихает. Из толкотни выбрались Румяный и Желтый со своими дамами).

Румяный *(утираясь).* Ф-фу! Не правда ли, сеньор: отрадно видеть такое христианское усердие в народе?

Желтый. Вполне согласен, дорогой сосед.

Второй гранд *(возле столика с прохладительными напитками. Взволнованно).* Не может быть!

Первый гранд. Да вон же: сзади всех, высокий. Узнаете?

Второй гранд. Святая Дева! Вы правы: он, дон-Родриго... Но как же так... И даже в числе не раскаявшихся...

Первый гранд. Ну, что же: сперва раскаялся, потом раскаялся, что раскаялся... Вот, когда дон-Балтасар опять появится в своей ложе, я хотел бы увидеть, как он... Пожалуй, я предпочел бы быть на месте дон-Родриго!

Второй мальчик *(толкает девочку на костер из травы и сучьев).* Ну, лезь же! *(Первому мальчику):* А ты поджигай! Так! Эх, вот весело!

Девочка *(босая, огонек костра обжигает ей ноги. Она вскрикивает).* Ой, больно! *(В недоумении:)* Неужели и тем так же?

Второй мальчик. Глупая: видно, что девчонка! Они же мужчины.

Девочка. Ну, если мужчины — так и становись сам! А я не хочу.

Румяный *(умиленно).* Милые дети! Как жаль, что мы не взяли своих! *(Исчезает в толпе).*

(Осужденных на сожжение живьем — вводят на квемадеро и ставят на колени перед кострами, спиною к толпе. Король выходит на балкон. Внизу, в ложе появляются Балтасар и Инеса; Балтасар беспокойно озирается, увидел Рюи, выпрямился, как шпага, встал перед Инесой, чтобы заслонить от нее квемадеро).

Первый гранд *(Второму).* Смотрите, смотрите: дон-Балтасар уже увидел. Ручаюсь вам — сейчас произойдет что-нибудь такое...

Второй гранд. Сеньор, не лучше ли нам уйти?

Первый гранд. Нет, нет: я всякий роман дочитываю до конца, а здесь не книги — живые люди...

(Шествие продолжается. Группа раскаявшихся: в руках у них зеленые потушенные свечи, на колпаках языки пламени острием вниз. Возле них монахи, читающие молитвы: непрерывное монотонное жужжание. Дальше, на длинных зеленых шестах доминиканцы несут чучела еретиков, умерших в тюрьме: у соломенных, прикрытых рваной материей, чучел — огромные выпученные глаза из смолы, накрашенные суриком губы. Ноги — легкие, и чучела все время пляшут в воздухе судорожный танец. За ними гробы с прахом умерших еретиков; гробы прикрыты желтыми покрывалами; на покрывалах красные языки пламени. Шествие замыкается инквизиторами в фиолетовых одеяниях, под охраной. Инквизиторы подымаются на эстраду).

Офицер алгуасилов *(объясняет девушке).* Это? Это — изображения умерших еретиков и вынутые из могил гробы с их прахом.

Девушка. А впереди?

Офицер алгуасилов. Те, что с потушенными свечами? Это — раскаявшиеся.

Девушка *(разочарованно).* Как? Значит, их уж не сожгут?

Офицер алгуасилов. О, не беспокойтесь, сеньора, сожгут. Но церковь милосердна к раскаявшимся: их сперва повесят, потом сожгут. Так что, красавица, если и вы согрешите, а потом покаетесь... Нет, правда, знаете что: как только это кончится... *(Обнимает девушку за талию и шепчет ей на ухо).*

Торговка *(на табурете).* Чучела, чучела-то, глядите! Расплясались, как висельники! А, а! Ногами-то! Прямо — сарабанда!

Толпа. Что, не терпится самой поплясать с ними? — На, вот у меня кастаньеты... — Поднимай ее на шест, поднимай!

(Торговку поднимают вверх, она кричит и отбивается. В это время на эстраде инквизиторов Мунебрага встает с своего кресла; в руках у него лист бумаги).

Алгуасилы. Тише! — Эй, вы, заткните глотки! — Тише!

Мунебрага *(читает торжественно среди внезапно наступившей тишины).* Властью Апостольскою и нашей, согласно постановлению Святого Трибунала, мы объявляем: все доставленные сюда под стражей — передаются в руки светской власти, чтобы с ними поступлено было согласно закону. Именем Бога Всемогущего и Господа Иисуса Христа, мы молим и заклинаем отнестись к осужденным великодушно, кротко и милосердно...

Голос в толпе. Слыхали! Знаем мы ваше христианское милосердие!

(Идальго, похожий на дон-Кихота, как коршун кидается в толпу и вытаскивает оттуда крестьянского парня в широкополой шляпе).

Идальго, похожий на дон-Кихота. Алгуасилы, сюда! Вот этот!

(Несколько алгуасилов бросаются ему на помощь. Толпа с криком раздается в стороны и трусливо жмется. Арестованному скручивают руки и уводят его).

Мунебрага *(торжественно).* Ваше Величество. Клянетесь ли вы крестом шпаги, на которую опирается ваша рука, — клянетесь ли вы поддерживать Святую Инквизицию в ее борьбе с еретиками и доносить нам о всех

действиях и словах их, которые дойдут до сведения Вашего **Величества?**

Король *(встав и целуя крест на рукояти шпаги).* Клянусь!

Мунебрага *(оборачивается к толпе).* Вы слышали? И всякий истинный сын Церкви и подданный нашего доброго короля должен немедленно явиться к нам и донести обо всех еретиках, которых знает. Клянетесь ли вы все?

Толпа *(нестройно и жидко).* Клянемся!

Желтый *(тихо — жене, оглядываясь на Идальго, похожего на дон-Кихота).* Я, кажется, недостаточно громко... Боюсь, он не слышал. *(Очень громко, вытянувшись и привстав на носках):* Клянусь! *(В толпе смешки, показывают на него пальцами; он смущенно оглядывается). (Монахи на квемадеро возле осужденных торопливо уговаривают их: есть еще несколько минут; воинственно машут распятиями. Слышен злой крик):* «Да кайся же, говорят тебе!» *(Часть осужденных палачи ведут куда-то в овраг за квемадеро).*

Толпа. Куда их? — В овраг: там виселица. — Пойдем туда! — Нет, тогда тут прозеваешь: я больше люблю костры... — Глядите: факелы уже! Сейчас...

(К кострам подходят угольщики с факелами наготове. Первого из осужденных на открытой части квемадеро — привязывают к столбу сзади костра. Других вводят внутрь статуй Апостолов и с лязгом захлопывают двери).

Первый гранд *(Второму).* Смотрите, смотрите: в той же ложе, где дон-Балтасар — костры уже загораются. Вы видите его лицо? Пламя уже лижет ему ноги.

Второй гранд. Довольно вам шутить, сеньор!

Первый гранд. Я не шучу. Его лицо — вы видите его лицо?

Женщина на квемадеро *(перед статуей Апостола крепко уперлась ногами, не идет. Вскрикивает).* Я каюсь! Я не хочу! Я каюсь. *(Ее уводят в овраг).*

Толпа *(удовлетворенно).* Ага-а!

Старуха с клюкой *(протискиваясь в толпу).* Ой, что же это? Ой, дорогие мои сеньоры — пропустите!

Офицер алгуасилов. Ты что, старуха, кричишь? Чего тебе?

Старуха с клюкой. Ой, сеньор алгуасил, красавец мой! Пропустите меня, старуху, вперед! Ведь последний раз в жизни взгляну, как будут жечь собак неверных.. *(Пролезла).* Ох, слава Тебе, Святая Мария, Милосердная Дева! Ох, в последний раз ведь...

Толпа. Не бойся, бабушка, не последний раз: еще в пекле с ними встретишься! *(Смех).* — Тише, тише: еще один кается... еще один кается... Вон, вон: который руку поднял...

Осужденный на квемадеро *(громко, подняв руку):* Я каюсь! Я каюсь в том, что раньше не покинул эту Церковь, где вместо Христа — палач, а вместо Бога...

Мунебрага *(указывая пальцем, кричит).* Наденьте ему гаг! Гаг! Скорей! Чего же вы смотрите, ротозеи? *(Палачи кидаются к осужденному, надевают ему на рот гаг, торопливо привязывают к столбу сзади костра).*

Первый гранд *(Второму).* Ах, если бы можно было надеть гаг — сразу на всех испанцев! Подумайте, ничей слух не оскорбляли бы такие вот — неудобные — слова. Вернейший способ!

Второй гранд *(с сердцем).* Сеньор, неужто и на смертном одре вы будете вот так же шутить и будете...

Первый гранд *(схватив Второго за руку).* Смотрите, смотрите!

(На квемадеро — палачи подходят к последнему из осужденных, еще стоящему перед костром на коленях, и берут его под руки. Это — Рюи. В ложе — Балтасар, крепко вцепившись в баллюстраду руками, весь перегнулся туда, к квемадеро. Инеса сидит, низко опустив голову, закрыв глаза).

Рюи *(на квемадеро — вырвавшись от палачей и подбежав к краю).* Вы! Рабы! Вы спокойно смотрите, как эти, смеющие называть себя христианами...

Инеса *(после первого же слова Рюи — как бы проснулась, вскочила, секунду дико смотрит на квемадеро).* Рюи! Рюи! *(Рюи остановился, обернулся к ложе. Раскрыл рот — что-то сказать Инесе. Но на него сзади уже накинулись и надевают ему гаг. Вскочил и что-то кричит Мунебрага. Инеса обеими руками схватила за плечо Балтасара и трясет его. Смятение в ложах, в толпе. Балтасар и еще несколько человек из соседних лож схваты-*

вают Инесу и уносят ее вниз — через толпу — к башенным воротам).

Инеса *(отбиваясь).* Пусти! Пустите, говорю вам! Я хочу к нему!

Балтасар *(крепко держит ее).* Инеса...

Инеса *(отогнувшись назад в руках Балтасара и как будто только увидев его).* А-а, ты? Так ты обманул меня? Ты заставил меня обмануть его? Предатель! Не смей меня трогать! — пусти! Нет? нет? *(Вытаскивает из корсажа кинжал и ударяет Балтасара).*

Балтасар. Благодарю... *(Медленно оседает на землю).*

(На квемадеро — уже курится дымок. Место происшествия заслоняет густая толпа; возбужденный гул голосов; вытягиваются на цыпочках, стараются заглянуть через плечи стоящих впереди. Желтый и Румяный с женами — в стороне от других, направо).

Желтый. Оттуда, с оврага, ветер: чувствуете? Еще насморк, пожалуй, схватишь. Идем домой. *(Уходят).*

1920

ЗАНАВЕС

ОБЩЕСТВО ПОЧЕТНЫХ ЗВОНАРЕЙ

ТРАГИКОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

М-р Кембл — клерк адвоката О'Келли. Огромные квадратные ботинки, квадратный подбородок, квадратный лоб. Ходит медленно, тяжело и непреложно, как грузовой трактор. И так же медленно и непреложно говорит. В затруднительных случаях усиленно трет лоб.

Викарий Дьюли — председатель Общества Почетных Звонарей и прихода Сент-Инох. Во рту — восемь золотых коронок, сияет золотой улыбкой. Когда говорит, потирает руки; когда молчит, руки сложены за спиной, перебирает пальцы по одному, как-будто отсчитывает: «во-первых, во-вторых».

Миссис Дьюли — жена викария. Еще красивая (в августе бывают жаркие дни). Носит пенсне без оправы. В пенсне она — бронированная; без пенсне — настоящая.

Адвокат О'Келли — ирландец. Рыжий, вихрастый, коротконогий. Лицо как у мопса. Галстук на бок, какая-то пуговица не застегнута. Размахивает руками так, что кажется, рук у него по меньшей мере — четыре.

Диди — артистка из «Эмпайра». Кудрявая, тоненькая, быстрая: девочка-мальчик. Курит.

Джонни — фарфоровый мопс Диди. Очень похож на адвоката О'Келли.

М-р Мак-Интош — шотландец. Секретарь Общества Почетных Звонарей, торговец непромокаемыми пальто и философ. Голова — коротко остриженная, круглая, как футбольный мяч. Без штанов, в пиджаке и в пестрой шотландской юбочке («kilt»), чулки до колен, коленки и ноги выше — голые.

Леди Кембл — мать м-ра Кембла, супруга покойного сэра Г. Кембла. Голову держит вверх, как будто ее все время подергивают уздой. Высокая, костлявая — кости выпирают, наподобие пружин из сломанного зонтика. Губы извиваются как черви.

Миссис Аунти — содержательница меблированных комнат. Медовая.

Бобби — статуй. В крайних случаях — моргает.

Нанси — артистка из «Эмпайра». Очень хорошо чувствует себя без платья; в платье ей, несомненно, стыдно.

Четыре хористки из «Эмпайра».

Эксцентрик из «Эмпайра».

Сесили Анни Лори Бетти	машинистки адвоката О'Келли.

Судья во время бокса. Почтенный, как премьер-министр.

Боксеры — Смис и Борн (без слов).

Мастер — палач. В корректном черном костюме, почти пасторском. Неестественно огромные руки. Шляпа надвинута на глаза. (Без слов).

Капельдинер.

Газетчики — мальчишки. Босые, в белых отложных воротничках.

Воскресные Джентльмены — в цилиндрах; все одинаковы, как пуговицы.

Голубые и Розовые леди.

Отряд Армии Спасения — с женщиной-офицером в синей лопоухой шляпе.

Два Спортсмена — в костюмах для гольфа.

Человек в кепке и Человек в шляпе.

Голоса из толпы.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1-я

Кабинет викария Дьюли. Викарий Дьюли, заложив руки назад и перебирая пальцами, расхаживает по кабинету. М-р Мак-Интош сидит с блокнотом и карандашом; он, как стрелка компаса, поворачивает голову вслед движениям викария. Миссис Дьюли на диване; в момент открытия занавеса она что-то говорит — не разобрать слов.

Вик. Дьюли *(останавливается)*. Что?

М-с Дьюли. Я говорю, что все-таки вы завтра должны были бы съездить к адвокату О'Келли и поговорить с ним насчет нашего бедного м-ра Кембла.

Вик. Дьюли. Но, дорогая, поймите же, ради бога: если я поеду к этому О'Келли, весь завтрашний день, все завтрашнее расписание у меня сойдет с рельс. Да, сойдет с рельс, опрокинется, разлетится в щепки! Понимаете?

М-с Дьюли. Но О'Келли говорит, что сейчас, весною, у него особенно много бракоразводных дел и что помощник нужен ему именно сейчас. Может быть, это — единственный случай устроить м-ра Кембла. И мне кажется, теперь, когда он, наконец, поправился и покидает наш дом... *(Уронила на пол пенсне, сразу лицо — растерянное)*.

Вик. Дьюли. Знаете, этот ваш м-р Кембл... *(Смотрит на м-с Дьюли)*. Что с вами?

М-с Дьюли. Я, кажется... я потеряла пенсне... *(Мак-Интош кидается, поднимает пенсне, подает)*. Благодарю вас.

Вик. Дьюли *(продолжает)*. Этот ваш Кембл... Не представляю, что вообще можно сделать из молодого человека, который ухитрился среди бела дня попасть под автомобиль? И не понимаю, зачем ему для этого понадобилось выбрать место именно против нашего дома? Это некорректно, это... я не знаю... это...

М-с Дьюли. Но я полагаю, что м-р Кембл вовсе не выбирал...

Вик. Дьюли. Ну да, ну да! Но во всяком случае, все эти две недели, пока он лежал там, наверху, я все

время чувствовал... ммм... *(С гримасой делает правой рукой какие-то движения на уровне лица).*

Мак-Интош. Флюс.

Вик. Дьюли. Что?

Мак-Интош. Я говорю... э-э-э... так сказать, затвердение, если взять метафору из быта...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, прошу вас: поберегите свои метафоры для речей на заседаниях нашего Общества. Возьмите-ка лучше завтрашнее расписание, пусть м-с Дьюли убедится сама, что это невозможно, немыслимо, все сойдет с рельс! Ну, читайте.

Мак-Интош *(снял со стены одну из таблиц, читает).* Суббота. Омовение и система Мюллера — от 8 до $8^1/_2$. Общение с Верховным Существом от $8^1/_2$ до $8^3/_4$...

Вик. Дьюли. Нет, пожалуйста, только вечерние часы: днем адвокат О'Келли — в суде.

Мак-Интош. Вечерние? Хорошо *(читает).* От 7 до 8 — посещение больных, моцион. От 8 до 9 — обед. От 9 до 10 — заседание Общества Почетных Звонарей. От 10 до $10^1/_4$ — общение с Верховным Существом совместно с м-с Дьюли. От $10^1/_4$ до $10^1/_2$... *(кашляет).* Здесь... многоточие. Так сказать, занавес, если взять метафору...

Вик. Дьюли. Ну да, ну да... Благодарю вас *(подходит к м-с Дьюли, целует ей руку).* Гм... мм-да, моя дорогая... Так вот: поехать в город к м-ру О'Келли и обратно — это не меньше... да, не меньше двух часов, и стало быть... *(Берет расписание у Мак-Интоша, соображает вслух).* От 9 до 11... От 11 до часу... До часу! *(Мак-Интош начинает записывать в блокнот).* Ради бога, подождите записывать! *(Бормочет про себя, высчитывает).* Это будет... позвольте: ничего не понимаю! Это будет... *(Останавливается).*

М-с Дьюли. Простите, что будет?

Вик. Дьюли. Что? А то, что завтрашний обед будет послезавтра утром. Вот что будет!

Мак-Интош. Так сказать, будущее питание... Или если взять этот древнегреческий случай, когда Геркулес догонял черепаху... и, так сказать, под видом черепахи — обед, а ваше преподобие — под видом Геркулеса...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, сколько раз я просил вас... *(Стук в дверь).*

М-с Дьюли *(вскакивает, тотчас же садится, поправляя пенсне)*. Да, да. Войдите. *(Входит Кембл)*.

Вик. Дьюли А, м-р Кембл! Очень кстати. Гм, гм... да. Так вы, оказывается, завтра покидаете нас? Чрезвычайно рад... ну да... то есть вы, значит, уже совершенно здоровы — это меня радует в высшей степени, да, да... *(Жест в сторону Мак-Интоша)*. Вы не знакомы?

Мак-Интош. Мак-Интош. Магазин непромокаемых пальто, так сказать. И секретарь Общества Почетных Звонарей прихода Сент-Инох.

Кембл *(жмет ему руку. Сморщив лоб, соображает)*. Следовательно, это вы звоните в колокол? Я очень люблю звон колоколов.

Мак-Интош *(обиженно)*. Прошу прощения, сэр: мы звоним, так сказать, невидимо, идейно. Мы, так сказать...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош — большой философ, и я горжусь им, как одной из лучших овец моей паствы.

Мак-Интош. Разрешите, ваше преподобие, исправить, так сказать, грамматическую ошибку: поскольку речь идет об особе, так сказать, мужского пола, правильней сказать не «овец», а... а «баранов»... *(спохватывается)*. Хотя, впрочем... в области скотоводства...э-э-э, так сказать, грамматического скотоводства... э-э-э...

Вик. Дьюли. Ну да, ну да. Это деталь, оставим это... М-р Кембл, мы здесь говорили о том, что у адвоката О'Келли может найтись работа для вас.

Кембл. Да, я знаю: м-с Дьюли была так любезна... И эти две комнаты на Гай-Стрит — для меня и моей матери — я их взял в расчете на работу у м-ра О'Келли.

Вик. Дьюли. Ах, так это значит, одно с другим... Ну да, ну да! *(Торжественно)*. Дорогой м-р Кембл, вы меня знаете достаточно, и знаете, что когда речь идет о том, чтобы помочь... м-м-м... ближнему, я готов на самое трудное, даже невозможное. *(К м-с Дьюли)*. Дорогая, мы перенесем на сегодня некоторые... м-м-м... как вы знаете, очень дорогие для меня параграфы завтрашнего расписания — и тогда завтра я смогу поехать к адвокату О'Келли. Так что, дорогой м-р Кембл, вы можете быть уверены.

Кембл. Вы меня выведете из затруднения. Следовательно, я должен быть вам благодарен. Благодарю вас.

Вик. Дьюли. О, пожалуйста, пожалуйста! Я очень рад, что это даст возможность вам и вашей матери... Да, кстати: возьмите на себя труд передать уважаемой леди Кембл, что мы избрали ее действительным членом нашего Общества Почетных Звонарей, а вас — членом-соревнователем. Я полагаю, ей будет приятно узнать это.

Кембл. Я уверен.

Вик. Дьюли. Очень рад. Спокойной ночи, м-р Кембл! *(Смотрит на часы, потом на м-с Дьюли).* Без десяти одиннадцать. У меня осталось ровно десять минут до... до...

Мак-Интош. До — так сказать — занавеса...

Вик. Дьюли *(свирепо).* М-р Мак-Интош, спокойной ночи. *(Выходит. Мак-Интош торопливо прощается и катится за ним. В дверях викарий Дьюли оборачивается).* Надеюсь, дорогая, вы не задержите надолго м-ра Кембла, а?

М-с Дьюли. О нет! Конечно... *(Кемблу, который берет себе стул).* Нет, я хочу, чтобы вы сели здесь, вот сюда. *(Кембл нерешительно садится на диван).* Вам удобно? Подождите... *(Кладет ему подушку за спину. Смотрит в лицо).* Слушайте, Кембл, неужели, в самом деле, вы уезжаете от нас? Я не могу... я как-то не могу представить... Это уже окончательно?

Кембл. Да. Я снял две комнаты. Два фунта одиннадцать. Завтра я должен туда переехать.

М-с Дьюли. Завтра? *(Растерянно оглядывается).* Знаете, опять потеряла пенсне. Без пенсне я просто... *(Кембл нагибается).* Ах, не надо — все равно, сейчас я... Нет, просто мне очень странно, что вот завтра вас здесь уже не будет. Вам не странно?

Кембл. Странно? Почему же? Вы и ваш муж были так любезны, что разрешили мне оставаться у вас, пока не срослись швы. Следовательно...

М-с Дьюли. А вы думаете, что вы уже совершенно поправились после этой ужасной истории с автомобилем?

Кембл. О, да, доктор сказал, так что я уверен — я совершенно здоров.

М-с Дьюли. Жаль... То есть, нет, конечно, я страшно рада, но я хочу сказать, что... Понимаете, ну... я так... я так привыкла к вам за эти две недели. Боже мой! Я как сейчас помню эту минуту: шум, голоса... вдруг открывается дверь — и вас вносят, впереди этот рыжий О'Келли... рука у вас свесилась, качается... И как вы ни за что не хотели при мне... вы помните?

Кембл. Конечно. Я уверен, что никогда не забуду ваших забот обо мне.

М-с Дьюли. Да? Вы не забудете? Правда, вы меня не забудете? Нет? *(Кладет свою руку на руку Кембла).* Кембл, вот понимаете, ваша рука...

Кембл *(поднимает свою руку, удивленно на нее смотрит).* Моя рука... что?

М-с Дьюли. Нет... я хочу... я хотела только... *(Пауза. Смотрит на часы. Взволнованно).* Три минуты. Понимаете: три минуты!

Кембл *(сморщив лоб, старается понять).* Три минуты?

М-с Дьюли. Я хочу сказать: без трех минут одиннадцать. В одиннадцать... *(Оглядывается на дверь, через которую вышел викарий. Пауза).* Да, завтра мы уже будем вдвоем с Дьюли — и все по-прежнему, как десять, как пятнадцать лет... *(Берет на колени подушку с дивана, нежно поглаживает ее).* Кембл!

Кембл. Да, м-с Дьюли?

М-с Дьюли. Кембл.. пусть... пусть будто вы еще больны... И я... и я, как все эти недели, приду положить вам компресс на ночь. Кембл! *(Глядит на подушку, нежно поглаживает ее).*

Кембл *(сморщился, трет лоб).* Но ведь я же... я же не болен. Доктор сказал. Следовательно, компресс.... я не понимаю: зачем же компресс?

М-с Дьюли *(отшвыривает от себя подушку, встает. Закусив губы, секунду смотрит на Кембла).* Вы... Слушайте, вы... вы просто...

Вик. Дьюли *(показывается на ступенях лестницы сверху; он в ночном колпаке).* Дорогая, ровно одиннадцать. Ах, вы уже идете? Прекрасно, прекрасно! *(Поднимается по лестнице; следом за ним — м-с Дьюли. Кембл, расставив ноги, стоит, трет лоб. Поворачивает выключатель, выходит).*

Картина 2-я

Приемная в конторе адвоката О'Келли. Прямо — открыта дверь в комнату машинисток, четыре мисс сидят, стучат на машинках. Дверь слева — вход в приемную, дверь справа — вход в кабинет О'Келли. В кресле — 1-й Воскресный Джентльмен, с цилиндром в руках. В стороне, у раскрытого окна — Кембл: упорно, ни на кого не глядя, читает газету. За окном городской шум, крик мальчишки-газетчика.

Газетчик. «Джесмондская Звезда»! Экстренный выпуск! Бокс!

2-й, 3-й, 4-й Воскресные Джентльмены (*все совершенно одинаковые, в цилиндрах, входят, идут к 1-му Джентльмену*). А, добрый день!

1-й Воскр. Джентльмен. Добрый день.

2-й Воскр. Джентльмен. Прекрасная погода, не правда ли?

1-й Воскр. Джентльмен. О, да, вчера была значительно хуже... (*Молчит*).

3-й Воскр. Джентльмен. Мм... да. Очень много зависит от погоды, вы не находите?

1-й Воскр. Джентльмен. О, да. Так, например, подагра и многие другие важные вещи.

4-й Воскр. Джентльмен. Да-а! Да. (*Молчит*).

3-й Воскр. Джентльмен. Мм... да. Приятно иногда — вот так встретиться, поговорить, обменяться мыслями, вы не находите?

4-й Воскр. Джентльмен. Да-а! Да.

1-й Воскр. Джентльмен. О, да, чрезвычайно, чрезвычайно приятно. (*Молчат. Искоса поглядывают на Кембла. Шепчутся*).

3-й Воскр. Джентльмен. Кембл? Сын покойного сэра Гаральда? Печально, печально!

1-й Воскр. Джентльмен. О, да! Я полагаю, что покойный сэр... (*Вошла Диди. Воскресные Джентльмены замолкают, смотрят на нее. Шепчутся*).

2-й Воскр. Джентльмен. Да, знаете, этот О'Келли... он умеет...

1-й Воскр. Джентльмен (*выразительно*). О, да!

3-й Воскр. Джентльмен. Тсс!

О'Келли *(выбегает из кабинета)*. А-а, джентльмены, мое почтение. Дидичка, и вы здесь? Сию минуту, сию минуту. *(1-й Воскр. Джентльмен передает О'Келли бумагу, О'Келли пробегает ее)*. Правление Общества Почетных Звонарей ... Доверенность м-ру Мак-Интошу ... Чудесно! Пожалуйте. *(Открывает дверь в кабинет. Телефонный звонок. О'Келли подбегает)*. Да, слушаю. Ах, это вы, дорогая? Да ... Но, видите ли, телефон еще недостаточно усовершенствован, чтобы я мог вас по телефону ... Да. Завтра ... *(К Диди)*. Сейчас, Диди милая, сейчас. *(В комнату машинисток)*. Сесили, деточка, вот это письмо, пожалуйста. *(Берет Сесили за подбородок)*. У-у, цыпка! Джентльмены, пожалуйста. *(Проходят в кабинет)*.

Газетчик *(за окном)*. *«Джесмондская Звезда»!* Экстренный выпуск! Сегодня бокс! Сержант Смис, чемпион Англии!

Диди *(подойдя к окну)*. Мальчик, мальчик! Да, да, я. Принесите мне газету.

Газетчик *(за окном)*. Слушаю, мисс.

(Кембл оборачивается к Диди. Она напевает что-то. Кембл начинает читать газету и опять оборачивается, смотрит на Диди).

Диди. Вы, кажется, хотели что-то сказать мне?

Кембл *(встает сконфуженно)*. Про ... Простите, я вам не представлен. Следовательно ... следовательно, я не могу говорить с вами ...

Диди. Но ведь вы же говорите?

Кембл *(растерянно трет лоб)*. Вы ... вы находите? Да ... да, кажется, вы правы ...

Диди *(смеется)*. Да, вам кажется?

Газетчик *(мальчишка, в белом воротничке, босой, вбегает, передает газету)*. Пожалуйста, мисс. *(Получает деньги)*. Спасибо, мисс. *(Уходит)*.

О'Келли *(выходит из кабинета с Воскресными Джентльменами)*. Да, да, можете быть спокойны. До свидания. Привет вашему почтеннейшему председателю ... хотя, кажется, викарий Дьюли терпеть меня не может, а?

1-й Воскр. Джентльмен. О, нет! Но, видите ли ... вы с ним настолько ... как бы это сказать, не совсем ...

О'Келли. Понимаю, понимаю! Всего наилучшего. *(Воскр. Джентльмены уходят, косясь на Диди)*. А, м-р

Кембл, очень рад. Диди, деточка, сию минуту. *(Кидается к машинисткам).* Сесили, готово? Сейчас подпишу. *(Возвращается к Кемблу).* Очень рад, м-р Кембл. Необычайно кстати! Диди, позвольте вас... М-р Кембл — отныне мой помощник. Диди Ллойд, артистка из «Эмпайра» — моя клиентка: развод.

Диди. Собственно, мы уже давно... минут пять знакомы.

О'Келли. Как, уже? Кембл, Кембл! А я-то надеялся, что рекомендация достопочтенного викария Дьюли, автора «Завета Принудительного Спасения», председателя Общества Почетных Звонарей и прочая, и прочая...

Кембл. Нет, видите ли... я... я смотрел... и миссис Ллойд...

О'Келли. Вы смотрели? Смотрите вы у меня! Вы, кажется, собираетесь стать моим помощником во всех отношениях? *(Кричит в комнату машинисток).* Сесили! Анни! Бетти! Пожалуйте все сюда. *(Машинистки входят. О'Келли пересчитывает их).* Раз... два... три... четыре... все? Прекрасно. Начнем. Только, пожалуйста, будьте серьезны, потому что вы имеете дело уже не со мной, а с человеком серьезным и положительным. Это — м-р Кембл, мой помощник. *(Кемблу).* А это — Сесили, моя жена. *(Кембл почтительно жмет ей руку).* Это — Анни, моя жена, Бетти, моя жена, Лори, моя жена.

(Кембл останавливается с протянутой рукой; страдальчески сморщившись, пытается понять, трет лоб. Машинистки, сдерживая смех, прячутся друг за друга).

О'Келли *(серьезно).* Послушайте, Кембл, да разве вы не знали: ведь я же магометанин.

Кембл *(облегченно).* О, я всегда с уважением относился ко всякой установленной религии. Рассуждая логически, всякая установленная религия...

О'Келли *(не выдержав, лопается от смеха, за ним машинистки, Диди).* Послушайте, Кембл... Ой, не могу! Ведь надо же! Он, ей-богу, поверил! Послушайте, Кембл, вы понимаете, что такое шутка? Ну?

Кембл *(растерянно).* Я... я не понимаю: вы хотите... что вы... что это неправда? Вы сказали неправду?

О'Келли. Вы, кажется, этого не одобряете? Подождите, давайте по-вашему: «рассуждая логически». Животные и представления не имеют о неправде — так?

Хорошо. Если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Следовательно, правда — есть признак... Ну? Кончайте сами.

Кембл. Следовательно... *(Трет лоб).* Да, кажется, действительно... *(В отчаянии).* Но ведь это же не может, это не должно быть!

О'Келли. Счастливец: он знает, что должно и что не должно! *(К Сесили, которая подает ему какую-то бумагу).* Сейчас, деточка, сейчас... *Достает из шкафа папку).* А вот наша милейшая Диди никак не может уразуметь, что она должна принять деньги, которые ей предлагает м-р Ллойд.

Диди *(сдвинув брови).* О'Келли, если вы еще раз...

О'Келли *(Кемблу).* Вот видите! Вот видите! Поручаю вам обстрелять ее своей двенадцатидюймовой логикой. Здесь все документы.

(Передает папку Кемблу, уходит к машинисткам. Кембл и Диди садятся к столу, Диди — с газетой).

Кембл *(перелистывая папку).* Простите, миссис Ллойд, но по закону вы действительно, можете требовать от вашего... от вашего бывшего мужа...

Диди *(глядя в газету).* М-р Кембл, понимаете: сегодня выступает сержант Смис, чемпион Англии. Я никогда не видела этих... чемпионов. Я думаю, они похожи на вас. Вы, должно быть, страшно сильный? Скажите, вы можете поднять меня одной рукой?

Кембл *(оторвавшись от бумаг, осматривает Диди с ног до головы. Конфузливо улыбаясь).* Вы... вы такая...

Диди. Какая?

Кембл *(восхищенно).* Вы очень... Я думаю, что могу.

Диди. Нет, правда, можете? Ну, попробуйте — ну?

(Кембл встает, нагибается к стулу Диди. Телефонный звонок).

О'Келли *(выбегает из комнаты машинисток).* Кембл! Кембл, что это вы?

Кембл. Это я... Это я одной рукой... Я...

О'Келли *(шутовски).* Диди, между нами все кончено. *(Подходит к телефону).* Да, я. А-а, миссис Дьюли, здравствуйте! Кембл? Да, будьте покойны, уже начал. Блестяще! Не за что. Какое именно? Дело миссис Ллойд,

Диди Ллойд, из «Эмпайра» — наверно, слышали? Что? Нет, нет, не бойтесь. Да, уж я... Всего наилучшего! *(Кемблу).* Ну, м-р Кембл, знаете ли... *(Подходит Сесили).* Ах, да, подписать! Сейчас, деточка, сейчас. *(Уходит с Сесили к машинисткам).*

Кембл *(садится, сконфуженно уткнувшись в бумаги).* Миссис Ллойд, по закону вы имеете право. Следовательно, вы должны.

Диди. Должна? А если я не могу?

Кембл *(морщит лоб).* Но, собственно, почему?

Диди. А вот просто так. *(Смотрит на руку Кембла).* Ух, какая у вас рука! Вы никогда не занимались боксом?

Кембл. Нет, простите, не занимался. Почти. В школе, давно. Но я должен узнать, почему вы не можете...

Диди *(сердито бросает газету).* Потому что я, я, я изменила м-ру Ллойду! Поняли, нет? Почему изменила? Потому **что** была хорошая погода, вот и все! И я предпочитаю плясать в «Эмпайре», чем... Ну, что вы уставились? Пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами, ну? Вы просто невыносимы! *(Кембл берет папку, встает).* Куда вы? Сядьте! *(Кембл садится. Диди закуривает папироску. Пауза).*

Кембл. М-с Ллойд... я... я согласен. Вы действительно не можете. И я... я уважаю вас. То есть, не то, что вы... что вы изменили, а то, что вы...

О'Келли *(входит).* Что у вас тут за шум?

Диди. О, мы разговариваем... относительно бокса. Я хотела его убедить, что...

О'Келли *(Кемблу).* Ну, а вы? Убедили ее?

Кембл. Нет, я полагаю, что она... что м-с Ллойд не должна брать денег.

О'Келли. Кембл, Кембл! Если это начало, чем же вы кончите?

Диди. Вы знаете, О'Келли, он страшно смешной, — ну, просто прелесть! Мы идем с ним сегодня на бокс... *(Кембл хочет что-то сказать).* Нет, нет, Кембл, конечно, идем: ведь вы же на меня не сердитесь, нет?

Кембл. О, нет! Я даже...

Диди. Ну, тогда, значит, идем. И вы, О'Келли, тоже. Только надо скорей, скорей, сию же минуту пообедать — и туда. Уже семь.

О'Келли. Деточка моя, я вас так люблю, что ради вас готов пойти на бокс с м-ром Кемблом, на дуэль с м-ром Кемблом — на все.

Кембл *(трет лоб)*. То есть, как на дуэль?

О'Келли. Да, м-р Кембл, будьте готовы ко всему. Но только сначала — обед. Идем. *(Уходят)*.

Картина 3-я

Бокс. Четырехугольная площадка для боксеров, обнесенная барьером из каната. Скамьи для публики уже заполнены. Воскресные и прочие Джентльмены, люди в кепках, мальчишки. Жужжание говора. Входят Диди, О'Келли, Кембл. К ним — Капельдинер.

Капельдинер. Мест нет, сэр.

О'Келли. Очень жаль. Но я надеюсь, в вашем кошельке место еще есть? Ага, прекрасно! *(Дает ему монету)*. Принесите нам три стула.

Капельдинер. Слушаю, сэр.

(На принесенных стульях отдельной группой у рампы садятся: впереди — Кембл и Диди; О'Келли — сзади Диди. Пауза. Публика стучит ногами, свистит. Звонок. На площадке — Судья).

Судья *(снимая цилиндр)*. Леди и джентльмены. Первыми выступают знаменитый сержант Смис, чемпион тяжеловесов Англии, и м-р Борн из Джесмонда. Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга, согласно правилам маркиза Квинзбери. *(Звонит. С противоположных углов площадки выходят: Смис в голубых трусиках и Борн — в черных)*.

Публика. Браво, Борн! Браво, Джесмонд! — Сержант Смис, браво-о!

(Судья надел цилиндр. Поднял руку — тишина. Вынул часы. Секунданты торопливо завязывают перчатки обоим противникам. Судья звонит. Смис и Борн сходятся, пожимают руки. Первый круг. Нападает Борн, удачный удар).

Публика. Так его, Джесмонд! — Браво, Борн! — Какой панч! Так-так-так! — Ловко, Смис! — Ага, ага! Смотрите: дэбль-кросс!

(Звонок, перерыв. Оба противника — на стульях, по своим углам, вытянувшись. Дышат, широко раскрыв рты, секунданты обмахивают их полотенцами).

Публика *(волнуется, гудит; отдельные голоса).* Ставлю фунт за Борна! — Борн, Борн, Джесмонд за вас! — Смис, утрите нос этому младенцу! — Два фунта за Борна! — Держу пари — нокаут на втором круге — два фунта.

Диди *(прижимаясь плечом к Кемблу; Кембл с часами в руках).* Смотрите, смотрите: они дышат, как рыбы. Почему они так дышат?

Кембл. Чтобы лучше отдохнуть. Согласно правилам — полуминутный перерыв.

О'Келли. Вы, Диди, нарушаете это правило честного боя.

Диди. Я?

О'Келли. Ну да, вы: вы не даете Кемблу даже полминуты отдыха. Смотрите, он уже...

Публика. Ш-ш-ш!

(Звонок. Судья — с часами. Смис и Борн снова сходятся. Смис сперва только защищается, затем вдруг — снизу вверх в нос Борну. Борн прячет лицо подмышку к Смису. Смис продолжает тыкать ему в нос снизу).

Публика. Так, Смис, так его! — У Борна финта. —Борн, стыдитесь! — Поцелуй его, Борн, в подмышку: очень вкусное местечко! — Ага, смотрите!

(Борн вырвался. Смис нападает на него, удар за ударом. Борн качается, падает. В публике: «Ах» — и мертвая тишина. Судья с часами считает вслух: «Раз, два, три... восемь». На восьмой секунде Борн встает).

Публика. Браво, Борн! — Молодец, Борн, не сдавайся! — Браво, браво, браво!

(Борн, покачиваясь, выдерживает еще несколько ударов. Звонок, перерыв. Секунданты обмахивают, растирают обоих, кропят им высунутые языки водой).

Публика *(голоса все возбужденней).* Ничего подобного! Ничего подобного! — Это только второй круг вот увидите! Борн, мы за вас! — У него короткий удар. — Два фунта — нокаут на третьем круге!

Диди *(взволнованная, дергает за рукав Кембла; Кембл стоит).* Кембл! *(Кембл оглядывается; у него вы-*

двинутая нижняя челюсть, стальные мускулы на скулах напряжены; смотрит на Диди сверху). Вы... что вы на меня так смотрите? Ой, О'Келли, глядите, какой он сейчас — прямо страшно!

О'Келли. Берегитесь, Диди, говорю вам: берегитесь!

(Звонок Судьи. Смис и Борн сходятся. Борн нападает).

Публика. Так-так-так, Борн! — Панч! Ага! — Панч... Еще! — Фью! — Нокаут — Я... говорил! — Какой нокаут? Сейчас встанет. — Ш-ш-ш...

(Смис ударяет, Борн упал. — Судья вслух считает: «девять, десять». Борн все лежит. Большая часть публики вскочила, Кембл и Диди тоже стоят. Когда Судья сказал «десять», в публике рев, аплодисменты, свистки. Судья поднимает вверх руку, надевает цилиндр).

Судья. Сержант Смис побил Борна из Джесмонда в 8 минут и 40 секунд.

Публика *(гам, свист, аплодисменты, крики).* Браво, Смис! — Неверно: он ударил, когда Борн уже падал! — Долой Смиса! — Браво, Смис! — Долой Смиса! — Браво! — Долой!

Диди *(кричит, стоя на стуле).* Неверно! Долой Смиса! *(Борна поднимают, уводят. Смис спокойно стоит, улыбаясь).* И еще улыбается! Что за наглость! Если бы я была мужчиной... *(Смис что-то говорит Судье).*

Судья *(подняв руку).* Чемпион Англии сержант Смис вызывает любого, сейчас же и на тех же условиях, что с Борном: двадцать кругов, согласно правилам маркиза Квинзбери. Приз — пятьдесят фунтов.

Публика *(волнение, свистки, аплодисменты).* Браво! — Джесмонд! Джесмонд! Эх, будь я на десять лет... — Долой Смиса! — Браво, Смис! *(Затихают, пауза. Смис улыбается).*

Диди. Если бы я была мужчиной... Неужели никого нет, кто бы... Слушайте Кембл, миленький, я не могу видеть этой наглой физиономии! Пойдите, докажите ему, что...

Кембл. Вы хотите? *(Смотрит на нее).* Вы хотите? Хорошо, я иду. *(Идет к площадке, говорит что-то Судье).*

Судья. М-р Кембл из Джесмонда любезно согласился принять вызов сержанта Смиса.

Публика. Браво-о-о! — Кембл, браво! — Кембл! Кембл! *(Неистовый рев, топот).*

Диди *(теребя О'Келли).* Слушайте, О'Келли, он и в самом деле, он с ума сошел! Я же только так... Оста новите его!

О'Келли. Голубушка моя, я же вас предупреждал, что с Кемблом шутить нельзя. Есть племена, у которых в языке нет слова «шутка».

Диди. Но ведь это же... это же... О'Келли, скажите: вы считаете, что это я виновата?

О'Келли. По-моему, виновато ваше декольте.

Диди. Как вы... как вы можете шутить в такой момент, когда человек рискует... я не знаю: может быть, даже жизнью!

О'Келли. А вы не думаете, что я сейчас рискую больше, чем он?

Диди. Вы? Чем?

О'Келли. Вами.

(Кембл выходит, уже переодетый. Опять восторженный рев. Звонок).

Диди *(стоя, восторженно смотрит на Кембла).* Нет, вы знаете, он великолепен!

(Первый круг. Кембл, неуклюже поворачиваясь на месте, пытается защищаться. Смис наносит ему удар за ударом в грудь, в лицо).

В публике *(тишина, чей-то восхищенный голос).* Ну и морда — прямо чугунная! *(Смех. Напряженная тишина. Еще удар — Кембл падает).*

Публика *(неистовый рев).* Браво-о, браво-о, Смис! — Правильно! — Правильно! — Кембл из Джесмонда, браво-о!

(Над Кемблом нагибается Судья, с часами в руках. Из публики через канат перескакивает кто-то. Кембла поднимают, несут).

Публика. Доктор, это доктор... — Что с ним? — Что, что? В висок? — Нет. — Да говорю же вам: я сам видел! — Смотрите, смотрите!

Диди. Это ужасно, это ужасно! *(Кидается к площадке).*

О'Келли. Куда вы? Туда нельзя.

Д и д и *(вырывается)*. Пустите! Это ужасно! Я никогда не прощу себе! О'Келли, да говорите же: ну что нам теперь делать?

О ' К е л л и. Успокойтесь, успокойтесь! Ну, если хотите, пойдемте туда.

(Идут. Вся публика вскочила с мест. К барьеру-веревке подходит Бобби, переговаривается о чем-то с Судьей).

П у б л и к а. Что? Что? — Что случилось? — Наповал?

С у д ь я *(подняв руку)*. Прошу успокоиться. Перерыв на десять минут. Через десять минут все будет известно.

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

К а р т и н а 1 - я

Кабинет викария Дьюли. Викарий Дьюли, миссис Дьюли, Мак-Интош, Воскресные Джентльмены, Голубые и Розовые Леди — сидят за столом. Перед ними листки бумаги.

В и к. Д ь ю л и *(стоя, звонит в звонок)*. Леди и джентльмены, заседание Общества Почетных Звонарей продолжается. Чтобы покончить с первым вопросом, позвольте мне процитировать пять строк из только вчера написанной главы моей книги «Завет Принудительного Спасения». Вот *(читает)*: «Премудрость Создателя в том, что человек... *(Телефонный звонок. Вик. Дьюли, оскалив золотые зубы, смотрит на телефон, жестом приглашает м-с Дьюли подойти к телефону. Продолжает)*. ...человек не только был создан однажды, но создается ежедневно, меняясь параллельно природе. Природа нашего века — машины»...

М - с Д ь ю л и *(в телефон)*. Да... да...

В и к. Д ь ю л и. «И вот от брака — именно так: от брака — людей и машин — возникает новое, совершенное племя — наше племя, которое с механической точностью приведет мир к цели»...

М-с Дьюли *(в телефон, взволнованно).* Что? Что с ним? Не может? Да. Да. *(Подходит к столу, едва владея собой).*

Леди и Джентльмены *(к м-с Дьюли).* Что случилось? — Дорогая, вы так бледны! — Воды... хотите воды?

М-с Дьюли *(задыхаясь).* Нет... Леди Кембл звонила, что она... запоздает и что... что м-р Кембл... он совсем не может придти сегодня.

Вик. Дьюли. Ах, вот как? Почему же?

Леди и Джентльмены. Не может придти? Что с ним? — Хотите воды? — **Несчастье?**

М-с Дьюли *(пьет воду).* Да... По-видимому... Я не знаю. Она сказала, что... что нельзя объяснить это по телефону.

Леди и Джентльмены. Но позвольте, мы еще вчера видели его... — Это невероятно! — Дорогая, сядьте, вам лучше сесть.

Вик. Дьюли *(звонит).* Леди и джентльмены, спокойствие. Жизнь каждого из нас в руках Провидения. Продолжим нашу работу. Через несколько минут мы узнаем от леди Кембл все. А пока в порядке дня... м-м-м *(заглядывает в листок)* — вопрос о поднятии доходности «Журнала прихода Сент-Инох». Доклад секретаря, м-ра Мак-Интоша. Мак-Интош, прошу.

Мак-Интош *(встает).* Леди и джентльмены... так сказать. Мне нет надобности говорить о той высокой, так сказать, выделке... *(щупает листок бумаги между пальцами, как материю)*... э-э-э... материи, из которой мы шьем, так сказать, нравственные одежды нашего журнала. Или, если взять метафору из современного быта, то вот вы, например, приходите ко мне в магазин и спрашиваете, так сказать, непромокаемое пальто, и если вы возьмете его вот так... *(Оперирует с листком бумаги).*

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, быть может, вы несколько воздержитесь от метафор?

Мак-Интош. Я только хочу сказать, что журнал, в котором еженедельно печатаются статьи из, так сказать, совершенно непромокаемого материала, статьи нашего уважаемого викария...

Леди и Джентльмены. Слушайте, слушайте! *(Аплодисменты).*

Вик. Дьюли. Благодарю вас, м-р Мак-Интош. Но все же просил бы вас, ближе к делу.

Мак-Интош. Я всегда утверждаю: какая великая вещь, так сказать, цивилизация. Но если взять метафору, представьте себе: к вам в магазин пришел нецивилизованный, так сказать, дикарь, который ходит, так сказать, голый, — извините, мисс! Я спрашиваю вас: что может купить такой человек в магазине готового платья, если этот человек ходит голый? Что? — я вас спрашиваю! *(Пауза. Общее недоумение).*

Розовая Леди *(наивно).* Купальный костюм.

Мак-Интош. Как? *(Растерянно).* Э-э-э... видите ли, мой вопрос был, так сказать, не вопрос, а наоборот...

Вик. Дьюли *(потеряв терпение, звонит).* Словом, м-р Мак-Интош вносит предложение пойти навстречу потребностям некоторой части читателей, которых ему угодно было назвать голыми, и приобрести для нашего церковного журнала новейшую серию «Приключений Арсэна Люпэна». Есть возражения?

Леди и Джентльмены. О, нет! — Да-да, конечно. — Приключения? Приобрести, приобрести!

Вик. Дьюли. Очень хорошо. Но чтобы окупить расходы, есть только один выход: объявления, объявления и объявления. Поэтому мы предлагаем: для создания финансовой базы ввести в журнале отдел объявлений.

Леди и Джентльмены. Да, да! — Конечно!

Вик. Дьюли. Теперь конкретные предложения. У вас, м-р Мак-Интош?

Мак-Интош. Э-э-э.. От фирмы Скрибс — резиновые изделия «Идеал».

Джентльмены. Гм! — Кха! — Да...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, надеюсь, вы имеете в виду, что мы не можем рисковать добрым именем журнала и можем предлагать только те продукты, качество которых мы гарантируем.

Мак-Интош. О, за изделия Скрибса я могу ручаться. Если взять метафору, я, так сказать, собственноручно не раз...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, эти ваши метафоры... *(Пожимает плечами).* Итак, изделия Скрибса тоже можно считать принятыми?

Джентльмены. Да! — Да!

Вик. Дьюли. В таком случае *(заглядывает в листок)*... Следующий вопрос... *(Стук в дверь. Входит леди Кембл)*. А, дорогая леди Кембл! Счастлив вас видеть, хотя и... *(смотрит на часы)* с некоторым запозданием.

М-с Дьюли *(вскакивает, взволнованно подбегает к леди Кембл)*. Что с ним? Ради бога? Что случилось?

Леди Кембл *(опускаясь на кресло)*. Он — погиб.

М-с Дьюли. Нет! Ради бога!

Все. Как? — Умер? — Что? — Не может быть: я его еще вчера днем... — Умер?

Леди Кембл. Да, почти. *(Глаза к небу)*. Боже мой, что сказал бы мой покойный муж, сэр Гаральд!

Вик. Дьюли. Леди и джентльмены, заседание продолжается. Я вполне понимаю охватившее вас волнение, но позвольте призвать вас к порядку, чтобы леди Кембл могла сделать внеочередное заявление... *(Нагибаясь к леди Кембл)* о внезапной кончине м-ра Кембла, сколько я понял? *(К м-с Дьюли)*. Дорогая, вы слишком близко принимаете это к сердцу. Займите свое место, прошу вас.

М-с Дьюли. Я... я не могу. Я должна... я... Боже мой!

Вик. Дьюли *(пожимая плечами)*. Леди Кембл, мы ждем.

Леди Кембл *(роется в ридикюле, вынимает газету)*. Вот... *(Трагически)*. Это ужасно! Пусть кто-нибудь... только не я, нет!

Вик. Дьюли *(передавая газету Мак-Интошу)*. М-р Мак-Интош, пожалуйста.

Мак-Интош. С наслаждением... то есть, я хочу сказать... Ну, да вы понимаете *(Ищет в газете)*. Вот. *(Пробегает глазами)*. Ах!

Все. Что? Что? Да читайте же!

Вик. Дьюли *(строго)*. М-р Мак-Интош!

Мак-Интош. Сию минуту. *(Читает)*. «Необычайный случай в Боксинг-Голле. Боксер-аристократ. Сержант Смис... м-м-м *(Бормочет про себя)*. Борн из Джесмонда»... Вот! «Вызов победителя принял м-р Кембл, сын покойного Г. Д. Кембла».

Все. Как? — Леди Кембл, дорогая... — Тише!

Мак-Интош (*продолжает*). «Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи. М-р Кембл с удивительной стойкостью — и, мы сказали бы, покорностью — выносил железные удары Смиса, пока на первом же круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. М-р Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди его друзей, особенно взволнованных концом его авантюры, выделялась туалетом звезда «Эмпайра» Д***». Д и три звездочки, понимаете, кто?

М-с Дьюли. Ах, вот как! Вот как! Дайте мне, я хочу сама... Это... Это не может быть! (*Вырывает газету у Мак-Интоша*).

Леди и Джентльмены. Ах, так он не умер? — Это неслыханно! Это — вызов, это вызов, брошенный... — Дорогая леди Кембл, позвольте выразить вам... — Необходимо самым решительным образом... — Да, да!

М-с Дьюли (*с газетой, к леди Кембл*). Вы видели его? Вы видели? Он действительно очень пострадал?

Леди Кембл. О, нет, я не видала его, нет!

Все. Как?

Леди Кембл. Он не явился домой. Он там. (*Пальцем показывает вниз, как бы в преисподнюю*).

Все. Где? — Вы хотите сказать, что он уже... — Где там?

Леди Кембл. В доме миссис Аунти, где эта... госпожа из «Эмпайра». Конечно, он не решился явиться домой после этого. Она увезла его туда.

Леди и Джентльмены. (*Волнение, вскакивают, отодвигают стулья*). Дорогая леди Кембл, позвольте вам... — Исключить, немедленно исключить из Общества! — Да, да, да!

Вик. Дьюли. Леди и джентльмены, еще раз призываю вас к спокойствию. (*К м-с Дьюли, которая ходит взад и вперед, комкая газету*). В особенности вас, дорогая: вы нарушаете...

М-с Дьюли. Я не могу... я не могу... Это... это просто... Увезла к себе!

Вик. Дьюли (*пожимает плечами*). Я слышал здесь предложение исключить м-ра Кембла из числа членов

Общества Почетных Звонарей. Я полагал бы, что это — если хотите, изгнание павшего Адама из рая — эта мера, освященная писанием, была бы вполне...

М-с Дьюли. Нет! Это недопустимо! Это окончательно отдало бы его в руки... Я... мы потеряли бы...

Вик. Дьюли. Что же в таком случае предлагаете вы? Да сядьте же, наконец, прошу вас! *(М-с Дьюли садится. Молчит. Встает Мак-Интош).*

Мак-Интош. Я предлагаю!

Вик. Дьюли. Да, мы слушаем.

Мак-Интош. Господа, мы должны, так сказать, отдать на заклание нашего уважаемого викария. *(Пауза. Недоумение).* Да, господа, всякий из нас, чью кожу, так сказать, пробивали насквозь вдохновенные проповеди викария, знает, что выдержать их невредимо могли бы лишь... лишь... *(щупает листок бумаги, как материю),* так сказать, непромокаемые...

Вик. Дьюли. Яснее, яснее, м-р Мак-Интош! Без метафор!

Мак-Интош. Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в этот дом. И я уверен... мы уверены...

Все. Да, да! — Мы уверены! — Просим, просим!

Вик. Дьюли *(помолчав).* Леди и джентльмены. Как это ни трудно мне, но я готов. Христос посещал и прокаженных. Но если это не удастся, я полагаю, остается одно: изгнать этого павшего Адама.

М-с Дьюли *(вскакивает).* Нет, вы не должны. Вы противоречите себе! Это именно тот случай, когда вы должны на практике применить ваш «Завет Принудительного Спасения». Я должна... мы должны — хотя бы против его воли — спасти его от этой женщины. Я уверена, что она недостойна его. Мы должны заставить его понять это! Мы должны найти доказательства, что она... *(Тяжело дыша, замолкает, шарит около себя).* Я... я потеряла пенсне... *(Садится. Пауза. Викарий пожимает плечами).*

Вик. Дьюли. И что же дальше?

Мак-Интош *(восторженно).* Я, так сказать, понял!

Вик. Дьюли. А именно?

Мак-Интош. Приключения Арсэна Люпэна. *(Недоумение).*

Вик. Дьюли. Это относится к первому пункту порядка дня. Вы путаете, дорогой Мак-Интош. Это уже принято.

Мак-Интош. Прошу прощения, но это относится именно к вопросу о м-ре Кембле и ... и этой ... Я имею в виду, так сказать, серию приключений Арсена Люпэна в борьбе с пороком. Доказательства — как сказала уважаемая м-с Дьюли. Каждый из нас должен стать Арсэном Люпэном, чтобы получить доказательства того, что эта женщина ... так сказать ...

Леди и Джентльмены. Браво, м-р Мак-Интош, браво!

Мак-Интош. Я первый готов отдать все свое время, так сказать, на алтарь ... Я с детства, так сказать, слежу за литературой, я не пропустил ни одной подобной книги, я всегда мечтал о том, чтобы самому ... И вот, наконец, случай соединить христианский подвиг и, так сказать, спорт, один из самых увлекательных видов спорта, когда человек является, так сказать, предметом, дичью ... Я полагаю, каждый из нас ...

Леди и Джентльмены. Да, да! — Браво, м-р Мак-Интош, браво. Вашу руку! — Да здравствует м-р Мак-Интош Люпэн! — Да, да! *(Встают с мест, жмут руку Мак-Интошу).*

Картина 2-я

Комната Диди в номерах м-с Аунти. Камин. На каминной полке — фарфоровый мопс Джонни. Ширмы. Кровать. На кровати лежит Кембл, с примочкой на лице. Просыпается, поднимает голову, оглядывается кругом: где он? Торопливо сбрасывает примочки.

Кембл *(тихо)*. Диди!

Диди *(в черной пижаме — низкий вырез, переплетенный шнуром — вскакивает с диванчика, на котором спала, входит за ширмы к Кемблу)*. Ну, наконец-то, вы ... Кембл, милый, я так рада, я так боялась! *(Садится на кровать к Кемблу, берет его огромную руку в свои)*. Кембл, вы можете меня простить?

Кембл (*лежит, блаженно зажмурив глаза*). Диди, я должен сказать вам... Я знал, что Смис меня побьет, но я сделал это потому, что вы... потому, что я... потому, что я вас...

Диди. Смешной. Я же знаю! Не надо говорить. Ну, понимаете — не надо: я знаю. (*Смотрит ему в глаза, закусив губы*). Кембл, миленький, вы когда-нибудь это чувствовали: вот тут у вас вдруг тихонько повернется, будто там не сердце, а живой ребенок, и хочется, понимаете... закричать или...

Кембл. Но почему же закричать? (*Морщит лоб*). Я полагаю...

Диди. Ни-че-го вы не понимаете! Молчите, а то я вас... (*Слегка нагибается к Кемблу — короткая пауза — вдруг быстро, как клюнула, целует Кембла в губы*).

Кембл (*изумленно моргает, приподнимается*). Про... простите... Вы меня поцеловали.

Диди. Что? (*Хохочет*). Нет, вы просто... вы просто... (*Выбегает из-за ширмы, берет на руки мопса Джонни, целует его*). Джонни, миленький мой, если б ты знал, до чего он забавен, до чего он забавен!

Кембл. Диди!

Диди. Да.

Кембл. Могу я у вас попросить почтовой бумаги? Мне надо написать письмо моей матери, леди Кембл.

Диди (*входит за ширмы с листком бумаги и пером*). Вот. (*Смотрит, как Кембл пишет*).

Кембл. Нет, не могу.

Диди. Бедненький мой, вам больно?

Кембл. О, нет! Я чувствую себя очень хорошо. Но у вас бумага без линеек, я привык писать по линейкам. (*Опускает руки. Сморщив лоб, размышляет*). Не понимаю.

Диди. Чего не понимаете?

Кембл. Вообще — ничего. Я был совершенно уверен, что вот это я должен, а вот это не должен. А теперь...

Диди. А теперь — без линеек?

Кембл. Как — без линеек? (*Берет бумагу, смотрит*). Ах, да! У вас другой нет? Я не могу на этой.

Диди. Бедный мальчик! Ну, я научу вас обходиться без линеек. Только пойду оденусь.

(Выходит из-за ширм. Перед зеркалом. Вынимает платье, шуршит шелком. Кембл еще пробует писать, слушает, бросил перо. С трудом, морщась от боли, встает. Он в крахмальной сорочке, в черных к смокингу брюках, как был на боксе.Быстро одевается, выходит в комнату Диди).

Диди. Сумасшедший! Что вы делаете? Доктор же велел вам лежать!

Кембл. Я... я не могу. Диди, я не спал всю ночь, я думал всю ночь, и сейчас тоже думал...

Диди. Ну? И что же?

Кембл *(стоит твердо, башней расставив ноги).* Диди, вы должны быть моей женой.

Диди *(хохочет).* Должна? Вы так думаете? Ну, что же, если должна, ничего не поделаешь! Только пойдите, ради бога, и лежите спокойно. *(Стук в дверь).* Ну, вот видите, вы не дали мне одеться! *(Идет к двери).* Кто там?

О'Келли *(за дверью).* Я.

Диди. Ах, это вы! Ну, скорей, скорей. Я так рада, вам можно...

О'Келли *(входит).* Бомба! Бомба!

Кембл. Бомба? Анархист? Есть убитые?

О'Келли *(серьезно).* Да, убит весь приход Сент-Инох.

Кембл *(изумленно).* Как? Весь приход? Сразу?

О'Келли. Да, сразу. Бомба невероятной силы брошена анархистом по имени Кембл.

Кембл. Кембл? *(Морщит, трет лоб).* Но, сколько я знаю, наша фамилия...

О'Келли *(умирает со смеху, Диди тоже).* Ах, Кембл вы эдакий! Вы меня уморите! Вы неподражаемы! Когда же вы научитесь понимать шутки? Вот — бомба здесь, завернута в эту газету. *(Подает Кемблу газету).*

Кембл *(берет газету, разворачивает. Сморщив лоб).* Здесь?

О'Келли. Да читайте же! *(Кембл и Диди про себя читают).*

Кембл *(в отчаянии садится).* Ужасно! Моя мать теперь... *(Пауза).* Но это неточно: здесь говорится, что я был вынесен в бессознательном состоянии.

О'Келли. Если хотите точности, так по-моему вы были в бессознательном состоянии с самого начала, как

только сели рядом с Диди. *(Кембл вскакивает со стула, нагнув голову, как бык).*

Диди *(сажает его на стул).* Ну, О'Келли, оставьте, слышите? Кембл, миленький, не надо... *(Стоит около, прижимает к себе его голову).* Не надо... ну?

О'Келли. Вот как? Фью! Дидичка, берегитесь! Если вы в шутку, то знайте, что он не будет шутить; если же вы всерьез, то знайте, что я буду шутить, а это может быть...

Диди. Да оставьте же! Надо его скорей устроить. Ведь вы же понимаете? Домой он не может... Вот что: подите с Кемблом к Нанси: может быть, она согласится переехать вниз, и тогда Кембл может в комнате рядом со мной...

О'Келли. Диди, я жалею, что это не меня избил Смис. Уважаемый анархист Кембл, идем.

(Уходят. Диди начинает причесываться. Стук в дверь).

Диди *(назад через плечо).* Нанси? Войдите, дверь не заперта.

(Входит викарий Дьюли. Диди — движение к ширмам, затем навстречу к викарию).

Вик. Дьюли. Ах! *(Пятится).*

Диди. Нет, пожалуйста, пожалуйста!

Вик. Дьюли *(брови треугольником вверх: негодование).* Чрезвычайно извиняюсь! Я полагал, что раз уже больше двенадцати, когда уже все... уважающие себя... *(Берется за ручку двери, но за ту же ручку берется Диди, закрывает дверь).*

Диди. Ради бога, не стесняйтесь! Садитесь, прошу вас. Это — мой обыкновенный утренний костюм, и не правда-ли: очень милый фасон? Я много о вас слышала, я очень рада, что вы...

Вик. Дьюли *(садится; старается не смотреть на утренний костюм Диди).* Видите ли... Мисс... гм... Диди... Я пришел к вам по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя...

Диди. О, м-р Дьюли, вы ошибаетесь, у меня есть...

Вик. Дьюли *(изумленно).* У вас есть?..

Диди *(берет мопса Джонни, подносит к самому лицу викария).* Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю. Не правда ли, какой очаровательный? У-у, Джонни, улыбнись ему! Поцелуй м-ра Дьюли, не бойся,

Джонни, не бойся! *(Быстро прикладывает Джонни к губам викария; викарий машинально громко чмокает морду Джонни; Диди в восторге).* Ну какой вы милый, м-р Дьюли! Я так и думала!

Вик. Дьюли *(вскакивает).* Я зайду к вам мисс... миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен...

Диди. О, м-р Дьюли, к несчастью, я, кажется, всегда весело настроена.

Вик. Дьюли *(поворачивается к двери).* В таком случае...

Диди. Нет, нет, не уходите. Я уверена, что м-р Кембл будет очень жалеть, если вы уйдете. Я сейчас его позову. *(Выходит).*

(Викарий ходит взад и вперед с заложенными на спине руками. Подняв брови, останавливается перед афишей, брошенным платьем Диди, кроватью — ужасно! За дверью — голос, хохот О'Келли. Входит Кембл).

Вик. Дьюли *(патетически).* И это вы, вы, Кембл?

Кембл *(с недоумением, морща лоб).* То есть? Ну да, я.

Вик. Дьюли *(все так же).* Я не узнаю вас!

Кембл. Как? Разве я... *(Ощупывает воротничок, поправляет галстук).* Вы хотите сказать, что я утром — в вечернем костюме Да. Но видите ли...

Вик. Дьюли. Нет, дорогой Кембл, я говорю не о вашем бренном теле, я имею в виду вашу бессмертную душу. Хотя, разумеется, и ваш костюм... Это есть зеркало души, да. Вы понимаете теперь, насколько я был прав в моем «Завете Принудительного Спасения»? Вы представляете себе — хоть на минуту — меня в вашем теперешнем положении?

Кембл *(мрачно).* Нет.

Вик. Дьюли *(торжествуя).* Ага, нет! А между тем, я такой же человек, как и вы... Ну, скажем, почти такой же — вы согласны?

Кембл. Согласен.

Вик. Дьюли. Да, и это благодаря тому, что я с неуклонной точностью... Впрочем, оставим мою... гм... скромную особу. В данный момент в обсуждении — и я скажу прямо: в осуждении — нуждаетесь вы. Вы согласны?

Кембл. Да, согласен.

Вик. Дьюли. Я так и думал. Я полагаю, что умею читать в сердцах, и я знаю, что вы в глубине сердца... Кембл, вы понимаете, что ваше имя — имя, которое носил достопочтенный сэр Гаральд. Это имя — на эстраде, в уличной газете, брошенное под ноги толпы... Это... это подобно троекратному отречению апостола Петра! Это подобно грехопадению Адама! *(Библейски).* И Адам был изгнан из рая. И вы будете изгнаны из рая... Я хочу сказать, что мы будем вынуждены исключить вас из Общества Почетных Звонарей, куда мы так недавно еще вас выбрали.

Кембл *(уныло).* Да.

Вик. Дьюли. Потому что вы, как и Адам, поддались соблазну некоей Евы. Но Адам и Ева были... гм... так сказать, люди одного круга. А вы — и танцовщица из «Эмпайра»! О-о! Вы согласны?

Кембл *(уныло).* Да.

Вик. Дьюли. И вдобавок эта ваша Ева разгуливает здесь при мне в одной пижаме!

Кембл *(начиная сердиться).* Но позвольте... простите! Как известно, Ева не носила даже и пижамы.

Вик. Дьюли. Как? Вы, с вашим трезвым умом, вы хотите защищать эту... разведенную жену, эту... Саломею? Блудницу?

Кембл *(свирепо).* М-р Дьюли, я не позволю, я не позволю никому говорить так о... о Диди, которую я просил быть моей женой.

Вик. Дьюли. Же... женой? *(Остолбенел. Пауза. Оправившись).* Но ведь вы же все время соглашались со мной, м-р Кембл?

Кембл *(мрачно).* Да, соглашался.

Вик. Дьюли. Так где же у вас логика, м-р Кембл? *(Торжествует).*

Кембл *(сморщившись, трет лоб).* Логика? *(Вдруг, нагнув голову, как бык, идет прямо на викария).* Да, женой, моей женой! Да! И прошу вас, прошу вас немедленно оставить меня!

Вик. Дьюли *(негодующе подняв брови).* Ах, так? Хо-ро-шо! *(Идет к дверям, останавливается — и торжественно).* Объявляю вас изгнанным из Общества По-

четных Звонарей. Мы заставим вас понять, что... *(Плечи, брови вверх).* Нет, женой эту...

Кембл. Вон! Сейчас же, сейчас же! Я вас... *(Задыхаясь, медленно надвигается на викария).*

Диди *(входит, в руках чулки, подвязки, лиф).* Кембл, вы с ума сошли, Кембл! *(Кембл продолжает наступать).* Держите. *(Бросает викарию чулки, подвязки)*... Да держите же вы! *(Кидается к Кемблу, хватает его за руки).* Кембл, не смейте! Сейчас же ложитесь!

Вик. Дьюли *(растерянно глядит на перекинутые через руку чулки и прочее).* Простите... Послушайте... Будьте любезны, слышите? *(Диди оборачивается, хохочет, от смеха — ни одного слова. Викарий величественно вытягивает руку с чулками).* Мне отмщение и аз воздам! *(Бросает чулки и все остальное на пол, уходит).*

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина 1-я

После поднятия первого занавеса остается спущенным второй: улица. Бобби-статуй на своем месте. Слева — с деланно-небрежным видом появляется новый Арсэн Люпэн — м-р Мак-Интош. Проходит за спиною Бобби, останавливается перед вывеской м-с Аунти, глазеет наверх, посвистывает, искоса поглядывая на Бобби. Бобби подозрительно смотрит на Мак-Интоша, затем снимается с якоря и делает несколько шагов по направлению к нему. Мак-Интош, стараясь сохранить небрежный вид, торопливо уходит вправо.

Бобби. Мистер... эй, мистер!

(Уходит следом за Мак-Интошем. Поднимается второй занавес. Открывается комната Диди. На полу — солнце; часа четыре; жара, Кембл — за столиком, пере-*

* Для упрощения постановки сцена Мак-Интош—Бобби может быть опущена.

бирает бумаги, пишет. Диди лежит на диванчике с книгой, неторопливо перелистывает, бросает книгу на диванчик).

Диди. Кембл, подите сюда. (*Кембл подходит*). Сядьте. (*Кембл поворачивается, чтобы взять стул*). Нет, сюда, на диван. Ну? Я могу подвинуться. (*Кембл садится на самый край*). Что же вы молчите? Расскажите мне что-нибудь.

Кембл (*сморщившись, мучительно трет лоб. Вдруг расплылся блаженно*). Я, знаете, утюг... то есть я видел утюг нынче утром, в магазине на Кингстрит. Понимаете: вот такой вот — электрический утюг — и всего только десять шиллингов.

Диди (*рассеянно*). Да?

Кембл (*помолчав, с блаженной улыбкой*). Знаете, Диди, я полагаю, мы могли бы понемногу покупать кое-что для... для нашего будущего дома. Я полагаю, месяца через три, у меня будет достаточно денег, чтобы купить мебель, — следовательно, тогда мы могли бы уже... Тогда мы сможем обвенчаться, да. Знаете, Диди, я хотел вас спросить...

Диди (*перебивает*). Жарко! Я не могу... (*Расстегивает одну, другую пуговицу блузы, раскрывает ее. Кембл, взглянув искоса, отворачивается, смотрит себе под ноги*). Кембл, миленький...

Кембл (*не меняя позы*). Да?

Диди. Кембл... Я, кажется, больна.

Кембл (*испуганно*). Но, Диди, как же? Ведь мы же хотели сегодня вечером отпраздновать нашу помолвку, вы не должны...

Диди. Ну, чем же я виновата, раз я больна или что-то такое... Вот попробуйте: у меня жар... (*Берет его руку, кладет себе под блузу*). Да нет! Глубже, вот сюда... (*Закрывает глаза*). Ну... ну?

Кембл (*все так же глядя себе под ноги, вытаскивает руку*). Д-да, кажется есть жар... небольшой. Это — ничего, я полагаю, это просто от погоды, так как действительно сегодня очень жарко. (*Молчит. Диди, изогнувшись, касается его телом. Он сидит по-прежнему*).

Диди (*сердито*). Уйдите! (*Кембл встает*). Постойте! Отворите окно!

Кембл *(робко)*. Но, Диди, может быть... окно... Ведь вы же больны...

Диди. А я вам говорю: отворите! Мне жарко. *(Кембл открывает окно, подходит к камину, рассеянно берет в руки фарфорового мопса Джонни)*. Нет, уж пожалуйста, уж пожалуйста оставьте! *(Кембл ставит мопса на место)*. Нет, дайте его мне, дайте сюда. Ну? *(Кембл приносит мопса, садится опять за бумаги. Диди целует мопса, обнимает, прикладывает его губы к своей груди)*. Джонни, миленький мой Джонни! Поцелуй меня, Джонни... Так! Крепче, ну, слышишь? Еще крепче. Так! Еще! Еще! *(Стук в дверь)*.

Кембл *(встает, опасливо смотрит на Диди)*. Мм... да, можно.

О'Келли *(входит)*. Дорогие мои дети, если вы заняты... э-э-э... многоточиями из расписания м-ра Дьюли, то я могу уйти. Ах, нет, вас тут трое! Я и не заметил Джонни... Глубокоуважаемый Джонни, как вы себя чувствуете? Впрочем, конечно же, превосходно. Я ему завидую, честное слово! Кембл, учитесь: смотрите, как он уютно устроился. А вы... ах, Кембл вы эдакий! Что вы там делаете? *(Берет листок со стола у Кембла)*. Двадцать плюс десять... плюс пятнадцать... Что это? Изучаете арифметику?

Кембл *(серьезно)*. О, нет, арифметику я сдал в колледже. А это... *(Сконфуженно)*. Видите ли... двадцать фунтов у меня уже есть... и я считаю, сколько еще нужно, чтобы купить стулья и прочую мебель и... А затем...

О'Келли. А затем уж от мебели до любви один шаг. Понимаю! А без мебели, конечно, никак нельзя?

Кембл *(серьезно)*. Ну да, конечно, нельзя. *(О'Келли хохочет. Кембл сердито)*. Не вижу здесь ничего смешного, абсолютно ничего! Все это совершенно логично: я хочу устроить свой дом, следовательно...

О'Келли. Ну, голубчик Кембл, логику надо уметь оседлать, как лошадь. А у вас наоборот: логика на вас верхом, как на лошади.

Кембл. Не понимаю.

О'Келли. Что делать! *(Идет к Диди, садится на диван к ней, близко)*. Дидичка, милая, а вы что нахохлились?

Д и д и. Я больна. Оставьте!

О'К е л л и *(смотрит внимательно. Диди торопливо застегивает блузу).* Гм... так! Вижу, вижу... Погода, действительно, такая, что... А вы, Кембл! Ай-ай-ай!

К е м б л. Что?

О'К е л л и. Вы не видите? Диди больна, ее надо лечить.

К е м б л. Я право, не думал... я могу пойти за доктором.

Д и д и. Замолчите, О'Келли! Мне вовсе не до ваших шуток.

О'К е л л и. Конечно, дело очень серьезное... Если уж дошло до Джонни... Дайте-ка его мне. *(Берет мопса, смотрит на него).* Ну, что за морда! До чего он похож на меня! Знаете, Диди: глядя на него, я мог бы, пожалуй, бриться без зеркала.

Д и д и *(не выдержав, хохочет).* Слушайте, это вы сами придумали? Это замечательно! *(Привстав, смотрит на О'Келли, хохочет).* А ведь верно: ей-богу, вы на него похожи. Нос, рот и вот тут — морщины такие же... У-у, Джонни! *(Вытягивает губы).*

О'К е л л и. Это вы мне? Только имейте в виду, что я менее фарфоров чем Джонни... и чем Кембл... *(Стук в дверь).*

М-с А у н т и *(просовывается в дверь, обводит любопытным взглядом).* М-р Кембл, можно вас на минуточку? Вы вчера просили стол к себе в комнату. Так вот, принесли. *(Уходит вместе с Кемблом).*

Д и д и *(держит мопса рядом с лицом О'Келли и, откинувшись на диван, опять смеется).* Знаете, как я сегодня ночью смеялась! Проснулась — лежу и смеюсь. Понимаете, вижу во сне...

О'К е л л и. Слушайте, слушайте! Сон в летнюю ночь невесты м-ра Кембла, будущей леди Кембл.

Д и д и. Да замолчите! Вижу, будто бы стул, ну вот самый обыкновенный деревянный стул лезет ко мне в кровать... Ну до того ясно! Понимаете, передвигает ножками, как лошадь: правой передней — левой задней, правой задней — левой передней. И будто я знаю, что вот сейчас этот стул будет... ну... ну... любить меня. То есть не можете себе представить, до чего неудобно, смешно...

О'Келли. Воображаю! Вы рассказали этот сон Кемблу?

Диди. Кемблу? Нет.

О'Келли. Напрасно.

Диди. То есть?

О'Келли. Он мог бы быть доволен.

Диди. Почему?

О'Келли. Ну, потому что, конечно же, это вы видели во сне его, Кембла.

Диди *(хохочет; потом вдруг нахмурившись)*. Послушайте, не смейте так говорить о Кембле. Он — удивительный. Вы бы никогда не могли вот так — взять и выйти, как он, на боксе. Я вспоминаю это всякий раз, когда мне...

О'Келли *(с усмешкой)*. Когда вам... Ну, что же, кончайте.

Диди. Не хочу. И, пожалуйста, не приставайте!

(Гладит Джонни, прижимает к груди, целует, не глядя на О'Келли. О'Келли, молча, улыбаясь, как мопс, смотрит на нее).

О'Келли. А знаете что, милая моя детка?

Диди. Да?

О'Келли. Умнее всего вам перестать любоваться, как в этой комнате разгуливает деревянный стул, и поехать ко мне. А? *(Берет ее за руку, стискивает)*. Я куплю шампанского, сухого, какое вы любите, соленых фисташек... Мой диван — вы его помните? Диди, я не забыл ничего, я не могу забыть...

Диди *(выдергивает руку, вскакивает)*. Слушайте, уходите сейчас же! Уходите! Ну?

О'Келли *(продолжает сидеть)*. Раньше вы говорили со мною по-другому.

Диди. А теперь... *(Вскакивает)*. Слушайте, неужели вы не понимаете, что я не могла бы взглянуть ему... Зачем вам надо, чтобы он был несчастен?

О'Келли. Девочка моя, мне надо, чтобы вы были несчастны.

Диди. Чтобы я?..

О'Келли. Да. Потому что такое меблированное счастье — одно из наиболее жирообразующих обстоятельств. Это вернейший способ приготовлять из людей

первосортную ветчину. А я не хочу, чтобы вы, как тысячи других...

Диди. Нет, как вы не понимаете, что именно его, именно Кембла, обманывать — это жестоко! Как вы не понимаете? Он — большое дитя.

О'Келли. Вы ошибаетесь: было бы жестоко и немилосердно детям говорить правду.

Диди. Я не хочу слушать этих ваших адвокатских штучек! Уходите! Слышите?

О'Келли *(встает)*. Хорошо. Я иду... покупать шампанское. *(Уходит)*.

(Диди рассерженно захлопывает за ним дверь. Снимает с дивана мопса, ставит его на камин, смотрит, поворачивает мордой к стене. Садится на диван, начинает читать. Бросает книгу, вскакивает, ходит по комнате. Схватывает со стола листок, где записаны расчеты Кембла; пробегает, кладет обратно. Задела стул — стул падает. Диди берет его за ножки, смотрит, — вспомнила, смеется. Подходит к мопсу, переворачивает его мордой к себе).

Диди *(мопсу)*. Джонни, миленький... А ты не рассердишься, если я... если я все-таки пойду? Ну, разве я виновата, что я еще живая? Скажи, Джонни, я очень гадкая? *(Пауза)*. Нет? Ну, Джонни, миленький, какой ты умный! *(Ставит мопса, быстро начинает надевать перед зеркалом шляпу)*.

Кембл *(входит)*. Как? Вы куда-то..?

Диди *(не глядя)*. Я хочу пройтись немного.

Кембл. Но... вы же больны?

Диди. Пустяки! Просто... головная боль... и я думаю, она совсем пройдет, когда я... *(останавливается)*.

Кембл *(покорно)*. Хорошо. Я буду ждать вас. Когда вы вернетесь, мы с вами приготовим все к вечеру.

Диди *(идет; у порога вдруг оборачивается, колеблется)*. Кембл, а может быть, правда, мне лучше остаться?

Кембл. Если головная боль, то самое лучшее средство — конечно, прогулка. Следовательно, вам надо идти.

Диди *(усмехается)*. Следовательно? Ну, хорошо! *(Перекидывает через руку ватерпруф и уходит. Кембл один. Садится за стол, начинает разбирать бумаги)*.

Картина 2-я

Улица. Бобби стоит статуей на своем месте. Из-за угла выходит миссис Дьюли, осматривается. Сняла пенсне, вытирает платком, надела. Глядит на часы-браслет. К ней бежит Мак-Интош; запыхался, обмахивается шляпой.

Мак-Интош *(в восторге)*. Слава богу. Ну, слава богу, слава богу! Уф!

М-с Дьюли. Да говорите же! Что — слава богу?

Мак-Интош. Она, эта самая Диди, сейчас у О'Келли. Уф! Слава богу! Она пешком — я пешком, она на трамвае — я на трамвае... Уф! Понимаете — в точности, как Арсэн Люпэн. Это все равно, что, так сказать, читать про самого себя в различных происшествиях. Нет, это у-ди-вительно!

М-с Дьюли. Слушайте, вы... вы уверены? Вы не могли спутать ее с другой женщиной?

Мак-Интош. Ее? Боже ты мой? Ее с другой? Что вы! Да на нее только взглянуть — и, так сказать, полнейшее кораблекрушение. Будь я Кемблом, я бы тоже всякую другую... *(Останавливается)*.

М-с Дьюли. Что — всякую другую?

Мак-Интош *(пытается улизнуть)*. Простите... я должен, я должен скорее пойти, доложить обо всем викарию... я должен...

М-с Дьюли. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Что вы думали сказать?

Мак-Интош. Я... я не думал... Я так, наспех, не могу думать. Я всегда сперва говорю, а уже потом не торопясь думаю... Простите, я должен... *(Хочет уйти)*.

М-с Дьюли. Постойте. *(Несколько секунд стоит, стиснув губы, руки. Вдруг что-то решила)*. Слушайте, у вас нет бумаги и конверта?

Мак-Интош. Написать письмо? Есть, пожалуйста. *(Вынимает ярко-розовый конверт)*.

М-с Дьюли. Что за ужасный цвет!

Мак-Интош. Дорогая м-с Дьюли, эта бумага, так сказать, в соответствии с погодой и с миросозерцанием... и я полагал бы... *(Заглядывает через плечо м-с Дьюли, которая начинает писать)*.

М-с Дьюли *(гневно)*. Да уходите же вы. Вы же торопитесь к викарию? Ну, уходите!

Мак-Интош. Ухожу, ухожу. *(Уходит)*.

М-с Аунти *(сперва подходит к Бобби)*. М-р Вуп!

Бобби. Да?

М-с Аунти. М-р Вуп, я не могу, я совсем больна — такая погода! *(Томно)*. М-р Вуп, вы не знаете, что со мной? *(Бобби, закрывшись, слегка фыркает)*.

М-с Дьюли *(подходит к Бобби)*. Могу я у вас на минуту попросить вашу книжку? Мне написать письмо надо, что-нибудь такое, на чем бы...

Бобби *(вытаскивает из-за пояса записную книжку)*. Пожалуйста, мисс... миссис...

(М-с Дьюли возвращается на прежнее место, пишет. М-с Аунти провожает ее критическим взором. По улице проходит Мастер. Идет медленно, возле стены, почти крадется, Бобби отдает ему честь, Мастер приподнимает шляпу).

М-с Аунти *(кивая головой в сторону м-с Дьюли)*. На розовой бумаге... Любовное — даю голову на отсечение!

Бобби. М-с Аунти, слава Богу у нас, в Англии, головы не отсекают: у нас *(сдавливает себе горло рукой)*... и — куик!

(Довольный остротой, гогочет. Мастер проходит мимо м-с Дьюли, которая в этот момент заклеивает конверт, и приподнимает шляпу. М-с Дьюли широко смотрит на него. Подходит к Бобби).

М-с Дьюли. Послушайте, кто этот джентльмен?

Бобби *(сдавливает себе горло и досказывает жестом)*. Куик!

М-с Дьюли *(смотрит испуганно)*.

Бобби. Это — Мастер.

М-с Дьюли. Мастер?

Бобби. Ну да, он приводит в исполнение судебные приговоры.

М-с Дьюли. Вы хотите сказать, что это... Но почему же он поклонился мне?

Бобби *(в недоумении)*. Гм... *(Таращит глаза на м-с Аунти, на м-с Дьюли)*. Я полагаю, спутал с кем-нибудь.

М-с Дьюли *(сняла пенсне, протирает, рука у нее дрожит. Отдает Бобби записную книжку)*. Благодарю

вас. *(Идет вправо к почтовому ящику. Секунду колеблется, потом бросает в ящик письмо. Уходит).*

М-с Аунти *(обмахивается платком).* М-р Вуп!

Бобби. Да?

М-с Аунти. М-р Вуп, я прямо задыхаюсь. Неужели вы не можете помочь мне?

Бобби. Подождите до вечера... или до ночи. *(Фыркает слегка).*

М-с Аунти. Я не выдержу — такая духота! Я уверена, будет гроза. Смотрите-ка.

(Оба смотрят вверх. Темнеет. Рампа тухнет).

Картина 3-я

Комната Диди. Темно. Входит Диди, повертывает выключатель, комната освещается. Диди в шляпе, в перчатках, в ватерпруфе, не раздеваясь, садится на диван. Руки висят, как чужие. Стук в дверь — входит Кембл, в руках у него сверток.

Кембл. Вот. *(Торжественно кладет сверток на стол перед диваном).* Я услышал ваши шаги — и сейчас же, чтобы скорее... Это вам от меня. Вы увидите, это замечательно.

Диди *(мертво).* Да? Спасибо.

Кембл *(тревожно).* Диди, милая, вам хуже? Я говорил, что вам не надо было выходить, раз вы не совсем здоровы.

Диди *(пересилив себя, с искусственным оживлением).* О, нет! После... после прогулки я чувствую себя гораздо лучше. Чуть-чуть устала, это сейчас пройдет. *(Развязывает принесенный Кемблом сверток, вынимает электрический утюг).* Ну, какая прелесть! Это — тот самый, о каком вы говорили утром?

Кембл *(торжествуя).* Ну да. И всего только — десять шиллингов.

Диди. Неужели? Спасибо вам, милый Кембл. *(Протягивает ему руку, Кембл целует. Диди быстро отдергивает руку).* Да! Ведь надо же скорей накрывать стол, сейчас придут. Поставьте это куда-нибудь.

(Кембл берет утюг и ходит с ним по комнате, не зная, куда девать эту драгоценность, и, наконец, ставит на камин. Диди из сложенных на диване пакетов вынимает фрукты, бутылки с вином, коробки, расставляет на столе. Стук в дверь).

Кембл. Войдите.

М-с Аунти *(входит)*. Добрый вечер! М-р Кембл, вам письмо. *(В руке у нее ярко-розовый конверт).*

Кембл. Благодарю вас. Будьте добры, куда-нибудь ...вот там на камине, да-да.

М-с Аунти *(кладет письмо на камин, под утюг. Сложив на животе руки, глядит на Кембла и Диди, вздыхает)*. Поздравляю вас, мисс. И вас м-р Кембл... Прямо завидно! *(Вздыхает).*

Кембл *(сияя)*. Спасибо, м-с Аунти, спасибо.

(М-с Аунти уходит, в дверях встречается с О'Келли).

О'Келли. А, м-с Аунти! *(Снимает пальто)*. Хэлло, Диди! Ну, знаете какой ливень! Все стихии разыгрались, чтобы помешать апофеозу м-ра Кембла. И если еще я присоединюсь к этим стихиям...

Кембл. То есть, как?

О'Келли. Успокойтесь! Может быть, я еще передумаю и буду для вас благодетельной диккенсовской феей... *(Вынимает из кармана пальто и ставит на стол перед Диди бутылку шампанского)*. Это вам, Диди. Сухое.

Диди *(гневно)*. Вы... вы не должны были этого делать! Возьмите, возьмите сейчас же!

О'Келли. Почему? Это — отличная марка. Я же знаю, я знаю, что вы это любите.

Диди. Я вам говорю, возьмите! Слышите?

Кембл *(трет лоб)*. Диди, почему вы, в самом деле? Это — действительно очень хорошее шампанское. Следовательно...

(Диди, сдвинув брови, сверкнув глазами в О'Келли, круто поворачивается, отходит к письменному столу. Взяла блокнот, стоит — сгибает и разгибает его).

О'Келли. Вот спасибо вам, Кембл. Я вижу, вы здесь мой единственный друг, не правда ли? Диди меня сегодня, кажется, ненавидит.

Кембл. О, нет, вы ошибаетесь, я уверен: у нее нет никаких причин. Так что...

(За дверью шум, смех. Дверь распахивается. Эксцентрик катится колесом к Диди, становится перед ней на колени. За ним, умирая от хохота, входят три хористки из «Эмпайра»).

Эксцентрик. Божественная, я последний раз у ваших ног. Отныне патент на вас взят им *(показывает на Кембла)* и я чувствую: всякого беспатентного он может убить.

1-я Хористка. У-у, Кембл! Неужели вы правда такой?

Кембл *(трет лоб)*. То есть... какой? Я не совсем ясно...

2-я Хористка *(обнимает Диди)*. Поздравляю. Я страшно рада!

3-я Хористка *(обнимает)*. Я тоже. Дидичка, милая, вы счастливы?

Диди *(думает о своем, сгибает и разгибает блокнот; наконец, услышала, удивленно поднимает голову)*. Я? Это вы мне? Ах, да, конечно, счастлива.

1-я Хористка. Дождь! Кембл, попробуйте: у меня, кажется, чулки мокрые, и даже...

Кембл *(с опаской трогает чулок)*. Да, по-видимому, дождь.

О'Келли *(подошел к камину, поднял утюг, смотрит на розовое письмо)*. Стоп-стоп-стоп! Кембл, это что такое!

Кембл *(с гордостью)*. Это я подарил сегодня Диди. Электрический. И всего только десять шиллингов.

О'Келли. Нет-нет, дорогой мой, я не про утюг. *(Берет письмо)*. Вот это, вот это! любовное письмо, а?

Хористки. Кембл, Кембл! — Ай-яй-ай-яй-ай!

Кембл. О, нет, я уверен! И потом, м-р О'Келли, ведь вы же не читали. Следовательно...

О'Келли. И читать не надо. Вы что же думаете — деловое? В этаком неистовом конверте? *(Потрясает конвертом)*. Леди и джентльмены, вам предстоит увидеть трагедию: в тот самый момент, когда уже готовы были слиться два любящих сердца, вмешивается покинутая, пылающая местью соперница. Нагруженный электрическими утюгами, корабль счастья м-ра Кембла опрокидывается и...

(Стук в дверь. Входит Нанси, закутанная в купальную простыню).

Нанси. Добрый вечер. *(К Диди).* Милая, я только на секунду. Скажите своим мужчинам, чтобы они не выходили в коридор, потому что я иду в ванну, и они меня могут увидеть в этом костюме.

О'Келли *(трясется от хохота).* И чтобы... и чтобы мы не увидели вас в этом костюме... Нанси, неподражаемая, вы не уйдете отсюда: мы вас все равно уже увидели, а вы, надеюсь, увидели шампанское на столе.

Нанси. Не могу же я в этом костюме сесть за стол!

О'Келли. Хорошо, тогда садитесь на пол, мы устроим пикник. *(На ходу засовывает в карман письмо).* Ну, господа, помогайте, живо!

(Бросает на зеленый ковер салфетки, ставит туда цветы с камина. Эксцентрик и Хористки помогают. Кембл трет лоб, смотрит на Диди).

Нанси. Ну, если на травке, я, так и быть, согласна. Только перед купаньем мне вредно лежать на солнце. Устройте меня где-нибудь в тени.

О'Келли. Идет! Сию минуту перед вами вырастет первосортный дуб. Кембл! *(Хористки и Нанси, отвернувшись от Кембла, смеются).*

Кембл *(растерянно).* Что? Сию минуту... *(Идет к Диди).* Диди, милая, может быть, вы в самом деле думаете, что это письмо, которое О'Келли... что я...

Диди *(с усмешкой).* Вы? Ни одной минуты не думаю.

Кембл. Тогда почему же вы так... Это, в самом деле, из-за О'Келли? *(Диди кивает).* Но уверяю вас, вы несправедливы к нему. Я нахожу, что по отношению к вам он не сделал ничего дурного. Следовательно...

Диди. Следовательно? А если я скажу вам, что...

Кембл. Что?

О'Келли. Кембл, да подумайте же о других! Поделитесь с нами вашей Диди последний раз. Идите же, мы ждем.

(Диди, все так же терзая блокнот, и Кембл подходят, устраиваются на ковре).

О'Келли. Милая Диди, выпьем с вами. Право же, я виноват не больше, чем этот бокал, из которого вы пьете. Если бы вы не взяли этого бокала, все равно вы взяли бы другой.

Диди (*не отвечая, поворачивается к Кемблу, отдает свой бокал*). Дайте мне ваш. (*Выпивает залпом, подставляет Кемблу*). Еще.

Нанси. Тц! Что, О'Келли?

О'Келли. Нанси, надеюсь, вы не будете так жестоки со мной? (*Чокается с ней, обнявши ее одной рукой, пьет*).

Нанси (*вытаскивает у него из кармана розовый конверт*). Кембл, держите, держите, скорей! (*Кембл протягивает руку. О'Келли перехватывает*).

О'Келли. Не-ет! Это мы огласим торжественно за шампанским. Я буду иметь честь поднести м-ру Кемблу от себя некоторый подарок, а в виде перца посыплем его этим письмом.

(*Диди, лежа, рвет на клочки листок бумаги из блокнота, сыплет клочки, смотрит, как они падают. Кембл не спускает с нее глаз. О'Келли подталкивает Эксцентрика к Кемблу*).

Эксцентрик (*жонглирует апельсинами над Кемблом*). Какие-то... таинственные письма... Диди явно... готовится на амплуа... драматической героини... Вообще, м-р Кембл... вас ожидает... (*Роняет на голову Кемблу апельсин*). М-р Кембл, ради бога!

Кембл. Нет-нет, мне совсем не больно.

О'Келли. М-р Эксцентрик, вы помешали ему витать в облаках. Я считаю себя обязанным поправить эту ошибку... (*Шепчет ему что-то на ухо*).

Эксцентрик (*вскакивает*). Да-да-да, знаю! Превосходно.

О'Келли. Леди и джентльмены! Сейчас м-р Кембл предпринимает путешествие в облака.

Кембл. То есть как?

О'Келли. Как? Ну, разумеется, на аэроплане. Хотите?

Хористки. А, знаем, знаем! Да-да, непременно! (*Аплодируют*).

Кембл. На аэроплане — это немозможно здесь. Следовательно...

Нанси. Кембл, вы, вы боитесь? Не ожидала!

Кембл. Я? Нет, но...

О'Келли. А если нет, пожалуйста, мы вам завяжем глаза. (*Завязывает Кемблу глаза*). Вот! Теперь

встаньте. Минуточку — сейчас подадут аэроплан. *(Сует поднос Эксцентрику, шепчет что-то 2-й и 3-й Хористкам).* Сейчас, сейчас, соберитесь с духом. *(Кладет на пол пустую бутылку, на нее доску, на доску вводит Кембла).* Осторожней. Вам придется лететь стоя — покажите себя мужчиной. Вы можете опереться руками на мои плечи, — вы знаете, я всегда готов помочь вам. Так! *(Эксцентрик включает электрический вентилятор, он начинает жужжать. 2-я и 3-я Хористки берутся за края доски).* Дайте ход! Пошло, пошло... Ага! *(Постепенно приседает на корточки).* Вы чувствуете, как вы поднимаетесь? *(2-я и 3-я Хористки покачивают и чуть-чуть поднимают доску). Чувствуете?* Все выше, чувствуете?

Кембл. Да, странно... да, чувствую... все выше... Постойте, постойте! *(Все, кроме Диди, еле сдерживают смех).*

Эксцентрик. Легче! Не забирайте высоко! *(1-я Хористка стоит на стуле над Кемблом и держит у него над головой поднос).* Тише! Вы с ума сошли? Потолок! *(3-я Хористка касается подносом головы Кембла, Кембл хватается за голову).* Кембл, спасайтесь, прыгайте!

Все *(кроме Диди).* Прыгайте, прыгайте!

(Кембл прыгает, будто с саженной высоты, неуклюже падает, срывает с себя повязку, растерянно смотрит. Хохот).

Диди. Это... это... Я сейчас уйду! О'Келли, вы...

Кембл. Диди, дорогая, но право же, я совсем не ушибся. Следовательно...

Нанси *(удерживает Диди).* Диди, милая...

О'Келли *(на коленях).* Диди, я раскаиваюсь. *(Стучит по бокалу).* Леди и джентльмены, тише: я хочу принести публичное покаяние. М-р Эксцентрик, пожалуйста! *(Показывает ему на шампанское, тот начинает наливать).*

Диди *(ей налит бокал, она поднимает голову).* Это... это шампанское? *(Берет бокал, смотрит на О'Келли. Несколько секунд пауза: может быть, она выплеснет вино, может быть, швырнет бокалом в О'Келли. О'Келли пристально глядит на Диди. Рука у нее дрожит, она ставит бокал, хватает и комкает блокнот).*

О'Келли *(берет у ней блокнот).* Леди и джентльмены, внимание! *(Вынимает из кармана розовый конверт*

и еще какой-то листок). Сейчас — самый захватывающий и патетический момент.

Эксцентрик. А-а, письмо! Наконец!

Все. Ч-ш-ш-ш!

О'Келли. Для начала... Ммм... Впрочем, мы, адвокаты, умеем начать с чего угодно. Если хотите, вот с этого блокнота. Обращаю ваше внимание на то, что эта почтовая бумага — с линейками: на другой истинные джесмондцы не пишут. И это достойно всякого уважения, ибо линейки — высокий символ рельс, а мысль должна двигаться, конечно, по рельсам и, конечно, согласно строжайшему расписанию викария Дьюли. И я — каюсь в этом — именно я, а никто другой, был змием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сент-Инох. Именно я познакомил его с нашей божественной Диди. А потому и почитаю себя обязанным возместить потерпевшему убытки. Правда, может быть, в конце концов потерпевшим буду я, но это неважно: это лирическое отступление. Итак, дражайший Кембл, мои вам почтительнейшие поздравления и — вот *(протягивает ему чек)*, чтобы вы завтра же могли купить все свои остальные утюги...

Все *(кроме Диди)*. О-о! — Браво, браво, О'Келли! — Ну, какой он милый!

Кембл *(взял чек, смотрит)*. Но... позвольте, О'Келли... Это... это же — чек на пятьдесят... на пятьдесят фунтов. Я... я не могу это принять в подарок...

О'Келли. В подарок? Вы ошибаетесь. Жестоко ошибаетесь, дорогой мой! Это, разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы сегодня же — сейчас же! — написали мне вексель. Я требую, да! Вот вам мое перо... *(Подает ему fontain pen)*. Пишите сию же минуту.

Кембл *(взволнованно встает)*. Диди, но ведь тогда, значит... Диди, вы только подумайте! О'Келли, я не умею говорить, как вы... Но вы понимаете, я никогда... Нет, О'Келли, вы это серьезно? Диди!

Диди *(во время этой сцены стоит на коленях, смотрит и начинает хохотать, все выше, до слез, и сквозь слезы кричит)*. Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу!

Кембл *(растерянно)*. Диди, Диди, что с вами? Почему? Ну, хорошо, я ему отдам, хорошо... *(Отдает чек*

О'Келли). О'Келли, я ничего не понимаю... Почему?

(Все вскаивают, какие-то восклицания. Окружают Диди).

О'Келли *(сует Кемблу розовый конверт).* Держите, да держите же, вы! *(Подает Диди бокал шампанского).* Ну, Диди. Диди милая, не надо, я больше не буду, простите. Неужели вы не понимаете, что все это потому, что я вас... *(Поит ее).* Диди, ну?

(Диди затихает. Кембл, не отрывая глаз от Диди, машинально разрывает конверт, ищет, куда бы положить перо О'Келли, засовывает его в карман. Взглянув на письмо, вдруг крепко стискивает его обеими руками, отходит в сторону, к рампе, читает еще раз; мучительно сморщившись, трет лоб).

Нанси *(Эксцентрику).* Что тут такое? Ничего не понимаю! Комедия или драма?

Кембл. О'Келли!

О'Келли. Да.

Кембл. Мне необходимо... мне необходимо с вами... эта касается вас.

О'Келли *(подходит; взяв письмо, читает вполголоса).* «Сэр. Будучи вашим искренним другом... мм... что известная миссис Д. и м-р О'К...» Что? Что такое? *(Продолжает).* «...дурно пользуются вашим доверием, и не дальше как сегодня...» *(Кончает про себя).* Однако! *(Пауза).* Ну... ну и что же? Вы верите? *(Кембл молчит, мрачно трет лоб).* Кембл, давайте рассуждать логически. Этот чек, который я предложил вам... мне неловко напоминать об этом, но ведь ясно: я это сделал для того, чтобы вы и Диди могли скорее...

Кембл *(перебивает).* Да.

О'Келли. И потом: вы же заметили, как Диди относится ко мне? Да? Следовательно?

Кембл. Следовательно... *(Трет лоб. Пауза).* Да, конечно. Это — совершенный абсурд. *(Рвет письмо).* Простите, О'Келли, что я мог... Да, куда я девал ваше перо?

О'Келли. Если вы хотите доказать на деле, что не верите этому письму, вы возьмете у меня чек. Иначе я могу думать, что вы не взяли потому, что вы...

Кембл. Да. *(Секунду колеблется).* Хорошо. Я возьму. *(Берет чек).* Но если... *(Молчит, нагнув голову, как*

бык). Впрочем, нет, это абсурд. *(Идет к Диди. Робко).* Диди, я взял у О'Келли этот чек. Я должен был взять.

Диди *(вскакивает с дивана).* Вы, вы, вы взяли у него?

О'Келли *(подходит, пристально смотрит на Диди).* Если у вас есть какие-нибудь возражения, изложите их.

(Напряженная пауза. Диди встает, делает шаг вперед — сейчас скажет все).

Диди. Кембл, я... *(Замолкает).* Нет.

О'Келли. Нет? Ну, вот и прекрасно. Тогда мы завтра же поведем вас в церковь. Леди и джентльмены, ваши бокалы! *(Берут бокалы).* Здоровье нашей — я надеюсь, она все же останется нашей общей — здоровье нашей очаровательной леди Кембл! Гип-гип-гип, ура!

Все. Ура!

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина 1-я

Улица. Старые дома, стены уходят вверх, в небо. Между домами — узкое ущелье: старинный переулочек — «клёз» — идет вглубь сцены. Над входом в «клёз» — каменная арка от дома к дому, на ней вывеска: «О'Келли. Адвокат». Внизу под аркой висит железный резной фонарь. Вечер. Огни. Где-то вдали грохот колес по мостовой. На улице стоит Бобби. Медленно проходит Мастер, почти крадется, в надвинутой на глаза шляпе. Бобби почтительно уступает ему дорогу и отдает честь. Несколько секунд улица пуста — никого, кроме Бобби. Потом несколько одиночек-прохожих и викарий Дьюли. Бобби отдает ему честь с таким же почтением, как Мастеру. Викария обгоняет стая беловоротничковых мальчишек-газетчиков.

Газетчики. Два пенса. Экстренный выпуск! Возможность войны с немцами! Загадочное убийство! Два пенса!

Вик. Дьюли (*газетчикам*). Что? Эй, вы, экстренный!

(Газетчики уже убежали. Вик. Дьюли возвращается назад, вынимает часы, осматривается, явно поджидая кого-то. Уходит в клёз. Улица пуста. Затем — двое: О'Келли и Диди).

Диди (*останавливается*). Нет!

О'Келли. Что — нет?

Диди. Я не хочу идти к вам! Вчера мы... венчались с ним, а сегодня... Я просто... я не понимаю себя!

О'Келли. Я понимаю. Хотите — скажу? Вы не хотите идти ко мне, но вам хочется идти ко мне. И вы хотите оставаться с Кемблом, но вам не хочется остаться с ним.

Диди. Да. Да! И главное — это потом, когда я возвращаюсь...

О'Келли. Не стоит думать о «потом». Это все равно, что заглядывать в конец пьесы или романа — дурная привычка, неинтересно читать. К счастью, автор, написавший всех нас — вас, меня и всех — предусмотрительно закрывает от нас все «потом». Иначе, если бы мы знали, что случится через десять минут...

Диди. Вы говорите так, как будто вы знаете.

О'Келли. К счастью, не знаю. Или нет, знаю: через десять минут у меня в комнате вы будете лежать на диване, а я стану около на колени и буду целовать вот эти... вот эти... возмутительные уголки ваших губ и буду тем О'Келли, которого знаете, может быть, только вы одна...

Диди. О'Келли — не... не надо...

О'Келли. Вот вам ключ — вы знаете, как открыть. Я только пойду купить кое-что, и сейчас же назад...

(Дает ей ключ. Диди, нагнув голову, медленно идет в клёз. Под аркой открывает маленькую, старинную, окованную железом дверь, оглядывается. О'Келли еще стоит на углу, ждет — кивает ему. О'Келли уходит. Наверху, над аркой, в конторе О'Келли освещается окно. У выхода из клёза показывается викарий, смотрит вверх в окно, выходит на улицу, потирая руки. По улице мчатся бело640воротничковые мальчишки, размахивая газетами, идут два Спортсмена).

Газетчики. Экстренный выпуск! Загадочное убийство в Лондоне! Скачки в Дерби! Два пенса!

1-й Спортсмен (*Газетчикам*). Мне.

2-й Спортсмен. И мне.

(Торопливо ищут что-то в газете. Вик. Дьюли тоже купил газету и читает ее в стороне, под фонарем).

1-й Спортсмен. А что я вам говорил? Их фаворит, конечно, «Ибис»! Я уверен, он опять придет первым. Прошлый раз он повысил рекорд ровно на четверть секунды — мои часы показывают с точностью до четверти секунды.

2-й Спортсмен. А я готов держать пари, что на этот раз «Ибис» будет побит.

1-й Спортсмен. Идет! Пять фунтов.

2-й Спортсмен. Я готов. Хоть десять.

1-й Спортсмен. Десять. Ладно, держу десять.

(Рукопожатие. Стоят так несколько секунд. Появляется О'Келли, насвистывая; подмышкой у него бутылка, в руках цветы. Вдруг видит викария, стоящего к нему спиной в двух шагах. Подняв воротник и нахлобучив шляпу, О'Келли поворачивается и торопливо уходит обратно. Викарий вынимает часы, смотрит, снова берется за газету, но читать уже не может; опять глядит на часы, идет к Бобби).

Вик. Дьюли. Э-э-э... послушайте: вы не можете мне сказать точно, который час?

Бобби. Прошу прощенья: мои часы в починке.

Вик. Дьюли. Гм... Очень жаль! И вы без часов, по-видимому, чувствуете себя вполне здоровым? Это не делает вам чести.

Бобби (*виновато моргает*). Я... действительно, извините, здоров.

Вик. Дьюли. Это выше моего понимания. Я допускаю, что можно привыкнуть к отсутствию какого-нибудь второстепенного органа — ноги, пальца, носа, но человек без часов! Вам необходимо приобрести запасные часы.

Бобби. Я... Я постараюсь, извините!

(По улице быстро идут Мак-Интош и м-с Дьюли. Викарий навстречу к ним, с часами в руках).

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, десять минут одиннадцатого.

Мак-Интош. Дорогой викарий, ради бога... Уфф! *(Вытирает лицо платком).* Мы с м-с Дьюли летели, так сказать, на крыльях Морфея...

Вик. Дьюли. Вы хотите сказать, что вы спали?

Мак-Интош. Нет, наоборот, наоборот!

Вик. Дьюли. Не совсем представляю, что такое будет «наоборот». Но во всяком случае вам сейчас же опять придется лететь — на каких угодно крыльях — и немедля привести сюда м-ра Кембла.

М-с Дьюли *(возбужденно).* Вы... вы ее видели, эту женщину?

Вик. Дьюли. Да, она там *(показывает на освещенное окно).* И сейчас туда должен прийти О'Келли. От всемогущего провидения не укроется ничто.

Мак-Интош *(в восторге).* Замечательно! Завтра же начинаю писать серию: «Арсэн Люпэн — апостол». Так сказать, евангелие от Арсэна Люпэна...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, прошу вас, воздержитесь от неуместных метафор и идите скорей.

Мак-Интош. Понимаю. Так сказать, по писанию: «Что хочешь делать — делай скорей». Это пять минут. Два шага! Бегу!

(Уходит. М-с Дьюли протирает платком пенсне, руки у нее дрожат. Викарий пристально смотрит).

Вик. Дьюли. Что с вами? Вы дрожите?

М-с Дьюли. Я... я волнуюсь. Вы не думаете, что может выйти что-нибудь... что-нибудь неприятное? Мне как-то жутко.

Вик. Дьюли. Но, дорогая, ведь тогда, на заседании, вы же настаивали, что м-ра Кембла нельзя оставить в руках этой женщины. Я вас не понимаю!

М-с Дьюли. Да, я. И именно поэтому мне...

Вик. Дьюли *(перебивает).* А затем, нашими руками уже зажжен фитиль возмездия, и теперь мы уже не в силах остановить взрыв.

М-с Дьюли. Быть может, еще не поздно, я могу догнать, я могу...

Вик. Дьюли. Тссс! Идет... *(Увлекает ее в тень, за выступ дома. Выходит О'Келли, оглядывается и хочет юркнуть в клёз. Навстречу ему из тени, с видом прогуливающегося, викарий Дьюли).*

Вик. Дьюли. А-а, добрый вечер, дорогой О'Келли! Не правда ли, прекрасная погода?

О'Келли *(смущенно старается спрятать бутылку и цветы)*. Д-да... ммм... *(Оправившись, обычным своим шепотом)*. Очевидно, прекрасная, раз вы изволите гулять в неположенные по расписанию часы. Или, может быть, вы занимаетесь посещением больных?

Вик. Дьюли *(с злобно-любезной, золотой улыбкой)*. Я очень польщен; вы, по-видимому, никак не можете забыть моих расписаний. А вы — к себе в контору? Я и не подозревал, что вы такой труженик! Вам следовало бы щадить себя и не работать по вечерам.

О'Келли. О, нет, дорогой м-р Дьюли, по вечерам я занимаюсь делами милосердия и... и любви. Вне расписаний.

Вик. Дьюли. А-а, так-так... Желаю успеха!

(Приподняв шляпу, уходит. О'Келли глядит ему вслед. Снимает шляпу, почесывает затылок. Затем, махнув рукой, ныряет в клёз, открывает ключом дверь; слышно, как изнутри запирает ее. По улице быстро идут Мак-Интош и Кембл. М-с Дьюли, завидев их, еще больше втискивается в свой угол — если бы только можно было войти в камень!)

Мак-Интош. Никого... Где же они? М-р Дьюли! М-р Дьюли!

(Кембл стоит без шляпы, мучительно трет лоб. Бобби поворачивается, внимательно приглядывается к этому джентльмену без шляпы. Справа показывается викарий Дьюли).

Вик. Дьюли. А-а, м-р Кембл!

Кембл *(нагнув по-бычьи голову, тяжело подходит к викарию)*. Это... Это правда? *(Хватает его за руку)*.

Вик. Дьюли. Послушайте, вы... вы делаете мне больно, оставьте! Оставьте же!

Кембл *(не отпуская викария)*. Я вас ссспрашиваю — это правда?

Вик. Дьюли. Что правда?

Кембл. Она — здесь?

Вик. Дьюли. Вы, кажется, считаете меня, служителя церкви, способным на низкие поступки, на ложь? Вы сейчас увидите все сами.

К е м б л *(отпускает его руку. Трет лоб и все лицо, как бы смахивает невидимых пчел. Потом ощупывает карманы, вынимает вечное перо, fountain pen, говорит, бессмысленно глядя на перо).* Он забыл перо, я должен отдать ему... Этим самым пером... *(Стискивает кулаки).* И я взял, я взял эти деньги, я взял их у него!

В и к . Д ь ю л и . Перо? Деньги? О чем он? Какие деньги? *(Мак-Интошу).* Он говорил вам что-нибудь?

М а к - И н т о ш . М-р Кембл несколько раз упоминал о каком-то чеке на пятьдесят фунтов, но я, право, затрудняюсь...

К е м б л *(викарию Дьюли, тяжело дыша).* Слушайте: если это... если это все ложь, я... я вас...

В и к . Д ь ю л и . М-р Кембл, я христианин — и я прощаю вас. Но через несколько минут, когда вы вернетесь оттуда *(показывает на освещенное окно),* я надеюсь, вы сами извинитесь передо мной. А теперь, м-р Мак-Интош...

М а к - И н т о ш . Да-да, пожалуйста, м-р Кембл, пожалуйста! Осторожнее!

(Кембл спотыкается, идет за Мак-Интошем в клёз к двери в контору О'Келли, дергает дверь).

К е м б л *(растерянно).* Заперто... *(Подбородок у него прыгает).*

М а к - И н т о ш . О, не беспокойтесь, мы принесли ключ. Вот... *(Подает ему громадный, старинный ключ).*

К е м б л *(пробует открыть, не попадает в скважину, тычет ключ Мак-Интошу).* Я не... не... не могу...

М а к - И н т о ш *(берет ключ).* Давайте, я с удовольствием. *(Работает ключом).* Вот французские ключи: это, действительно, так сказать — культура! Французского не подобрать, а такой... Готово! *(Открывает дверь).*

М - с Д ь ю л и *(подойдя к викарию).* Я... я боюсь... Ради бога, ради бога! Не надо... ради бога!

В и к . Д ь ю л и *(со злостью).* Вы сейчас же отправитесь домой. Слышите?

М - с Д ь ю л и *(Кемблу, который уже ринулся в дверь).* Кембл! Кембл!

М а к - И н т о ш *(подходит, в восторге).* Замечательно! Дорогой викарий, замечательно — это такой момент! Как будто читаешь, так сказать, последнюю главу романа. И понимаете, в этом романе — мы, мы, так сказать, напе-

чатаны! Вы только вообразите: он врывается туда, как буря... она, быть может, в той самой пижаме, в которой вы однажды, так сказать, любовались ею...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош, выбирайте выражения. Я только видел ее в этой пижаме, запомните это.

Мак-Интош. Ну да, ну да! Затем он выхватывает оружие — если только он его с собой захватил, — женщина падает на колени, но он беспощаден...

М-с Дьюли. Остановите, остановите! Мак-Интош, ради бога пойдите туда! Умоляю вас!

Вик. Дьюли. Успокойтесь, все это кончится так, как и надлежит кончиться банальной комедии: с изменами, ревностью и прочими атрибутами.

Мак-Интош. Ну да, относительно оружия — это я ведь только, так сказать, в литературно-художественном смысле...

М-с Дьюли *(хватает викария за руку)*. Постойте, Вы слышите? *(Вверху глухо слышны громкие голоса)*.

Бобби *(подходит)*. Извините, ваше преподобие. Раз вы здесь, я, конечно, вполне... Но, кажется, там наверху... *(Сверху слышен смех О'Келли)*.

Вик. Дьюли. О, не беспокойтесь! Вы слышите, там смеются. Мы ждем одного из наших друзей. Он сейчас кончит там деловой разговор, и мы... *(Глухо слышен выстрел)*. Что это? Мак-Интош, что это? Выстрел?

М-с Дьюли. Нет! Нет!

Мак-Интош *(в восторге)*. Он выстрелил! Я говорил, я говорил! Это замечательно! Он должен был выстрелить — так сказать, литературно — понимаете?

(На лестнице слышен грохот шагов. Выбегает Кембл. Стоит, мучительно трет лоб).

М-с Дьюли *(кидается к нему)*. Кембл — нет? Скажите же, что нет! Говорите же!

Бобби *(отводит ее рукою)*. Позвольте, позвольте мне, виноват... *(Вынимает записную книжку. Кемблу)*. В чем дело?

Кембл *(бессмысленно глядя на Бобби)*. Он... он засмеялся.

Бобби *(глядит на викария, на Мак-Интоша)*. Засмеялся? Не понимаю!

Кембл. Я не мог. Хотел уйти. Я отдал ему перо... и, понимаете, он засмеялся. Понимаете? Он засмеялся. Понимаете?

Бобби *(в недоумении)*. Не понимаю! *(Мак-Интошу)*. Вы слышали выстрел, сэр?

Мак-Интош. Ну да, конечно, он был должен...

Кембл *(к Бобби)*. Я убил.

Бобби. Сэр, вы...

Кембл. Говорю вам, я убил м-ра О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорее отведите меня, куда надо, я очень устал.

Бобби *(несколько секунд смотрит на него, разинув рот и моргая. Затем одергивает сюртук и деловым тоном)*. Очень хорошо. Пойдемте. *(Идут)*.

М-с Дьюли *(протягивая руки, за ними)*. Это я! О, это я, Кембл, это я, я!

Картина 2-я

Солнечное утро. Площадь перед тюрьмой. Стена, низкие сводчатые ворота, обитые железом. Беспокойно движущаяся головная часть толпы. Отряд Армии Спасения с оркестром. В стороне — группа: вик. Дьюли, Мак-Интош, Воскресные Джентльмены и Леди, Спортсмены.

Вик. Дьюли *(в центре группы)*. Видите ли, если ровно в десять позвонит тюремный колокол, то это возвестит нам, что мы должны...

Голубая Леди *(вставая на цыпочки)*. Что? Колокол? М-р Дьюли, вы говорите — колокол?

Розовая Леди *(прижимается к Джентльмену; они немного в стороне от группы)*. Милый, я ничего не понимаю. Какой колокол? Объясните мне.

Джентльмен. Дорогая, колокол на тюремном дворе должен зазвонить, если приговор будет приведен в исполнение, чтобы мы могли помолиться за душу этого бедного м-ра Кембла.

Розовая Леди *(вздрагивая, прижимается)*. Колокол? Как жутко! Милый, мне кажется, я вас сегодня особенно, особенно люблю!

Джентльмен. А там, смотрите, приготовлен оркестр Армии Спасения, чтобы увенчать печальную церемонию гимном.

1-й Спортсмен *(вынимая часы)*. Уверяю вас, еще ничего нельзя сказать. Помилование могло получиться сегодня утром, оно может получиться сейчас, еще не поздно. Знаете, это меня захватывает, как на скачках последние минуты перед финишем: догонит — не догонит, все время на волоске...

2-й Спортсмен. Да, и вдобавок здесь на волоске висит человек, и от этого еще... ну, как бы это сказать...

1-й Спортсмен. Да, да. Понимаю. Сколько сейчас на ваших часах?

2-й Спортсмен. Без семи десять. Еще семь минут.

М-с Дьюли *(отчаянно)*. Нет, нет, неправда! Еще без четверти, еще без четверти десять — вот, вот же! *(Показывает свои часи)*. Ваши часы неверны — без четверти!

2-й Спортсмен. Простите, вы ошибаетесь.

М-с Дьюли. Нет, нет! Еще пятнадцать минут! Вы, вы не смеете!

Вик. Дьюли. Дорогая, не волнуйтесь. Я же говорил, что вам надо было остаться дома. Вы не совсем здоровы.

(М-с Дьюли замолкает, стоит как неживая. Голубая и Розовая перешептываются. Вбегают беловоротничковые мальчишки-газетчики).

Газетчики. «Джесмондская Звезда»! Экстренный выпуск! Помилование убийцы адвоката О'Келли!

(Публика кидается, расхватывают газеты).

Голоса. Как? — Помиловали? — Что, что? — Читайте! Эй, вы, на фонаре, читайте вслух! — Тише!

Человек на фонарном столбе *(читает)*. «Как известно нашим читателям, местное общество чрезвычайно заинтересовано исходом ходатайства о помиловании, поданного матерью осужденного убийцы адвоката О'Келли. Мы с своей стороны полагали бы, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гаральда, отца осужденного...»

Первый голос *(хрипло)*. Долой сэров!

Второй голос. Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули!

Голоса. Долой сэров! — Тише! — А, вы за убийцу? А убивать связанного — это по-вашему . . . — Тише! Дайте дочитать. *(Затихают).*

Человек на фонарном столбе. «Мы можем сообщить, что по непроверенным еще слухам, сегодня утром из Букингэма получено помилование».

Третий голос. Долой сэров!

Человек на фонарном столбе *(размахивая газетой).* Долой «Джесмондскую Звезду»!

Голоса. Долой «Звезду»! — Идем бить окна в газете! — Долой сэров!

Бобби. Джентльмены, джентльмены, порядок! Эй вы, на фонаре — вниз! *(Человек слезает с фонаря. Толпа возбужденно шевелится, переливается. Смутный, слитный говор).*

М-с Дьюли. Я же говорила! Я же знала! Дайте, дайте, я сама!

Мак-Интош *(дает ей газету).* Дорогая м-с Дьюли, к сожалению, это пока еще только слух, и вы же понимаете, что газета, так сказать, существо женского рода и, подобно Еве . .

М-с Дьюли. Нет! Нет, я знаю! Я знаю!

(Толпа вдруг затихла, раздвигается и по живой улице, в совершенной тишине, к воротам тюрьмы проходит Мастер).

Розовая Леди *(прижимаясь).* Это он? Это он и есть?

Джентльмен. Да, дорогая, это он.

Розовая Леди. Но зачем же, если . . .

(М-с Дьюли, как автомат, делает два—три шага по направлению к Мастеру. Остановилась. Смотрит кругло, как на стук Мастера открывается калитка в воротах и вновь захлопывается. Тишина. М-с Дьюли быстро возвращается к своей группе).

1-й Спортсмен *(вынимая часы).* Сколько на ваших?

2-й Спортсмен *(вынимая часы).* Без одной минуты десять.

1-й Спортсмен. Совершенно правильно. Сейчас все будет ясно.

М-с Дьюли *(растерянно)*. Это он, да? Но как же, ведь помиловали, ведь вот же, ведь вот же *(в руках у нее газета)*... вы же видели, все видели! Быть может, он не знает? Ради бога!

Вик. Дьюли *(пожимая плечами)*. Дорогая, ведь вы же сами читали: это только слух.

М-с Дьюли *(хватает его за руки — выше локтя; в лицо ему, пронзительно)*. Вы, вы хотите сказать, что...

Вик. Дьюли *(снимая ее руки)*. На вас сссмотрят. Я ничего не хочу сссказать. Вы не умеете владеть сссобой!

1-й Спортсмен *(не отрывая глаз от часов)*. Уже десять.

2-й Спортсмен *(тоже с часами)*. Совершенно правильно.

Голоса в толпе. Десять! — Господа, десять, тише! — Долой сэ... — Тише! — Простите, вы меня совсем раздавили! — Десять. Сейчас... — Да тише вы!

(Несколько секунд совершенная тишина. Оркестр Армии Спасения держит наготове трубы).

Мак-Интош *(в восторге)*. Замечательно! Какой момент! Если взять метафору из быта четвероногих...

Вик. Дьюли. М-р Мак-Интош! *(Мак-Интош замолкает. Тишина).*

1-й Спортсмен. Две минуты одиннадцатого.

2-й Спортсмен. Совершенно правильно. Очевидно, то, что было в газете, как слух...

М-с Дьюли *(задыхаясь от радости)*. О, я говорила, говорила, я знала! Дьюли, вы-вы-вы понимаете? Дьюли, вы понимаете?

Вик. Дьюли. Я не понимаю вас. Вы сегодня...

М-с Дьюли. О, я сегодня... я так, я так сегодня... *(Блаженно улыбается, пенсне падает на землю).*

Мак-Интош *(подымает)*. Какое несчастье! Оба стекла, так сказать...

М-с Дьюли *(восторженно)*. Оба? Да?

Розовая Леди *(разочарованно)*. Так, значит, ничего не будет?

Джентльмен. Да, по-видимому.

Розовая Леди. Это все вы! Вы обещали мне! Я так спешила...

Джентльмен. Простите, дорогая. Но, право же, я не думал... я думал...

Голоса в толпе *(все слышнее и слышнее)*. Да, а небось солдата в прошлом году... — Знаем мы их! — Долой сэров! — Эй вы, как вас... — Да не толкайтесь! — Долой сэров! Я говорю: вы сами нахал! — Долой сэров!

(Из толпы выходят двое: один в шляпе, другой в кепке).

Шляпа. Кто, я нахал?

Кепка. Да, вы.

Шляпа. Вы в этом уверены?

Кепка. А вы, кажется, нет? Жалко!

Шляпа *(скидывает пиджак)*. Становитесь!

Кепка. Ладно! Посмотрим! *(Скидывает пиджак. Начинают боксировать. Вокруг них быстро образуется кольцо зрителей).*

Бобби *(подходит)*. Эй, джентльмены, не здесь, не здесь! Не полагается! Разойдитесь! Будьте любезны, будьте любезны! *(Растаскивает дерущихся за шиворот).*

(Шляпа и Кепка уходят. За ними часть толпы).

Шляпа *(надевает пиджак)*. Посмотрим!

Кепка *(надевает пиджак)*. Да! И не таких нахалов случалось...

Голоса в толпе. Правда, идти домой, что ли? Подождем еще: вдруг... — Да ведь уже давно... — Мало ли что! — Долой сэров!

1-й Спортсмен. Вы еще остаетесь?

2-й Спортсмен. Да, я еще подожду минут пять-десять.

1-й Спортсмен. Потеряете время... Значит, вечером в клубе, в пять?

2-й Спортсмен. Да, в пять. Если только я...

(Вдруг из тюрьмы — медленно, мерно, мертво колокол. Все замирает).

М-с Дьюли *(одна. Все еще молчат. Колокол продолжает звонить)*. Нет, нет, ради бога, ради бога! Вот же, вот же! *(Размахивает газетой)*. Остановите... Оста...

(Колокол замолк, М-с Дьюли стоит немая).

Вик. Дьюли *(снимает шляпу, все остальные мужчины тоже)*. Кончено! *(Несколько секунд тишины. Вик. Дьюли взбирается на какое-то возвышение)*. Леди и джентльмены! *(М-с Дьюли, согнувшись, почти падая, уходит куда-то, одна. Викарий взглянул на нее, продол-*

жает). Леди и джентльмены! На наших глазах кончился последний акт драмы. И прежде чем помолиться за душу грешника, я предлагаю присутствующим принять резолюцию с требованием, чтобы в парламент был, наконец, внесен мой билль о принудительном государственном спасении. Медлить дальше нельзя: мы на краю бездны.

Толпа. Да, да! — Мы все! — Браво, викарий Дьюли! — Единогласно! — Долой сэров! — Тише вы!

(Оркестр Армии Спасения играет).

ЗАНАВЕС

1924

БЛОХА

ИГРА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Блоха» — опыт воссоздания русской народной комедии. Как и всякий народный театр — это, конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца, это — игра. Наиболее полно эта условность выражена в трех персонажах — Халдеях. Халдеи пришли в «Блоху» одновременно и из старинного русского «действа», и из итальянской импровизационной комедии. Их русские предки — скоморохи, Петрушка, масленичный балаганный дед, медвежий вожак; их итальянские родичи — Бригелла, Панталоне, Капитан, Пульчинелла, Труфальдино. На протяжении игры каждый из Халдеев переменяет несколько масок — несколько ролей.

Самое слово «Халдей» — название старо-русских комедиантов. Адам Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» пишет о них: «Они получали от патриарха разрешение в течение восьми дней перед Рождеством и вплоть до Крещения бегать по улицам... Одеты они были, как во время масленичного ряжения — на головах у них были деревянные размалеванные шляпы, а бороды были вымазаны медом, чтобы не загорались от огня, который они разбрасывали». В «Блохе» Халдеи ведут всю игру и где надо — веселой выходкой поджигают и зрителей, и актеров.

Тематическим материалом для построения «Блохи» послужил бродячий народный сказ о туляках и блохе — и прекрасный рассказ Н. С. Лескова «Левша», представляющий собою литературную обработку народного сказа. Идея театрализовать этот материал возникла у А. Дикого,

режиссера Московского Художественного Театра 2-го, — для этого театра и была написана «Блоха».

В печатаемом ниже тексте «Блохи» учтен опыт сценической проработки пьесы в двух театрах — МХАТ 2-м и Ленинградском Большом Драматическом; в частности, некоторые черты в образах Платова и 1-го Халдея связаны с исполнением этих ролей актерами МХАТ 2-го — А. Диким и В. Готовцевым.

Первое представление «Блохи» в МХАТ 2-м состоялось 11-го февраля 1925 года (см. приложение). Первое представление «Блохи» в Ленинграде в Большом Драматическом Театре было 25-го ноября 1926 года. Для обеих постановок — декорации и костюмы по эскизам Б. М. Кустодиева.

ЛИЦА

Удивительные люди Халдеи — трое, один из них девка.
Донской казак Платов.
Царь.
Министр граф Кисельвроде.
Голландский Лекарь-аптекарь — 1-й Халдей.
Царский Скороход-курьер — 2-й Халдей.
Фрейлина Малафевна — Халдейка.
Тульский оружейник Левша.
Оружейник Силуян.
Оружейник-старик Егупыч.
Раёшник — 1-й Халдей.
Тульский купец — 2-й Халдей.
Тульская девка Машка — Халдейка.
Аглицкий Полшкипер.
Аглицкий Половой, чернорожий.
Аглицкий Химик-механик — 1-й Халдей.
Самолучший аглицкий Мастер — 2-й Халдей.
Аглицкая девка Меря — Халдейка.
Свистовые казаки Платова.
Царские генералы.
Околодочный.
Ямщик.
Дворник.

Городовые.
Туляки.
Морской Водоглаз, он же черт Мурин.

ПРОЛОГ

Первый — театральный занавес поднят. За ним просцениум и второй — балаганный, яркий занавес; этот занавес еще опущен. На просцениум выходит 1-й Халдей.

1-й Халдей. Дорогие жители! Дозвольте вам представить мою краткую биографию из жизни, что я есть древнего халдейского происхождения — российского рождения. Папашу моего я не видал в глаза, а должность его была называемая коза, а именно — представлял штуки с ученым медведем Михайлой. Умные хвалили, дураки хаяли, потому — кроме потехи — кой-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю.

А нынче, ввиду прогрессу, честь имею вам предложить вместо медведя научную блоху, а также прочие были и небылицы про славную петербургскую столицу, про заграничных англичан-чудаков, а также про наших русских туляков. Это будет игра в четырех актах и трех антрактах, при настоящем электрическом освещении и в полном составе моих дорогих товарищей.

Так например, в следующей персоне вы можете убедиться, что это есть наш знаменитый солист Петя, который играет их императорское велич... т. е. вообще, извините, царя. Петя, покажись лично! *(Выходит актер — не тот, который на самом деле играет царя).* Из чего вы можете видеть неподражаемое сходство.

А затем, наоборот, распоследний тульский Левша, который, однако, есть первый герой всему. Ваня, покажись! *(Выходит «Ваня»):* Утрите нос! Благодарю вас!

Теперь мы начинаем. Прошу вас всех проливать смех и слезы по собственному желанию, но беспорядков при том отнюдь не производить. Эй, музыка!

(Музыка. Открывается второй занавес).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Царский дворец. Петербург. Но Петербург — тульский, такой, о каком вечерами на завалинке рассказывает небылицы прохожий странник. Такой же и царский дворец.

На сцене — рота Генералов, друг дружки старше. Из задних песок сыплется. Дворник с метлой заметает песок в угол. Камергерный генерал —с пришитыми к ягодицам золотыми ключами — выстраивает роту, выправляет строй: одному — брюхатому — чтоб не торчало пузо, другому — колченогому — чтоб не гнулись колени, третьему — у которого голова валится — чтоб держал голову женихом.

Министр граф Кисельвроде (*входит, приседая. Поклон публике и Генералам*). Здравствуйте, господа почтеннейшие! Уведомляю вас, что Царь нынче не выспался. Сердитый — ух! так сам себе навстречу и ходит. Беда!

Камергерный генерал (*публике*). Ага, струхнул немчура!

Кисельвроде (*умильно*). Уж вы, миленькие, чего-нибудь ему такое-эдакое придумайте — не то всем нам капут. А уж я уж вам уж ... и того, и сего, и этого ... как говорится: по первое число ... уж это, уж будьте спокойны.

Камергерный генерал (*публике*). Ну, завел финти-фанты, немецкие куранты!

(Слышен шум, грохот).

Кисельвроде. Ой, слышите, везут! Ой, везут! Ну, миленькие, с молитвой, по-русски ... ну, как это? — выручай, Матушка Казанская ... сирота! (*Крестится*).

(На золотом троне, на деревянных колесиках с грохотом ввозят Царя).

Царь (*кисло*). Ну, здрассте, что-ли.

Генералы. Здра-жла-ваше-цар-ство!

Царь (*зевает, почесывается. Все молчат. Генералам — сердито*). Ну, что?

Генералы. Так точно, ваше цар-ство!

Царь. Что, так точно? Ну?

Генералы *(переглядываются, подталкивают друг дружку. Потом — один, другой, третий).* Не угодно ли вашему царскому величеству чего сладенького-кисленького покушать? Не угодно ли вашему царскому величеству Удивительных Людей поглядеть, послушать? Не угодно ли вашему царскому величеству...

Царь *(махнул рукой, чтоб замолчали).* Неси. Зови.

Кисельвроде. Неси! Зови! *(Царю):* Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, сию минуточку!

(Генералы бегут на цыпочках, рысят, ковыляют. Несут виноград, яблоко: конечно, у Царя виноградина — с яблоко, а яблоко — с арбуз. Входят трое Удивительных людей — Халдеев. Царь лениво жует яблоко).

1-й Халдей *(играет на музыке и поет).*

Дрита-дрита-дрита-дрита,
Как отцу архимандриту
Блошка спать не дает:
Уж она его кусает
Целу ночь напролет.
На царя блоха насела —
Он и взад, и вперед,
Он и так, и сяк, и этак,
А блохи не найдет...

(Царь перестает жевать, сердито хмурится. Кисельвроде испуганно дергает поющего, чтоб перестал).

Кисельвроде *(подбегает, приседая).* Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дураки ведь. Как говорится по-русски: дураки законы пишут. *(Халдеям):* Ну-ка, вы, чего-нибудь этакое повеселее.

1-й Халдей. Сейчас. *(На виду у публики напяливает очки, бороду).* А вот я, аглицкий Химик-механик, голландский Лекарь-аптекарь. Объявляю я свои науки, чтоб старики не зевали от скуки: стариков молодыми в печи переправляю и при этом мозгов совсем не повреждаю. Со всех стран ко мне приезжайте, мои науки прославляйте! Эй, Малафевна!

Царь. А ну-ка, ну-ка?

(3-й Халдей скидывает с себя верхнее и оказывается старухой — Малафевной. 2-й Халдей на тачке подвозит ее к Лекарю).

М а л а ф е в н а *(подает бумагу).* Вот, пожалте — пачпорт: мне от рóду — сто годов без году. Не желаю старухой оставаться, а желаю с молодыми целоваться.

Л е к а р ь - а п т е к а р ь. Лезь в печь, Малафевна. Ну, Господи-Исусе, вперед не суйся, назади не оставайся, в середке не болтайся!

(Старуха лезет в печь. Лекарь свистит в два пальца — старуха выходит из-за печки молодой, ражей девкой, целует одного Генерала, другого, хватает третьего и пускается с ним в пляс. Генералы кашляют, отбиваются).

Ц а р ь. Ах, ах, ах! *(Хлопает себя руками по бокам, смеется).* Ну чтоб вам лопнуть — веселый вы народ, действительно!

Л е к а р ь - а п т е к а р ь. Так точно — голосом пляшем, ногами поем, с воды пьяны живем, с квасу бесимся.

Ц а р ь. Ну что ж, Удивительные Люди, чем еще удивить можете?

Л е к а р ь - а п т е к а р ь. А вот, дай срок — удивим. *(Шепчет 2-му Халдею, тот уходит из палат наружу, и там, на виду у публики, быстро переодевается Курьером. Царь жует. Кисельвроде стоит, ковыряет в носу).*

Ц а р ь *(строго).* Граф Кисельвроде, сколько раз вам говорёно, чтоб официально не ковырять в носу!

К и с е л ь в р о д е. Я... я... я это так только, для моциону...

(2-й Халдей — Скороход-курьер стучит снаружи).

Ц а р ь. Кого еще нелегкая принесла? *(К Кисельвроде).* Граф, сбегай, отопри.

(Кисельвроде, приседая, бежит, отпирает. Входит Скороход-курьер. Лекарь-аптекарь подмигивает ему).

Ц а р ь. Кто такой?

С к о р о х о д - к у р ь е р. Вашего величества Скороход-курьер, здравия желаю! Из Англии только сейчас прибыл — еще горяченький.

Ц а р ь. А! Ну, здравствуй, что ли. Поди, поди сюда поближе. *(Скороход-курьер подходит).* Что же это у тебя циферблат-то разнесло эдак?

С к о р о х о д - к у р ь е р. Это я как, значит, по морю плыл, то у меня от водного колтыхания морская свинка изделалась.

Царь. А ну, дыхни! Поближе, поближе. Дыхни-ка... Как из бочки! Хорош!

Скороход-курьер. Так точно, ваше цар-ство!

Царь. Ну что же: с добром или с худом явился?

Скороход-курьер. Уж так худо — хуже бы, да некуда. Захвастали англичане — ну прямо не продыхнешь. У вас-де, говорят, ни свету, ни совету, ни толку нету. У вас-де, говорят, лаптем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют...

(Кисельвроде дергает Курьера сзади. Генералы все разом начинают перхать).

Царь. Вы, перхуны, тише! Неровен час — рассыпетесь. *(Курьеру):* Говори. Да говори всю правду, а то у меня... знаешь?

Скороход-курьер. Хвастают: ваша-де казна против нашей — тьфу, а ваши-де пушки против наших игрушки. *(Царь хмурится).*

Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество: врет. Это ему со страху попритчилось — как по нашей русской пословице: пуганая ворона на молоко дует.

Царь. Уж ты — русский! Сию минуту казну сюда: вот увидим, врет или нет.

Кисельвроде. Неси казну!

(Генералы бегут, ковыляют за казной. С ними уходят 1-й и 2-й Халдеи).

Царь *(Скороходу-курьеру).* Ну, еще что? Говори все равно.

Скороход-курьер. А еще хвастают: ваше-де сукно против нашего рядно, а вашим-де мастерам аглицкие-немецкие нос утрут.

Царь. Что-о? Аглицкие — нашим? Да ты... да я тебя...

Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество: врет, дело ясное. Что немец! По нашей русской пословице: немцев обезьяна выдумала.

Царь. Тебя вот действительно обезьяна выдумала! Открывай-ка сундук лучше, нечего зубы заговаривать.

(Кисельвроде открывает сундук с казной. Поддерживаемый под локоток Царь слезает с трона, садится на кор-

точки у сундука, перебирает казну. Сбоку к сундуку пристраивается несколько Генералов).

Царь *(Генералам).* Ну-ка, вы, отойдите в сторонку — целее будет! *(Вытаскивает шкатулку).* Стой! Это что тут за особенная шкатулка за семью замками? *(Вертит, пробует открыть).*

Скороход-курьер *(напевает):*

Он взад и вперед,
Он и так, и сяк, и эдак...

Царь *(протягивает шкатулку Скороходу-курьеру).* Отопри-ка, братец.

Скороход-курьер. Это нам раз плюнуть! *(Плюнул, открыл, подает Царю).* Пожалте, ваше царство.

(Царь вытащил из шкатулки бриллиантовый орех, вертит его, с трудом раскрывает).

Генералы *(глядят, вытянув шеи).* Раскрыл! – Орех! Бриллиантовый! — Из ореха, из ореха вытряхивает! — На ладошку... — На собственноручную... — Что, что? Бло... Блоха... Гляди, ей-же-ей, блоха! — Блоха, ей-Богу, блоха!

Царь *(встает. К Кисельвроде — строго).* Это что ж такое? Как же это ты, братец, в казне каких-то блох содержишь? Да и блоха-то дохлая, коченелая. Ну, чего же молчишь? Говори!

Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дозвольте, я ее вон выкину.

Царь. Нет, стой, брат: выкинуть успеется. Это не так, это что-нибудь да обозначает. Тут какая-то есть секретная хитрость... *(Разглядывает).* Фу т-ты! Как есть вся личность блошиная, блоха! Ну, скажи ты, пожалуйста! Нет, тут мы не годимся, тут надо кого-нибудь этакого... с мозговой конструкцией... А ну-ка, привести сюда голландского Аптекаря из Аничковской аптеки. Живо!

Кисельвроде *(Генералам).* Привести Аптекаря! *(Втаскивает под руки голландского Лекаря-аптекаря).*

Лекарь-аптекарь. Батюшка, ваше величество, не буду, прости, помилуй!

Царь. То-то! Милую. А ты за это разгадай, что мы тут за диковину обнаружили. Никто не знает. А ты все-

возможную химию произошел — должон знать, что к чему.

Лекарь-аптекарь (*вынимает складной аршин, мерит блоху вдоль и поперек, разглядывает*). Во-первых, это есть называемое животное — извините — блоха, по нашему, которая сосет кровь, согласно науке, у всякого человека, даже хотя бы у скота — без разницы.

Царь. Ну, этакую премудрость не велика химия знать. Говори дело, а то... знаешь?

Лекарь-аптекарь. Ой, знаю, знаю! (*Зажмурившись, пробует блоху на язык*). Во-вторых... Гм! Согласно науке-температуре, чувствую на языке хлад, как бы от крепкого металла. (*Пробует зубом*). В-третьих... (*Думает*).

Царь. Ну?

Лекарь-аптекарь. Как вам будет угодно, а только это не настоящая блоха.

Царь. А что же это, коли не блоха?

Лекарь-аптекарь. А это есть, согласно науке, называемая нимфозория, под видом блохи. И произведена она из настоящей железной стали, а работа эта — не русская, заграничная. А как нынче у нас с заграницей трудновато, то я больше вам на этот счет ничего произъяснить не могу.

Царь. Спасибо. Ступай к себе в аптеку. (*Лекарь-аптекарь задом, с поклонами уходит*). Ну, граф Кисельвроде, вот что: если да ты мне сейчас не дознаешь, откуда у меня в казне эта иностранная нимфозория и на какой предмет — кормить тебе блох да тараканов в крепостном каземате.

Кисельвроде. Сейчас, сейчас, сейчас... Знаю! Дозвольте фрелину Малафевну сюда кликнуть: ей от роду сто годов без году, может она чего про блоху помнит.

Царь. Ну, ладно, так и быть: зови.

Кисельвроде. Малафевна!

Генералы. Малафевна, Малафевна!

Малафевна (*вскакивает, подходит к Царю, делает книксен*). Здравия желаю, ваше царское величество.

Царь. Ну, здравствуй, что ли. Не знаешь ли чего вот про эту штуку: бриллиантовый орех нашли, а в орехе — блоха?

Малафевна. Глуха? И то, и то, батюшка, глуха. Еще хоть куда, а вот с приглушью стала — это истинно.

Царь (*машет рукой*). Ну! Вот и сквозь печку ее пропустили, а толку чуть. (*Кричит*). Блоха, говорю тебе, блоха!

Малафевна. Без греха? Верно: кто ж без греха. Я хоть и не первой молодости, а как время к постели — беда: одна ни за что не усну, покамест Василий Иванович под одеяло не влезет, Васька — кот мой ангорский, это я про него...

Царь (*гневается*). Уйди! Уйди с глаз моих долой — увести, чтобы духу ее тут не было! (*Малафевну уводят. Царь показывает Генералам перстом на Кисельвроде*). Взять его в каземат без сроку!

(*Генералы подбегают к Кисельвроде*).

Кисельвроде (*отбивается*). Ваше... ваше царское... дозвольте... Ой, сейчас-сейчас-сейчас...

Царь. Ну?

Кисельвроде. Дозвольте в казначейской книге посмотреть — может там что записано насчет этой государственной блохи.

Царь. Ну, ладно, погляди, так и быть.

Кисельвроде. Неси книгу!

(*Два Генерала подают громадную книгу*).

Кисельвроде. Сейчас-сейчас-сейчас, сию минуточку! Аз, буки, буки... Вот: «Блохи». Нашел, оно самое.

Царь. Ну, читай, да гляди, а то у меня... знаешь?

Кисельвроде (*читает*). «От блох средство. Для сего надо, отходя ко сну, взять меду наилучшего пчелиного и сказанным медом рачительно простыню обмазать, и тогда к оной простыне все блохи неизбежно прилипнут. Ежели же, паче чаяния, к простыне прилипнет также особа мужеска или женска пола или оба одновременно, то сим смущаться отнюдь не надобно — напротив того...»

Царь (*стучит кулаком*). Да ты что — со мной шутки шутить вздумал? Так я с тобой пошучу — до новых веников не забудешь! Взять его!

(*Генералы схватили и ведут Кисельвроде*).

Кисельвроде (*отбиваясь, кричит*). Ой, ваше! Ой, царское! Ой, вели! Ой, че! Ой, ство!

(В дверях шествие сталкивается с Платовым — Платов, припечатывая сапогами, прет по-военному).

Камергерный генерал. Куда, куда — без докладу? Стой!

Платов *(подымает страшенный кулак).* Ммалчать! *(Мимо остолбеневших Генералов проходит во дворец).* Так и так: честь имею — к Царю, экстренно. Донской казак Платов.

Царь *(сердито).* Какая такая еще экстра? Не видят: у царя — делов до сих пор.

Платов. Как, значит, в Петербурге народное волнение, что-де обнаружена неизвестная блоха, то обязаны мы про блоху доложить согласно присяге!

Царь *(Платову).* А, про блоху-у? Это дело другое. А ну, подойди сюда. Кто такой?

Платов. Так и так: донской казак Платов. Здражла-ваше-цар-ство!

Царь. Ну, здравствуй, что ли. Чего ж тебе от меня, мужественный старик, надобно? Говори да поживее — у нас дела государственные.

Платов *(гаркает).* Так точно, ваше-цар-ство! *(Генералы шарахаются).* Как, значит, я пью-ем, что хочу, и всем доволен, согласно присяге, то нам собственной надобности никакой нету. *(Ест глазами Царя).*

Царь. А коли без надобности — так чего ж ты?

Платов. Так и так: как, значит, народное волнение, согласно присяге, по причине неизвестной нимфозории в вашего царского величества казне. То я, честь имею, про это государственное дело очень все знаю! *(Ест глазами).*

Царь. О, неужли знаешь? Ну-ну-ну, докладай.

Платов. Честь имею: как, значит, мы с вашим папашей по разным Европам ихние диковины ездили смотреть в называемой Англии, город Лондон, жители мужского и женского полу не нашего вероисповедания...

Царь. Что же ты, по-французски, что ли умеешь — ездил-то?

Платов *(гаркает).* Так точно, ваше-цар-ство! По-французски мы этого не можем, как, я человек женатый, согласно присяге, и стал-быть, нам французские разговоры для единственно зазрения совести, а опричь того...

Царь. Стой: про блоху говори!

Платов. Так и так: эти ихние англичане вашему папаше разные свои удивления показывали зловредно. Местность, называемая кунсткамера, где ихние витрины и разные прочие извания мужского и женского полу, а также эта самая нимфозория под видом стальной блохи... честь имею!

Царь. Ну-ну-ну-ну?

Платов. И, стал-быть, эта самая блоха изволила вашему папаше понравиться так, что ни взад — ни вперед, и взахались ваш папаша ужасно. Как, значит, ихние англичане, а наша мать-Рассея, то обязаны мы, для престол-отечества, согласно присяге...

Царь. Да знаю, знаю! Про блоху-то говори.

Платов (*гаркает*). Так точно, про блоху, ваше-царство! И, стал-быть, ваш папаша приказали выдать англичанам приходо-расходно миллион рублей серебряными пятачками. Впоследствии чего ихние англичане эту блоху, конечно, в дар поднесли, а при блохе ключик бесплатный.

Царь. Ну, скаж-жи ты пожалуйста! Вот оно что! А ключик-то зачем же? И где он?

Платов. Так и так: дозвольте бриллиантовый орех мне в собственные руки взять.

Царь. Бери, сделай милость.

Платов (*берет, показывает Царю*). И здесь, стал-быть, на благоусмотрение, щелочка-не-щелочка, а понашему — комариная... (*Поперхнулся*). И в щелочке ключик.

Царь. Что-й-то не видать.

Платов. Так точно, ваше-цар-ство. В размерах — техническое удивление. Но ежели тем невидимым ключом у блохи в пузичке брюшную машинку завесть, то, осмелюсь доложить, произойдет даже сверх естества.

Царь. Да что ты?

Платов. Как перед истинным! Так что от заводу начинает блоха скакать в каком угодно пространстве и дансе делать, и даже две вероящии направо и две налево.

Царь. Ну, ей-Богу?

Платов. Ей-Богу! Дозвольте попробую.

Царь. Не врешь?

Платов. Кабы врал!

Царь. Попробуй, сделай милость.

Платов *(пробует взять страшенными своими пальцами невидимый ключик)*. Ф-фу ты, окаянный! Никак не ухватить.

Генералы. Снизу, снизу подковырни! — Сбочку! Вот-вот-вот! — Ну-ка! — Ну-ка! — Эх!

Платов. Тьфу! Нет, тут женская полезность надобна: у них пальцы вроде блошиных, которые даже могут нитку в иголку вздеть. А мы этого не можем.

Царь *(глядит кругом)*. Ну-ка... Малафевна! Эй!

Генералы. Малафевна! Малафевна!

Малафевна. Я.

Царь. Вот что: тут ключик лежит, попробуй-ка, возьми его вот эдак — пальчиком.

Малафевна. С мальчиком? Что ты, что ты, что ты? Христос с тобой!

Царь. А, глухая тетеря! Да объясните ей руками как-нибудь.

(Генералы и Кисельвроде наперебой объясняют Малафевне руками, что-де блоху надо завесть, и она де-пойдет танцевать).

Малафевна. А-а, слышу-слышу! Сейчас, сейчас. *(Заводит блоху. Блоха под музыку прыгает на полу. Царь, Кисельвроде, Генералы, Малафевна — за ней на корточках, ползком, на четвереньках. Платов — как был — стоит во фрунт).*

Царь. Ах, нечистая сила! Ведь и впрямь скачет! Гляди, гляди: танцует! Ах-ах-ах! Вот это я понимаю! Это работа тонкая! Это — мастера-а! Да.

Скороход-курьер *(Царю)*. Что, удивили? То-то и оно-то. Я вам докладаю: захвастали англичане — не продыхнуть. А он *(передразнивает Кисельвроде)* — «Вре-ет, вре-ет»!

Царь. Верно. *(Чешет в затылке)*. Как тут быть? Что делать? *(К Кисельвроде):* Ты как же это допустил, чтоб англичане над русскими предвозвышались?

Кисельвроде. Я... я не я... *(На Платова)*. Это — вот он.

Царь *(Платову)*. Ну-ка, ты? Отвечай!

Платов. Так и так: согласно присяге, на поле-брани-отечестве...

Царь. Да про блоху, про блоху... Экой ты, брат!

Платов. Честь имею, что нам этому удивляться с одним восторгом чувств никак не следует. Как, значит, мы англичан ничем не хуже, а даже напротив и в полном виде.

Царь. Ну-ну-ну?

Платов. И стало быть, надобно эту самую нимфозорию подвергнуть русскому пересмотру в городе Туле нашего отечества. Так что наши тульские мастера ихних перешибут. А касательно ежели что — так во... ччесть имею! *(Кажет страшенный кулак, Генералы шарахаются).*

Царь. Это дело! Ну, мужественный старик, спасибо тебе, утешил. Бери ты эту самую шкатулку, а в шкатулке — бриллиантовый орех, а в орехе — блоха, и кати себе на Тихий Дон. А как через Тулу будешь ехать, отдай аглицкую нимфозорию тульским мастерам на пересмотр. Ну, только помни, чтоб был обратно через сорок дней — сорок ночей. И ежели перешибут англичан твои тульские — проси чего хочешь, а не перешибут — быть тебе без головы.

Платов *(гаркает).* Так точно — без головы, ваше-цар-ство! *(Невоенным голосом):* А только ежели при вашем папаше у меня голова на плечах удержалась, так авось и теперь уцелеет.

Царь. Храбер! А это слыхал: не хвались идучи на рать?

Платов. Так точно, ваше-цар-ство. А едучи с этого... ратного поля-брани-отечества...

Царь. Знаю, знаю! Будет! Когда же едешь-то?

Платов. Сейчас еду. Вот только сбегаю водки выпью и бубликом закушу. Так и так: приятного аппетиту!

1-й Халдей *(публике).* И вам того же, почтеннейшие господа!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 1-я.

Тула. Игрушечные — по пояс человеку — церквушки. Слева на сцене деревянный заборчик. Входят три Халдея. 1-й Халдей скидывает из-за спины и устанавливает на палке ящик-раешник.

1-й Халдей *(публике).* Пред-ста-вление продолжается! Почтенные господа, милости прошу к нашему грошу со своим пятаком. По копейке с рыла — пожалуйте!

Бойкая девка *(вбегает, увидела Халдея — кличет).* Эй, сюды, сюды! Девки, девки, скорея! Удивительные Люди пришли, с ящиком! Сюды, сюды!

(С разных сторон — быстро, туляки, стар и млад. Отдельно — Левша, идет с гармошкой, пиликает. Ему подставляют ногу — он падает. Смех. Встает, снимает картуз, сморкается в него, опять надевает на голову. Девки толкаются локтями, хихикают, кажут пальцами на Левшу).

1-й Халдей. По копейке с рыла — по копейке с рыла, пожалуйте! *(Несколько туляков глядят в стекла раешника).* Вот-т, извольте видеть, господа, очень прекрасный вид: донской казак Платов из самых из царских палатов на тройке летит, елки-палки из-под копыт, сзади пыль столбом, на столбу — фонарь, под фонарем объявление: «Никому от меня нет спасения».

Туляк *(глядит в стекло).* А-а! Скачет-то! Хлещет-то! Кулачищи-то!

1-й Халдей. А вот-т, извольте видеть, приятное свиданье нашего русского посла с ихним французским — в городе Париже, а может и где поближе.

Бойкая девка *(глядит).* Ишь ты! А чего же это они оба ревмя ревут?

1-й Халдей. А это, красавица, с радости, что семь годов не видались, на восьмом повстречались... А вот, пожалте, сражение в Китае: генерал Пей-чаю перешел на сторону генерала Чей-сына, а генерал Чей-сын перешел на сторону Пей-чая, вследствие чего произошла небывалая, блестящая победа.

Т у л я к . Хм... Чего-й-то... непонятно выходит.

1-й Х а л д е й . Чудак! А ты думаешь — я сам понимаю? А вот андерманир штук *(хватает за шиворот Левшу и ставит его на другую сторону ящика)*: мой закадычный друг — знаменитый оружейник Левша, первый тульский богач, в одном кармане — блоха на аркане, а в другом — мощи тараканьи — пожалте на поклонение!

Б о й к а я д е в к а . Девки, девки! Левшу нашего в ящике показывают! Уй, гляди, гляди!

Л е в ш а *(вырывается)*. Да ну-т те... Пусти, ну! Дай, я сам погляжу *(обходит кругом, глядит в стекло раешника)*.

1-й Х а л д е й *(подмигивает 3-му, тот скидывает верхнюю одежду и оказывается девкой Машкой)*. Вот ан-ндерманир: девка-Машка, купецкая дочь, ей каждую ночь не в мочь — об друге сердечном Левше скучает, днем ни питья, ни пищи не принимает, чем живет — неизвестно, а вид имеет прелестный.

Л е в ш а *(в волнении глядит в одно стекло, в другое)*. Ух! Ух! Батюшки! *(Заглядывает поверх ящика. Машка стоит закрывшись рукавом)*. Машка! Ой... Да никак, и впрямь ты? *(Туляки кругом хохочут)*.

Д е в к а - М а ш к а . Известно я.

Л е в ш а *(радостно)*. Гы-ы! Машка, а Машка!

Д е в к а - М а ш к а . Что?

Л е в ш а . Машка, пойдем обожаться.

Д е в к а - М а ш к а . Пойдем.

(Обнявшись, уходят налево за заборчик и там обожаются. Девки подталкивают друг друга локтями, глядят в щели, хихикают).

Д е в к и . Гли-ко-сь, гли-ко-сь: в губы! — Взасос! — Всласть!

1-й Х а л д е й . Ан-ндерманир: тульский купец. Машкин отец, ума не богато, а гребет деньги лопатой. Пр-редставление продолжается! *(Показывает рукой на забор. 2-й Халдей в это время скинул с себя халдейскую одежу и, в купецком кафтане, расталкивая народ, идет к забору)*.

К у п е ц . Нагнись-посторонись, раздвинься, раздайся: ли не видишь я своей персоной иду? Ну-ко-сь пусти, чего тут у вас? *(Глядит в щель, свирепеет)*. Да это моя Машка — ах, шалава! Да это Левша — ах, кобель! *(Бежит кру-*

гом, накидывается на Левшу). Ты, рвань, голоштанник! Ты что ж мою девку скоромишь, а?

Левша *(туда-сюда, тычется — убежать: бежать некуда. В отчаянии).* Ой, вот-те крест, женюсь я на Машке на твоей *(крестится левой рукой).* Ну... вот сейчас женюсь. Ну — пойдем в церковь, пойдем!

Купец. Левша косорукий! Креститься-то сперва обучись! «Женю-юсь!» Машка, подь сюда! *(Наступает).*

Левша *(обиделся).* Оно хотя-хоть я и Левша, а ежели технически... Да-к мы это самое...

Купец. Ух ты, рвань коричневая! Нет, ты сперва, голопузый, предоставь мне червонцев на сто рублей да серебра на тридцать, да бумажками пуд и три четверти. Вот тогда сватайся. А то ишь ты: «Я женю-юсь»... беспортошник! Машка, подь сюда!

Девка-Машка. Не пойду. *(Прячется за Левшу).*

Купец. Не пойдешь? *(Наступает на Левшу).*

Левша *(прячется за Машку).* Эй, наших бьют! Эй! Силуян, сюда!

Силуян *(входит, засучивает рукава).* Могу. Кого?

Купец *(сробевши).* Мене.

(Силуян, не торопясь, приготовляется бить Купца, расправляет у него бороду, плюет себе на ладонь. Вдруг — издали — песня, посвит. Силуян останавливается. Опрометью вбегают несколько туляков, кричат):

Туляки. Казаки-и! — Скачут!

(Все — врассыпную, кто куда — к забору, под забор. С гиком и свистом, влетают казаки на деревянных досках с лошадиными головами, с мочальным хвостом. Платов в санках, возле санок — Свистовые с кнутами. Разогнались — Платов кричит: «Стой-стой-стой, дьяволы!» *Из-под забора, из-за пригорков выглядывают головы — тройка остановилась — головы нырнули вниз).*

Платов *(стоит в санях, озирается грозно).* А-а-а, нету? Попрятались тулячишки, в тараканьи норы забились? Эй, свистовые! Гони всех сюда!

Свистовые *(скачут, как зайцев — подымают спрятавшихся туляков).* Э-эй, гони! гони! — Та-та-та-та-та! — Гони! Фью! — Эй-эй-эй!

(Согнанные туляки, сгрудившись, выпирают вперед Егупыча — божественного вида старик, и Силуяна —

быкобогатырь. Платов взлезает на сиденье саней и, хлебнув из фляги, выпятив грудь, начинает):

Платов. Вот, братцы, так и так. Как, значит, пришло нам время стать собственной грудью. В рассуждении, что, значит, наша матушка Рассея. На поле-брани-отечестве, согласно присяге. И ежели, например, ихняя аглицкая блоха супротив нашей, то, стал-быть, обязаны мы до своей последней капли все как один. И приказано мне передать вам его милостивое царское слово... *(Орет):* Чтоб у меня была сделана! *(Кротко):* Как значит, он отец, мы — дети... *(Орет):* А в случае ежели у меня — так во! *(Грозит кулаком).* И, стал-быть, православные, поклянемся жизнь свою положить на месте преступления — все как один. Ма-алчать! Ур-ра!

(Лошади у Свистовых шарахаются. Туляки выпихивают вперед Егупыча).

Егупыч *(скидывает гречневик, прокашливается).* Да, оно, конечно, мы его милостивое царское слово чувствуем. Ка-ак же! А только сомнительно нам, про что это ты говорил-то. Мы народ тихий, невоенный.

Платов *(невоенным, человеческим голосом).* Да это я так — для строгого порядка. А дело, братцы, вот: должны наши тульские мастера ихним разным Европам нос утереть. Как, значит, ихняя невозможная техника, а наша — тульская, то оно и выходит... Да. Ну, которые тут у вас есть самолучшие мастера? Говори, не бойся.

Туляки *(выкрикивают).* Левша! Левша! — Силуян! — Старик Егупыч! — Левша! — Силуян! — Левша! Левша! Он, он у нас самый... — Левша!

Платов. А где же этот самый Левша?

Туляки. А вот он — с Машкой! — Мухрыш-то, ну вот — в картузе. — Он у нас самый...

Платов *(Свистовым).* Доставить его!

(Левша старается унырнуть. Свистовые его ловят, волокут к Платову).

Платов *(глядит на Левшу).* Н-да. Не тово... неказист... *(Берет, открывает шкатулку).* Ну, мастера, глядите: тут вот оно все и есть.

(Подходят Егупыч и Силуян).

Егупыч. Ах, ты Мать... Пресвятая, Сподручница грешных — да это блоха никак?

Силуян. Живая — аль колелая?

Платов. То-то и есть, что не живая, а, стал-быть, подлецы эти англичане из чистой стали ее в изображении блохи построили... И, значит, в середке у ней, у гадины, завод с пружиной, и завести — она, стерва, пойдет танцевать. И как, значит, согласно присяге, то и пообещал я царю: так и так, наши-де тульские еще и почище диковину сделают. Ну? Можете?

(Оружейники переглядываются, перешептываются).

Левша *(скинув картуз, почесываясь).* Оно хотя-хоть, конечно... Кромя всего прочего... Но ежели, это самое, технически, например, так оно и не... и не то, чтобы как, а вроде как как...

Платов *(орет).* Что-о? Я на вас голову прозакладывал, а вы... Да я вас — в кр-рохи пирожные! *(Подымает кулачище).*

Егупыч. Ты, ваше превосходительство, говори словесно. Мы — народ невоенный, но против ихних мастеров, конечно, не уступим. А только аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и против нее надо взяться помоля Богу-подумавши, да. Ты нам эту блошку оставь, а сам поезжай на Тихий Дон с Богом, заживляй раны, за отечество приявшие, а когда будешь вертаться, авось мы к той поре свое дело сделаем.

Платов. Авось! А это слыхал: авоська веревки вьет, небоська петли затягивает? Нет, вы мне толком скажите: чего вы такое сделаете?

(Оружейники шепчутся).

Егупыч. А уж что мы сделаем, того мы в одну минуту преждевременно сказать тебе не можем.

Платов *(орет).* Как, такие-сякие, не можете? Да как же я вам это аглицкое удивление оставлю, коли я не знаю, чего такое вы с ним сделаете?

Егупыч. Не оставляй, батюшка — не хочешь, не оставляй: воля твоя. Бери с Господом! Нам это хоть бы хны — нам все едино. И без этой блохи проживем: своих довольно.

Платов *(освирепел).* Да я вас всех... д... т... Ппашли вон! *(Все шарахаются, стоит один Силуян).* Стой-стой-стой! Эй, ты, богатырь, как тебя? Поди-ка сюда, садись. *(Силуян лезет в сани).* Вот. Ну, так и так: водку принимаешь?

С и л у я н. Могу.

П л а т о в *(наливает из фляжки).* Ну-ка? *(Силуян пьет и молча подставляет чарку снова. Пьет и опять подставляет. Платов хочет налить и себе, но фляжка уже пуста).* Эх! Л-ловок! Ну, ладно, пес с тобой. Рассказывай, чего вы такое с блохой придумали?

С и л у я н *(не спеша утирается, отдает чарку Платову).* Ф-фу! Благодарим покорно. А сказать — не могу. Это — аминь.

П л а т о в. Ах т-ты... Слезай — вон отсюда! Задарма все вылакал. Гл-лотка! Слезай-слезай-слезай! *(Егупычу):* Ну-ка ты, старичок почтенный, иди садись. *(Егупыч подходит, садится. Платов набивает огромную трубку табаком, хитро поглядывает на Егупыча).* Д-да... Так и так, придется мне, видно, к павловским замошникам ехать: не хуже вашего сделают. Хоть и неохота, а придется, — делать нечего. Да, придется, придется...

Е г у п ы ч. Что-ж, поезжай с Господом. А только павловским — чтоб им... Бог здоровья послал и в делах скорого поспешения — им против наших не выстоять, нет! У нас вот Левша есть — да-к он тебе что хошь: из башки у тебя, как из часов, все колеса-пружины вынет, маслицем смажет, и назад положит.

П л а т о в. У меня, брат, пружины и так вертятся, и маслица твоего не надобно. А вот надобно мне знать, чего вы такое придумали: у вас пружины годятся-ли? Да, вот что. *(Хитро глядит на Егупыча, запаливает трубку. Егупыч не спеша встает, вылезает).* Стой-стой, куда?

Е г у п ы ч. А мы, батюшка, кержацкой веры, от этого самого табашного зелья у нас головокружение в ногах происходит, да. *(Идет).*

П л а т о в. Тьфу! Эх! *(Выглядывает Левшу).* Ну, ты, чувырло́ чумазое, как тебя... Левша, иди-ка, садись. *(Левша влезает, садится).* Жуков табак куришь?

Л е в ш а. Оно хотя-хоть и... пользуемся... технически... А только я нынче... уж восьмушку — это самое... В грудях копоть, не могу больше.

П л а т о в. Ишь ты! А водку принимаешь?

Л е в ш а. Кромя всего прочего... ежели... А только я нынче, это самое... вроде как... *(Договаривает руками — что мол-де нынче выпил довольно).*

Платов. О, да ты, брат, вижу хитрее всех. Ну, а девок любишь?

Левша. Вот это да... Это — технически!

Платов. Ну, слушай, Левша. Так и так: ты мне очень по нраву пришелся. И, стал-быть, хочешь я тебе вон энту девку усватаю? *(Показывает на Машку).*

Левша *(вскрикивает, картуз об земь).* О? Неужли-ж верно? Машка, а Машка!

Платов. Нет, брат, стой! Сперва хомут, а потом подпругу. Ты мне наперед скажи, чего вы такое с блохой придумали?

Левша *(чешется).* Эх! *(глядит на Машку, на Платова, косится на Егупыча).* Конечно, хотя-хоть... *(поднимает с земли, решительно нахлобучивает картуз).* Эх! То есть — ну... никак! Что-что, а это никак. То есть вот — ну!

Платов. Та-ак? Эй, свистовые! *(Левша кидается наутек).* Стой-стой-стой! *(Платов пробует налить себе из фляжки — фляжка пуста, с сердцем об земь ее, вдребезги).* Тьфу! Ну, тульские, видно, делать нечего: будь по-вашему. На-те, берите, стервецы, у-у-у! *(Тычет Левше шкатулку с блохой. Кротко):* Братцы, голубчики, уж вы как-нибудь, так и так... *(Орет):* У меня чтоб в аккурате! Чтоб для нашей русской полезности — ни одна чтоб минута! *(Кротко):* Как, стал-быть, она мать-Рассея... Костьми — на престоле-брани-отечестве... И мы, которые убиенные... *(Орет):* Ммалчать! Через сорок дней-сорок ночей я вашу работу царю предоставить обязан. Чтоб у меня — в срок была-а! А то... *(Подымает кулак).* Поняли?

Егупыч. Благодарим покорно — поняли.

Платов. Трогай!

Тройка. Куда прикажете?

Платов. На Тихий Дон!

(С песней, гиком, свистом казаки уезжают. Левша, разинув рот, стоит с шкатулкой в руках. Бойкая девка выбежала, смотрит вслед, приложив козырьком руку).

Туляки. Кулак-то, видел? — Страхота господня! *(Расходятся).*

Егупыч. Ну, братцы, надо за дело: вода бежить, время идеть. Ты, Левша, мозгуй поживей, как нам и что...

Левша. Технически — это самое — ежели...

Егупыч. Во-во-во! А я пойду свечку поставлю Николе Кузнецкому да Зосиме-Савватию, братьям-разбойничкам.

Занавес.

1-й Халдей *(выходит на авансцену перед занавесом)*. Представление продолжается! А именно происходит расцвет промышленности в городе Туле нашего отечества. Слышите: молоточки тюкают?

(Уходит. Музыка, тюкают молоточки оружейников).

Картина 2-я

Та же Тула, что и раньше, но посредине стоит теперь изба оружейников. Туляки, Раешник, Девка-Машка — подслушивают, подглядывают: что такое в избе.

1-й Туляк. Стучат?

2-й Туляк. Постукивают.

3-й Туляк. Не питые, не етые сидят.

1-й Туляк. Никого не допущают.

2-й Туляк. Что делают — неизвестно.

3-й Туляк. Ну-ко-сь, дайте-ка я попробую...

(3-й Туляк идет к избе, стучит в окошко. Окошко чуть приоткрывается).

Голос Егупыча. Кто там?

3-й Туляк *(чужим голосом)*. Человек Божий, странник прохожий. Прикурить огонька дайте.

Егупыч *(высовывается — и тоном сперва божественным, потом свирепым)*. Пойди ты... к Господу с чертовым твоим куревом на рога! Некогда нам: время идет. *(Захлопывает окно. Почесываясь, 3-й Туляк уходит).*

2-й Туляк *(идет к избе с медным тазом, колотит в таз и кричит)*. Ой, братцы, горим! Ой, горим, пожар! Вали, лей, ломай!

Егупыч *(высовывается)*. Где пожар?

2-й Туляк *(показывает вбок)*. Тама. И-их, чешет!

Е г у п ы ч. Ну — с Богом, горите, а нам недосуг. Срок вышел, то и гляди — Платов назад будет. *(Захлопывает окно. 2-й Туляк уходит).*

Д е в к а - М а ш к а *(идет к избе, кличет в оконце).* Левша, а Левша! *(Сахарным голосом):* Левша, красавчик ты мой! *(Еще сахарней):* Левша, пойдем обожаться! *(Окно раскрывается с треском, Левша высунулся по пояс, но изнутри две руки тотчас сгребли его за шиворот, две руки за вихры — втащили назад, захлопнули ставень. А с разных сторон уже бегут — кричат туляки).*

Т у л я к и. Казаки! — Скачут! — Девки, беги куда глаза глядят!

(Прежним порядком, только еще отчаянней, въезжают казаки и Платов).

П л а т о в. Стой-стой-стой! Назад, дьяволы. Стой! Где оружейники? Ммалч-ать! *(Туляки молчат).* Да вы что же: язык-то вам корова, что-ли, сжевала?

1 - й Т у л я к. Да ты, ваше превосходительство, сам говоришь — молчать.

П л а т о в. М-малч... Тьфу! Сейчас говори, где оружейники?

1 - й Т у л я к. Да вон там: слышь? — молоточками тюкают.

П л а т о в. Как, такие-сякие, тюкают? Не готово еще? Дай-я их... д... т... *(Подымает кулачище. Свистовым):* Чтоб живых ли мертвых ко мне их — в момент доставить! У-у-у! *(Свирепеет).* З-зубом загрызу!

(Свистовые скачут к избе, стучат в окно, в дверь — им не отвечают. Возвращаются к Платову, стоят, вытянувшись перед ним во фронт).

П л а т о в *(Свистовым).* Круши!

С в и с т о в ы е *(берут бревно, запевают «дубинушку»).*

Эх, город Тула у нас слабый,
Придешь девкой — уйдешь бабой.
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет!
Раз! Ух! Раз! Эх!

Т у л я к и. Гляди, гляди! — Что делают! — С мясом рвут...

(Свистовые поддели и сваливают крышу в сторону. Остается висеть одна лампадка — висит неизвестно на

чем — и видны по пояс оружейники. Свистовых отшибает в сторону — стоят, зажав носы).

1-й Свистовой. Да вы как же, подлецы, этакой спиралью ошибать смеете? На вас — что: креста нету?

Егупыч. Спираль — оно, действительно, скопимши — от нашей безотдышной работы. А вот вы кто такие, что нам в казенном деле препятствие производите?

1-й Свистовой. Да вы ослепли никак? Ли не видите: донской казак Платов — вот он, вас к себе требует, чтоб сию секунду!

Егупыч. Передай ему от нас почтеньице и скажи: сейчас-де несут.

(Свистовые бегут, оглядываясь. Оружейники за ними, на ходу застегивая одежду. Левша с шкатулкой).

Свистовые *(Платову)*. Идут! Несут!

Платов. М-малчать! *(Туляки шарахаются, потом, любопытствуя, понемногу подходят ближе. Платов — оружейникам, грозно):* Н-нну-у?

Егупыч. Господи-Сусе-Христе Сыне Божий, помилуй нас...

Платов *(свирепо)*. Ам-минь... ч-черт! Готово?

Левша. Га-га-га-тово.

Платов. Подавай сюда. *(Левша подает. Платов открывает шкатулку, вынимает из нее табакерку, из табакерки — орех с блохой. Глядит).*

Туляки *(вытягивая шеи)*. Гли-ко-сь, гли-ко-сь! Бриллиант-то! — Чисто медный, глазам инда больно! — Ну и кулачище, страхота господня!

Платов *(встает, грозно — оружейникам)*. Вы это что же это, а? Шутки шутить? А ваша работа где ж, а?

Левша. Ту-ту-тута... *(Тычет пальцем в блоху).*

Платов. Где тута? Ну-у? *(Сует блоху Левше под нос)*. Нюхалом ткнись! Это по-твоему что?

Левша. Бло-блоха... Ета самая аглицкая блоха, конечно.

Платов *(кричит)*. Ета самая! Зарезали! Голову сняли! Как была блоха, так и есть. Ничего не сделали! М-мастера! Кошёлки вам плесть! Еще, поди, аглицкую работу испортили? Уб-бью!

Левша *(обиделся, свихнул картуз на ухо)*. Ежели — кромя всего прочего — это, то есть, кто же испортил?

Платов. М-малч... Кто? Ты, Левша косорукий, вот кто! Ма-астер!

Левша. Это я-то? Цык! *(Цыркает сквозь зубы в знак высшего презрения).* Я свою работу сделал... технически... Да...

Платов. Сделал? Ну так и говори, чтó сделал? У-у-у!

Левша. А что сделал, то... вот это самое и сделал. Царю... это самое... предъявите... — тогда оно и выйдет — технически. А преждевременно — вроде как не желаю, да.

Платов. Ма-алчать! В бутылку загоню! З-запечатаю! «Царю предъявите!» Это, стал-быть, чтобы я перед Царем острамился, как вы передо мной? Нет, голубчики, шалишь! Так и так вашу... Я вам проверку устрою! Я вас на чистую воду выведу! Сейчас к аглицким мастерам одним духом скачу: они мне все ваши дуравьи хитрости разберут. И ежели только да вы мне ничего не сделали — я вас... *(По очереди подносит кулачище под нос каждому из оружейников — Левша пятится, Егупыч крестится, Силуян стоит монументом).* Ммалчать! Трогай!

Тройка. Куда прикажете?

Платов. В Лондон ихний. Гони во весь дух! *(Свист, гик, топот. Платов вдруг вскакивает).* Стой, стой, стой! *(Оборачивается, Левшу — за шиворот и к себе в санки — в ноги).* Сиди, с-сукин сын, тут заместо пубеля! И до самого до Лондона чтобы у меня не пикнул! Ты мне за всех ответишь. Ну, гайда!

(Отъезжают).

Девка-Машка *(кидается вслед с причитанием).* Красавчик ты мо-о-ой! Да куда ж он тебя-а-а? Ой, погубят тебя не-хри-сти...

Левша *(высовывает вихрастую голову из саней).* Прощай, Машка! Сорокоуст-то, сорокоуст, не забу...

(Платов за вихры сует его назад).

Егупыч *(спокойно).* Царствие ему небесное, вечный покой!

(Издали слышно — казаки затянули: «И-эх, в Таганроге...)

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

1-й Халдей *(выходит на авансцену перед занавесом)*. Представление продолжается! А именно: вид с высоты на знаменитый город Лондон ихнего отечества. Эй, занавес!

(После поднятия занавеса открывается Англия — тоже, как и Петербург, тульская — очень удивительная. Въезжают платовские сани, тройка).

Платов *(для англичан он прибрался — в белых перчатках, с цветком в петлице. Вылезает из саней, вытаскивает оттуда Левшу)*. Вылезай, ты! Ну-ка, Свистовой, доставь мне сейчас ихних Удивительных Людей, химиков-механиков-мастеров, да чтоб были аглицкие первого сорта. Ну, живо!

1-й Свистовой. Рад стараться! Как скоро, так сейчас!

Платов *(отхлебывая из фляги)*. Ф-фу, отлегло!

Химик-механик *(входит с Мастером)*. А вот и мы, самые ихние Удивительные Люди, химики-механики-мастера на все руки, первое средство от скуки.

Платов *(элегантно)*. Ах... бонжур, бонжур!

Химик-механик *(вытащив огромные часы, Мастеру — важно)*. У вас — сколько?

Мастер *(вытащив часы)*. Без четверти.

Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас.

Платов. А что, будто, личности ваши я видел гдей-то, а? Да вы ихние ли настоящие?

Мастер. Мы-то? Да вот-те не крест не святой. Вот-те не перед истинным! Да чтоб мне не издохнуть! Да чтоб мне...

Платов. Стой! А ну перекрестись. *(Химик-механик и Мастер крестятся: на затылок, на спину, и сзади же — на правое и левое плечо)*. Ну, ладно, вижу: креститесь не по-нашему. *(Свистовому — нежно):* Свистовой, голубчик, шкатулку мне из саней — просю вас...

Свистовой *(от нежного обращения обалдел, стоит, хлопает глазами)*.

П л а т о в *(орет).* Да ты что: оглох, сукин сын? *(Спохватившись — англичанам):* Ах, пардон, пардон... *(Взяв от Свистового шкатулку):* Ну, неправославные, так и так: глядите — ваша работа?

Х и м и к - м е х а н и к *(пробует на зуб).* Да-а! Наша аглицкая, первый сорт.

М а с т е р. Сами из стали ковали — под видом блохи. Ка-ак же!

П л а т о в. Что ж: как была ваша блоха, так и есть?

М а с т е р *(глядит).* Как была — так и есть. В том же пространстве.

Х и м и к - м е х а н и к *(глядит).* Ни подмены, ни перемены, ни рог, ни хвоста: как была, так и осталась.

П л а т о в. Быть того не может, не верю! Так и так: была ваша удивительная диковина у наших у тульских мастеров, и, стал-быть, произвели они над ней какой-то секрет — еще вашего удивительней, а какой секрет, про то не говорят. Так чтоб выведали вы мне секрет вон у энтого проклятого Левши. М-малчать! Не выведаете — в Сибирь сгоню! *(Спохватившись):* Ах, пардон, пардон, пардон...

Х и м и к - м е х а н и к. Ничего. Не извольте беспокоиться — выведаем.

П л а т о в. Убедительно благодарю вас. *(Левше):* Ну ты, такой-сякой, лопать хочешь?

Л е в ш а. Оно... это самое... ежели и птицы такой нету, чтоб не ела, а пела... Что же я, вроде как хуже птицы, что ли?

П л а т о в *(Свистовому — на Левшу).* Доставить его в пищеприемную ихнюю комнату!

С в и с т о в о й. Рад стараться! Сию минуточку *(Открывает дверцу в какой-то железной трубе, оттуда грохот, пламя — вталкивает туда Левшу).*

Л е в ш а *(мечется, орет).* Ой, царица небесная! Ой, чтоб тебя ро́зорвало! Ой, пустите! Ой, Машка, сорокоуст не заб...

П л а т о в *(Химику-механику и Мастеру).* Ну, пока что, стал-быть, счастливо вам оставаться. Мне в Петербург к Царю поспешать надобно. *(Садится в сани).* Трогай! *(Машет англичанам рукой).*

Х и м и к - м е х а н и к. Скатертью дорожка, буераком путь! *(Вынув часы — Мастеру):* У вас сколько?

Мастер. Без четверти.

Химик-механик. И у меня без четверти. Идем к Левше.

(Совершают путешествие тем же порядком, что и Левша. Тем временем Левша — с грохотом, с пламенем — вываливается из трубы в «пищеприемную комнату». К нему, как и полагается в Англии, сам ползет накрытый стол и скамья. Левша нахлобучил картуз, пятится, потом осторожно трогает стол — ничего: садится на скамью — ничего. Вдруг сбоку, из деревянной толпыжки в стене, вылезает не спеша огромная кнопка, лезет прямо на Левшу).

Левша. Уйди ... уйди ... уйди, нечистая сила! *(Упирается в кнопку рукой, кнопка ныряет в гнездо, подымается трезвон. Левша вскакивает — бежит. Входит аглицкий Половой — вроде московских тестовских, в белом, а рожа черная. Левша таращит на него глаза).* Эка, мордальон-то у тебя, а? Ну вот что, конечно ... это самое ... Самоварчик мне и ситного, подрукавного, фунт — да с изюмом чтоб, слышь?

Половой *(скалит зубы, мотает головой).*

Левша *(громче).* Чаю, говорю, ну? Немырь ты этакий! Чаю пить с дороги желаю — понял?

Половой. Донтандерстэнд.

Левша. Дон-дон-дон! Долдон, больше ничего. Нет, чтоб по-нашему, это самое, по-русски: и просто и всякому, вроде, понятно, а то: «дон-дон-дон» ... Ну —есть, снедать, трескать, лопать, жрать — понял? Кала-мала-баламгам-гам! *(Щелкает зубами, показывает пальцем себе в рот).* Понял?

Половой. Ес, ес.

Левша. Бес — истинно! Чистый бес. Сообразил вроде как, слава Тебе, Господи! Ну, и чудак!

Половой. Сами вы чудаки. Раз мы англичане — так нам с вами по-русски никак нельзя. Неуж не понимаете?

(Уходит. Левша, пока нет Полового, любопытствует, заглядывает под скатерть, колупает тут-там скамью. Нажал какую-то пружинку — и вдруг стол начинает уезжать, снова из стены лезет на Левшу кнопка. Левша струсил, одной рукой старается удержать стол, другой

отпихивает кнопку. Опять трезвон, стол останавливается, входит Половой с блюдами).

Половой. Ситдаун! *(Подает хлеб — вроде громадного кулича).*

Левша. Сит-на-ай? Оно хотя-хоть, но ежели у вас это ситный, какие же у вас куличи? *(Половой ставит на стол блюдо с пудингом и зажигает ром).* Ах, ты, черномазый, ты это что ж такое?

Половой. Пудинг.

Левша. Студень? Хорош студень — полыхает! Нет, это, брат, может быть у вас черти в пекле этакий студень жрут... технически... А я — не знаю, чтоб это нам можно есть. Это самое... кромя... дак и внутре еще загорится. Неси, неси от греха подальше! *(Сует блюдо обратно).* Ну, неси! Иси, тубо!

(Половой уносит. Левша колупает пальцем одно, обнюхивает другое — отхватил ломоть ситного и, осенив себя крестным знамением, начинает его уплетать — на ходу: надо скорей поглядеть, как тут и что у англичан. Повернул какую-то вертушку — потемнело, опять повернул — светло, повернул еще раз — весь свет потух, в темноте — искры, грохот).

Левша *(в ужасе).* Эй, Силуян — наших бью-ут!

(Из трубы вываливаются англичане).

Химик-механик. Это кто-ж это здесь разделывает? Погасите этот адский пламень! *(Все кончается, зажегся свет. Левше, похлопывая его по плечу):* Ничего, ничего! Не бойсь! Мы *(на себя)* — аглицкий, ты *(на Левшу)* — русский мастер, мы — камрады, понимаешь?

Левша. Оно хотя-хоть и конечно... Кому рады, а кому и не рады.

Химик-механик *(ставит в уголку шкатулку, прикрывает ее шляпой. Мастера — за рукав в сторонку).* Первым делом — мы ему жидкого хлеба *(щелкает себя по шее)* — глядишь, язык и распояшет. *(Левше):* Ну, камрад, выпить вам — погуще воды этого самого — желательно? *(Щелкает себя по шее).* Понимаешь?

Левша *(нахлобучивает картуз, ожимается).* Понимать-то мы это самое, хотя-хоть и понимаем...

Химик-механик. Садись, садись, камрад, чего там! Для встречного разговору без хлебной слезы нельзя.

(Лезет из стены кнопка. Химик-механик нажимает ее, трезвон, вбегает Половой). Ну-ка, Половой, спроворь-ка нам графинчик да закусочки на троих!

Половой. Слуш с-с! *(Убегает).*

Химик-механик *(Мастеру — важно).* У вас сколько?

Мастер. Без четверти.

Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас.

Левша *(тем временем осматривает Мастера, щупает платье).* Ишь-ты, жилетка-то тужурная! Тц... технически! Аглицкое, небось, сукнецо-то?

Мастер. А то ништо? Известно, аглицкое, морозовское.

Химик-механик (наливает). Ну, камрад, об деле — со временем-после, а до дела — нальем белой.

Левша *(с сомнением глядит на водку, чешет в затылке).* Оно, конечно, ежели... В роде... для пользы-простуды... А только, кто вас знает! Вы ведь... ох!

Химик-механик. Мы-то ох, да и ты не плох. У-у-у! *(Грозит пальцем Левше).* Ну, приехамши вам! *(Пьет, за ним Левша).* А что, к примеру, у вас гуси плавают?

Левша. Плавают.

Химик-механик. А по льду ходят?

Левша. Ходят.

Химик-механик. Ну и мы пройдемся. *(Пьют).*

Левша. Хух! Крепка!

Химик-механик. А ну, камрад, что крепче... *(Выдержав паузу — сразу).* Наша водка — или ваш тульский секрет?

Левша. Ка... ка... Какой секрет? *(Нагибается к Мастеру, берет его за ногу, как кузнец — лошадь).* А-ах ты... щиглеты-то какие! Это самое — подкованность-то ихняя вроде к чему же?

Мастер. А это для топоту, когда казачка, ли нашего аглицкого камаринского плясать. Мы это очень уважаем.

Левша *(подмигивает).* Вот, братцы мои, ежели, — так в подковке-то вроде как... и секрет весь. Да.

Мастер *(подталкивает химика-механика).* Клюнул! Подсекай, тащи.

Химик-механик *(отпихнув Мастера).* Как так в подковке? Ты нам это на своем русском языке произъясни, сделай милость.

Левша *(сбил картуз на ухо, от вина осмелел).* Далдоны вы! Я вам на своем русском языке все и произъясняю — технически: в подковке, говорю секрет. Впоследствии времени все, братцы мои, узнаете! *(подмигивает хитро).*

Мастер *(разочарованно).* А-а-а! Впоследствии времени! *(Химику-механику):* Накачивай еще.

Химик-механик *(Мастеру)* Без тебя знаю! *(Левше):* Ну, камрад, нашей русской горькой для прокладочки? А? *(Наливает, Левша смотрит с сомнением).* Что, думаешь, купоросом заправлена? Не бойсь! Настоящая подвздошная — четырнадцатого классу.

Левша *(нюхает).* Оно хотя-хоть и кто вас знает... *(Махнул рукой, картуз на ухо).* Эх! Здравствуй, стаканчик — прощай, вино! *(Крестится левой рукой, пьет. Потом, мотнув головой, затягивает).* Эх, Тула-Тула-Тула-я...

Мастер *(Химику-механику).* Нести шкатулку, что ли?

Химик-механик *(Мастеру).* Да не суйся ты, оглашенный! *(Левше):* Ты что же это — левой-то крестишься: лютеранец ихний, что-ли?

Левша. Нет, веры мы русской, технически. А это потому... как вроде... например, левша мы.

Мастер. Левша? Это что же такое обозначает?

Левша *(от вина смелеет все пуще).* А это самое... стал-быть, чего вы правой рукой — так я это левой — за очень просто. Да-а. У нас вот как!

Мастер. Удивительно! *(Химику-механику):* Ну, если бы он и правой взялся, да образование ему мало-мале — так наше дело табак! *(Левше):* Арифметику-то науку проходил?

Левша. Куды там! Мы, братцы, ежели что — так вот эдак вот — по пальцам... вникаем... Да.

Мастер *(наливает. Левша пьет).* А лучше бы вы из арифметики четыре правила сложения знали — куда пользительней!

Химик-механик. Да. А то у вас в руке — сметка, а в голове — ошмётка. Вот вы того и не сообразили, что такая малая машинка, как в блохе — она на самую

аккуратную точность рассчитана. Без арифметики-то ее тяп-ляп — и испортили.

Л е в ш а. Кто — мы испортили? Это мы-то?

Х и м и к - м е х а н и к *(подталкивает Мастера).* Да, вы самые.

Л е в ш а. Мы испортили? Ах вы, нехристи гололобые! Давай ее сюда! Я вам покажу... как испортили! Испортили, а? Мы-то?

Х и м и к - м е х а н и к *(Мастеру).* Готов! Волоки шкатулку!

Л е в ш а *(ерепенится).* Я вам... это... такое покажу — рты разинете! Я вам... *(Мастер уже взял шкатулку. Левша спохватился, нахлобучил картуз, вскакивает).* Стой-стой! *(Хватается за живот).* Ой, не надо! Не могу! Ой, не могу! Ой, ой, скорее!

М а с т е р *(остановился).* Чего ты?

Л е в ш а. Ой, живот схватило — вот как, технически! Веди меня до ветру. Ой, скорей, ой, скорей!

М а с т е р *(ведет его в павильон, возвращается к Химику-механику).* Да это ч-рт-те, что! Я думал, он так — с максимцем, а он хитрый, как муха... Ну, чего делать, чего мы теперь с ним делать-то будем... Владычица!

Х и м и к - м е х а н и к. Довольно вам стыдно, господин! Уж сдрефил! А туда же в англичане суетесь!

М а с т е р. Да ты гляди: ведь его, черта косорукого, и вино не берет!

Х и м и к - м е х а н и к. Будьте покойны! Как он оттуда выйдет, мы его сейчас же настоящими нашими аглицкими диковинами раззадорим — и этот самый секрет из него, как из квасу пробку, вышибет. Понял — дурья твоя голова?

Л е в ш а *(возвращается, оправляя одежу, напевает).* Тула-Тула-Тула-я, Тула родина моя! *(Подходит).* Это самое... нужные места — это у вас действительно технически! Только уж дюже чистота одолевает: неспособно. У нас лучше.

Х и м и к - м е х а н и к. Нужные места — это что-о! Дай срок, мы тебя еще не так удивим. Ну-ко-сь, иди сюда!

Л е в ш а. Ну, показывайте... это самое — чего тут у вас — ежели... *(Подходит, делает вид, что ему на все с высокого дерева наплевать. Напевает).* Тула-Тула-Тула-я... *(Видит в числе прочих диковин — церковь и,*

оборвав «Тулу», начинает креститься). Хм! Это у вас, у гололобых, вроде церковь-то тут к чему же?

Химик-механик *(пододвигая церковь).* А это, извольте видеть, чистый римский Пётра-Павла собор, несчетно злата-серебра и прочего добра, на фундаменте из настоящего мрамора.

Левша *(цыркает через зубы).* На мра-аморе! Загнул! У нас, брат, в Москве — ежели, так... Никола-на-Капельках есть, Никола-на-Палашах, Никола-на-Курьих ножках, Никола-на-Кочерыжках. Вот это вот так. А то: на мра-аморе!

Мастер. На кочерыжках? Удивительно! И ничего, стоит?

Левша. А то как же? У нас, брат, строго: прикажут — и на кочерыжках будет стоять. Технически! *(Напевает).* Тула-Тула-Тула-я... А это самое — что за трубка и к чему такое?

Химик-механик *(выкатывает огромный барометр).* У-у, это штука! Буреметр называется: от морского водопления — первое спасение. Погоду за сутки назад, непогоду за сутки вперед угадывает.

Левша. Ну, это против нашего... например... никуда не годится. Да-а! У меня в Туле вроде бабка есть, так у ней перед непогодой поясницу... технически — за неделю ломить начинает. А вы — эка: за сутки!

Мастер. Ну-у? За неделю? Удивительно!

Левша *(напевает).* Тула-Тула-Тула перевернула, кверху козырем пошла... *(Ходит, глядит, остановился).* Хм! А это для каких-таких жителей... домина, вроде?

Химик-механик. А это, извольте видеть, называемая керамида, а в ней сохранно заключен удивительный египетский фараон, не принимает ни питья, ни пищи, лежит годов три тыщи, а может и больше.

Левша *(цыркает сквозь зубы).* Чудаки вы... кромя всего!

Мастер. А что?

Левша. А то. У нас этих самых фараонов — хоть пруд пруди: в Москве на каждом углу стоят вроде для бесплатного удивления. А вы это самое... их за деньги показываете. Ну, и чу-да-ки! Нет, вы мне такое предъявите, чего бы у нас нету.

Химик-механик. Сейчас... А, ну-ка... родители, например, у тебя есть, камрад?

Левша. Во, брат, идиолух, а? Это, может, у вас, у нехристей, дети вроде... из этой бутылки вылазют, а у нас это самое... по-православному, технически...

Химик-механик. Да ты дело отвечай! Родители, говорю, есть, живы?

Левша. Ну, живы, ежели... Ну?

Химик-механик. А желательно вам сейчас с родителями, например, словесный разговор иметь?

Левша *(обиделся)*. Чего-о? Ты, брат, мне, это, в мозги-то не капай. Я хоть какой-никакой, а в своем уме. Нешто отсюдова в Тулу слыхать?

Химик-механик. А на это, брат, у нас есть такое удивление, что ты родясь не видал — умрешь не увидишь. Вот: радителефон называется.

Левша. Ежели родителев он — так с родителем только и можно по ему разговаривать. А мне, ежели, например, не с родителями желательно, а совсем обратно? Вроде скажем... с какой-нибудь с гражданочкой?

Химик-механик. Это все единственно. Вот, пожалуйте: нажмешь, повернешь, голосом поведешь — говори с кем хочешь, хоть с родителями, хоть обратно.

Левша. Ну-ка? *(Нажал пуговку — трезвон, искры. Левша моргает, съежился. Робким голосом):* Машка, а Машка! *(Громче):* Машка-а!

Голос девки-Машки. Левша, никак ты? Красавчик ты мой!

Левша *(картуз об земь, разинул рот)*. Тьфу, провались ты совсем! А ведь и верно. Маша моя, технически! Ей-Богу!

Голос девки-Машки. Левша, а Левша!

Левша. Сейчас. *(Чешет затылок, думает. Придумал. Англичанам):* А желательно ежели — я вам сейчас это диковинку покажу... кромя прочего... почище разговорной этой трубки?

Химик-механик. Захвастался — кабы не захрястался! Гляди, брат!

Левша. Вот-те и гляди! Я и без трубки вашей слышу. Да. И еще Машка моя... вроде как сказать — не сказала, а уж я слышу, что она скажет.

Химик-механик. Ну-ка, что ж она тебе скажет?

Левша. А вот чего... *(Шепчет на ухо Химику-механику).*

Мастер. Что? Что? *(Химик-механик шепчет на ухо Мастеру).*

Голос девки-Машки. Левша, а Левша!

Левша. Что, Машенька, коровушка ты моя-а?

Голос девки-Машки. Левша, пойдем обожаться!

Мастер. Чтоб тебе лопнуть: верно!

Химик-механик. Тюпелька в тюпельку!

Левша. То-то! Уж это вроде... будьте спокойны: уж так, ли эдак — а уж мы вас... это самое... технически! *(Лихо заводит на гармошке).*

Мастер. Да это черт-те что! Ну, буде баловаться с диковинами-то! Я ему сейчас вещь покажу, которая настоящая... На, гляди! *(Сует Левше ружье).*

Голос девки-Машки *(удаляясь).* Левша, а Левша!

Левша *(опустив гармошку, прислушивается).* Братцы, сделайте милость — отпустите вы меня... домой вроде... а?

Мастер. Гляди, говорю... черт косорукий!

Левша *(нехотя берет ружье. Поглядел — и вдруг загорелся).* Тц-тц-тц... Вот это вот — да! Это — технически! *(Ощупывает, поглаживает).* Чтоб тебе! Шлиховка-то, а? Прямо это... чисто вроде девку по спине гладишь! А замочек, замочек-то! *(С ружьем в руках кидается к англичанам, обнимает их).* Сволочи! Милые!

Мастер. Ты что — рехнулся?

Левша. Эх! Уж очень добре дюже работа хороша!

Мастер. Ага-а! Пробрало?

Левша *(щупает в дуле).* А внутре-то, внутре-то... Ай-ай-ай-ай! *(Заглядывает внутрь, качает головой, вздыхает).* Эх! Кирпичом чистите-то, ай как?

Химик-механик. Сморозил: кирпичом! Это, может, у вас кирпичом, а у нас — порошком самым мелким, вроде клоповного персидского.

Левша. Не дай Бог — война... Куда мы... ежели с берданками нашими? Эх! *(Осматривает еще раз ружье, вздыхает. Вдруг поставил ружье).* Братцы, отпустите вы меня домой за ради Христа!

Химик-механик. То есть, это как же?

Левша. А так. Хотя-хоть и это... благодарю вас покорно на всем угощении, и вроде всем я у вас очень доволен, а только... Не могу я у вас больше! Вот тут вот это самое... *(Вертит рукой против сердца).*

Химик-механик. Ну вот, заскучал! Да мы тебе сейчас такое покажем... Вот: гляди...

Левша. Не могу́ я! Лучше покажите вы мне: в какой она стороне — Рассея наша?

Химик-механик. Рассея, Рассея! Ты лучше оставайся у нас, живут у нас мастера хорошо, семейно, на каждого члена по четыре кубических аршина воздуха...

Левша. Да не надо мне вашего кубического воздуха: мне без русского воздуха никак невозможно! Опять же я в холостом звании. И мне тут в одиночестве... вроде очень скучно будет. А там у меня есть...

Химик-механик. Чудак! Чего ж ты молчал-то? Это дело такое: раз моргнуть, два шепнуть. *(Мастеру):* Волоки сюда скорей свою аглицкую девку Мерю.

Мастер. Есть! *(Выводит Мерю).*

Меря *(входя).* А вот и я!

Химик-механик *(Левше).* Ну, что? Какова мамошка?

Левша. Это чего уж! Девка — я-те-дам! Вроде! Да-а!

Химик-механик. Ну, вот и ладно: ты нам только словечко закинь, какой вы секрет над блохой произвели, а мы тебе сейчас с нашей аглицкой девкой все устроим. *(Мастеру):* Ну-ка!

Мастер. Меря, подь сюда! *(Делает ей знак пальцем).*

Меря *(подходя).* Здравствуйте, прекрасный молодой человек Левша. Очень приятно.

Левша *(снял и мнет картуз, глядит исподлобья).* Ой, беда, на Машку мою похожа!

Меря *(в радио-телефон).* Эй, Половой! Кипяточку нам на четверых, да ватрушечек каких там, что ли.

Голос Полового. Слушс-с!

(Въезжает стол, скамьи. Вбегает Половой с подносом, ставит на стол. Меря кобянится перед Левшой).

Меря *(садясь за стол).* Милости прошу к нашему шалашу! *(Все садятся. Левша с Мери глаз не сводит).*

Химик-механик. Ты погляди: одеваются у нас чисто, не халды какие-нибудь, хозяйственные. Ну-ка, Меря, покажи, как ты... Плесни-ка ему чайку.

(Меря наливает Левше и себе. Оба пьют с блюдечка. Меря придвигается к Левше все ближе).

Химик-механик *(в стороне, косится на них).* Кх... Гм... *(Вынув часы — Мастеру, важно):* У вас сколько?

Мастер. Без четверти.

Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас!

(Меря придвигается к Левше. Левша не знает куда деваться, пот с него градом, берет салфетку, утирается).

Меря. Что ж вы, прекрасный молодой человек? Я к тебе голублюсь, а ты от меня тетеришься! *(Обнимает Левшу).*

Химик-механик. Вот это так! Ну, Левша, поле с угородом — слово с уговором: пьем могарыч, что ли? Ты нам про блоху — тайный секрет, а мы тебя на Мере женим.

Левша *(выскакивает из-за стола).* Ой, не-ет: закон ежели принять с вашей аглицкой девкой... Это мне... это вроде как... никак невозможно.

Мастер. Это почему же такое? Какие у вас напротив наших девок порочные приметы есть?

Левша. А это самое... например... одежда на них накручена... И не разобрать, что и для какой надобности... ежели...

Мастер. Какое же тебе в том препятствие — в одежде?

Левша *(конфузясь).* А, значит... это... опасаюсь — зазорно будет... вроде глядеть — дожидаться, пока она из всего барахла разберется... ежели... это самое... Бог приведет... технически...

Мастер. Ну, это ты, камрад, врешь: это оне у нас могут в лучшем виде. Ну-ка, Меря, покажи ему голую технику!

(Заводным голосом напевая нечто легкомысленное, Меря начинает скидывать с себя одёжу. Левша рвется бежать — и рвется к Мере. Мастер его держит).

Левша. Ой, батюшки, не надо! Ой, у меня Машка в Туле! Ой, невтерпеж, держите меня! Ой, пустите! Ой,

братцы, на все согласен — открою вам секрет, бегите за блохой скорее!

(Химик-механик и Мастер, толкаясь, бегут за блохой. Левша тычется в одну трубу, в другую: ищет выхода — выхода нет. Меря продолжает «голую технику». Появляется Полшкипер).

Левша *(бегом к Полшкиперу).* Ой, скорее, скорее! Ой, братишка — куда бы мне...

Полшкипер. Я аглицкого корабля — Полшкипер. Вам, Левша, чего надобно?

Левша. Ой, друг любезный, Полшкипер, вези меня скорее в Петербург, в царский дворец.

Полшкипер. Отчего ж, можно, пожалуйте.

(Левша, скинув картуз, крестится. Оба уходят. Химик-механик и Мастер вбегают с шкатулкой).

Химик-механик. Батюшки! А где ж Левша-то!

Меря *(хладнокровно).* Смылся — в Питер.

Мастер. Да это черт-те что!

Химик-механик. За ним! *(Свистит. Выскакивает Ямщик).* В Питер! Гони во всю мочь!

Ямщик. В два счета!

(Уходят. Появляется корабль — с Полшкипером и Левшой. Полшкипер крутит колесо, корабль движется).

Левша. Братишка, эй! *(Полшкипер останавливается).* Скажи ты мне: в какой стороне — Рассея наша?

Полшкипер. Рассея? А хто ее знает! Должно быть — там... *(Показывает в публику).*

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

1-й Халдей *(на авансцене перед занавесом).* Представление продолжается! А именно: снова царский дворец и разные роскошные украшения. Эй, занавес! *(Занавес подымается. Как в первом действии — Петербург и царский дворец. Дворник с метлой стоит, грызет подсолнухи, шкурки бросает на земь. Зевает, уходит. Появляется Левша и Полшкипер, оба навеселе).*

Левша. Неужли вроде добрались? *(Увидел что-то на приступках, подымает).* Подсолнухи! Верно! Она самая — Рассея! Эх, ты, коровушка ты моя-а! *(Бросается на землю, целует ее. Встал. Полшкиперу).* Понимаешь ты, организм гололобый, что есть такое Рассея?

Полшкипер. Нет, этого мы не понимаем.

Левша. Куды тебе: рылом не вышел! А ежели кромя — все-таки... полюбил я тебя, друг ты мой любезный. Во как: по сих пор. Технически! Выпьем на росстань, а? *(Полшкипер вынимает бутылку из кармана).* Это которая же по пальцам будет, ли по вашей арифметике?

Полшкипер. Три... тринадцатая. Ничего не значит. Пей, рус. *(Пьют. Из оркестра на приступочки лезет Рыжий Черт).*

Левша *(Полшкиперу).* Ой, гляди, гляди!

Полшкипер *(спокойно).* Ишь ты: рыжий.

Левша. Скорей перекрестись — отвернись, это черт Мурин! Говорил тебе: тринадцатой не надо.

Полшкипер. Какой черт? У нас по арифметике доказано: никаких чертей нету. Это Морской Водоглаз, он — ручной, не бойсь. *(Протягивает Черту кусок хлеба).* Лопай, ну? *(Черт ест).*

Левша *(выше подбирая ноги).* Оно, хотя-хоть, конечно, арифметика — она, вроде как... А ведь, ей-Богу — хлеб жрет, а? Дай-ка, дай-ка, я попробую... *(Берет у Полшкипера хлеб, протягивает Черту — боится, отдергивает руку).*

Полшкипер. Я тебе говорю: ручной. Ну вот — хочешь: я тебя в море швырну, и он мне тебя сейчас назад подаст?

Левша. Друг, милый, ну давай я тебя поцелую — ну? *(Целуются).* Ну ... ну, хочешь — бери, швыряй черту своему ... арифметическому — ну, швыряй!

(Полшкипер подымает Левшу — бросить Рыжему Черту, тот протягивает уж лапы. Вбегает Платов. Рыжий Черт ныряет вниз).

Платов *(Левше).* А-а, шельма собачья, попался! Не-ет, от меня ни в земле, ни в воде не скроешься! Со дна морского достану! *(Хватает Левшу за шиворот, ставит перед собой).* Ну, говори: где блоха? *(Трясет Левшу).* Ну?

Левша *(машет рукой).* Та-та-та-тама.

Платов. Где тама?

Левша. У этих ... у аглицких мастеров осталась ... вроде.

Платов. У-у-у! Зарезал, окаянный черт! Пропали, пропали!

Левша. Не ... нет, они не пропали. Зачем пропали? Они сейчас тут будут. За нами всю дорогу, без отдыху, вроде — гончие какие гнались ... Да вон — колокольцы-то: слышь?

(Слышны колокольцы. Появляются Химик-механик и за ним Мастер).

Химик-механик. Ф-фу, батюшки! Насилу-насилу догнали ... Здравия желаем, донской казак Платов!

Платов. Ммалчать! Где шкатулка с блохой?

Химик-механик. А вот, пожалуйте. *(Подает шкатулку).* Она самая.

Платов. Ну, коли вы мне не узнали, в чем секрет — молитесь вашему чертову богу!

Химик-механик. Да, поди-ко-сь от него узнай! *(На Левшу):* Ты на пень — он на корягу, ты в воду — он ко дну: ёрзок больно.

Левша. Что, съел?

Платов *(трясет Левшу).* М-малчать, язва! *(Другим голосом):* Молодец, Левша, не осрамил Тулу, не выдал! *(Опять трясет).* Ну, говори теперь, растакой-сякой: что вы за секрет с блохой сделали? А не то твоей жизни пять минут сроку осталось: сейчас Царя приведут — и мне конец и тебе крышка.

Левша. Может, ежели, никакого секрета и нету? *(Цыркает сквозь зубы).* А может вроде и есть. Сейчас все... это самое... обнаружится.

Платов *(свирепо).* Ну, коли я от Царя живым вернусь — уж я тебя, Бог даст... *(Кулак — Левше. Свистовым):* Держать его, сукина сына — да крепче!

Левша. Эх, Левша, красавец молодой — сгубила тебя судьба! *(Свистовые его уводят).*

Химик-механик *(Мастеру).* У вас без четверти?

Мастер. Без четверти.

Химик-механик. А у меня... *(Лезет за часами — вытаскивает одну цепочку).* Часы-то... срезали! Батюшки!

(Убегает, за ним — Мастер. В это время — музыка, парадным маршем входят Генералы и Царь).

Царь. Ну, здрасте, что ли.

Генералы. Здра-жла-ваше-цар-ство!

Царь *(приглядывается).* А где же этот... мой... как его?

Генералы *(выскакивают).* Здесь я, ваше-цар-ство! — Здесь, ваше-цар-ство! — Здесь...

Царь. А, да на кой вы мне! Ну, этот... как его... Платов!

Кисельвроде *(Платову).* Ну, дружочек, пришел твой часик: иди, Царь тебя требует.

Платов. Крышка! Пропал — ни за нюх табаку! *(Идет за Кисельвроде).*

Царь. Ну, донской казак Платов, здравствуй, что ли.

Платов *(гаркает).* Здра-жла-ваше-цар-ство!

Царь. Где был, что видел?

Платов. Так и так: был я, согласно собственноручному твоему царскому слову, на Тихом Дону.

Царь. Ну, докладай, какие у вас там казаки промежь себя междоусобные разговоры ведут.

Платов. А это, стал-быть, могу я только по тайности на ушко сказать.

Царь. Ну, нá тебе ухо — пользуйся.

(Платов, подошедши к трону, шепчет Царю на ухо).

Царь *(Платову).* Та-ак. Ладно! А больше, например, тебе нечего мне сказать?

Платов. Гм... Кхе!

Генералы (*вытягиваются на цыпочках, шушукаются*).

Царь (*Платову*). А что же ты, братец, про самое главное-то молчок? (*Грозно*): А-а-а? Как же тульские твои мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Генералы. Каюк! — Поплыл Платов! — Митькой звали!

Платов (*бухается на колени*). Так и так: хочешь — казни, хочешь — милуй. А только нимфозория окаянная все в том же пространстве, и, стал-быть, ничего удивительней тульские мастера не могли сделать.

Царь. Ну, брат, это уж — маком! Ты — старик мужественный, а что ты мне докладаешь — этого быть никак не может! Слышишь?

Платов (*гаркает*). Так точно, ваше-цар-ство, никак не может! (*Другим голосом*): А только вот хоть ты тресни — так оно и есть.

Царь. Да ты... Как это ты смеешь мне, царю, поперек говорить? Подавай ее сюда! (*Платов мнется*). Не слышишь? Уши заколодило? Сейчас давай — ну? (*Платов подает Царю шкатулку. Царь открывает, смотрит*). Что за лихо! И впрямь: как лежала блоха — так и лежит. Не может того быть: тут тульские мастера, наверно, что-нибудь сверх понятия сделали... (*Услышал страдательную Левши на гармошке. Платову*): Постой-ка: это кто же там приятной музыкой займается?

Платов. А это так... тульский один... стервец... у-у-у! (*Свирепеет*).

Царь. А ну-ка, поди спроси этого самого тульского насчет государственной нашей блохи. (*Платов уходит*). Нет, уж чего-нибудь они с ей да изделали... (*Пробует взять блоху*). А, пропади ты пропадом! Палец у меня дюже толстый — не гожается...

Генералы. Послюньте пальчик, ваше-царство! — Лизните их... — Язычком, язычочком!

Кисельвроде. Дозвольте, я лизну!

Царь. А, иди ты к ляду!

Платов (*возвращается, подходит к Царю*). Так и так: говорит ихний тульский Левша, надо, говорит, блоху эту в самый мелкий мелкоскоп глядеть — тогда-де все обнаружится.

Ц а р ь *(кричит сердито)*. Подать сюда самый мелкий мелкоскоп!

К и с е л ь в р о д е. Подать мелкоскоп!

(Десять Генералов на рысях немедля приносят громадную трубу, устанавливают ее поперек палаты — глядельным концом к публике; перед другим концом — держат шкатулку с блохой).

К и с е л ь в р о д е. Пожалуйте, ваше величество. Как говорится, все наготове: сани до Казани, язык до Киева.

Ц а р ь *(смотрит в мелкоскоп)*. Ага... ага... Вот-вот-вот... Тьфу! Ничего не видать, ни синь-пороху! Позвать сюда... этого самого... Лекаря-аптекаря...

К и с е л ь в р о д е. Веди! Зови! *(Генералы бегут).*

Л е к а р ь - а п т е к а р ь *(входит)*. Здра-жла...

Ц а р ь *(с досадой)*. Да знаю, знаю! Можешь мелкоскоп по глазам навести?

Л е к а р ь - а п т е к а р ь. У-у, тлаза отвести — это самое наше дело! *(Налаживает мелкоскоп)*. Раз, два три. Готово! Пожалуйте!

Ц а р ь *(глядит в мелкоскоп)*. А-а! Ну-ка, ну-ка? Поверни спинкой. Так. Бочком. Пузичком... Тьфу! Да что же это такое? Все как было. *(Платову):* Волоки сюда этого тульского твоего! *(Платов мнется. Царь — грозно):* Ну-у? *(Топает)*. Веди, говорят тебе, а то у меня... знаешь?

П л а т о в *(бежит, на ходу читает)*. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его... Свят, свят, свят! *(Свистовые ведут Левшу. У него одна штанина в сапоге, другая наружу, воротник разорван, но идет бойко — от последней отчаянности, а может и от хмеля. За ним Полшкипер и Платов).*

П л а т о в *(тычет Левшу в бок)*. Ну, д-дьявол, иди теперь — сам за себя отвечай. У-у-у!

Л е в ш а. А что ж такое: и пойду, и отвечу — технически! *(Цыркает сквозь зубы. С гармонией своей под мышкой, подходит к Царю — кланяется).*

Ц а р ь. Ну, здравствуй, что ли. Хм, вон ты какой! Ну, вот что, скажи-ка, братец, это что ж значит? Мы и так и эдак в мелкоскоп глядели, а ничего замечательного не усматриваем. Плохо вы работаете — плохо, плохо! Да.

Л е в ш а. Оно хотя-хоть вы и глядели, а только глядеть, надо вроде с соображением... А то ведь и баран, ежели, на новые ворота... тоже глядит. Да.

Генералы и Кисельвроде *(кидаются к Левше, дергают его сзади).* Шшшш! — Шшшш!

Царь. Оставьте над ним мудрить: пусть отвечает, как умеет. *(Левше):* Ну, гляди сам: ничего не видать.

Левша. А вы бы, это... глаза-то получше разули, да. Этак не увидишь, конечно. Потому как наш секрет — кромя прочего ежели... так против этого размера невпример мельче.

Царь. А есть, говоришь, секрет?

Левша *(цыркает сквозь зубы).* Ха! Вроде есть, конечно.

Царь. Ну? Ей-Богу?

Левша. Да уж есть.

Царь. А как же его разглядеть — секрет-то ваш?

Левша. А ежели, например, одну блохиную ножку... это самое... под весь мелкоскоп... например... вот этак вот, да. И, значит, потом глядеть, технически, на каждую ихнюю блохиную пяточку. И тут, это, все удивление... и здрасте-пожалте. Да.

Царь *(показывает Левше на Лекаря-аптекаря).* Поди, растолкуй ему, он это сейчас все устроит, согласно науке.

(Левша идет неторопливо. Платов за ним с кулаками — от нетерпения инда трясется весь).

Царь. Ну, скорей, братец — экой ты!

Левша *(Царю).* Скорей! А это ты слыхал: детей скоро, например, делать — слепые родятся?

Платов. Маалч... *(Зажимает себе рот).*

Лекарь-аптекарь *(налаживает мелкоскоп).* Раз, два, три... Андерманир штук, пожалуйте!

Левша *(Царю).* Ну, теперь глядите, коли хотите: жалко мне, что ли? *(Отходит к Полшкиперу, наливают, пьют).*

Царь *(Генералам, которые толкутся около мелкоскопа, мешают).* Брысь! Уйдите!

(Генералы порскают кто куда. Царь глядит в стекло. Платов в стороне: начнет креститься — не докрестится, начнет — не докрестится, глаз не спускает с Царя).

Царь. Да ведь они эту самую блоху... Вот это, брат, ловко! Ах, чтоб тебе сдохнуть! Ах-ах-ах!

Генералы, Платов, Кисельвроде *(кидаются).* Что? — Что? — Что такое?

Ц а р ь *(сияет)*. Ну, глядите, пожалуйста! Да ведь, они, мошенники, исхитрились аглицкую эту блоху — на подковы подковать! Нимфозорию подковали, а? *(Опять смотрит в мелкоскоп)*. Стой-стой-стой! А это еще там что такое? Ну-ка, подверни! *(Подкова крупнее, видны буквы. Царь читает)*. Егу. Пыч. Ору. Матер. *(Левше):* Нехорошо, нехорошо! Чего же это вы слова-то этакие пишете? Матер... Нехорошо!

Л е в ш а. Вот ведь необразованные! Эх ты... «матер»! Мастер.

Ц а р ь. Гляди сам: матер.

Л е в ш а. Да это вроде для скорости — скоропись — нешто не понимаете? «Оружейный мастер Егупыч». Это подпись его.

Ц а р ь. Так это он там еще и расписался, значит? Ах, нечистая сила! Ах-ах-ах! Глядите, пожалуйста! Ну, и стервецы! *(Все кидаются глядеть)*.

П л а т о в *(кричит)*. Пус-сти! Пусти, р-расшибу! *(Расшвыривает всех и, растопырив локти, впивается в мелкоскоп. Потом бежит к Левше)*. Ну, брат... *(Колотит себя в грудь, слов не хватает, с обожанием смотрит на Левшу)*. Эх! *(Вынимает из кармана стаканчик, подставляет Полшкиперу, чтоб налил, чокается с Левшой)*. Ну... ах, чтоб тебе! Ну, ладно, живи, так и быть! Пес с тобой! Прощаю! Все прощаю!

Ц а р ь *(Платову)*. Ну-ка, где твои англичане? Давай их сюда. *(Платов бежит за англичанами)*.

Х и м и к - м е х а н и к *(сбросив колпак и очки Лекаря, подходит к Царю)*. А вот я — аглицкий Химик-механик, а это мои дорогие товарищи, которые в одно мгновение могут произвести блоху и прочие удивленья.

Ц а р ь. Ну-ка, ну-ка, погляди, какая есть наша тульская техника напротив вашей научной блохи?

М а с т е р *(глядит)*. Под... под... Подковали, а? Да это черт-те что!

Х и м и к - м е х а н и к *(глядит)*. Н-да-а! Это — не народ, это какие-то варвáры!

Ц а р ь *(доволен)*. Ха-ха-ха-ха-ха!

Л е в ш а *(Химику-механику)*. Что, голоблобые, съели? *(Показывает ему фигу)*.

Х и м и к - м е х а н и к. Это еще поглядим, кто съел, а кто и подавился. Ты, вот ее заведи, попробуй.

Л е в ш а . А что ж такое? И за . . . и заведу. Очень даже просто . . . *(Заводит. Музыка начинает: «Дрынь-дрынь» — и обрывается).* Это . . . это что же? Постой . . . Это она . . . знычть . . . вроде, не мо . . . не может больше?

Х и м и к - м е х а н и к . Танцевать-то? Не может.

Л е в ш а *(в ужасе).* Из . . . из . . . изгадили, знычть? Мы? Я?

Х и м и к - м е х а н и к . Ты. Что я тебе про арифметику-то говорил — помнишь? Оно самое.

Л е в ш а *(стучит себя мослаком по лбу).* Кобель! Рукосуй! Дьявол! *(Шевелит блоху. В отчаянии):* Не . . . не танцует! *(На Химика-механика — с кулаками).* Ты-ты . . . зачем мне сказал? Уйди . . . Уйди, окаянный! Уйди от греха! *(Химик-механик уходит).*

П о л ш к и п е р *(Левше).* Плю . . . плюнь, камрад!

Л е в ш а . Не танцует . . . Конец мне, братишка! По . . . понимаешь ты: не танцует!

П о л ш к и п е р . На . . . на! Пей скорей . . . Соси, милай . . . *(Наливает Левше).*

Л е в ш а *(стуча зубами, пьет).* Эх . . . Жизнь наша — копейка, судьба — индейка! Ну, пропадать — так с музыкой! *(Заводит на гармошке).*

К и с е л ь в р о д е и Г е н е р а л ы *(кидаются к Левше).* Ш-ш-ш! — Что ты? — Рехнулся?

Ц а р ь *(оборачивается к Левше).* Да он еще тут? А я и забыл про него! *(Подходит к нему).* Ну, брат, вот что: утешил ты меня — по сих пор. Спасибо. *(Обнимает его, лобызает).* Проси, Левша, чего твоя душа хочет. Вот хочешь — полным генералом в отставке тебя сейчас произведу?

Л е в ш а *(показывает пальцем на Генералов).* Это вот лы-лы-лысые-то которые? *(Цыркает сквозь зубы).* Нету моего согласия, чтоб в лысые. Что меня Машка тогда не . . . не . . . не будет обожать — поэтому. Только она одна у мене и осталась . . .

П о л ш к и п е р *(навеселе изрядно, мотает головой).* В-верно, камрад!

Ц а р ь . Ну, коли так, жалую тебе с придворного певчего парадный кафтан. Давай сюда кафтан. Эй! Живо!

(Приносят кафтан, напяливают его на Левшу. Кафтан на нем — как на вешалке).

Царь *(торжественно)*. Граф Кисельвроде! Объявляю тебе народно: денег ему, мошеннику, дай сколько хочет. Сыпь — не жалей. *(Всем):* Ну, я — на боковую. Эй, музыка — расходный марш мне!

(Под «расходный марш» — Царь и Генералы отбывают).

Кисельвроде *(подходит к Левше)*. Слыхал? Ну, проси, да не запрашивай, милый.

Левша *(еле лыко вяжет)*. Гля... гля... Машки жалаю... червонцев на сто рублей, да серебра на т-тридцать, да бумажками пуд и три ччер... ччерти! Т-только она у меня и... и танцует...

Кисельвроде. Ну, это, дружочек, завтра прошение подашь. А сейчас Царь жалует тебе двугривенный, как говорится, с своего плеча. Ну, иди, иди, нечего!

Левша *(глядит на двугривенный)*. Эх, жись наша индейская! Не... не видать мне Машки моей! *(Полшкиперу):* Пойдем отсюдова, друг любезный. *(Выходит. На приступках Левша растягивает гармошку).* Т-Тула-Тула — первернула...

Околодочный *(вырастает на приступках около Левши)*. Это-то что такое? С-строго не разрешается!

Левша *(перестает, тычет себя в грудь)*. У меня... может... все печенки вну... внутре сейчас полыхают — потому я испортил... А он мне: «Не раз-решается...» Эх, гуляй! *(Снова — на гармошке):* Тула-Тула-Тула-я, Тула родина моя!

Околодочный. Др-р-р! *(Свистит, выскакивают Городовые и Дворник).*

Левша *(Полшкиперу)*. Вот, брат, у вас, это за деньги, а у нас... фр-фр-фараоны бесплатно... вроде... И-эх, Тула-Тула первернула, ко дну козырем пошла...

Околодочный *(Городовым)*. Тузи!

Левша. Не трожь... кафтан... каф... каф... (Затихает. Городовые, окружив густо, бьют Левшу).

Полшкипер *(мечется кругом, кричит)*. Стой, стой! Нельзя! Душу... Душу-то! Стой!

Околодочный. Так. В хобот. В хряпало. В загривок.

(Городовые сбрасывают куда-то уже недвижимого Левшу. Дворник заметает метлою следы. Уходит).

П о л ш к и п е р *(бежит к рампе)*. Ой, батюшки, убили! Утоп! Ой, батюшки!

(Убегает, последние слова слышны уж издали. Тотчас же на сцене темнеет. На просцениуме появляются Халдеи).

Х а л д е й к а - д е в к а - М а ш к а *(Причитает)*. Ой, да голубь ты сизый м-о-о-ой! Да на кого ж ты меня споки-и-нул...

1 - й Х а л д е й. Ну, что, что? Вот дуры-бабы! Ну, чего нюни распустила?

Д е в к а - М а ш к а. Левшу больно жалко! Не видать мне его, голубчика, до кончины до моей!

1 - й Х а л д е й. А я-то на что же? Гляди! *(Свистит в два пальца. На сцене свет. Из печки вываливается Левша с гармошкой. Встает, подбегает к Халдейке).*

Л е в ш а. Машка! Никак ты?

Д е в к а - М а ш к а. Левша, красавчик ты мой!

Л е в ш а. Машка! А, Машка!

М а ш к а. Что?

Л е в ш а. Пойдем обожаться!

(Медленно уходят. Левша играет на гармошке).

Х и м и к - м е х а н и к *(Публике)*. С благополучным вас окончанием и затем до скорого свидания. Просим честной народ не забывать нас и вперед!

ЗАНАВЕС

АТИЛЛА

ТРАГЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Лица:

Атилла, владыка Великой Скифии.
Керка, его жена.
Ильдегонда, заложница Атиллы, дочь короля бургундов.
Вигила, ее жених, один из послов Восточного Рима.
Сенатор Максимин, Приск — послы Восточного Рима.
Оногост, Едекон, Исла — приближенные Атиллы.
Зыркон, шут Атиллы.
Аэций, магистр римской пехоты и конницы.
Анниан, епископ Аврелианский.
Гоур, Камель — римские рабы в Аврелиане.
Марулл, римский поэт.
Дулеб, оратай.
Ятвяг, один из ближайших кметей Атиллы.
1-й Кметь.
2-й Кметь.
Посол от Гиспанских варваров.
Посол от Галлов.
Глашатай Атиллы.
Чашник Атиллы.
Скифский Кобзарь.
Готский Зингер.
Пленный Ефиоп.
Кмети и Воины Атиллы.
Бургундские солдаты и Римские Воины (в Аврелиане).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Палата во дворце Атиллы: дерево, грубая резьба. На помосте, устланном звериными шкурами, скамья и сбоку другая пониже. У дверей, во внутренние покои — Старший Страж. Слышен звук римской трубы-букцины и ответный скифский рог.

Старший Страж *(прислушиваясь)*. Ао! Труба... *(1-му Стражу)*. Зырчь, зырчь, — живо!

1-й Страж *(бежит, смотрит в окно, возвращается)*. К нам.

Старший Страж. Кто?

1-й Страж. Чужие.

Старший Страж. Вопи сюда наших — живо. *(1-й Страж уходит)*.

Едекон *(входит. Старшему)*. Ну, привез гостей к Атилле.

Старший Страж. Кого?

Едекон. От Восточного Рима троих послов. Да еще бургунды пристряли к нам в дороге: ехали сюда же, везли Атилле заложницу — дочь их короля. Вот девка!

Старший Страж. Поглядим!

Едекон. Зря будешь глядеть. Покуда мы ехали все вместе, так с нею уж успел снюхаться один из римлян — посол, какой помоложе. Вот к этому приглядись, да крепче.

Старший Страж. А что?

Едекон. А то, что выйдет у нас такая потеха, какой никогда... *(замолкает, входят Вигила и Ильдегонда)*.

Старший Страж. Чего стал?

Едекон. Тише, он самый... и с ним — она. Идем туда — я там тебе доскажу... *(уходят во внутренние покои)*.

Вигила *(Ильдегонде)*.

Все во сне, все сейчас улетит, как дым,
ты останешься здесь у Атиллы, а я...
А я — *(останавливается)*.

Ильдегонда. А ты поедешь один — через степи, по каким мы мчались с тобою вдвоем — поедешь назад...

Вигила. Нет...

Ильдегонда. Как нет? Что ты хочешь сказать?

Вигила (*молча смотрит на Ильдегонду. Потом*). Ильдегонда моя... (*целует ее*). Прощай!

Ильдегонда. Прощай?

Но ведь я через год к тебе вернусь,
пусть варвар Атилла, пусть лютый волк —
не тронет заложницы даже он.

Вигила. Я знаю.

Ильдегонда.

Отчего же так горек твой поцелуй —
как будто прощаешься навек,
как будто смерть за углом стоит?
Скорее скажи, пока вдвоем.
Молчишь? Идут... Скажи!

Вигила. Нет! (*Слышен громкий — в нос — голос Приска. Входит и Максимин*).

Приск. Вигила, дорогой — я уверен: всё, что рассказывают про гуннов — это ложь. Эти милые дикари так почтительны со мной, что, право, мне даже как-то неловко...

(*Из внутренних покоев быстро входят 1-й Страж и двое других*).

1-й Страж (*кидается к Приску, хватает его за шиворот*). Стой! Кто такие?

Максимин.

Из Византии римские послы —
к Атилле. Понял? Дай дорогу!

1-й Страж (*своим*). Ао! Сюда! Щупь их! (*Стражи начинают обыскивать Вигилу*).

Вигила.

Прочь, варвары, рабы...
Сперва пойдите грязь с клешней отмойте.

1-й и 2-й Стражи. А рррабы-ы? Мы рабы-ы? Аррчь... Аррчь его! (*с мечами на Вигилу*).

1-й Страж. Стой! Не порть им шкуру!

Максимин (*1-му Стражу*).

Ты Едекона знаешь? Так пойди
спроси его, кто мы такие?

1-й Страж (*2-му и 3-му*). Чуть что — сарычь в башку! (*Уходит*).

Приск (*Максимину*). Положись на меня! Я сейчас все устрою... (*подойдя к стражам, начинает речь*). Мои дорогие, многоуважаемые варвары!

2-й Страж. Что-о?

Приск. То-есть, вообще... глубокоуважаемые... э-э-э... существа!

3-й Страж. Цыть!.. На место!

Приск (*отходит поспешно. Максимину*). Это... это они всё шутят... Я уверен!

Максимин. Позор! (*Садится на скамью, опускает голову на руки*).

Мы, римляне, должны терпеть всё это.
Как нищие ждать у его дверей,
чтобы дождаться... Чего? как знать?

Приск. Но, дорогой Максимин, говорят Атилла сегодня в прекрасном расположении духа, я — тоже. Так что мы добьемся мира, мы спасем Рим — я уверен.

Максимин.

Да, пожалуй, если мы пред ним —
мы, римляне, пред варваром, пред гунном,
перед Атиллой станем на колени...
Да и тогда...
он может гуннам крикнуть: — «стой» —
но время ведь и он не остановит.

Приск. То есть, как это — время?

Максимин.

Ты видишь, у меня трясутся руки,
глаза слезятся, рот беззубый — видишь?
Такие ж руки, рот, глаза — у Рима.
Рим стал старик, как я.
А варвары — от них воняет пóтом,
но их глаза и зубы — посмотри:
любой из них пихнет меня, как Рим,
и Рим, как я, — в куски.

Вигила. Нет, этого не будет!..

Максимин. Ты знаешь средство, чтоб лечить от смерти?

Вигила. Да, знаю: смерть. (*Отходит в сторону. К нему — Ильдегонда*).

Ильдегонда.

Вигила, ты бледен? Твоя рука
в моей дрожит. Что задумал ты?
Быть может, могу я тебе помочь?
мои руки не так нежны, как твои,
не умею играть на лютне я —
но умею играть копьем, ножом...
Ты скажешь мне?

Вигила.

Я должен молчать — я клятву дал.
Ты скоро увидишь все сама.

(Входят Едекон, Старший и 1-й Страж. Старший отводит стражей от послов. У Едекона за поясом топор, в руках мешок с чем-то круглым).

Едекон *(Ильдегонде)*. Эй, красотка, там во дворе твои бургунды ждут тебя. *(Ильдегонда выходит. Едекон — послам)*. Ну, гости, привет вам от хозяев. Жить вам столько годов, сколько волос на голове у Максимина.

Стражи *(пальцем на лысину Максимина)*. Га-га-га!

Едекон. Нишшь! *(Стражи замолкают. Максимину)*. Ты не гневись на них: как лисий, так они ваш римский дух не терпят. Я им сказал, чтобы носы зажали и отошли подальше.

Стражи. Га-га-га!

Приск *(Максимину)*. Вот видишь, я говорил тебе! Дух великого Рима должен победить — он победил.

(Максимин отмахивается от него, понурившись, садится. Приск, пожав плечами, подходит к стражам, протягивает руку). Дорогие, я ваш!.. *(Никакого впечатления. Пожимает плечами, отходит)*.

Глашатай *(пробегает)*. Атилла! Атилла! Он вернулся с поля, он вошел в свой дом!

Вигила *(в стороне. Едекону взволнованно)*.

Скорее — скажи еще раз,
что наш уговор не забыл,
что ты исполнишь...

Едекон *(дает ему мешок)*. Держи.

Вигила. Зачем? Это что?

Едекон. Князю Атилле подарок. Дыня.

Вигила *(ощупывает)*. Дыня? Постой... постой... нет! Эта дыня созрела на человечьей шее!

Е д е к о н. Хоть и римлянин, а не дурак: угадал.

В и г и л а. Чья голова? Говори — кто?

Е д е к о н. Вледа.

В и г и л а. Как Вледа? Брат Атиллы? Ты его?..

Е д е к о н. Не я — топор.

В и г и л а *(молчит, потом)*. Едекон, прости меня.

Е д е к о н. За что?

В и г и л а.

Я верил тебе — и я не верил,
Я боялся: а вдруг изменишь?
Но эта голова немая
говорит за тебя — кричит, —
что их звериное отродье
ненавидишь ты, как я,
что Атиллу, этого волка...
нет хуже... бешеного пса...

Е д е к о н *(хватает его за горло)*. Молчи! Не смей!

В и г и л а. Едекон, пусти! Ты что?

Е д е к о н *(другим тоном)*. Дурак, услышат — все пропало.

В и г и л а.

Показалось мне, что ты...
Нет, нет, я знаю — ошибся...

Г л а ш а т а й *(пробегает)*. Атилла! Атилла! Как солнце в небе он взойдет сейчас!

В и г и л а.

Да, сейчас...
Еще миг, как волос тонкий,
натянутый, как струна,
и конь судьбы помчится,
копытом давя людей...
(Хватает за руку Едекона).
Так помни же:
я Атилле письмо подам,
и как только он ко мне нагнется,
ты сзади — в него топором,
а я ему —нож в грудь.

Е д е к о н. Будь покоен: мой топор найдет... кого надо.

В и г и л а *(вынув кошелек, встряхивает его)*.

Как золото звенит — ты слышишь?
Засыплет тебя император
всего, с головы до ног...

Едекон (*приглядываясь к кошельку*). Дай сюда (*выхватывает кошелек*).

Вигила. Зачем?

Едекон. Римская башка! Стражу надо купить или нет? А то зарежут нас, как баранов.

Вигила.

Мое имя там, золотым шитьем...
Отдай мне этот кошелек назад.
Вот здесь другой.

Едекон. Не веришь? На и делай все один. (*Протягивает кошелек*).

Вигила. Нет, я верю, верю я, только...

Глашатай (*входит*). Атилла! Атилла! Славьте! Трепещите! Ликуйте! (*Под дикую музыку, в неистовом плясе вбегают несколько воинов. Входит Керка и ближние кмети Атиллы. Затем — Оногост, Исла, шут Зыркон и, наконец, Атилла*).

Воины, Стражи (*колотят в щиты*). Арра, Атилла! Арра, Атилла! (*Атилла садится; Керка тоже на скамье пониже. Остальные стоят, за исключением Приска. Он уселся, расправляет складки*).

Едекон (*кидается к нему*). Встань, встань!

Приск (*встает*). А почему?

Едекон. Идол римский, не знаешь разве: сидеть при нем может только она одна.(*Показывает на Керку*).

Приск. Она? А почему?

Едекон. Потому, что она может лежать под ним. Понял? Дуб! (*Атилла обводит кругом глазами, все цепенеют. Тишина. Встретился взглядом с Керкой*).

Керка (*встает с поклоном*).

Супруг мой, князь —
живи и здравствуй...

Атилла (*небрежно*).

Живи и ты. Здорова?
Как спала?

Керка. Мне не спалось. Я все ждала, что ты...

Атилла.

Потом... (*увидел Ятвяга среди кметей*)
А, здесь, Ятвяг? Когда вернулся?

Я т в я г. Вчера. Привез сюда пятьсот возов...

А т и л л а.

Расскажешь после.
Ну, Оногост, с кого начнем?

О н о г о с т.

С кого велишь. И так и эдак можно:
Ждут и свои, ждут и чужие.
Восточный Рим к тебе прислал послов —
их Едекон привез. Вон там стоят.
Тот лысый — он сенатор. Да-а!

А т и л л а.

Сенатор? Ха! К нам, варварам, сенатор?
Ведь нас они зовут склавены, славы —
по-римски, а по-нашему — рабы.
Какая честь! К рабам послом сенатор!

О н о г о с т. Прикажешь их позвать?

А т и л л а.

Пусть подождут. Мы варвары, что делать?
Ты знаешь мой обычай — по порядку:
Кто раньше всех пришел — того веди.

О н о г о с т. Да раньше всех так: голяк какой-то пришел, я ему сказал...

А т и л л а *(нахмурившись)*. Что сказал?

О н о г о с т. Чтоб шел он... *(Поймав взгляд Атиллы)*. Нет, чтоб стоял... то есть, так и эдак: чтоб стоя шел.

А т и л л а. Зови его сейчас же... ты, двухъязыкий! *(Оногост бежит к двери, впускает Дулеба)*.

Д у л е б *(кидается к Атилле)*. К тебе за управой! Невмочь терпеть. Мы тебе челом бьем на одного из твоих.

А т и л л а. Кто мы?

Д у л е б. Дулебы мы, орем мы землю и сеем просо, живем. Так наехал к нам с людьми твой... *(замолкает)*.

А т и л л а. Ну, что ж ты? Дальше!

Д у л е б. Здесь он... Боюсь!

А т и л л а. Здесь я. Не бойся. Где он — укажи!

Д у л е б *(показывает на Ятвяга)*. Он... наехал, взял оброк с нас. Мы дали сполна: по мере с дыму. А через день — глядим, опять он тут — другажды давай ему оброк. Ну, обидно. Мы не дали. Так он велел нас в кнутья, коих до смерти, коих до крови. Меня, гляди: вон как иссек! *(Поворачивается спиной, начинает спускать порты)*.

Атилла.

Не надо — верю. *(Ятвягу).* Подойди.
Он правду говорит? Гляди в глаза мне!

Ятвяг *(дрожа, стоит молча, прикованный к глазам Атиллы).*

Атилла *(спокойно Ятвягу).*

Пойди, убей себя. Сейчас же!

Ятвяг *(подходит к страже, ему дают нож, он ударяет себя ножом. Падая, кричит).* Атилла — живи и здравствуй! *(Его уносят).*

Дулеб. Ты милостив, князь... и страшен.

Атилла. Не тебе: — неправде. Иди. *(Дулеб уходит. Едекону).*

А, мой топор! Вернулся?
Ну, что в Восточном Риме видел, а?

Едекон. Баб...

Атила. Как баб? А император Феодосий?

Едекон. А вот я тебе скажу: «Кобылу видел», а ты меня тоже спросишь: «Как кобылу? А хвост?»

Атилла. Чудак. Пожалуй, не спрошу.

Едекон. Ну вот. Так Феодосий на бабах растет, как на кобыле хвост, и они им вертят, как хотят. А другие, чтоб походить на баб, вот это самое себе *(показывает)* ножом долой, и голоса у них бабьи, и рожи бабьи — евнухи по их.

Атилла. Ты это видел? Так. Что ж слышал?

Едекон. Имя.

Атилла. Какое?

Едекон. Атилла. Об Атилле, про Атиллу — все, у всех ты в глотке застрял, как рыбья кость: плюются, а кость все там. Только на одного и есть у них надежда, что он сумеет вынуть кость.

Атилла. Кто ж этот лекарь?

Едекон. Аэций.

Атилла.

Аэций? Тот, кому я дал приют,
когда опальный он бежал из Рима?
Мы рядом с ним, бок о бок шли на готов,
в бою он жизнь мне спас — ты видел?
Помнишь?

И мы теперь сойдемся с ним врагами?
Ну что ж: хороший враг — милее друга.

Е д е к о н. Страшен враг не в поле, а в доме.

А т и л л а. О чем ты?

Е д е к о н *(встряхивает мешок).* Об этом. Я принес тебе подарок. Возьми... *(подает Атилле мешок).*

В и г и л а *(послам).* Теперь... смотрите! Смотрите!

А т и л л а *(раскрывает мешок).* Брат, Вледа... ты?

Г о л о с а *(шепотом).* Вледа... Вледа! Вледа!.. *(мертвая тишина).*

А т и л л а *(голове).*

Молчишь? Не слышишь?
Ты помнишь, как с тобой однажды
мы увели отцовского коня
и — в степь, сквозь солнце, травы, пыль?
Ты сзади сел и за меня держался —
и в шею мне дышал теплом —
теперь ты дышишь холодом в лицо...
(молча смотрит).

А помнишь, ты метнул стрелой в лягушку?
Лягушка дергалась, потом затихла,
и ты меня спросил: «Что с ней?»
Ну, что ж с тобой теперь? Затих? Молчишь?
Ты знаешь, что письмо не император,
не Феодосий получил, а я?
(Едекону).
Сперва ты показал ему письмо,
потом ударил топором, ведь так?

Е д е к о н. Да, так.

А т и л л а. И сразу, смаху — он не крикнул даже?

Е д е к о н. Он не поспел.

А т и л л а.

Вот так же мне с плеч голову снеси,
когда увидишь, что как с псами пес
я с Римом снюхался. Ты понял?

Е д е к о н. Понял.

И с л а. Так, так, Атилла! Так!

А т и л л а *(голове).*

Ты тоже понял? Поздно? Ну, прощай!
Мой Вледа, брат, предатель милый...
(Целует голову, закрывает мешок. Едекону).

Чтоб знали все, что он изменник,
чтоб наказали сыновьям и внукам,
чтоб вспомнив ночью просыпались с криком —
пойди и труп его повесь на тын,
да голову в руках пусть держит сам —
стервятникам навстречу — пусть клюют.
Ты слышал? Ну, иди!

(Все замерли. Едекон с мешком отходит от Атиллы).

Вигила *(кидается к Едекону).*

Скажи: ты сам дьявол — или кто?

Едекон. Узнаешь скоро... Гляди твоя...

(Идельгонда, одетая пышно, входит. Садится на скамью).

Атилла *(увидел).* Кто смел там сесть? *(С разных сторон кидаются к Ильдегонде, Атилла останавливает их).*

Ты знаешь наш обычай:
при мне дано сидеть моей супруге.
Ты что ж, со мной спала
и хочешь, чтоб про это знали все?
(Смех).

Ильдегонда.

У вас, быть может, есть обычай,
чтоб женщины зверям давались.
У нас такого нет, ошибся.

Атилла. Пусть стоит! Поднять ее!

(К Ильдегонде подбегают, заставили встать, грубо держат. Вигила делает движение к Ильдегонде. Максимин хватает его за руку).

Ильдегонда *(Вигиле).* Не надо — я сумею сама.

Атилла. Подойди *(Ильдегонда стоит).* Ты что же боишься?

Ильдегонда. Боюсь? До сих пор боялись — меня. *(Подходит).*

Атилла *(смотрит на нее).*

Да, вижу: тебя бояться можно.
Не знал я слова такого: страх,
но так хороша ты, что даже страшно.

Шут Зыркон. А я, князь, на двенадцати языках говорю.

Атилла *(не отрываясь от Ильдегонды).* Умен! Что ж дальше?

Зыркон. А то, что судьба на всех языках бабьего рода.

Атилла.

Судьба? Судьбу согну я, как лук,
тетиву сплету из ее же волос —
судьба моя будет мне служить!

Зыркон. Будешь гнуть — не перегни, а то лопнет, да в лоб... *(Ныряет под скамью. Атилла берет за руку Ильдегонду. Она резко вырывает руку).*

Керка *(все время не спускавшая глаз, бледнея, встает).* Князь, позволь мне уйти!

Атилла *(не слышит, или не слушает. Ильдегонде).*

В лесу волчонка я раз поймал:
теперь он ходит за мной ручной.

Ильдегонда.

В лесу раз волк на меня напал,
его кости я зарыла под сосной.

Атилла.

Хорошо сказала! Так! *(Ильдегонда хочет уйти).*
Подожди!
Ты стоишь того, чтобы при мне сидеть.
Ты хочешь?

Ильдегонда. Нет.

Атилла.

Поняла ли ты, что я тебе сказал?
Ты вспомни: у нас обычай есть...

Ильдегонда. Да, помню.

Атилла. Теперь твой ответ?

Ильдегонда. Нет.

Атилла. Нет, ты скажешь мне — да!

Ильдегонда.

Когда пух утонет, когда камень всплывет,
тогда быть может скажу. *(Отходит от Атиллы).*

Зыркон. Съел молодец тридцать пирогов с творогом, а тридцать-то первый с рыбьей-то костью!

Атилла. Ты замолчишь? *(К Атилле подходит Керка. Керке, глядя на Ильдегонду).* С кем она говорит? Кто он?

Керка.

Позволь мне, князь, уйти к себе.
Я больше не... не могу...

А т и л л а *(не слушает, смотрит на Ильдегонду и Вигилу)*. Кто он? С кем она говорит?

К е р к а. Ее жених — посол из Рима.

А т и л л а.

Жених? Вот что!
Так римлянка она? Не знал!
Ну, римлян я люблю лишь мертвых.

И с л а.

Вот эту речь я узнаю:
Теперь Атилла говорит!

А т и л л а.

Понравилось тебе, старик?
Так вот тебе еще подарок:
пойди скажи ей, чтоб сейчас же
отсюда убиралась вон.
И больше чтобы никогда
не попадалась мне. Не то...
Иди!

(Исла идет к Ильдегонде, грубо выводит ее).

О н о г о с т.

Оно хотя — хоть будто так,
но повернуть — так выйдет эдак.

А т и л л а. Брось жвачку! Говори живей!

О н о г о с т.

Не римлянка она. Ее отец —
король бургундов.

А т и л л а.

Ехидна и змея — одно.
Союзники бургунды с Римом.

О н о г о с т.

Змея — она кольцом, конечно, так...
Но вот и эдак тоже *(показывает руками)*
прямо вроде.
И если клюнет в сердце...

А т и л л а *(задумавшись)*.

Что? В сердце? Да... *(очнулся)*.
Постой... Ты слышишь: что это? Вот?

О н о г о с т *(подбегает к окну)*.

Выезжают в ворота. Она — впереди.
Обернулась... Крикнула... Кони — вскачь
Не видать больше: пылью заволокло...

А т и л л а.

Эй, Едекон! Вернуть ее!
Скачи — не жалей ни коней, ни себя.

Е д е к о н. Уж от меня бы птичка не улетела: ко мне в руки — в капкан. А только я сейчас не могу: не видишь что ли — послы ждут.

А т и л л а. Тебе что за дело до послов?

Е д е к о н. Что за дело? Я обещал послам ... *(тихо)* ... помочь убить тебя.

А т и л л а. Что? Повтори!

Е д е к о н. Убить тебя.

А т и л л а *(молчит. Ужасен. Улыбается)*.

Так вот каких послов к нам шлют!
Ну, император, я с тобой ...
(Едекону).
Дай мне топор! Постой ... не надо ...
Скажи: все трое иль один?

Е д е к о н. Один. Он грамоту тебе подаст.

А т и л л а.

Что ж, примем дорогих гостей — по чину!
Ну, Оногост, зови послов.

(Оногост жестом приглашает послов).

М а к с и м и н *(Приску и Вигиле)*. Идем! *(Идут к Атилле. Атилле)*.

Владыка Скифии! Наш император
как брату шлет тебе привет от сердца ...

А т и л л а. От сердца или в сердце?

М а к с и м и н *(сбитый с толку, остановился. Продолжает)*. ...и он тебе желает долго жить.

А т и л л а.

Еще бы! Знаю! От меня скажи,
что ровно столько ж, ни минуты больше
ему желаю жить. Ты понял?

М а к с и м и н *(опять остановился. Продолжает)*.

По доброте своей наш император
дал беглецам из Скифии приют.

А т и л л а.

Приют для всех, кто с Вледой заодно?
Так, так!

Максимин.

Но ты хотел, чтоб выдали тебе их,
мы привезли их всех до одного.
Не будь суров: согрей их, накорми,
тебя об этом император просит.

Атилла.

Для них мне ничего не жаль — увидишь.
(Едекону).
Их друга Вледы терем опустел,
отвесть туда их . . . *(Максимину).*
Разве я не щедр?
(Едекону).
И в терем к ним загнать быков штук пять.
(Максимину).
Довольно, правда? Но у вас, у римлян,
они отвыкли мясо есть сырьем,
как мы в походах. Что-ж: поджарим мясо.
(Едекону).
Весь терем обложи кругом дровами,
забей покрепче двери — и зажги.
(Максимину).
Не хочешь ли пойти полюбоваться,
как просьбу императора исполнят?

Кмети, Стража. Ха-ха! Ржуй Рим! Так!

Максимин *(Атилле).*

Ты смеешь надо мною издеваться —
над сенатором, над римским послом?
Так я — *(овладев собой, Вигиле и Приску)*
уйдем, пока не поздно.
Я — стар, но еще есть во мне кровь,
и могу . . . я забуду, что я посол . . .
Уйдем . . .

Вигила.

Уйти? Нет, я не уйду!
Письмо император дал,
я должен вручить письмо —
и я должен . . . Пусти! *(Подходит к Атилле).*

Атилла *(вглядываясь в подошедшего Вигилу — медленно).*

Так это должен сделать ты?
Ну, ближе. Ближе, чтоб верней!
Теперь как раз удобно. Правда?

Вигила *(протягивает письмо, рука дрожит)*. Письмо...

Атилла. Ну, что ж еще? Я жду!

Вигила *(держа в руке письмо, другой рукой, под взглядом Атиллы, ищет нож, запутался в складках одежды)*.

Атилла *(спокойно)*. Помочь тебе найти твой нож?

Вигила *(растерянно)*. Мой . . . нож?

Атилла.

Ну да — твой нож. Что смотришь?
Ведь ты хотел меня — ножом? . .

Керка *(кидается между Атиллой и Вигилой)*.

Кмети, Стража *(к Вигиле со всех сторон)*. Ножом! Аррчь его! В клочь! В хрупь!

Атилла. Не тронь! Связать его!

Максимин *(тем, кто вяжет Вигилу)*.

Не сметь! Он — посол! *(Атилле)*.
Скажи дикарям своим,
чтоб не смели оскорблять посла!

Атилла.

Посла? Не посол он — убийца. *(Едекону)*.
Говори!

Едекон *(Атилле)*. Царский евнух сказал о тебе — ты бешеный пес и на кого брызнет твоя слюна — все бесятся и рвут хозяев в клочья. И сказал: если я ему *(на Вигилу)* помогу убить тебя, так император отсыплет мне золота столько, сколько во мне весу. А весу во мне, что в добром медведе. Ого!

Максимин. Бесстыдный варвар, ты лжешь!

Едекон. Лгу? Ах, ты, лысая тыква! Вот кошелек — гляди: на нем зернью нашито имя «Вигила». Это он дал мне купить стражу.

Максимин. Ты выкрал у него кошелек!

Едекон *(быстро нащупав, выхватывает нож у Вигилы)*. А это что? Ага, проглотил язык! *(Атилле, взявшись за топор и показывая на Вигилу)*. Прикажешь его сейчас же?

Атилла.

Постой . . . *(думает секунду)*.
Мальчишку этого — плетьми! *(Вигиле)*.
Прославленным вернешься ты к невесте . . .
Пускай узнает: чем ты кончил подвиг . . .

Вигила. Нет! Нет! Только не это!

Исла *(Атилле)*. Ты лучше бы его убить велел.

Атилла.

Не много ль чести? Да к тому он
посол, ведь жизнь посла священна.
А впрочем, если он... *(Вигиле)*.
Ты хочешь смерти?
Скажи — умрешь сейчас же. Нет? Молчит.
Ну, значит... *(Едекону)*. Что ж: веди его...

Вигила. Будь ты прокл... *(Едекон зажимает ему рот и быстро вытаскивает его)*.

Атилла.

Так вот как мира хочет Рим?
В руках письмо, а за спиною нож?
Послы затем, чтобы нанять убийцу?
Убить меня, чтоб скифов заковать?
(Максимину).
Так пусть он молится — твой император!
Скажи ему — пусть об земь бьется лбом,
пускай торопится считать грехи:
ему недолго жить — идет Атилла...
(Максимин хочет уйти).
Держать его! Чтоб до конца дослушал,
чтоб римляне узнали, что их ждет!

(Приск, оглядываясь, крадучись, пробивается к дверям и выходит).

Максимин. И я живу! О, стыд!

Оногост *(подводя к Атилле послов)*.

Евдокс — посол от галлов.

Посол Галлов.

Леса у нас полны крестьян, рабов,
бегут от римлян, ночью лес живет:
горят костры, куют мечи и пики
и к Риму ненависть в сердцах куют.
Как друга варваров тебя все знают
и как грозу для римлян ждут тебя...

Атилла.

Скажи им, что гроза близка
и скоро хлынет ливень — да такой,
что смоет Рим с лица земли!

Кмети и Стража. Арра! Арра!

Оногост.

Посол от наших родичей-вандалов,
от тех, кто сорок лет назад
с мечом в Гиспанию прошли.

Посол Вандалов.

Король мой Гензерик
прислал сказать тебе, что он готов
ударить в римлян с тыла — ждет тебя.

Атилла.

Скажи, что я уж поднял молот свой,
и так ударю, что в куски Европа!

Максимин. О, Рим! Старик мой Рим — прощай!

Атилла.

Теперь труби, глашатай,
труби на запад, север, юг, восток,
чтоб все от Вистулы до самой Волги
услышали мой клич: вперед на Рим!

Глашатай *(трубит)*.

Все: Арра! Атилла! Атилла!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Внутри Аврелиана, осажденного Атиллой. Зубчатая верхушка городской стены и над ней — верхний ярус башни. Видимая часть (нижнего) яруса башни образует обширную каменную площадку на уровне стены. Весь город чувствуется где-то внизу, виден купол христианской базилики, крыша еще какого-то здания.

Старик раб, Камель, прикованный цепью к башне, вертит точило, точит мечи. Издали — удары тарана, глухой гул боя, крики и вдруг грохот: что-то рухнуло. Камель вскакивает.

Гоур *(вбегает на площадку — Камелю — восторженно)*. Отец! Отец! Отец!

Камель. Гоур, ты? Что случилось?

Гоур. Рухнула-а! Северная башня рухнула! Атилла бил в нее таранами с утра — и она рухнула!

Камель. Значит, настал последний час?

Гоур. Да, последний час! Но не для нас с тобой, не для рабов, а для них — римлян, для короля бургундов — вот для кого! Теперь уж скоро — не знаю: через полчаса, через минуту — Атилла ворвется в город — и тогда мы свободны... *(кричит)*. Сво-бод-ны! Ты понимаешь?

Камель. Тсс... тсссс... не кричи: услышат. Они здесь... они здесь...

Гоур. Кто?

Камель. Дочь короля Ильдегонда и с ней ее молодой римлянин. Гляди: вон они, внизу, они уже подходят к башне.

Гоур. Пусть слышат. Не боюсь: пришло время им нас бояться.

Камель. Смотри, не ошибись. Вспомни: утром глашатай короля кричал, что еще сегодня до заката придет на помощь Аэций с римским войском.

Гоур. Нет, Аэций не поспеет! Нас много — таких, как я. Я сейчас пойду и подниму их всех. Я знаю, у кого ключи от городских ворот: у епископа. Мы пойдем к нему, мы...

Камель *(взглянув вниз)*. Тсс... они идут сюда — скорее уходи. И будь осторожней, будь осторожней! Помни: ты у меня один.

Гоур. Я не один. Нас много — не бойся! *(Уходит)*.

Камель *(вслед ему)*. Мой Гоур... Как он хорош сейчас! Какой огонь в глазах...

(Входят Ильдегонда и Вигила).

Вигила. Ильдегонда... что же делать — что делать?

Ильдегонда. Постой... *(прислушивается. Удары тарана)*. Вот опять... Ты слышишь?

Вигила.

Это новый таран подвезли,
бьют где-то уже недалеко,
вот-вот посыпятся камни —
и Атилла... *(удары тарана)*.

Ильдегонда *(прислушиваясь)*.

Опять! Опять!
Это он — стучит в мою дверь,
это он пришел за мной, —
я знаю!..

Вигила. Мы погибли.
Ильдегонда.
Еще нет.
Но висим мы на волоске:
Аэций с войсками близко,
подоспеет — мы спасены,
опоздает, хоть на минуту —
конец...
(За стеною, издали крики: «Аррчъ. Ао!»)
Вигила.
Что такое?
(Подбегает к зубцам стены,
смотрит перегнувшись).
Это скифы... Стреляют из луков...
Ильдегонда *(тоже смотрит).*
Целят прямо в тебя... Отойди!
Вигила! Вигила!

(Вигила отскакивает от стены. В плече у него торчит стрела. Он выдергивает ее и медленно опускается на землю).

Ильдегонда
Вигила! Я с тобой! Ты слышишь?
Это я! Открой глаза! *(пытается поднять его).*
Кто здесь? Сюда, скорей!
(Звеня цепью, подбегает Камель).
Скорее... помоги расстегнуть...
Подними... снимай... Теперь это...

(Снимают с Вигилы верхнюю одежду, начинают расстегивать нижнюю. Вигила приходит в себя. Камель возвращается на свое место).

Ильдегонда. Он жив! Очнулся!.. Вигила!

Вигила *(отталкивает ее и, запахивая одежду, вскакивает).* Ты видела? Ты видела? Говори!

Ильдегонда. Что видела?

Вигила. Следы на моем теле...
Ты видела их? Говори же!

Ильдегонда.
Какие следы? Постой,
дай рану перевяжу...

Вигила *(обнажая меч).* Отойди! Не касайся меня!

Ильдегонда.

Опомнись, что с тобой?
Скажи, что с тобой?
Скажи, чего ты боишься?
О каких говорил следах?

Вигила *(опуская меч)*. Н-ни о... каких... Я... не... знаю... не помню...

(За стеной отдаленные крики: «Атилла! Атилла!» Вигила хватает Ильдегонду за руку).

Вигила. Ты слышишь — кричат — «Атилла»!

Ильдегонда *(взглянув за стену).*

Он на приступ идет...

Вигила.

Ильдегонда...
Если так случится, что нас
живыми в плен возьмет...

Ильдегонда. Нет!

Вигила.

...умоляю тебя, обещай мне,
что его словам не поверишь,
что его не станешь слушать,
забудешь все, что он скажет...

Ильдегонда.

О чем ты? Не понимаю...
Ты должен мне объяснить...
(Вигила торопливо уходит).
Куда? Постой... ты же ранен.

Вигила.

Стрела только чуть задела...
Меня ждут... не могу...
(Убегает вниз).

Воин-бургунд *(входит).*

Король, твой отец, приказал передать
тебе свой последний привет.

Ильдегонда. Он убит?

Воин-бургунд.

Еще жив, но он бьется сейчас на стене,
откуда никто не уйдет живым:
сам Атилла там — впереди своих.
Как буря дыханьем вздымает волны,
пока не сокрушит все на пути,
так и он. Что же можем мы — против бури?

Ильдегонда.

Ступай... Подожди. Скажи королю,
что если погибнуть ему суждено,
пусть помнит, мой нож всегда при мне.

(Воин-бургунд уходит. Удары тарана).

Ильдегонда *(прислушиваясь).*

Все слышней, все слышнее стук,
Атилла все ближе, все ближе...

Епископ Анниан *(входит. Ильдегонде чаянии).*

Я их люблю... Ведь они живые...
Понимаешь? Живые! Говорят!
Я слышу их голос!

Ильдегонда. Чей голос?

Еп. Анниан.

Моих книг... одиннадцать тысяч книг!
Гляди: это Цезаря манускрипт,
Гая Юлия Цезаря!

Ильдегонда. Ну, так что же?

Еп. Анниан.

Как, что же? Сейчас ворвались,
разбросали все мои книги...

Ильдегонда. Кто ворвался?

Еп. Анниан.

Рабы, солдаты...
Ключи у меня искали,
ключи от городских ворот,
чтобы открыть ворота Атилле...
Гнались за мной по пятам,
сейчас будут здесь... вот: слышишь?
(Крики приближающейся толпы).

Ильдегонда.

Постой.. Дай прийти в себя...
Как злые птицы — беды
отовсюду слетелись, клюют.
(Молчит, потом).
Нет, не сдамся! Слушай, епископ:
ты им скажешь, что Аэций идет,
что он уж близко, он — тут...

Еп. Анниан. Они ждать не хотят.

Ильдегонда. Так заставь их!

Еп. Анниан. Как?

И л ь д е г о н д а.

Угрозами, лестью, чудом,
чем хочешь! Ключи при тебе?

Е п. А н н и а н. Вот они.

И л ь д е г о н д а. Спрячь их подальше.

Е п. А н н и а н. Идут...

И л ь д е г о н д а.

До конца держись!
Я тебя подожду — вон там...
И помни: ни одно твое слово
от меня не уйдет — все услышу.

(Скрывается за башней на другой стороне площадки. Крики толпы слышнее. К еп. Анниану подбегает Гоур, за ним еще несколько рабов и солдат. Двое-трое из толпы появляются на крышах здания, остальная толпа внизу, ее только слышно).

К а м е л ь *(глядя вниз на поднимающегося по ступеням Гоура).* Он! Он — мой Гоур — впереди всех!

Г о у р *(еп. Анниану).* А-а, вот ты где, монах! Ключи! Ключи!

Г о л о с а в н и з у. Ключи! Ключи!

С о л д а т н а к р ы ш е. Мы — бургунды, какого черта дохнуть нам за Рим?

Г о л о с а в н и з у. Верно! Верно! Ключи! Ключи!

Е п. А н н и а н.

Аврелианцы! Дайте мне сказать
последнее. Потом я в вашей воле...
(Толпа затихает).
Смотрите! Вот! Вы видите пергамент?
Ему цены нет. Тысячи таких же
древнейших, драгоценных книг...

Г о у р. Ты опять о книгах? Мы — люди: понял? Мы жить хотим!

Е п. А н н и а н.

Нет, вы хотите, чтобы все погибло.
Терпели вы осаду целый месяц —
и вдруг в последний час хотите сдаться!
В тот час, когда вот-вот придет к нам помощь,
когда Аэций, может быть, совсем уж близко.

Г о у р. Не верьте ему, он лжет — Аэций далеко. Зато Атилла близко — наш Атилла!

Голоса внизу. Атилла! Атилла!

Гоур. Без разговоров — ключи давай!

Голоса. Ключи! Ключи!

(Слышен звук римской букцины).

Еп. Анниан.

Постойте... *(торжествуя).*
Слышите? Трубят! Еще!
Вы узнаете звуки римских труб?
Святая Дева, будь благословенна,
ты чудо сотворила. Это он —
Аэций! *(Гоуру).* Что, солгал я? А, молчишь?
Скорей на башню, кто-нибудь скорее,
оттуда римляне уже видны...

Солдат на крыше. Я иду. И если это Аэций... *(Спускается с крыши).*

Гоур *(в отчаянии).* Нет! Нет! Не верьте!

Голос на крыше.

А вдруг правда? Смотрите: он уже влез.
Он смотрит, он уже, наверное, увидел...
Он сейчас будет говорить! Тише!

Еп. Анниан *(солдату на башне).*

Ты видел? Римляне идут? Ведь так?

Солдат. Да, римляне...

Еп. Анниан *(влюбленно пергаменту).*

О! Ты спасен... спасен!

Солдат.

Но этих римлян, скованных, в цепях, —
чтоб подразнить нас — гонят гунны к стенам.

Еп. Анниан *(закрывает лицо).*

Гоур. Обманщик! Убить монаха! Убить!

(Окружают еп. Анниана. Над головами видна его поднятая рука с пергаментом).

Ильдегонда *(выбегает из башни).* Стойте!

Еп. Анниан. Мои книги! Кни... *(падает под ударами).*

Солдат *(поднимая ключи).* Вот они — ключи!

Голоса. Ключи! Скорее к воротам! Атилла! Атилла!

Ильдегонда. Злодеи! Король прикажет вас всех...

Гоур. Теперь приказывает не король, а я.

Ильдегонда. А-а, ты?

Голоса. Гоур с нами! Веди нас!

Г о у р. Идите, я за вами следом,
только цепь раскую у отца...

Г о л о с а. Да здравствует Атилла! Атилла! Атилла! *(Уходят).*

К а м е л ь *(любуясь Гоуром — восторженно).* Мой Гоур! Мой Гоур!

Г о у р. Поставь ногу сюда, скорее.

К а м е л ь. Ты рожден, чтоб вести за собой народ.

Г о у р. У меня будто выросли крылья,
мне кажется, — сейчас полечу...

(Нагнувшись, начинает расковывать Камеля. Ильдегонда подходит сзади, вынимает свой нож).

И л ь д е г о н д а *(ударяя ножом Гоура).*
Лети, подлый раб, изменник!

К а м е л ь. Мой мальчик! *(Хватает один из груды мечей, кидается на Ильдегонду).* Ты проклятая! *(Цепь мешает ему приблизиться к Ильдегонде, отошедшей на несколько шагов).* А-а... не могу... Ушла... *(в сторону Ильдегонде).* Все равно: ты не уйдешь — ты не уйдешь — ты не уйдешь от меня! Помни!

(Ильдегонда по другую сторону башни обессиленно опускается на каменную скамью. В руке нож, смотрит на него неподвижно. Появляется Марулл).

М а р у л л. Ильдегонда, я тебя ищу повсюду... Спрячь, спрячь меня! *(Она в той же позе).* Разве ты меня не узнаешь? Я — Марулл, придворный поэт, я столько раз слагал оды в честь короля, твоего отца, и в честь тебя.

И л ь д е г о н д а *(очнувшись).*
Ты видел отца? Ты видел?
Что с ним?

М а р у л л.
Я видел, как этот бешеный зверь —
Атилла — пустил в него стрелу:
твой отец пал мертвым... Спрячь меня!

И л ь д е г о н д а.
Так Атилла убил моего отца?
Хорошо! Не забуду!

М а р у л л. Спрячь меня!

И л ь д е г о н д а. Уходи!

(Марулл прячется за выступ башни. Слышны крики и боевая песня гуннов где-то близко).

Ильдегонда *(прислушиваясь).*

Это гунны! Это они! Это он!

Вигила *(вбегает).*

Им открыли ворота... Он — здесь!
Атилла — здесь! Ильдегонда,
все кончено...

Ильдегонда.

Нет.
Скорей, пока не поздно — в башню...
быть может, там нас не найдут...
железная дверь — крепка...
быть может Аэций успеет...

Вигила. А если — нет?

Ильдегонда. Так успеем мы... умереть...

(Пробегает мимо Камеля, подслушавшего их разговор, и по ступеням вниз. Марулл торопливо пишет что-то).

Камель. Так! Волки в капкане... *(нагибаясь к Гоуру).* Теперь тебе уж недолго ждать... Они в капкане, в капкане, в капкане!..

(С противоположной стороны на площадку башни поднимается Атилла, с ним Исла, Едекон, Зыркон, два-три воина).

Исла. Ну, вот, Аврелиан у наших ног:
Любуйся! Что ж молчишь? Куда ты смотришь?
Как будто ищешь ты еще врага?

Атилла. Ты прав: ищу.

Исла. Кого же?

Марулл *(появляется).*

Атилла, ты! Тебя искал я всюду!

Атилла. Зачем?

Марулл.

Затем лишь только, чтоб сказать:
привет тебе, Атилла, богоравный...
Что я? — все боги перед тобой — мальчишки!

(Зыркон начинает шапкой мести перед Маруллом).

Атилла *(Зыркону).* Ты это что затеял, шут?

Зыркон. А разве ты не видишь — он на брюхе сейчас поползет, так чтобы не замарался... *(смех).*

А т и л л а. Оставь... *(Маруллу).* Еще что скажешь?

М а р у л л.

Я оду написал. Дозволь прочесть, —
тогда могу я умереть спокойно.

А т и л л а. Чтоб умереть спокойно — что ж, читай.

М а р у л л.

Рим, трепещи! Слышишь звяк, слышишь гул,
слышишь топот с Востока?
Гунны могучие мы — мы несемся,
как буря на Запад.
Гунны могучие мы...

А т и л л а. Скажи-ка: а давно ты гунном стал?

М а р у л л. Сегодня... Нет: вчера...
Что я — с неделю!

А т и л л а.

Ты старый гунн! Такие нам нужны...
(Едекону).
Ты завтра в бой его пошлешь на римлян,
да в первый ряд, пусть там себя покажет.

(Марулл пятится и кидается наутек).

З ы р к о н. Ага, живот схватило!

В о и н ы. Сра!.. Ха!.. Хо!.. Хухусь! *(бегут за Маруллом).*

А т и л л а.

Оставьте! Или мало вшей у вас, —
Еще одну хотите завести?
Идем!

К а м е л ь. Постой! Не уходи!

А т и л л а. Чего ты хочешь? Кто ты?

К а м е л ь. Римский раб.

А т и л л а.

Пора забыть, что был им. Встань, старик!
(Одному из воинов).
Сейчас же расковать его.

К а м е л ь.

Зачем не видит этого мой сын?
Зачем? Как он любил тебя, как ждал!
И вот, смотри — дождался...

А т и л л а. Убит? Скажи мне, кто убил его?

Камель.

Ты обещаешь мне его убийцу,
чтоб я смог сам — вот этой вот рукой...
Ты обещаешь? Ты — Атилла?

Атилла.

Да, обещаю, Ты его получишь —
Скажи, кто он?

Камель. Она, она здесь — в этой башне.

Атилла. Говори же скорее: кто?

Камель. Ильдегонда.

Атилла *(схватив Камеля).*

Ты сказал... Ильдегонда? Там?

Камель. Да...

Атилла. В этой башне? Дверь... где дверь?

Камель. Железная дверь — внизу.

Атилла *(кричит вниз).*

Это я, это я — Атилла!
Двери в башню ломай живей!
Топоры! Таран сюда!
(Всем). За мной!

(Все быстро уходят. Остается только воин, расковывающий Камеля).

Камель.

Сейчас, Гоур... сейчас... Лежи спокойно.
Еще минута — и им конец, конец, конец!
(Уходит вниз вместе с воином Атиллы).

Голоса внизу. Ао! Бей! Аррчь! *(удары топора).*

(На башне, на самом верху, появляются Ильдегонда и Вигила).

Вигила.

Они знают, что мы здесь — они знают!
Топорами бьют в дверь — ты слышишь?

Ильдегонда.

Пока держится дверь — есть надежда...

Вигила. Снизу видно... Уйдем отсюда!

Ильдегонда. Все равно... Никуда не уйдешь.

Вигила. Смотри, таран несут!

Ильдегонда.

Таран? Значит, нам конец....
Теперь минуту жить...
Сейчас Атилла ворвется...

Вигила.

Я знаю, он расскажет тебе...
Но ведь ты ему не поверишь, —
не поверишь ему? Обещай!

Ильдегонда.

О чем ты? Скажи, пока не поздно.

Вигила.

Чтоб я тебе... сам?
Никогда! Скорее умру!

Голоса внизу. Бей! Гой! Хрряс! *(Удар. Треск).*

Ильдегонда. Пора... Вот... Возьми! *(Дает ему свой нож).*

Вигила. Что ты? Чего ты хочешь?

Ильдегонда.

Ты любишь меня? Да?
Так направь мне нож в сердце:
ты биться его заставлял
и ты остановишь.

Вигила. Нет! *(Внизу удар, треск).*

Ильдегонда *(раскрывая платье).*

Дай руку... Мою грудь — узнаешь?
Ты хочешь, чтобы другой
коснулся меня вот так?
Ты видишь: шатер, ночь...
белеют колени во тьме...
Это я — на ложе Атиллы...

Вигила. Дай мне нож! *(Поднял. Опускает).* Нет! *(Внизу удар, треск, что-то падает).*

Вигила *(взглянув вниз).* Ворвались! Ильдегонда...

Ильдегонда.

Сейчас от Атиллы узнаю
о тебе всю правду...

Вигила.

Нет!
Не узнаешь! *(поднимает нож).*
Глаза... не могу...
Отвернись... Теперь — прощай...

(На верх башни врываются Атилла, Едекон, Исла, Камель и несколько воинов-скифов).

Атилла. Аррчь, аррчь их!

Другие. Аррчь!

(Короткая схватка. Вигила пытается защищаться ножом. Едекон обезоруживает его, скручивает ремнем руки, засовывает за ремень нож).

Едекон *(Вигиле с издевкой)*. Держи крепче, пригодится: я этим ножом пощупаю у тебя сердце.

Вигила. Ты... гнусный предатель! Палач!

Едекон. Та-ак? Ну, я заклепаю тебе рот *(затыкает ему рот полой его одежды. Атилле, который держит Ильдегонду)*. Давай девку скручу!

Атилла *(не отвечая ему, Ильдегонде)*.

Когда ты вот так, стиснув зубы, стоишь
и глаза свои мечешь в меня, как копья,
ты еще прекраснее — слышишь?
(Ильдегонда пытается закрыть грудь).
Зачем? Все равно ведь ты моя:
Захочу, так увижу тебя всю.

Ильдегонда. Ты убил отца... Берегись...

Атилла. Ха-а! Мне бояться тебя?

Едекон *(подняв топор)*. Дай-ка я ее... вернее бы дело.

Камель. Она — моя! Он обещал ее мне!

Исла *(посмотрев вниз, Атилле)*.

Кончай с ней скорей. Пора!
Там в городе что-то случилось,
кричат и сюда бегут...

Едекон *(с поднятым над Ильдегондой топором, Атилле)*. Прикажи!

Воин-скиф *(запыхавшись, вбегает наверх башни)*. Аэций!.. Аэций! Римляне!

Камель *(Атилле)*. Она моя! Ты обещал!

Атилла *(Камелю)*.

Молчи! Сейчас нет ни тебя, ни ее:
Есть только римляне и я...
(Отстраняет Ильдегонду).

Исла. Так, князь! Вот — теперь — это ты!

Атилла *(Исле)*. Выводи из города всех — скорей!

Исла. Как? Уходить?

Атилла.

Не в клетке, в поле мы примем бой,
на равнинах Каталауна, завтра
с Аэцием встреча. Рим — или мы!

(Уходят, уводя Вигилу и Ильдегонду. Мгновение сцена пуста, слышен мерный топот, звуки римских букцин. Затем на площадке появляется Центурион, с ним несколько римских воинов. Увидели труп епископа Анниана).

Центурион *(кричит вниз).* Аэций — сюда! Сюда!

Аэций *(нагибается над трупом еп. Анниана).*

Как? Епископ Анниан? Убит?

Центурион. Король тоже. Ильдегонда в плену.

Аэций. Мы... опоздали...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ночь после Каталаунской битвы. Лагерь Атиллы. Поставленные в круг грубые скифские телеги, крытые дубом. Впереди с закрытой занавесью — ве́жа Атиллы. Перед ве́жей на страже Едекон с топором. Входит Атилла.

Едекон *(бросается к нему, ощупывая его, трется головой, радостно рыча, как большой пес).* Гу-у-у? Гу-у-у!

Атилла. Ну что, что?

Едекон. Ты живой, живой вернулся! Я все стою и думаю: а ну, как его принесут... А ты вот — живой! *(берет у Атиллы щит, вглядывается).* Кровь... Чужая или твоя?

Атилла. Не знаю. Ильдегонда там? *(Показывает на вежу).*

Едекон. Там.

Атилла. Говорила с тобой?

Едекон. Нет, молчит. Только раз спросила о нем.

Атилла. О ком?

Едекон. Да об этом... О Вигиле. Я сказал шутки ради, что снес ему голову топором.

Атилла. А она?

Едекон. Молчит, как земля, как ночь.

Атилла. Так. Ислу или Оногоста не видел?

Едекон. Нет.

Атилла.

Я их потерял в темноте.
Не знаю: уцелели в бою, или погибли.
Если живы — скажи, пусть придут сюда.

(Едекон уходит. Выйдя из темноты, недалеко от Атиллы появляется Камель).

Атилла.

Кто ты? Подойди поближе. Еще...
Я тебя уже видел где-то... Где?

Камель.

На башне в Аврелиане... или уж забыл?
Ты тогда обещал мне...

Атилла. Молчи! Уходи! Я помню: доволен?

Камель. Я подожду...

(Отходит в сторону и дальше все время, как тень, следует на некотором расстоянии за Атиллой).

Исла и Оногост (входят).

Живи и здравствуй!

Атилла.

Целы? Ну, скорее, —
скорее скажите кто: они или мы?
Кто: Рим или Скифы — чья победа?
За кем Каталаунские поля?

Исла.

Такого боя и я не запомню.
К закату словно жнец по полю,
снопами люди, головы — колосья,
и солнце — голова, в крови — скатилась.
Темно. Где недруг — все смешалось,
ни зги не видно. Сразу бой затих —
и римляне в свой лагерь отошли,
а мы вернулись в свой.

Атилла. Так, значит, кто же? Кто?

Оногост.

Ударь, попробуй билом в доску:
доска качнется — и отскочит било,
туда — сюда. Вот так и тут.

Атилла.

Нет, тут не так! Или ослеп, не видишь:
доска и било, Запад и Восток,
Империя и мы — столкнулись насмерть,
и в щепки разлетится то иль это!

Оногост. Аэций там, поди-ка разлетись...

Атилла.

Опять Аэций поперек дороги!
Был слух, что ранен он. Не знаешь, правда?

О н о г о с т *(уверенно)*. Да, ранен. Ка-ак же знаю!

А т и л л а. Куда?

О н о г о с т. Куда? Э... э... э... *(торопливо тычет себя пальцем в глаз, шею, в грудь)*. Э-э... сюда вот *(показывает на пуп)* — в глаз..

А т и л л а. Заврался! Помолчи.

И с л а. Ты слышишь?

А т и л л а. Ветер? Слышу — воет.

И с л а. Нет, там у римлян. Слушай: вот опять.

(Издали слышно погребальное пение и вопли).

А т и л л а.

Как будто тризна? Плачут и поют...
Что б это значило? Не знаешь?

И с л а. Нет.

Е д е к о н *(входит, ведя за собой связанного Ефиопа)*.

Вот пленный. Куда его велишь?

А т и л л а. Как пленный? Пленных, я сказал, не брать!

Е д е к о н. И не брали. А этот сейчас сам свалился к нам в темноте, как муха в квас.

А т и л л а *(оглядывая Ефиопа)*.

Из римской Африки похоже.

Е д е к о н. Ефиоп.

Е ф и о п *(плохо говорит)*. Да, да. Я — Рим нет...

А т и л л а.

Ну, этак скоро римляне на нас
и обезьян погонят... *(Едекону)*. Уведи
и накорми его. *(Снова пение и плач)*.
Опять? *(Едекону)*. Постой-ка.
(Ефиопу).
Ты слышишь? Там поют. Хоронят, умер, —
ты это понимаешь: у-мер?

Е ф и о п. Умер... да, да *(зажмурившись, кладет щеку на ладонь)*.

А т и л л а.

Вот, вот. Так кто же умер там?
Ты слыхал? Не знаешь кто?

Е ф и о п. Большой самый... их большой самый... Да-да!

А т и л л а. Аэций?

Е ф и о п. Да-да! Да-да!

Атилла (*возбужденно*).

Вы слышите? Аэций мертв!
Теперь уж Рима не спасет никто.
Победа наша! Победили мы!

Едекон. Арра! Издох Аэций! Арр... (*подавился под взглядом Атиллы*).

Атилла.

Молчи! Последний римлянин погиб...
Мой самый верный... враг и друг.

Исла (*прислушивается*). Все громче воют...

Оногост.

Глянь-ка, глянь...
Зажгли костер. Идем, посмотрим.
(*Исла и Оногост уходят*).

Атилла (*Едекону*). Отойди, стой там. И чтобы никто — никто не смел сюда... понимаешь?

(*Едекон отходит. Атилла отдергивает занавес вежи, входит туда*).

Ильдегонда (*отшатнувшись*). Ты?

Атилла.

Да, я. Я и ты. Мы — вдвоем,
в первый раз — одни, наконец.

Ильдегонда. Зачем ты пришел?

Атилла.

Чтоб сказать: не найдется больше —
он умер... (*радостно*). Ты слышишь — он умер!

Ильдегонда.

Нет, убит! Это ты приказал
топором ему голову... (*останавливается*).

Атилла.

О ком ты? Умер Аэций,
и его хоронят сейчас,
зажжены костры, поют...
Теперь наша победа, я знаю!
Теперь я весь мир вспашу,
мечом вспашу глубоко!
Чтобы богатый взошел посев,
небывалый, новый, мой!
Как вином, я победой пьян —
я полон — хочу одного:
взойди на ложе скорей
и собою меня напои,

чтобы жизнь — через край,
чтобы — как половодье,
чтобы — э-эх!

(Хочет обнять Ильдегонду).

Ильдегонда.

Ты убил отца, ты убил Вигилу —
не подходи!

Атилла.

Вигилу? Ты о нем?
Ты его еще любишь? Я, значит, ошибся:
ты совсем не горда. Или ты уже забыла
про подвиг его, когда он был послом?
Про подвиг, о каком будут петь не скальды,
а шуты в колпаках...

Ильдегонда. Подвиг? Шуты?.. Что ты хочешь сказать?

Атилла.

А-а, вот что! Он скрыл — не сказал тебе —
струсил.
Бледнеешь? Не в бровь, прямо в глаз попал?
Ну, будет потеха! *(Едекону).* Вигилу сюда!

Ильдегонда. Ви... Вигилу? Он жив! Говори же!

Атилла. Он сам тебе скажет сейчас... подожди.

(Едекон вводит Вигилу).

Ильдегонда. Вигила!

Вигила. Ты! Ильдегонда моя!

Атилла.

Нет, моя! *(Едекону).* Стань там между ними.
Ну, римлянин, время долги платить.
Теперь ты расскажешь все, как было.

Вигила *(в ужасе).* При ней? Нет! Пощади!

Едекон. Ха! Попал карась на сковородку!

Ильдегонда. Вигила!

Атилла *(Вигиле).* Молчишь? Так я начну сказку...

Вигила. Нет!

Атилла *(не слушая).*

Ко мне он явился в посольской шкуре
и убийц нанимал меня убить.
Так было?

Вигила. Да.

Ильдегонда.

Как стало легко мне...
(Атилле). Он бы мир избавил
от чумы, от чудовища — от тебя!
Вигила, тебя я люблю еще больше...

Атилла.

Не спеши, еще не кончена сказка.
Я дал ему выбор: или смерть или — что...
Нет, мне не поверишь. Пусть кончит сам.
(Вигиле) Молчишь? Еще раз тебе выбор даю:
вот этот топор *(на топор Едекона)*
или скажешь все.

Вигила *(с мучительным усилием):*

Я выбрал... тогда... *(замолкает).*

Атилла.

Ну, смелее!
Я вижу, он скажет сейчас.
(Едекону). Он знает, не шутка твой топор...

Вигила. Я... Я...

Ильдегонда *(обрывая).* Вигила! Стой!

(К веже подходит Оногост, с ним римлянин в низко надвинутом шлеме, плаще. Останавливается у входа в вежу, ожидая, пока Атилла кончит).

Атилла *(Ильдегонде).*

Посмотри: голова в твоих руках.
(Ильдегонда невольно смотрит на свои руки).
Его голова... *(на Вигилу).* Узнаешь?
Захочешь — он будет жить,
не захочешь — воля твоя.

Ильдегонда *(Вигиле медленно).*

Если то, что ты скажешь... если это...
Взгляни мне в глаза...
(Вигила не поднимает глаз. Решительно).
Нет — молчи! Молчи! Молчи!

Атилла.

Ты решила? *(Вигиле).* И ты решил?
Едекон, уведи! Он твой,
и как только взойдет заря...
Ты понял?..

Едекон. Эх... заодно бы? *(Уводит Вигилу. Римлянин, которого привел Оногост, провожает Вигилу взглядом).*

Атилла (*Ильдегонде*).

Ну, слушай. Я за него расскажу,
хочешь верь, не хочешь —не верь.
Он выбрал быть высеченным плетьми,
мог выбрать смерть.

Ильдегонда. Лжешь!

Атилла. Быть может.

Ильдегонда.

Так вот о каких следах на теле
он тогда говорил... Так вот почему
он рану мне не хотел показать...

Атилла. А-а, веришь?

Ильдегонда.

Нет... да... Будь ты проклят, гунн!
Ты мне яду подлил в любовь, —
но жива я еще... Берегись!

Атилла. Берегись лучше ты: я вернусь...

(Закрывает занавес, выходит).

Оногост (*Атилле*). От римлян пришел перебежчик — вот — хочет говорить с тобой.

Атилла. Так. Еще что скажешь?

Оногост. Вернулись с поля счетчики убитых.

Атилла. Ну, сколько? (*римлянину*). Подожди.

Оногост (*на римлянина*). При нем?

Атилла. Не все ль равно? Мы победили.

Оногост.

Не знаю. Ровно по сту тысяч
осталось в поле — их и наших.

Атилла.

Сто тысяч наших? (*молчит*). Но один Аэций
ста тысяч стоит. Я спокоен.
Аэций умер — Рим без головы.

Римлянин. Аэций умер?..

Атилла (*римлянину*).

Как? Ты оттуда и не знаешь?
Странно! Кто ты?

Римлянин. Кто я — скажу наедине.

Атилла (*Оногосту*). Уйди! (*Оногост уходит*).

(Римлянин распахивает плащ, поднимает шлем. Это — Аэций).

Атилла. Аэций — ты?

Аэций. Да, я.

Атилла. Ты... ты жив?

Аэций. Как видишь.

Атилла.

Но сам слыхал я погребальный хор
и плач по тебе, и пленный сказал нам...

Аэций.

Король визиготов — Теодорик
от ран скончался, его хоронили.
А я, прости мне! — что делать? — жив.

Атилла *(в бешенстве)*.

Ты смеешься надо мной... ты смеешь?
Ты подслушал, как я о тебе говорил?
Я могу повторить: ты ста тысяч стоишь,
и одним ударом меча сейчас
сто тысяч голов с твоих плеч долой!
На — меч, защищайся!

(Отстегивает меч с правого бока, бросает Аэцию. Вынимает меч из левых ножен, нападает).

Аэций *(не поднимая меча, отступает).*

Атилла. Меча моего боишься? Уходишь... Трус!

Аэций *(в один прыжок хватает меч, вытащил, опять бросил).*

Когда-то давно ты мне дал приют,
не могу на тебя руки поднять.
Если можешь — убей, не двинусь!

Атилла *(замахнулся мечом, колеблется, опустил).*

Прости, дай руку. Я рад, что ты жив,
не забыл я, как жизнь ты мне спас в бою.
Говори, зачем пришел ко мне?

Аэций.

Ты знаешь сам: сейчас победа
пока ничья. Не хмурься: верно.
Так вот пришел я предложить —
уйдем домой, и ты, и я,
уйдем, пока еще не поздно.

Атилла.

Как? Мне — теперь уйти?
Уйти и мир оставить прежним?

Аэций.

А разве не прекрасен мир?
Поедем в Рим со мной — увидишь:

под синим небом белые дворцы,
в дворцах поэты, флейты, пурпур, смех,
вино, огни, картины, книги, мрамор...
Под пурпурными парусами Рим
плывет галерой, полною сокровищ,
и хочешь ты ее пустить ко дну?

Атилла.

Ты только вверх глядишь, на паруса:
взгляни-ка вниз! Взгляни и ты увидишь —
глаза сверкают волчьими огнями,
и люди на цепи, как псы, как звери,
всю жизнь гребут, согнувшись...
Впрочем, что ж:
ведь там не римляне, не люди — значит —
о них зачем и говорить!

Аэций.

Нет, будем говорить: о людях,
о них забыл не я, а ты!
Сто тысяч мертвых там уже лежат,
сердец, дыханий, глаз, отцов, мужей,
сто тысяч жизней — или это мало?
Иль хочешь ты их миллионы?

Атилла.

Нет, я хочу, чтоб жили все.

Аэций.

Так, значит, мир?

Атилла.

Нет, до конца война.
Ты слышал: я хочу, чтоб жили все.
Теперь живут твои сто тысяч римлян,
а миллионы их везут в галере
и дохнут там, внизу... Ты понял...
хочу, чтоб жили и они.

Аэций. И это твой ответ?

Атилла. Да.

Аэций.

Ну, что же, значит, встретимся в бою...

Атилла.

Прощай! *(Издали неясные крики).*
Постой, неладно что-то...
Проснулись в лагере, кричат...

О н о г о с т *(входя)*. Ну, совсем взбеленились! Взбрело им в башку будто тут, в нашем стане, Аэций... Я и так и эдак, никак: пойди, уйми их.

А т и л л а.

Сейчас приду... *(Оногост уходит).*
(Аэцию). Вот мой перстень:
его все знают, кто его покажет,
того пропустят... Иди немедля.

(Уходит. За ним тенью Камель. Аэций отдергивает занавес вежи. Камель возвращается и прячется около вежи).

И л ь д е г о н д а. Аэций, как ты сюда попал?

А э ц и й *(торопливо)*. Вот перстень Атиллы. С ним пройдешь, тебя пропустят. Накинь мой плащ — и беги скорей, пока он не вернулся.

(Камель, высунувшись, прислушивается, сейчас прыгнет, нож в руке).

И л ь д е г о н д а *(накинула плащ, колеблется).*

Нет, возьми.
(Она отдает перстень и плащ Аэцию).
Я не раньше уйду,
чем Атилле все заплачу сполна
за себя, за отца, за Вигилу, за Рим.

А э ц и й.

Он вернется и бросит тебя на ложе.
Ведь ты безоружна. Он сильней...

И л ь д е г о н д а.

А змея безоружна? Я буду змеей:
раздвоится, станет змеиным язык.
Из себя я улыбку выжму, как яд...
Я сумею его обмануть...

(Камель скрывается).

А э ц и й *(увидев вдали Атиллу — Ильдегонде).* Атилла! Говори скорее: ты хочешь, чтоб жил Вигила — или чтобы он умер?

И л ь д е г о н д а.

Чтобы... Нет! Чтоб он молчал!..
чтобы жил!.. Подожди!

(Аэций задергивает занавес, быстро уходит. Возле вежи — Атилла, перед ним Камель).

К а м е л ь. Остановись, ты должен узнать...

А т и л л а *(с угрозой)*. Отойди от меня. Слышишь?

(Камель отходит в сторону. Атилла входит в вежу).

Ильдегонда. Вигила еще жив?
Атилла *(сурово).* Да, но умрет. Скоро.
Ильдегонда.
Скорее! Скорее! Скажи, чтоб сейчас же!
Атилла.
Я сказал — на заре.
Ильдегонда.
Я хочу, чтоб не жил ни минуты!
И его я могла любить?
Атилла *(понемногу меняя тон).* А теперь?
Ильдегонда. Ненавижу!
Атилла. И любишь? Мне это знакомо.
Ильдегонда. И мне.
Атилла. И тебе? *(вглядывается, резко).*
Довольно. Ложись!

(Камель незаметно подходит к веже).

Ильдегонда.
Ты хочешь сделать так,
чтоб только ненавидела я?
Атилла. Я другого не жду. Я не слеп.
Ильдегонда. А если?..
Атилла. Ты вьешься, змея, лжешь!
Ильдегонда *(скорее с угрозой).*
Попробуй, поверь . . .
Атилла.
Ты грозишь или просишь?
Ильдегонда.
А ты разве не слышишь?
Или ты еще не понял:
только двое равных —
это ты и я.
Атилла.
И с тобой мы — враги:
Рим и ты — для меня одно.
Ильдегонда.
Одно? Да так ли?
А если тебе скажу:
хочу с тобой рядом сидеть?
Атилла.
Вот как? Что ж случилось?

Ильдегонда.

То, что я все узнала,
то, что его, Вигилу,
как гнилую занозу — вон
из сердца я вынула. Понял?

Атилла (*к ней*). Так дай же...

Ильдегонда. Нет!

Атилла. Нет?

Ильдегонда.

Не наложницей быть хочу: женой:
Когда мы с тобой отпразднуем свадьбу...

Атилла. Тогда?

Ильдегонда.

Тогда обниму тебя так,
что ты задохнешься,
целовать буду так, что ты сгоришь!

Атилла (*молча, пристально глядит на Ильдегонду, потом*).

Если так, то клянусь тебе,
что б ни было, что б ни случилось,
ты будешь моей женой.
Мое слово — крепко, как меч.

Ильдегонда. Знаю.

Камель (*войдя в вежу, трогает за плечо Атиллу*).

Атилла (*обернувшись, бешено*).

Ты опять? Ты дождешься, что я...

Камель. Ты кладешь себе в постель змею.

Атилла. Ты смеешь?

Камель ...когда ты уходил, я слышал, как она с тем римлянином...

Атилла. Что? Говори!

Камель ...она сказала ему, что сумеет тебя обмануть, что сумеет тебя... (*Замолкает под взглядом Атиллы*).

Атилла (*поворачиваясь к Ильдегонде*). А-а... Так? (*Медленно вынимает из ножен меч, глядя на Ильдегонду*).

Камель. Нет, ты мне обещал.

Атилла. Возьми ее! (*Камель вынимает нож*).
Не здесь, уведи...

Ильдегонда (*Атилле*).

Так вот как ты слово держишь?
Ты только что клялся мне — уж забыл ты? —
что б ни было, что б ни случилось...

Атилла. Молчи!

Камель. Ты мне обещал!

Атилла *(молчит. Потом Камелю).*

Останься здесь. Но если ты
ее тронешь только... Слышишь?

Камель. Да.

(Атилла выходит из вежи. Стоит снаружи, тяжело дыша. Недалеко — огромный камень).

Атилла *(подойдя к камню).*

Не сдвинуть? Сдвину!
Не сдвинуть? Сдвину!
(Налег руками, плечом, камень покачнулся).
Неужели то, что во мне — тяжелей?

Шут Зыркон *(появляется, молча смотрит, подходит).* Что землю захотел повернуть?

Атилла. Поверну.

Зыркон. А себя не можешь? Зацепило?

Атилла.

Ты мудрее всех — так слушай:
пополам рассечено сердце,
два сердца бьются во мне сейчас,
и каждое сердце враг другому.
Одно хочет убить...

Зыркон. Другое — обнять.

Атилла *(показывая на Ильдегонду и Камеля в веже)*

Я ей дал свое слово сейчас,
что она будет моей женой,
а ему дал слово...

Зыркон. При мне. Я помню. А ты, как Оногост — знаешь: и так, и эдак...

Атилла. Как?

Зыркон. Пусть станет твоей женой, а после отдай, кому обещал.

Атилла. После?

Зыркон. Да *(показывая на камень).* А только... после-то силы хватит сдвинуть?

Атилла *(нахмурившись, молчит. Потом).* Ислу позови... *(подойдя к веже).* Выходите!

(Выходит Ильдегонда и Камель. Зыркон привел Ислу).

Атилла *(Исле — на Ильдегонду).*

Ты отправишь ее домой... — ко мне —
сейчас же. И пусть все готовят — к свадьбе.

Исла (*оторопело*). Как?

Атилла. Ты слышал. Исполни!

Камель. А я?

Атилла. Ты ее получишь после...

Камель. Я подожду.

Атилла (*Ильдегонде*).

Ну, милая невеста, на прощанье
Получишь свадебный подарок от меня.

Голоса (*издали*). Ао! Рыщь! Ао! Рыщь!

Атилла. Что там еще? (*Вбегает Едекон. Ему*).
Ты кстати. Видишь? —
заря. Иди к нему, кончай —
и голову его пошлешь...

Едекон. Ч... чью голову?

Атилла (*громко*). Как чью? Вигилы.

(*Ильдегонда вздрогнула. Крики вдали слышнее*).

Едекон. Его сейчас... там — слышишь?

Атилла (*бешено*). Что? Ну?

Едекон. Не гневись: его еще, гляди, поймают...

Атилла (*еще бешеней*). Как, он убежал?

Оногост (*взобравшись на телегу, глядит*). Глядите, вон он, вон он!

Едекон (*Атилле*). Ты сам же его отпустил?

Атилла. Я? Его? Ты спятил?

Едекон. Он твой перстень показал часовому.

Атилла. Я перстень дал не ему.

Едекон. А кому же?

Атилла. Аэц... А этот перебежчик римский — где он?

Едекон. Часового в брюхо и поминай, как звали.

Атилла. Так — оба? Обоих догнать! В куски!

(*Едекон убегает*).

Голоса (*где-то внизу*). Ао! Аррчь! Рыщь! Зде! Пугу! Пугу!

Атилла (*Оногосту*). Ну, что же? Что там? Говори!

Оногост (*с телеги, погоне*). Лево! Лево! Туда! Туда!

Атилла. Ты слышишь? Отвечай! Оглох?

Оногост.

Вон — там — чуть видать! Похоже — Вигила.
Или нет — другой... Вигила!.. Нет...

Ильдегонда (*в стороне, напряженно прислушивается*).

Атилла (*топает*). А, сыч слепой! Да кто же?

Оногост.

Вот наш догнал — схватились...
Да сверху — сверху! Не так!
Эх, вырвался из рук...
Ну, конец!..

Атилла. Что? Что?

Оногост.

От римлян скачут...
Вот — вот! Подхватили. Обоих...
Готово! Не догнать!

Ильдегонда (*Исле в сторону*). Теперь идем.

Атилла.

Ну, что же, прощай, невеста. Жди.
У нас с тобой еще не кончен счет..

Ильдегонда. Не кончен — нет!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Палата Атиллы. Та же, что в первом действии, или другая. Свадебное столование. На возвышении стол. В голове стола — Атилла и Ильдегонда, по левую руку Атиллы — Керка; дальше Исла, Оногост и еще несколько ближних кметей. Столованье уже к концу, многих разобрал хмель. Посредине палаты Кобзарь кончает сказ.

Кобзарь. И походу конец. А сказу конца нет.

Голоса. Слава! Князю с молодой — честь! Атилла! Атилла!

Едекон (*охмелев, обнимает и целует свой топор*). И-их, родной, погуляли мы с тобой! (*Кобзарю*). А, врешь ты про тыщу лет. Не вернутся наши времена.

Кобзарь. Ты вином сыт?

Едекон. Во — по сих пор!

Кобзарь. А завтра проспишься — будешь пить?

Едекон. И-их, буду!

Кобзарь. Так и земля: через тыщу лет проспится — опять красного пить захочет.

Зыркон (*Едекону*). Не тужи: были бы ножи, а бараны найдутся.

Едекон. А я — не я! *(Сам удивился и замолк. Хохот).*

Кобзарь. Эх ты, топор соскочил с топорища!

Едекон. А-а, ты мне поперек говоришь? Ты за римлян? Бей римлян... *(хватается за топор).*

1-й Кметь *(старик).* Тише, дурак. Или не знаешь: молодая-то сама, говорят, из римских...

Чашник *(подносит Кобзарю чашу).* Просят тебя князь с молодой княгиней чашей вина.

Кобзарь *(взяв чашу — молодым).* Чтоб вам всю ночь спать невмочь, чтоб игра до самого утра. *(Хохот).*

1-й Кметь *(второму).* Игра-то игра... да будет ли весела?

2-й Кметь. Что так?

1-й Кметь. Да ты на молодую погляди — в бровях туча, то и гляди гром грянет.

Чашник *(подносит чашу Керке).* Просят тебя князь с молодой княгиней чашей вина.

1-й Кметь *(второму).* Глянь, глянь, это его старая... *(Все затихают, смотрят).*

Керка *(встает. Рука у нее дрожит, расплескивая вино. С трудом, после паузы).* Князю моему долго жить... Молодую княгин... ль... любить...

2-й Кметь. Эка... на полотно расплескала!

1-й Кметь. А вино греческое, как кровь. На белом-то, гляди-ка...

Керка *(выпив вино, садится. Закрыла глаза рукой, опять открыла. Атилле).*

А нашу свадьбу — помнишь, князь?
Как дождь всю ночь стучал нам в крышу,
а утром ты раскрыл окно...

Атилла *(не отрывая глаз от Ильдегонды).*

Шел дождь? Не помню... может быть...
(Ильдегонде).
Скажи хоть слово...

(Камель в деревянных башмаках, стараясь не стучать, подходит, останавливается сзади. Ильдегонда услышала, оглянулась. Атилла тоже).

Атилла *(Зыркону — шепотом, бешено).*

Скажи, чтоб он подальше — а не то...

Зыркон *(тихо).* Что? Камешек тяжел? *(Подходит к Камелю).*

Едекон *(стучит по столу)*. Бей, бей римлян!

Кмети *(унимают его)*. Тише, тише!

Исла *(все время зорко наблюдавший за Атиллой, вставая)*.

Нет, громче! Громче! А не то забудем,
что поназвали мы на пир гостей,
а мясо где? Еще в лесу рычит!
Что печь мы распалили вот так жарко,
а где дрова? Еще в лесу растут?

Голоса. О чем он?

Исла.

О чем? О Риме! Или вы забыли,
что ранен Рим, — но он еще не сдох.
Чтоб с бабами его вам не проспать,
чтоб не пропить, я вот о чем!

Голоса. А верно он... верно!.. так!..

Едекон. И-х, гуляй!

Исла *(Атилле)*. Ты не гневись. *(Атилла, нахмурившись, молчит)*.

Оногост *(стараясь замять)*. Э-э... это самое... Чего это я бишь хотел? Да... тут были мозги курячьи... где они? У кого?

Зыркон. У кого мозги курячьи? У тебя. *(Хохот)*.

Оногост *(сердито)*. Пьян, дурак? *(Атилле)*. Упились, кончать пора. Гляди: кто сам на бок — голову — на сторону, а кто и весь под стол.

Атилла.

Вот, спроси молодую, как она.
(Ильдегонде).
В опочивальню ты пойти не хочешь?
Сдается мне, что нам уж время
игру начать... вернее: кончить.
(Ильдегонда молчит).
(Оногосту). Ха! Молчит!

Зыркон *(Атилле)*.

А ну-ка тебя спросить: помереть
хочешь? Пожалуй, и ты смолчишь.

Оногост. Дурак ты, мурин. Мы на свадьбе, а ты про что?

Зыркон. Про что? Дурак свистнет —
умный смыслит.

Конюх *(встревоженный вбегает).*
Оногост, поди-ка скорей!

Оногост. Чего? Как с цепи.

Конюх. Беда!

Оногост. Что еще?

Конюх *(на Атиллу).* Его коня вороного, знаешь?

Оногост. Ну?

Конюх.

Стоял, ел овес — вдруг об земь.
Мы к нему. Глядим: издох...

Оногост.
Ой, к худу! А, может, отравлен?

Конюх.
Как же князю теперь сказать? Боюсь.

Оногост.
До утра подождем:
с молодой ночь проспит — все простит...

Керка. Что случилось? О чем вы тут?

Оногост.
Да мы так... об том... об сем...
Говорю, что время спать,
Уж поздно, догорают огни.

Керка. Пусть всю ночь огни горят.
Я боюсь...

Оногост. Чего?

Керка.
Не знаю...
Стукнут дверью — меня бросит в жар,
звякнут чашей — я вся вздрогну...

Оногост.
Будь покойна: мы в оба глядим.
Хотя-хоть оно, конечно...

Атилла *(Ильдегонде).*

Все молчишь?
Что сдвинула брови, как крылья?
Все равно — не улететь никуда:
теперь не поможет тебе
ни твой змеиный язык,
ни Рим, ни твой Бог, никто.
Молчишь? Проиграла игру?

Едекон *(приплясывая на месте, поет).*

Эх, вино — эх мед!
Тоска сердце пьет —
далеко милой живет...

1-й Кметь. Да тише ты!

2-й Кметь. Вот хлебнул: рогами землю роет! *(В это время Оногост подходит к Кобзарю и двум певцам — один помоложе, другой седобородый — потом идет к Атилле).*

Оногост.

Не спеть ли Кобзарю еще?

Атилла.

Уж пел, довольно.

Оногост.

Так есть заморские певцы:
тот — норский скальд — седобородый,
а помоложе готский зингер.

Атилла.

Ну, пусть какой-нибудь один — и будет:
пора уж нам...

Ильдегонда.

Скорей бы! все равно...

Атилла.

Спасибо, подарила словом!

Оногост *(подойдя к певцам).* Ну... ты... Или ты... Нет, лучше ты... Ой, что я! Ты... *(на другого).* То есть ты...

Готский зингер. Значит оба!

Оногост. Нет-нет: один... сейчас скажу... *(зажмурив глаза, гадает на пальцах).* Тебе, старик. Идем. *(Ведет скальда к Атилле).*

Атилла *(Скальду).*

Что, можешь ты такую песню спеть,
чтобы живой водой жену мне сбрызнуть,
чтобы огонь в глазах, чтоб улыбнулась?

Скальд.

Не знаю, улыбнется или нет...
Попробую. Сейчас — вот только.

(Подтягивает струны на лютне. Руки дрожат).

Атилла. Что, выпил? Руки-то дрожат?

Скальд.

Старик я, уж прости... сейчас, сейчас...
(Начинает речитативом).
Однажды Вигурд пришел домой:
ворота настежь, отравлен пес,
стоит его дом неживой, немой.
Атэвульф его Хильду к себе увез.
Семь лет всюду Вигурд ее искал.
Подъехал к Рейну. Тут змей подполз
к нему навстречу из черных скал —
услышал Вигурд железный голос...

Атилла.

Ну, у тебя совсем он не железный:
Сломается того гляди...
Смелее пой, чего боишься?

Скальд.

Схватил было Вигурд кинжал.
«Оглянись», сказал ему змей.
Оглянулся: замок. Вбежал.
Атэвульф там с Хильдой — с ней.

(Ильдегонда подняла голову, смотрит на скальда).

Взглянула на Вигурда: нет,
не узнала его она,
поседел он за семь лет.
Муж сказал ей: «Дай вина,
пусть песню споет старик».
Запел — и узнала: он...

(Ильдегонда оперлась на стол руками — видно: сейчас вскочит).

Вот крикнет... сдержала крик —
и умолк вдруг лютни звон...

(Опустил лютню, замолк, руки у него дрожат, смотрит на Ильдегонду).

Атилла.

Ну дальше! Нас ты только раззадорил:
вина понюхать дал, а выпить не дал.

Голоса. Дальше! Дальше! Кончай!

Едекон. Бей римлян! Пустите, пустите меня — убью!

1-й Кметь. Чудак! Да где же тут римляне?

Атилла *(Скальду).* Ну что ж, кончай...

Скальд. Прости... я не... не могу... не держат ноги...

Атилла.

Ну, сядь *(взглянув на Ильдегонду).*
Да ты и в самом деле
ее живой водою сбрызнул:
румянец, солнце бьет из глаз!
(Ильдегонде).
Уж не прикажешь ли поверить,
что ты не солгала в ту ночь,
ты помнишь? в веже... ты сказала:
«Тогда обниму тебя так, что ты»...

Ильдегонда *(глядя на Атиллу, медленно).*

Так что ты... подожди немного...
ты увидишь: обещанье свое сдержу...

Атилла.

Ну, чудеса! *(на Скальда).* Вина ему!
(Чашник идет).
Нет, пусть хозяйка поднесет,
пусть поднесет ему сама
за то, что угодил ей песней.

Ильдегонда *(поднося).*

Князь чашей вина тебя просит. Пей!

Один из гостей.

Постой, молодая, обычай есть —
Чтоб хозяйка вино сластила.

Голоса. Верно! Верно! Так! Губь в губы!

Атилла *(смеясь).*

Он прав. Ильдегонда: есть обычай.
Иль тебе старика целовать неохота?
Нет, делать нечего: целуй!

(Смех, крики. Скальд пьет, затем целует Ильдегонду — долго, не отрываясь).

Голоса. Ай, да, старик! Горазд! Стар гриб, да корень свеж!

Скальд *(Ильдегонде).*

Да, сладко твое вино.
Чем же мне тебя отдарить?
Хочешь лютню мою? *(дрожащей рукой*
протягивает лютню). Бери.

Ильдегонда. Зачем она мне?

Скальд *(рука у него дрожит все сильнее. Умоляюще)*. Бери *(тихо)*. Там внутри ты найдешь... нож...

(Ильдегонда хватает лютню. У скальда от волнения ноги подкашиваются, опускается на скамью).

Атилла.

А гляжу я — квел ты, старик!
(Чашнику). Еще вина ему дай,
чтобы ноги не протянул.

(Чашник подходит, наливает Скальду).

Ильдегонда.

И мне... *(Скальду)*. За лютню твою...
(Пьет, подносит лютню к уху).
Ты слышишь? Сама поет...
Или это звенит во мне кровь?
Я петь-плясать хочу!

Голоса. Так... так! Эх ее... Буй!

Зыркон *(Атилле)*. Эй, друг: ель не сосна, шумит неспроста.

Атилла. Придержи свои глумы до завтра!

Зыркон. Я говорю не глум, а ты бери на ум...

Атилла *(Скальду)*.

Ну что ж, играй, старик.
Пусть пляшет, любо мне!

Голоса. Любо!.. Лепо!.. Лепо!.. Ладь!..

(Скальд играет. Ильдегонда пляшет. Все жадно, молча смотрят, иные вскочили с мест, подошли ближе).

Керка *(в стороне — Оногосту)*.

Что с ней? Не она совсем.
Молчит она — страшно мне.
Весела — еще страшней...

(В это время Камель, медленно подвигаясь, становится перед Атиллой, смотрит на него. Атилла увидел. В руках у него чаша, ударяет ею о стол — чаша вдребезги. Мгновенно все остановилось).

Голоса. Что там? Что? Что? *(Тишина).*

Атилла *(Камелю)*. Ты опять? Что тебе надо?

Камель. Когда?

Исла. Дал слово, Атилла, не забудь! *(Атилла молчит).*

Ильдегонда *(подойдя к Атилле)*.

Что? или не нравится, как я пляшу?

Атилла.

Пляшешь так хорошо... что боюсь —
перестану Атиллой быть.

Ильдегонда.

Так кто же проиграл игру? *(Смеется).*

Атилла.

Подожди, ты рано смеешься.

Ильдегонда.

Так как же: я и Рим одно? *(Смеется).*

Едекон *(очнулся, приподнял голову).* Б-бей римл... *(Ему зажимают рот).*

Атилла *(Ильдегонде).*

Не к добру ты Рим помянула.
Пожалеешь... смотри!

Ильдегонда.

Не пришлось бы тебе пожалеть!

Атилла.

Не успею... Эх, рубить, так уж сразу!
Вина мне. *(Наливает, он пьет).*
(Камелю).
Ты меня спросил: когда?
Так вот тебе: завтра...

Исла. Так, Атилла! Так!

Атилла.

Молчи.
Эй, слушайте все теперь!
Заснули? Довольно спать!
Или забыли вы, как клялись,
что Рим сокрушим в хрупь?

Голоса. В хрупь! В хрупь!

Атилла.

Так завтра с зарей — в поход!
Кто жилье не успел достроить —
пусть сожжет, что начал, дотла,
Кого руки дома обнимут, —
пусть отрубит руки прочь.
Завтра все — на коня!

Голоса. Так, так! Бей полохом! Дыби!

Исла. Это ты — опять ты, Атилла!

Голоса. Арра, Атилла! Ты! Ты наш! Наш!

Атилла. Так до утра!

Голоса. До утра! До утра!

Едекон *(подняв голову, глядит на Атиллу)*. Про... прощай. Прощай! *(Горько плачет)*.

(Неясный говор. Гости расходятся. Едекона свалил хмель — остается на скамье. Кроме него — Атилла, Керка, Ильдегонда, Исла, Оногост, Зыркон; Скальд хочет уйти).

Ильдегонда *(Скальду — тихо)*.

Ты хочешь оставить меня одну?

Скальд.

Я весь дрожу — ты видишь...
Я сгублю и тебя и себя.

Ильдегонда.

Так возьми свою лютню — иди!

Скальд *(колеблется. Потом)*. Я останусь...

Атилла *(подходит к Ильдегонде)*.

Пойдем, ночь коротка. Пора.

Ильдегонда.

Пора, говоришь? *(Молча смотрит на Атиллу)*.
Хорошо, идем.
(Оногосту).
Мою лютню туда отнеси —
положи ее на постель.
Я песню сыграю мужу,
такую песню, что он
позабудет все на свете!

(Оногост берет лютню, идет. Керка хватает его за руку).

Атилла.

Если б только забыть одно слово: завтра.

Керка *(Оногосту)*. Нет.

Атилла *(Оногосту)*. Ну, что ж ты стал? Неси.

Керка *(цепляясь за Оногоста)*. Нет! Нет!

Атилла *(Керке — сурово)*.

Я сказал неси! Ты слышишь?

Керка *(отпуская Оногоста, Атилле)*.

Прости...
Что со мной — сама не знаю,
но сердце так сжалось вдруг,
что я... Иди, Оногост...

(Оногост уносит лютню. Керка подходит к Ильдегонде, смотрит ей в глаза, молча, долго).

Керка.

Ильдегонда, тебе я все прощу,
как сестра я буду любить тебя,
как рабыня я буду тебе служить,
поклянись мне только в одном,
что ты в сердце зла к нему не таишь,
что собою ему украсишь жизнь,
поклянись!

Ильдегонда.

Мне жаль тебя Керка... Прости меня.

Керка. А, не хочешь поклясться? Значит ты...

Атилла *(Керке)*. Уходи отсюда сейчас же!

Керка *(торопливо)*.

Нет, нет... ведь ничего не сказала.
Мне страшно, позволь мне остаться здесь —
только б слышать: ты дышишь, или смеешься,
или слово сказал, или...

(Атилла отходит от нее, она замолкает с протянутыми руками. Девушки окружают Ильдегонду, чтобы вести ее в опочивальню).

Ильдегонда *(Скальду)*.

Ну, что ж, старик... прощай...
Не знаю — навек иль до утра?

Скальд *(делает движение к Ильдегонде, потом овладевает собой)*. Прощай!

Ильдегонда. Так ты будешь здесь — помни!

Скальд. Да!

(Как мешок опускается на скамью. Ильдегонда уходит в опочивальню).

Атилла *(Оногосту)*.

Приготовь мне к утру коня,
Чтоб выкормлен был, подкован.

Оногост. Коня?

Атилла.

Ты что на меня так смотришь?
Побелел, как баба. Стыдись!

Оногост. Коня? Вороного?

Атилла.

Да ты одурел или оглох?
Вороного коня, да.

(Оногост отходит. Атилла один. Стоит хмуро, сгорбившись).

З ы р к о н *(подходя к нему).*
Отчего плечи согнулись?
Что, друг, на плечах несешь?

А т и л л а *(медленно).*
Атиллу... тяжел он... Ты знаешь...

З ы р к о н. Знаю, друг, знаю... Неси...

А т и л л а *(молчит. Потом).*
Все равно! Что бы ни было завтра —
Эта ночь до зари — моя!

К е р к а *(издали, протягивая руки, тихо).*
Остановись! Взгляни хоть раз!

(Атилла не слышит, входит в опочивальню. Лязг задвигаемого засова).

О н о г о с т *(тушит часть светильников. Про себя).*
«Приготовь, говорит, коня»...
А конь давно уже готов:
вверх брюхом мертвый лежит...
Эх! *(Исле).* Идем.

(Уходят. В палате полумрак, два-три светильника. В темном углу, скорчившись — Зыркон. Едекон — на скамье спит мертвым сном, обняв топор. Скальд и Керка, с разных сторон на цыпочках подходят к двери опочивальни).

К е р к а. Зачем ты здесь, старик?

С к а л ь д. Я... я жду...

К е р к а. Чего?

С к а л ь д. Не того, что ты ждешь.

К е р к а. Ты болен? Тебя трясет.

С к а л ь д. Остудился в пути...

(В опочивальне слышен смех Атиллы).

К е р к а.
Ты слышишь? Он там смеется...
Я помню, я знаю этот смех:
так смеялся он тогда со мной...
За окном дождь лил.
Я сказала: «Потуши свет».
Он рядом со мной лег... Темно...
Одни белые зубы...

Скальд.

А ты видела, как лежат,
оскалив зубы навек —
смеются все громче и громче,
но никто уж не слышит, никто.
Никто — понимаешь?

Керка.

О чем ты? Я боюсь тебя.
(Слышны струны лютни).

Скальд *(задыхаясь).*

Там, кажется, лютня...
(Хватает Керку за руку).
Скажи: ведь я не ошибся?
Скажи: ты тоже слышишь?

Керка.

Да, слышу, опять смеется.
Сквозь стену вижу: вот теперь
он одежду с нее снял...
она грудь прикрыла...

Скальд.

Замолчи! *(Спохватывается).*
Я, хоть и старик, правда...
но когда поцелуй слышу...
Постой... Затихли...
(Оба прислушиваются).
Вот лютня упала на пол...
Сейчас... Слушай!

Керка.

Ты сам упадешь, сядь!

(Скальд опускается на скамью. Пауза).

Скальд.

Скорей бы... Сил нет ждать...
Убегу... закричу... все брошу!

Керка *(прильнув к дверям).*

Знаю: сейчас она крикнет, —
она крикнет: больно...

Скальд.

Нет, он крикнет — слышишь, он!

(В опочивальне голос Атиллы, лязг отодвигаемого засова).

Керка. Тссс... он!

(Керка отбегает в дальний угол. Скальд бросается к двери. Из опочивальни выходит Атилла, грудь расстегнута, в руках лютня. Застигнутый его взглядом, Скальд застывает).

Атилла *(ищет кого-то глазами, увидел Зыркона, подзывает его).* Ты мне нужен... *(Стиснув плечи Зыркона — тихо).*

Слушай: никому, никогда
о том, что сейчас я тебе скажу...

Зыркон. Говори — буду молчать, как земля.

Атилла. Я не могу, понимаешь?

Зыркон. Что не можешь?

Атилла.

Не могу отдать ее на смерть,
не могу, чтоб у нее посинели губы,
не могу, чтоб закрылись ее глаза...
Не могу!

Зыркон. Не донес, надорвался? Эх, друг!
(На полу — обнял, прижался к ногам Атиллы).

Атилла. Молчи! Никому...

Зыркон А завтра? Что ж будет завтра?

Атилла. Не хочу, чтоб завтра было...

Зыркон. Хочешь — не хочешь, оно будет. От него никуда не уйдешь. Разве что... в землю: там не догонит. *(Молчит, уткнувшись в ноги Атиллы).*

Атилла. Ну, будет... Иди, спи.

(Зыркон, закрыв лицо руками, выходит из палаты).

Атилла *(Скальду).* Поди сюда, старик. *(Идет к столу, наливает вина, вглядывается в Скальда).*

Мне чем-то знакомы твои глаза...
Ты раньше мне никогда не пел?

Скальд *(с трудом).* Н-нет. Петь — не пел...

Атилла *(распахивает грудь).*

Как будто в злой полдень жарко мне,
Иль это она зажгла всю кровь?
(Залпом выпивает чашу).
А зря хвалилась: играть не умеет.
Просила, чтоб ты спел песню,
чтоб было ей веселей.

Скальд.

Просила мне... мою лютню отдать?

Атилла.

Просила, да. Что смотришь?
Бери и сыграй такое,
Чтоб мне не слышать себя,
забыть, что есть нынче и завтра,
чтоб все на свете забыть!
Ты понял? Играй.

(Уходит, опять лязг засова).

Скальд *(в отчаянии бросает лютню наземь).*

О, будь ты проклята!
Все погибло ... Конец ...

Керка *(подбегает к нему радостно).*

Он жив! Как камень с плеч!
О, пусть он ляжет с ней,
пусть он ее обнимает,
пусть целует, мне легко —
он жив ... целует ... слышишь?

Скальд. Собака! Гунн!

(Высоко подняв лютню, делает резкое движение к двери. Вдруг останавливается, встряхивает лютню возле своего уха, еще раз).

Скальд *(восторженно).*

Здесь нет, здесь нет ножа.
Ты слышишь: он не звенит.
Так, значит, взяла нож,
Значит, нож у ней!

Керка. Нож? Кто ты? Помогите ...

(Скальд зажимает ей рот, Керка схватила его за бороду, за волосы, он вырвался — борода и парик у руках у Керки. Мгновение оба растерянно смотрят друг на друга).

Керка. Вигила ... Помогите!

(Вигила опрометью выбегает в дверь. Керка хочет броситься за ним и останавливается. Из опочивальни слышится стон Атиллы, тяжкое падение тела).

Керка *(кидаясь к дверям опочивальни).*

Помогите! Сюда! Скорее!
(Бьется в двери опочивальни).
О, скорее! Сюда!

(Подходит с трудом проснувшийся Едекон, вбегают Исла, Оногост, Зыркон, Камель и другие. Окружили Керку).

Голоса. Кого? Кто? Беда! Огней! *(Керке).* Где он?

Керка *(задыхаясь).* Убежал... *(показывает рукой на дверь).* Она там... *(показывает на опочивальню и стоит, почти теряя сознание, ее держат под руки).*

Оногост. За ним! *(Несколько человек с Оногостом бросаются наружу в погоню за убежавшим. Остальные у дверей опочивальни).*

Голоса. Плечом... Так! С маху! Бей! Вместе!

Едекон *(с поднятым топором).* Сторонись... вы! С дороги, ну! *(Быстро взламывает дверь топором. Открывается: Атилла ничком у порога и Ильдегонда с ножом возле постели. Все замерли).*

Керка *(бросается к телу Атиллы, обнимает его).* Ты! Ты! Твоя кровь! *(Тишина).*

Ильдегонда *(показывается в дверях, дико смотрит на всех).* А где он? Где он?

Исла. Аррчь ее! *(Ильдегонду схватили, держат).* Кто он? Отвечай!

Ильдегонда *(молчит).*

Оногост *(вбегая вместе с остальными).* Поймали!

ЗАНАВЕС

АФРИКАНСКИЙ ГОСТЬ

НЕВЕРОЯТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ТРЕХ ЧАСАХ

Действующие лица:

Малафей Ионыч, бывший дьякон, а ныне заведующий брачным столом в уездном городе для записи гражданского брака. Все еще никак не может привыкнуть к своему преображению, чувствует себя как Венера, вышедшая из воды, пытается прикрыть наготу куцыми полами пиджака и куцыми словечками.

Каптолина Пална, его супруга, бывшая дьяконица. Губы — как «архиерейский кусочек». Мозги — тоже куриные.

Люба, их дочь. С точки зрения наследственности — явление необычайное. Хороша так, что даже автор опасается пристально ее разглядывать и описывать. Пение предпочитает разговору.

Витька Жудра, рыж, быстр, вихраст и остр. В другие века из него бы вышел Тиль Уленшпигель, в наше время он будет неугомонным строителем, для чего, впрочем, ему надо поступать в Высшую Техническую Школу.

Доктор, громаден, все в нем неповоротливо и лениво, за исключением мозгов. Глаза у него — какого бы они ни были цвета — все равно голубые, как полагается у мечтателей.

Илья, сын своего отца — доктора — и приятель Жудры. Всегда и все говорит увесисто и серьезно, и потому, что бы он ни говорил — ему нельзя не верить.

Чупятов, уездная власть, бывший литейщик. Своего положения немного стесняется.

Казимир Казимирович Превосходный, его секретарь. Не стесняется.

Сосулин, из Москвы, поэт. Запряжен в огромные американские очки. Очки — главная часть его организма, все остальное мало заметно.

Дарья, геркулесиха, исполняющая обязанности домработницы у дьякона.

Унтер Иваныч, по паспорту Гунтер Иоганн, случайно застрявший в городке военнопленный. Обучает граждан музыке и сам обучается русскому языку.

Африканский гость, очень странный.

ЧАС ПЕРВЫЙ

Палисадник перед домом Малафея Ионыча — рядом с церковью. В доме открыты окна.

Малафей Ионыч *(один за столиком перед окном. Пьет квас и записывает в ЗАГС-овую книгу)*. Мулюкин, Иван Петров . . . тридцати двух лет . . . И Окомелкина, Марья . . . лет . . . лет . . . девятнадцати. Первым браком. Сережечкин . . . Федор Матвеев . . . двадцати двух лет . . . *(В церкви звон. Малафей Ионыч начинает креститься — услышал фырканье подошедшего Жудры, испуганно отдергивает руку)*. Кто . . . кто это? А-а это ты! Ну?

Жудра. Та-ак-с, Малафей Ионыч . . . Помоля Богу вас.

Малафей Ионыч. Стыдно! Стыдно! Да. Стыдно.

Жудра. Кому?

Малафей Ионыч. Тебе. Бога нет, пора бы знать — на двенадцатом году революции . . .

Жудра. Ловко обернул . . . отец дьякон!

Малафей Ионыч. Ты какое . . . ты какое имеешь право? Какой я тебе дьякон?

Жудра. Ну — бывший дьякон. Раньше в церкви венчали, а теперь — в ЗАГС-е, только и всего.

Малафей Ионыч. Ты у меня . . . ты у меня . . . узнаешь! Я . . я . . . я . . . тебя! *(Сдерживаясь)*. Ты зачем пришел? Нет, ты скажи, зачем ты пришел? Ты чего потерял тут? Тебе чего надо?

Жудра. Люба ваша дома?

Малафей Ионыч. Нету.

Ж у д р а . Я сейчас вернусь — передайте ей.

М а л а ф е й И о н ы ч . Передам... как же. Обязательно! Только у меня и делов. *(Жудра уходит. Малафей Ионыч продолжает записывать).* Ч-черт рыжий... двадцати двух лет, Федор... Стерва! Храмихина, Татьяна Тимофеевна — двадцать лет... *(Входит Дарья. Ей).* Ну, чего еще?

Д а р ь я . Записка тебе такая-то.

М а л а ф е й И о н ы ч *(берет, читает).* Госп... Господи! Сам товарищ Чупяков! Да ты что же — ты что же мне раньше не дала? Тетёха!

Д а р ь я . Да ты раньше-то после обеда два часа дрыхнул.

М а л а ф е й И о н ы ч . «Дрыхнул»! Деревенщина. Беги сейчас же к Унтеру Иванычу.

Д а р ь я . Это к пленному, что ли? К немцу?

М а л а ф е й И о н ы ч . Да, да. Скажи, что мол просят прийти, да скорее. Как можно скорее. Сию же минуту! Слышишь?

Д а р ь я . Это что же: опять они с Любашей песни играть будут?

М а л а ф е й И о н ы ч . Да, да: песни: Иди, не разговаривай. *(Дарья уходит, Малафей Ионыч еще раз перечитывает записку).* Господи! Капа! Капа! Капитолина!

К а п т о л и н а П а л н а *(в окне с зеркалом, с щипцами — завивается).* Ну? чего?

М а л а ф е й И о н ы ч *(задыхаясь).* Капа... вот записка... от Чупятовского секретаря...

К а п т о л и н а П а л н а . Ой! От товарища Превосходного? *(Завивка идет ударным темпом).*

М а л а ф е й И о н ы ч . Да, да. Они сейчас придут к нам — Любу слушать. И товарищ Превосходный, и товарищ Чупятов... ты слышишь? В первый раз ко мне — сам товарищ Чупятов! И еще этот с ним... Московский... Сосулин...

К а п т о л и н а П а л н а . Который — стихи пишет?

М а л а ф е й И о н ы ч . Да... ты понимаешь? Ведь, может, нынче вечером — и Любкина, и наша судьба решится. Может, вся биография нашей жизни — сразу вот этак... вот — вверх... фонтаном! Господи! Любка... Любке-то сказать. Где она?

К а п т о л и н а П а л н а . Вот-ще! Я почем знаю.

Малафей Ионыч. «Я почем знаю»... Вот ты за ней не глядишь, она с этим с рыжим — Витькой — якшается. А разве ей Витька пара? Да ведь такая дочь, как Люба наша — это от Бога нам данный капитал... Понимаешь? Капитал!

Каптолина Пална. Ну, да — это который Маркса, толстый. Я им молоко закрываю.

Малафей Ионыч. Дура! Да брось ты завиваться — мозги себе завей лучше. Тут надо скорей — всю программу, по пунктам, а она завивается.

Каптолина Пална. Какую еще программу?

Малафей Ионыч. Насчет Любки — вот какую... Слушай. Товарищ Чупятов — человек женатый, тут уж — аминь, ныне и присно...

Каптолина Пална. Ну да.

Малафей Ионыч. Стало быть, первый пункт производственной программы — товарищ Превосходный. Секретарь — самого! Господи! Ты подумай. Нет... ты подумай!

Каптолина Пална. Ой, спалила! Вот теперь опять от меня будет курицей пахнуть!

Малафей Ионыч. Дальше: товарищ Сосулин, называемая свободная профессия, то есть, им разрешено зарабатывать свободно хоть по тыще рублей в месяц. По тыще в месяц — понимаешь?

Каптолина Пална. Я месяц во сне видала — будто он с неба свалился — и прямо мне вот сюда, на живот. Холоднющий — страсть!

Малафей Ионыч. Ну как — ну как с тобой разговаривать? Дура, наказание Божие! Иди скорей — стол накрывай. Сахар к чаю наколи кусочками помельче — советскими. И разных твоих вареньев и пирогов, — никаких, чтобы этих предрассудков не было! Слышишь? Да Любку мне пошли — сейчас же.

(Каптолина Пална уходит от окна. Слышен ее голос: «Любка, Любка! Тебя отец кличет»).

Люба *(входит)*. Зачем звали?

Малафей Ионыч. Вот что, Люба. Я — верный сын революции. Ты — моя дочь. Стало быть...

Люба. Стало быть, я — внучка революции.

Малафей Ионыч. Я с тобой говорю сурьезно. Я стою на прочной материалистической платформе и ни-

какого идеализма у себя в доме не допущу — так и знай.

Л ю б а. Какой там еще идеализм?

М а л а ф е й И о н ы ч. А очень простой. Ты — с твоей наружностью, с твоим голосом — интересуешься каким-то там Витькой. Это — глупый, нерасчетливый идеализм. Да.

Л ю б а. Насчет Витьки можете не раззоряться. Это мое частное дело.

М а л а ф е й И о н ы ч. Теперь частных делов нету — все общее. Поэтому — слушай. Сейчас сюда придут: тов. Превосходный, тов. Чупятов, тов. Сосулин. Твоя ударная задача — тов. Превосходный, не он, так — Сосулин. Но чтобы у меня этого Витьку — ты из головы выкинула. Слышишь?

Л ю б а. Нет, не выкину — потому, что я... потому что он меня...

М а л а ф е й И о н ы ч. Вот-вот-вот! Я так и думал.

Л ю б а. Ну и думайте — а мы уже обдумали. Мы осенью — вместе с ним в Москву поедем, я — в консерваторию, а он в инженерное...

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет, ты с ним не поедешь.

Л ю б а. А я говорю — поеду! Нынче не царский режим, запрещать не имеете права!

М а л а ф е й И о н ы ч. Да разве я запрещаю? Разве я запрещаю? Я только ставлю тебе голый факт. Например: деньги у тебя есть? Нету. Документы твои где? Вот они, у меня. Путевку в ВУЗ кто дает? Товарищ Превосходный. Вот я с ним поговорю — посмотрим, как он даст тебе или Витьке, посмотрим!

Л ю б а. Это называется отец! Вы не отец, а наоборот.

М а л а ф е й И о н ы ч. Это что же такое означает? Даже непонятно.

К а п т о л и н а П а л н а *(уже во всей красоте — из окна)*. Малафей Ионыч! Любка! Подите, стол расставьте.

М а л а ф е й И о н ы ч. А сама — что: не можешь? Руки отсохли?

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! Не видишь — я одета. Что ж мне — платье сымать?

М а л а ф е й И о н ы ч. Ах ты, Господи... Ну, идем, идем...

(Малафей Ионыч и Люба уходят в дом. Каптолина Пална в окне с зеркалом. Входит Превосходный).

Каптолина Пална. Ах! Товарищ Превосходный!

Превосходный. Каптолина Пална... коханая! *(Целует ей руку, держит не отпуская).* Ах, хорошо, знаете! Это же погода!

Каптолина Пална. А у нас нынче кошка окотилась.

Превосходный. Что — кошка! Вот вы это, действительно... *(гладит ее руку).*

Каптолина Пална. Скептик! Противный! *(Превосходный целует ее руку около локтя).* Не смейте!

Превосходный. А почему вчера — можно было, а сегодня — не можно?

Каптолина Пална. Вот-ще! Не имеете права... Увидят.

Превосходный. Ну, тогда скажите: когда сегодня и где — так чтобы, знаете, приватнэ?

Каптолина Пална *(вздыхая).* Ах, не говорите вы мне таких неизменностей!

Превосходный. Ну, я вас прошу!

Каптолина Пална. Ш-ш-ш... Идут, сюда к нам.

Превосходный. Так это же мой Чупятов и доктор, он, знаете, завел про свою биологию, так что вы уже имеете доклад на час и можете спокойно не волноваться.

Каптолина Пална. Оставьте руку... нахал! Приходите на балкон — когда Люба запоет. *(Исчезает. Выходит из-за угла Жудра; похоже, что он слышал конец сцены).*

Превосходный. А-а, молодая смена, здравствуйте!

Жудра. Здрасте... *(Пауза. Глядит в глаза Превосходному).* Та-ак, значит... Н-да...

Превосходный. То-есть? Что вы хотите сказать?

Жудра. Я? Ничего. Значит Любу пришли послушать?

Превосходный. А что такого? Я давно хотел. Это же, знаете, голос, который вы редко имеете даже в Москве.

Жудра. А вот насчет Москвы — это я к вам завтра зайду.

Превосходный. А скажите, дорогой мой товарищ, зачем?

Ж у д р а . А вы мне путевку в ВУЗ напишете — вот зачем.

П р е в о с х о д н ы й . Ну, это, знаете, зависит. Там, знаете, в вашей анкеточке есть пунктик.

Ж у д р а . Вы бросьте дегтем брызгаться! Я говорю: напишете.

П р е в о с х о д н ы й . Ну, хорошо, хорошо, напишу. Не волнуйтесь, смена.

Ж у д р а . Если смена — так не вам. *(Уходит).*

П р е в о с х о д н ы й *(один, вслед Жудре).* Мальчишка! Лайдак!..

С о с у л и н *(входит, очки в руках, протирает их шелковым платочком. Превосходному — щурясь).* А-а, это вы? Ну, да: я слышал ваш голос — вы разговаривали с этим... с товарищем Превосходным. Очень рад, очень рад. Я давно хотел установить смычку... э-э-э... с молодежью от станка.

П р е в о с х о д н ы й *(фыркает, зажимает рот).*

С о с у л и н . Мы, поэты, должны увидеть все происходящее, так сказать, через ваши молодые очки...

П р е в о с х о д н ы й . Я вам на то скажу — вы лучше себе наденьте свои очки.

С о с у л и н *(надев очки).* Фу... простите, Казимир Казимирович. Вы знаете — когда я без очков... Я думал, что это опять он — эта рыжая шпана... Ну, я очень рад, очень рад. Я давно хотел с вами... а то прямо не с кем, кругом какие-то монстры, фантастика! Этот доктор — по-моему, сумасшедший. Эта Каптолина — как ее, — прямо кретинка...

П р е в о с х о д н ы й . Я извиняюсь! Позвольте! Кретинка...

С о с у л и н . То-есть, конечно, условная... Понимаете — условная: если взять ваш высокий — я скажу, исключительный интеллект — и рядом ее...

П р е в о с х о д н ы й . Ну, да — я вас уже понимаю...

С о с у л и н . Или, например, ваш интеллект — и рядом Чупятов...

П р е в о с х о д н ы й . Чупятов! Это же бывший простой литейщик — что вы хотите? Я за него все пишу, он, знаете, без меня так, ровно без какого-нибудь органа. А ешьли между нами, приватнэ, так я вам скажу про него... *(Входят Чупятов и доктор).*

Превосходный *(восторженно)*. И он — как раз здесь! А мы, тов. Чупятов, именно, знаете, о вас говорили. Я говорю: что делает с людьми наша революция! Давно ли на заводе вы отливали эти самые... онки...

Чупятов. Ожоки! Ожоки... неграмотный!

Превосходный. Ну да: щоки. А теперь строите новую жизнь. Это же, знаете, цусь особливого!

Сосулин. Дорогой, товарищ Чупятов — я буду писать о вас, как о выдающемся деятеле нашей провинции...

Чупятов. Да будет вам! Чего зря вола вертеть? Ну, какой я там выдающий... Вы лучше послушайте, что вот он говорит *(на доктора)*. Так как, товарищ доктор, как ты это назвал-то?

Доктор. Биологический... ин-тер-нацио-нал. Интернационал, граждане, да!

Малафей Ионыч *(выскочил из дома — подхватывает)*. «Это будет последний...»

Чупятов. Да постой ты, Малафей Ионыч! Ну к чему же это — к чему? Надо время знать.

Малафей Ионыч. Товарищ... дорогой товарищ Чупятов! Извиняюсь: не могу! Как услышу — так душа сама автоматически поет...

Чупятов. Ну какая там душа!

Малафей Ионыч. То-есть нет... Товарищ Чупятов — это я только так... Вы же меня знаете... Господи! Я же с корнем отрекся — я же отрекся от всех предрассудков. Я же в кружке...

Чупятов. Да знаю, знаю! Погоди ты... *(На Доктора)*. Дай ему сказать. Так в чем же дело, ну?

Доктор. Дело — очень простое. С уничтожением национальных перегородок — человечество помолодеет, возродится — биологически возродится, да. И очень понятно — почему. До сих пор — за малыми исключениями — в браках соединялись особы одной и той же нации, одной и той же крови. И отсюда — вырождение. Меньшее, чем если брак происходит в пределах одного рода или одной семьи — но все-таки вырождение. А вот если нашу русскую кровь вкатить, скажем, в испанцев, а французов подогреть неграми, а англичан — японцами, — вот это пойдет поколение... Такие будут головы, та-

кая будет энергия, что через двадцать лет все перевернут... Да, что там!

(Во время этого биологического трактата входит Жудра. Превосходный, Малафей Ионыч и Сосулин — как собаки на стойке: ждут, что скажет Чупятов).

Чупятов. Ишь ты! С виду оно — будто чепуховина...

Малафей Ионыч. Верно! Спасибо... Спасибо, тов. Чупятов!

Превосходный. Ну да: это же глупство!

Сосулин. Фантастика!

Чупятов. А вспоминаю я, как бывало в шахту к чугуну какого-нибудь там марганцу или силицию сыпануть — и выйдет сталь первый сорт...

Доктор. Так, так, Чупятов ухватил самую суть!

Чупятов. Вот. И выходит не чепуха — а напротив.

Малафей Ионыч. Именно: напротив. Спасибо, товарищ Чупятов!

Сосулин. Фантастически-гениально.

Превосходный. Ну, да — это же поворот!

Жудра *(Превосходному)*. А вы железных петухов видели?

Превосходный. Что такое? Каких железных петухов?

Жудра. А на крышах — вот у них поворот на сто процентов: куда ветер дует — туда и они.

Доктор. Вот. А если никаких предрассудков не пугаться — так надо сделать опыт, о котором я думаю уже десять лет. И я его сделаю — лопну, сделаю!

Чупятов. Ну-ка, ну, громыхни, тов. доктор! Какой опыт?

Доктор. Скрещение человека с обезьяной.

(Все глядят на Чупятова, он начинает улыбаться все шире).

Малафей Ионыч. Ой, уморил! Хи-хи-хи!

Превосходный. Хе-хе-хе!

Сосулин. Ха-ха-ха! С обезьяной!

Жудра. Над кем, гражданин, смеетесь?

Доктор. Ничего, пусть: наукой установлено, что от смеха для организма большая польза. Только тут смешного ничего нет. Англичанин Мак-Грэгер уже соста-

вил словарь языка обезьян. Через год, а может и раньше, все поймут, что это — люди... *(к группе, где Малафей Ионыч, Превосходный и Сосулин)* такие же, как вы.

Превосходный. Извиняюсь!

Сосулин. Позвольте...

Чупятов. А может и верно, а? Наука — она дойдет.

Превосходный. Ну, дойдет же, ясно как день!

Сосулин. Гениально! Я пишу на эту тему пьесу... в стихах... И посвящаю вам, тов. Чупятов — можно?

Чупятов. Да бросьте вы — при чем я?

Жудра. А вы свою обезьянью пьесу — лучше ему... или вот ему посвятите *(на Малафея Ионыча и на Превосходного)*... А то — самому себе: тоже подходяще...

Превосходный. Ну, знаете... як Пана Бога кохам — я вам это припомню!

Люба *(выходит)*. Унтера Иваныча тут нету?

Чупятов. А, певунья, здравствуй! Ну, что ж, скоро? А то мы уж заждались.

Люба. Да вот, как только Унтер Иваныч... без него аккомпанировать некому.

Превосходный. Товарищ Люба — вашу лапочку!

Сосулин *(пожимая руку Любе декламирует)*.

Конец Государственной Думе,
Октябрь сошел к нам с небес.
На меня вы взглянули — я умер,
Коснулись рукой — я воскрес...

Я воскрес, да. Это из моих революционных стихов — вы, Люба, их читали?

Люба. Нет, я покойников не люблю.

Чупятов *(хохочет)*. Здорово! Как говорится: девка я-те-дам!

Превосходный. Да, это я вам скажу — не девушка, а прямо сахар-рафинад по первой категории.

Жудра. А, может, вам этот сахар по пайку не полагается.

Чупятов. Ой, молодцы ребята! Ой, языкастые! *(хохочет. Сосулин и Малафей Ионыч подхохатывают)*.

Сосулин. «По пайку не полагается»... Гениально! Я это запишу — вы разрешите, тов. Чупятов?

Чупятов. А при чем тут я?

Превосходный. Ну да? Что тут смешного? И почему именно мне не полагается? *(Жудре)*. Вы думаете, что вам как раз полагается, да? Так вы сначала спросите так называемого отца.

Малафей Ионыч. Нет-нет-нет... я что! *(На Чупятова)*. Вот, можно — сказать, отче наш, в руки его передаю Любочку. Как он прикажет...

Чупятов. Да что это ты, Малафей Ионыч, «прикажет-прикажет»! Не в такое время живем. Кого девушка сама выберет, — за того и отдавай.

Сосулин. Вот она народная мудрость! Гениально!

Чупятов. А то вот доктора спроси — как по его надо, с точки биологии.

Доктор. Ну, если с этой точки зрения — так конечно: соединять в пары людей одной национальности — грубая ошибка.

Малафей Ионыч. Спасибо, тов. доктор! Я всегда в одну ногу с наукой.

Превосходный *(Жудре)*. Что? Я же вам говорил, что вы ей не пара — и даже, знаете, научно.

Жудра. Ну, это без дураков! Мы с Любой осенью едем в Москву, а вы научно — катитесь ливерной, вот что.

Превосходный. Слушайте — это вы мне — ливерной?

Жудра. Вам — ливерной, да.

Превосходный. Ну, так я вам скажу, что вы не поедете.

Жудра. То-есть, это как же? Вы же сами полчаса назад обещали путевку дать.

Превосходный. Ну, и что с этого? Это обещание надо понимать диалектически, да.

Малафей Ионыч. Спасибо, тов. Превосходный, спасибо.

Жудра. А по-нашему, по-комсомольски, этакие вот диалектики — называются трепачи.

Люба. Витя... Витя... Оставь... не связывайся.

Превосходный. Ах, та-ак? Я из-ви-ня-юсь! Малафей Ионыч!

Малафей Ионыч. Здесь! Слушаю, товарищ Превосходный!

Превосходный. Имейте в виду, что вы допускаете к себе в дом...

Малафей Ионыч. Да... Слушаю...

Превосходный. ...бывшего меньшевика, да.

Малафей Ионыч. Как, тов. Превосходный... Госпо... да я...

Превосходный. Да. Согласно его собственноручной анкете за время февральской революции он записался в партию меньшевиков.

Чупятов. Да бу-дет вам! Ведь ему же тогда двенадцать годов было.

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, ваши слова для меня, как библ... как Бебеля, или, например, Лассаля...

Чупятов *(конфузясь)*. А ну тебя... Что это ты в самом деле... Какой я... *(Махнув рукой, закуривает, уходит за угол)*.

Малафей Ионыч. Нет, тут уж я — автоматически. Чтобы я в мою пролетарскую семью допустил гидру — нет, это аминь, ныне и присно и во веки веков.

Жудра. Благословите, отец дьякон.

Люба. Витя — не надо! Слышишь?

Малафей Ионыч *(Жудре)*. Прошу вас, как бывшего социал-предателя... и нахала... оставить этот честный советский дом и больше сюда не возвращаться! Да-с!

Жудра. С удовольствием! Меня от вас тошнит.

Люба. Витя, постой... Как же я... как же мы...

Жудра. Не робей, Люба! Так или эдак, а мы с тобой... *(тихо ей)*. Вечером, в саду — ладно?

Малафей Ионыч. Нет, насчет Любы, это теперь уж выкусите, вот... *(показывает фигу)*. Да-с, гражданин гидра!

Жудра. Что-о!

Унтер Иваныч *(входит. В восторге)*. Ну-у... Какой я ловил шюка! Вот: колоссаль! Я ее тасковал-тасковал... и потом эйн! Вы понимаете? *(Молчанье. Оглядывается)*. Что? Почему здесь... такой, как это, — молчаление?

Жудра. Молчаление — именно! Молчалины— да! Хорошо сказал немец! *(Уходит)*.

Унтер Иваныч *(растерянно)*. Боже ты мое... Что такой?

Малафей Ионыч. Ничего, ничего. Он ушел — и теперь все слава Бог... бок, ой!

Чупятов *(подходя)*. Что это — что с тобой?

Малафей Ионыч. Бок... Ничего, прошло... Это... это у меня наследственное...

Чупятов. Скажи, пожалуйста! А-а, и Унтер Иваныч тут? Стало быть, все в сборе?

Малафей Ионыч. Все, все, тов. Чупятов. Сейчас, сейчас, сию минуту начнем. Пожалте. Тут у нас ступенечки — позвольте, я вам... *(Поддерживает под локоть)*.

Чупятов. А, ну тебя! Что я — архиерей, что ли? *(Уходит в дом)*.

Малафей Ионыч. Тов. Превосходный... позвольте вам...

Превосходный. Э-э... спасибо, спасибо!

Малафей Ионыч. Так... Еще одна, еще... *(Поддерживая, поднимает свою руку все выше)*. Извиняюсь: вся рука вышла-с. Товарищ доктор!

Доктор *(просыпаясь от биологических размышлений)*. Кто это? Ах, вы... Ну?

Малафей Ионыч. Вы что же не идете?

Доктор. Я — потом. Докурю вот.

Малафей Ионыч. Товарищ Сосулин. Люба!

Сосулин. Иду... *(ни с места — упорно смотрит на Любу)*.

Люба. Ну? Чего уставились? Дайте пройти.

Сосулин *(декламирует)*.

Товарищ, гляди зорко в оба:
Враг прикинулся другом — не верь!
Маруся, я твой до гроба —
Открой мне сердце и дверь.

Это из моего цикла «Привет революции и Марусе».

Люба. Протрите очки: я не Маруся *(уходит в дом)*.

Сосулин. Все равно... Люба... Люба, постойте же! *((Идет за ней)*.

Жудра *(входит с телеграммщиком)*. Ну, да: вот он здесь. Доктор, распишитесь: телеграмма вам.

Доктор. Ага! Спасибо... *(Телеграммщик уходит. Доктор распечатывает телеграмму и держит ее, не читая — не в силах вырваться из объятий биологии)*.

Ж у д р а. Ну, знаете... наклали вы мне с биологией с этой вашей.

Д о к т о р. А что?

Ж у д р а. А то, что я ее люблю — понимаете?

Д о к т о р. Я тоже люблю. Вот именно: люблю.

Ж у д р а. Как? Вы? Любу?

Д о к т о р. Какую черт, Любу! Биологию.

Ж у д р а. А я — Любу. И вы мне своими фантазиями свинью подложили. Тоже... ляпнул: «соединять людей одной национальности — грубая ошибка»... Додумался!

Д о к т о р. Да, ведь это я так — теоретически.

Ж у д р а. Да, вы — теоретически, а мне ваша теория вышла — дышлом.

Д о к т о р. Фу, ч-черт... действительно — неладно получилось. Ты не сердись — ей-Богу, я тебя люблю не меньше, чем своего Ильюшку. Может, как-нибудь уладится, а? Ты придумай, скажи мне — я все сделаю.

Ж у д р а. Да, уж будьте покойны — придумаю: у меня мячик работает... получше вашего.

Д о к т о р. Ну так идем скорей — пока не начали.

Ж у д р а. Ах ты... да я не могу туда!

Д о к т о р. Почему?

Ж у д р а. «Почему!» Потому что меня Малафей из дому выгнал — при вас же это было!

Д о к т о р. Фу, черт... действительно! Ну, я один пойду... *(Засовывает телеграмму в карман).*

Ж у д р а. Ну... развязка биологическая! Да вы телеграмму-то прочтите.

Д о к т о р. Да верно: телеграмма. *(Читает. Потом — задыхаясь).* Витька! Нынче какой день?

Ж у д р а. Четверг.

Д о к т о р. Четверг? Ой... Бежим сломя голову! Скорей!

Ж у д р а. Куда?

Д о к т о р. На вокзал... Ур-ра!

Ж у д р а. Вы что... Это самое — окончательно?

Д о к т о р. Что — окончательно?

Ж у д р а. Свихнулись.

Д о к т о р. Да ты пойми: это от Илюшки, от студента моего — заграничное плаванье кончил, вечером здесь будет.

Жудра. Но-о? Илюшка? Это — в самый раз, кстати. Вы ему скажите — как только морду умоет, чтобы сейчас же ко мне сюда бежал.

Доктор. Да не один он — вот дело в чем: не один!

Жудра. Как — не один?

Доктор. Ты слушай... черт рыжий — ты слушай! *(Читает телеграмму).* Встречай четверг приеду с африканским гостем... ты по-ни-ма-ешь?

Жудра. Хоть убей — не понимаю.

Доктор *(поет, приплясывая).* С аф-ри-кан-ским гостем! С аф-ри-кан-ским гостем!

Малафей Ионыч *(выбегая из дома).* Товарищ доктор! Товарищ доктор!

Сосулин *(выбегая).* Что такое?

Превосходный *(в окне).* Он уже пляшет.

Каптолина Пална *(в окне).* Потеха. *(Хохочет).*

Доктор. С аф-ри-кан-ским го-стем! С аф-ри-кан-ским го-стем! *(Жудры около него уже нет — он нырнул за угол).*

Малафей Ионыч *(подбегает к доктору, хватает его).* Доктор... доктор...

Доктор. С афри-кан...

Малафей Ионыч. Ш-ш-ш! Ради Хри... Ведь товарищ Чупятов — он не может... Да скажите же — что случилось — что с вами?

Доктор. Телеграмма — вот. Мой Илья приехал. И с ним — африканский гость... Бегу на вокзал. Прощайте. *(Убегает).*

Сосулин. Доктор — пляшет, какой-то африканский гость. Прямо, как во сне.

Превосходный *(Малафею Ионычу).* Что же это значит?

Малафей Ионыч. У него, изволите ли, сын по корабельной части, так что у них летом плавание — как бы даже по заграничным местам.

Превосходный. Это, знаете, я уже знаю. Но что такое — африканский гость?

Малафей Ионыч. Не понимаю. Премудрость — или... ум за разум... В твердую почву — не могу вам сказать.

Сосулин. Фантастика!

Каптолина Пална (*радостно*). Ой, ...а может они, которые в Африке, голые ходят?

Малафей Ионыч. Капа... Капа!

Превосходный. Поезд — уже через час, и тогда мы все сами увидим.

Каптолина Пална. А дети от них — тоже черные, или, может, какие пестренькие? Ой, вот интересно!

Малафей Ионыч. Капа! Капа!

Превосходный. Но это же у нас может быть событие! И даже — в масштабе!

Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Превосходный! Именно — в масштабе!

Превосходный. Ну да... (*Из дома слышно: рояль и пение*). Уже, слышите?

Сосулин. Это из «Аиды»... Тоже как раз африканская... Ш-ш-ш! (*Идет в дом на цыпочках, за ним бежит Малафей Ионыч; Превосходный и Каптолина Пална — тоже уходят*).

ЗАНАВЕС

ЧАС ВТОРОЙ

Столовая в доме Малафея Ионыча. Прямо — дверь в залу, там — пение. Другая, застекленная, дверь — на балкон, оттуда ступеньки вниз, в сад. Возле балкона — три дерева, под одним из них, скорчившись, сидит Жудра.

Дарья (*выходит на балкон — стряхнуть скатерть, заслушалась пения и заводит сама*):

Хорошо тому на свете жить,
У кого нету стыда в глазах,
У кого нету и совести.
Хорошо тому на свете жить,
У кого...

Жудра (*привстав*). Это ты — правильно. А мне тут — сиди.

Дарья. Ой-о! Кто-й-то? Кто-й-то?

Ж у д р а. Ш-ш-ш, Даша, не кричи. Это я.

Д а р ь я. Ой, Витька окаянный... Настращал — прямо не передохну. Да ты что же тут сидишь, как воришка? В дом-то чего не идешь?

Ж у д р а. С Малафеем разругался — вдрызг... Из-за Любы.

Д а р ь я. Ах, батюшка ты мой! Так, может, Любе чего передать? Ты скажи, я для тебя все сделаю.

Ж у д р а. Спасибо тебе, Дашенька: я знаю, ты все сделаешь, да вот я-то не знаю еще, что делать. Еще пока не придумал.

Д а р ь я. Ну, жди, думай.

Ж у д р а. Эх, жизнь наша — копейка! А еще того хуже, когда и копейки в кармане нету. Были бы деньги, сели бы мы с Любой в поезд — и ищи ветра в поле.

Д а р ь я *(конфиденциально)*. А у дьякона — полено.

Ж у д р а. Какое полено?

Д а р ь я. А такое — сберегательная касса: нутро пустое — и все деньгами набито — чтоб в случае обыска не нашли.

Ж у д р а. Ну, так этих денег ты из него и поленом не вышибешь.

Д а р ь я *(вертя могучим кулаком)*. Я-то? Не вышибу? *(Уходит)*.

И л ь я *(появляется около балкона. Приглядываясь, тихо)*. Витька, Витька!

Ж у д р а. Илья! Ну, наконец-то! А папашка твой что же?

И л ь я. После придет.

Ж у д р а *(хохочет)*.

И л ь я. Ты чего?

Ж у д р а. Вспомнил, как папашка твой тут отплясывал, когда телеграмма твоя пришла... Потеха! Все выскочили... Да, кстати, про какого еще ты там африканского гостя в телеграмме писал? Как про него услыхали — так прямо у всех мозги набекрень: никто ничего не понимает, переполошились... Что это — негр, что ли?

И л ь я. А-а, зацепило! Я тебе сейчас про негра расскажу. Иду я, понимаешь, в Порт-Саиде по набережной и вижу: толпа, в середине негр, а с ним рядом...

(Дверь из залы в столовую открывается, в столовую на цыпочках выходит Малафей Ионыч).

Малафей Ионыч *(тихо)*. Дашка, Дашка!

Жудра *(Илье)*. Ш-ш-ш!

Малафей Ионыч. Ах ты, Господи! Ничего не готово! Да что ж это такое?

Илья *(тихо Жудре)*. Пойдем подальше — там я тебе доскажу. *(Уходят)*.

Малафей Ионыч. Дашка! Дашка!

(Музыка в зале прекратилась, оттуда выходит Чупятов, за ним остальные).

Чупятов. Ну, спасибо, Любаша! Ай, молодец-девушка, ай, молодец! Ну, этакий клад тут нельзя держать, это — народное достояние. Обязательно ее в Москву учиться отправим.

Люба. Товарищ Чупятов, я хочу сказать, я не могу одна...

Малафей Ионыч *(перебивает)*. Ты — не одна: я тут, можно сказать — на страже. Товарищ Чупятов... дорогой товарищ Чупятов! Позволю себе, что если бы это было мрачное время царизма, так я бы вам — прямо в ножки! Но так как мы избавились от этого наследия, то разрешите пожать вашу руку помощи.

Чупятов. Да ну тебя... Причем — я? Ты лучше Унтера Иваныча благодари — он ее обучил-то.

Малафей Ионыч. Дорогой германский товарищ, позвольте вас... *(Лобызает)*.

Унтер Иваныч. Данке. *(Отплевывается, вытирается)*. Но это антигигиенично.

Чупятов *(Унтеру Иванычу)*. Ну, еще чего нам споете?

Превосходный. Вот, например, есть композитор товарищ Глинкин: вы Глинкина можете?

Унтер Иваныч. О, да, я могу... Но я не могу, майнэ фрау — моя жена — в ожидании...

Чупятов. Ну? Опять — младенец?

Унтер Иваныч. Это — я, я. Она меня дома в ожидании, и я боюсь: у нее голос очень военный как у валторн.

Чупятов. Ничего, обойдется. Поиграй, поиграй нам еще... В кои-то веки!

Малафей Ионыч. Унтер Иваныч, кто вас просит — кто вас просит-то, вы подумайте! Да если бы ме-

ня... да я бы не то что в валторну — в эту самую... в флейту бы влез бы...

Чупятов. Да будет тебе! Ну, что это, ей-Богу! *(Идет в залу, Малафей Ионыч — за ним).*

Люба *(Сосулину).* Ну? Чего вы на меня очки пялите? Что вы мне хотели сказать?

Сосулин. Только четыре строчки. Вы поймете... *(Декламирует):*

Вперед! За мною! Вперед!
Передо мною ты одна,
Пересохли губы и рот —
Жажду выпить чашу до дна...

Люба. Вы что — чаю хотите?

Сосулин *(растерянно).* Чаю? Да... то-есть, нет, что я! Нет!

Люба. Ну, так в чем дело, говорите... А то «да», «нет»... Терпеть не могу!

Сосулин. Я... тут мешают, я — потом... Когда вы еще споете — я буду вас ждать на балконе. Вы придете? Люба — я умоляю вас! *(Подходит Превосходный — Сосулин тотчас же уходит в залу).*

Превосходный. Люба, я еще не успел... я хотел бы сказать вам за ваше пенье — широкое русское мерси. И ежели между нами приватнэ, то вы есть единственное пьятно... э-э-э... в нашей дыре.

Люба. Пятно — в дыре? Благодарю вас... товарищ Глинкин.

Превосходный. Глинкин? А почему — Глинкин, когда я имею свою фамилие и даже очень хорошее, и оно подойдет к вам, як по выкройке.

Люба. Нет, мне ваша выкройка что-то не нравится. *(Уходит).*

Капитолина Пална *(подходит к Превосходному).* Вы это чего же это, а?

Превосходный. Что — что же?

Капитолина Пална. Будто из товарищей, а поступаете, как буржуй!

Превосходный. Кто? Я?

Капитолина Пална. А то кто же? Я вам вот этак глазом сделала, чтобы вы на балкон шли, а вы как колода, ни с места.

Превосходный. Це такое — колода? А ежели я не видел, как вы мне сделали тым глазом.

Каптолина Пална. Вот-ще: не видел! Ну, так теперь глядите: как только Люба распоется — чтоб у меня сейчас на балкон шли!

Превосходный. Ну хорошо, хорошо... Не волнуйтесь. Я приду — як Бога кохам, приду.

Каптолина Пална. Ну, если только вы... *(Увидев вошедшего Илью).* Ой, какой сурприз! Ильюша!

Илья. Я, здравствуйте.

Превосходный. А-а, пан студент! Вернулся?

Каптолина Пална. Илюша... да как же это вы? Из самой заграницы? И... и ничего??

Илья. Ничего, как видите.

Каптолина Пална. Ой, Малафей! Товарищ Чупятов! Глядите, глядите! Тут — из заграницы... из настоящей!

(Малафей Ионыч, Люба, Сосулин, Унтер Иваныч — выбегают из залы к Илье).

Люба. Илюша, голубчик!

Чупятов. А-а, мореплаватель!

Малафей Ионыч. Илья Петрович, наш дорогой красный студент!

Сосулин. Позвольте: это, значит, была ваша телеграмма — африканский гость и так далее?

Илья. Да, моя.

Превосходный. И це оно, то-есть, — африканский... гость?

Чупятов. Да, загнул загадку — ну-ка, разгадывай.

Малафей Ионыч. Спасибо, тов. Чупятов! Спасибо, тов. Превосходный.

Илья. Африканский гость? А вот сейчас увидите.

Превосходный. Как?

Сосулин. Где?

Илья. Он сейчас придет сюда.

Малафей Ионыч. Сюда?

Унтер Иваныч. Боже ты мое!

Сосулин. Фантастика!

Илья. Да... почти что.

Каптолина Пална. А он из товарищей — или настоящий кавалер?

М а л а ф е й И о н ы ч *(тихо, но свирепо).* Молчи... дура!

С о с у л и н. Позвольте: все-таки — кто же он?

И л ь я. Он? Да видите... как бы это сказать...

П р е в о с х о д н ы й. Я уже знаю: делегат.

И л ь я. Вроде.

П р е в о с х о д н ы й. Ну, ясно, как день. Негр — или какого-либо другого цвета.

К а п т о л и н а П а л н а. Негр? Ой, вот интересно!

М а л а ф е й И о н ы ч. И... он — сюда, ко мне? Делегат? Ой, Госп... то-есть, я хочу... Тов. Чупятов — делегат! Можно сказать, черная жертва империализма. Да это же... Капа! Капа!

Ч у п я т о в. Да постой, не лотоши. *(Илье).* В чем дело?

И л ь я. Как раз по этому делу — мне надо вам два слова сказать... по секрету.

Ч у п я т о в. Ладно.

П р е в о с х о д н ы й *(обиженно).* Ну, ежели вы хочете приватнэ — то я могу уйти.

М а л а ф е й И о н ы ч. Тов. Превосходный — извиняюсь! Товарищи, товарищи, позвольте вам — сюда!

(Чупятов и Илья отходят в сторону. Остальные разговаривают взволнованным шепотом).

М а л а ф е й И о н ы ч. Тов. Превосходный... делегат, а? Да ведь этого негра прямо Бог послал, то-есть — Бог, конечно, с маленькой буквы, с маленькой буквы...

П р е в о с х о д н ы й. Ну, хотя бы с маленькой, но с того может быть большой профит.

М а л а ф е й И о н ы ч. Ну да! Тов. Сосулин, если статейку в Москву — в «Известия», а? Что, мол, такого-то числа состоялось чествование жертвы империализма в доме у бывшего... то-есть у меня.

С о с у л и н. Сейчас, сейчас... Постойте *(начинает декламировать):*

Привет тебе от нас, как брату!
Я тоже негром был когда-то,
Теперь я стал... *(запнулся. К окружающим).*

Ну, скорей — кем? Кем?

К а п т о л и н а П а л н а. Арапом?

Малафей Ионыч *(ей)*. Молчи! Товарищи, я не могу, я волнуюсь. *(Не в силах выдержать больше — на цыпочках подходит к Чупятову и Илье)*. Товарищи.

Илья *(к нему)*. Сейчас, сейчас. *(Шепотом кончает свой разговор с Чупятовым)*.

Малафей Ионыч. Тов. Чупятов... я не могу, я волнуюсь. Вы, можно сказать, отче наш... Может, какие-нибудь директивочки от вас, — как и что. Ведь случай-то, можно сказать, непредусмотренный... африканский... Ведь, негр... товарищи.

Чупятов *(неопределенно)*. Да... Это надо учитывать.

Превосходный. Я на то скажу вам: даже — в масштабе, ежели то-есть делегат.

Илья. Да... Советую...

Малафей Ионыч. Да что, что советуете-то? Илья Петрович, дорогой — вы скажите: может, он что-нибудь любит эдакое... или вообще.

Илья *(на Любу)*. Вот.

Малафей Ионыч *(радостно)*. Ну-у? Так это мы...

Илья. То-есть, — пение, музыку. Так что, по-моему, продолжайте концерт. А потом чего-нибудь слегка — тут *(показывает на стол)* — вот и все.

Малафей Ионыч. Госп... да это я... да мы — в лепешку! Капа... Капа... Она сейчас тут приготовит...

Чупятов. Вот это хорошо, что у тебя жена работящая. А то у других кухарки, горничные... ну, не глядел бы!

Малафей Ионыч. Истинно: прямо глядеть тошно! У нас, тов. Чупятов, этого и в заводе нету, мы — по-пролетарски... Ну, Унтер Иваныч, Люба — начинайте, начинайте, а то ведь он, гость-то, каждую минуту может, а мы тут стоим... Я не могу — я волнуюсь.

Чупятов. Постой, дай докурим. Вот студент нам еще что-нибудь расскажет.

Превосходный *(Илье)*. Да, я вас прошу — провентилируйте нам в международном масштабе, як там у вас, в загранице.

Илья. События там — совершенно невероятные, особенно в английских колониях, в Африке. Понимаете: в Гвинее — восстание негров...

Малафей Ионыч. Негров? Дак ведь наш гость-то как раз...

Илья. Да, и туземный батальон отказался стрелять...

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов... ура! Я не могу... Резолюцию!

Сосулин. Товарищ Чупятов, я предлагаю — срочные стихи.

Превосходный. Нет, нет, резолюцию!

Илья. Не торопитесь: самое замечательное дальше. Понимаете... Да нет: я лучше вам прямо из газеты переведу... *(Вынимает английскую газету и делает вид, что переводит).* Вот... «отказались стрелять. И тогда против восставших английским губернатором были брошены до тех пор невиданные части...»

Превосходный. Слушайте, слушайте!

Сосулин. Я протестую — от лица пролетариата...

Чупятов. Да погодите вы! Дайте докончить.

Илья *(продолжает).* «Это были прекрасно обученные и вооруженные карабинами... человекообразные обезьяны...»

Унтер Иваныч. Боже ты мое!

Илья *(продолжает).* «Но даже и они отказались и бросили оружие — все как один...»

Малафей Ионыч. Ура!

Превосходный. Ну да — ура.

Сосулин. Позвольте... что же это? Выходит — они совершенно, как люди... то-есть, как я?

Илья. Да, как вы.

Сосулин. Фантастика!

Илья. Пожалуйста — вот вам газета: вы же, наверное, английский знаете?

Сосулин. Отчасти... да... *(берет газету, растерянно смотрит).* Да, действительно...

Капітолина Пална *(услышала шаги — кто-то поднимается из сада на балкон).* Ой... идет! Идет!

Малафей Ионыч. Кто? Он? Африканский... *(Кидается к балкону, свалка в дверях).*

Сосулин. Пустите... пустите меня! Я — корреспондент.

Превосходный. Нет, извиняюсь, я! Как секретарь...

Каптолина Пална. Я — дама, а вы на меня прете... тоже кавалер!

Малафей Ионыч *(увидел на балконе Дарью, торопливо закрывает дверь).* Товарищи, это не он, это не он! Ей-Богу, не он! Это — не негр.

Чупятов. А кто же?

Малафей Ионыч. Это... так, одна... моя дальняя... то-есть, вообще женщина...

Чупятов. А-а... ну, ладно... *(бросая папиросу).* Что ж, Унтер Иваныч, пора начинать. *(Идет в залу).*

Малафей Ионыч *(вслед).* Истинно: пора... спасибо, тов. Чупятов *(приоткрыв дверь на балкон, где Дарья начинает развешивать белье).* Дашка, дура... спятила? Белье развешивать! Уходи отсюда... слышишь? *(Закрыв дверь — сладко).* Тов. Превосходный... осмелюсь... тов. Сосулин, дорогой наш поэт! Люба! Люба! Да что же ты, что же ты не идешь? Иди же. Я не могу — я волнуюсь... ведь он каждую минуту может... Люба!

Люба *(Илья что-то шепчет ей).* Да иду, иду. *(Уходит в залу вместе с Ильей).*

Малафей Ионыч. Капа, слушай: пока она петь будет — ты тут все приготовь... Да поскорее. Господи, ведь каждую минуту может... Ведь делегат — понимаешь?

Каптолина Пална. Вот-ще: приготовь! Очень надо! А Дашка на что?

Малафей Ионыч. Дура! Ты слышала, что товарищ Чупятов про кухарок говорил? Да после этого Дашку обнаружить — разве это мысленное дело?

Каптолина Пална. А может у меня свои дела — поважнее? Вот-ще! *(Вильнув хвостом, уплывает в залу).*

Малафей Ионыч. Дура! Владычица! Что же теперь? Мать пресвятая... Дарья! Дашка! Дашка! *(Выбегает).*

(Возле балкона появляются доктор и Жудра — с каким-то свертком в руках).

Доктор. Ну, ладно, жди тут пока. Я пойду туда. *(Поднимается на балкон и в столовую).*

(Жудра садится под балконом).

Илья *(выйдя из залы навстречу доктору).* Ты один? А что же — африканский гость? Пожалует или раздумал?

Доктор. Придет, придет, только попозже, когда пение кончится.

Илья. Ага! Ну, стало быть — скоро: там уже Аида африканская при последнем издыхании, — слышишь? *(Идут в залу).*

(В столовую входит Малафей Ионыч вместе с Дарьей, опасливо прикрывает дверь в залу, тянет Дарью к балконной двери).

Малафей Ионыч *(Дарье)*. Так — поняла? Ножи, вилки, которые попроще — кухонные.

Дарья. Кухонные — так кухонные: мне — наплевать, дело твое... *(Хочет уйти).*

Малафей Ионыч. Да нет, ты постой. Понимаешь: гости... это самое... нынче — особенные. Надо, понимаешь, чтобы ты как-нибудь... не ты, а как бы... это самое...

Дарья. Ты — не ты... Говори уж, чего кругом ходишь, как кот.

Малафей Ионыч *(как в воду)*. Ну... одним словом... ты мне — тетка.

(Жудра фыркает).

Дарья. Тетка-а? Кто? Я? Тебе?

Малафей Ионыч. Ах, ты, Господи... Да некогда мне с тобой! Говорю — тетка, стало быть — тетка. Что я, — даром деньги тебе плачу?

Дарья. Нашел дуру! Это чтобы я у тебя за десять целковых в месяц и в кухарках, и в тетках служила?

Малафей Ионыч. Дашка, Бог с тобой: какая же это служба — тетка? Только одно уважение. Чай, например, подашь и сама садись с нами, пей. И разговаривай — вообще, как тетке полагается. Да ты женщина умная, мне тебя не учить.

Дарья. Умная — умная, а все-таки в союз сбегаю, спрошу, почем в месяц за тетку полагается.

Малафей Ионыч. Дарья Матвеевна, голубушка, — да зачем же в союз? Я и сам давно хотел тебе прибавить... Ну, двенадцать целковых в месяц — по рукам, а?

Дарья. Не-ет, меньше, как за пять, в тетки не пойду... сраму-то одного по нынешним временам: дьяконова тетка! *(Уходит).*

М а л а ф е й И о н ы ч. Дарья Мат... Ах, ты чертова... *(Открывается дверь из залы, высовывается тов. Чупятов).* Ой, товарищ Чупятов, это я волнуюсь... *(Чупятов манит его пальцем).* Сейчас, сейчас, сейчас... *(На цыпочках проходит в залу. Из залы выплывает Каптолина Пална, за нею Превосходный. Жудра быстро взбирается на дерево и дальнейшее наблюдает оттуда).*

П р е в о с х о д н ы й *(увлекая Каптолину Палну в неосвещенный угол балкона).* Сюда! Сюда! Здесь будет удобнее.

К а п т о л и н а П а л н а. Ой, там темно!

П р е в о с х о д н ы й. То как раз есть удобно для личной жизни. А мы с вами, конечно, за свободную личную жизнь, ктура есть завоевание нашей революции — и никакой другой революции нам даже не надо.

К а п т о л и н а П а л н а. Ну, да! *(Пауза).* А к нам нынче трубочист приходил.

П р е в о с х о д н ы й *(удивленно).* То-есть... для чего вдруг трубочист?

К а п т о л и н а П а л н а. Известно для чего: трубы чистить. Весь в саже. Вот бы ни за что не поцеловала!

П р е в о с х о д н ы й. А ежели, не трубочист, а я — Казимир Превосходный — так что?

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! Очень мне надо вас целовать! Это не полагается, чтоб дама...

П р е в о с х о д н ы й. Але я же не дама? И значит, я — могу? Да?

К а п т о л и н а П а л н а. Какой нахал! Конечно. *(Поцелуй).* Ах, как я люблю с вами обращаться!

П р е в о с х о д н ы й. Ну, я прошу вас: еще один... як пана Бога кохам — один!

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! За кого вы меня принимаете? *(Пауза).* А у меня тут — родинка.

П р е в о с х о д н ы й. Где? Здесь? Да... это знаете, родинка... это даже есть целая родина.

Ж у д р а *(не выдержав, фыркает).*

К а п т о л и н а П а л н а. Ой... кто, кто это, кто это там?

П р е в о с х о д н ы й. *(вскакивает, заглядывает через перила вниз, возвращается).* Глупство! Никого... или кто-нибудь в виде птицы. *(Возобновляет охоту за родинкой).* Извиняюсь... здесь? Нет?

Каптолина Пална. Ой... а если там есть кто-нибудь? Я же слышала. А если там Чупятов?

Превосходный. Пфе. Це такое Чупятов?.. извиняюсь: здесь, да? — Некультурная личность, и ежели приватнэ — мне на подобных с высокого дерева наплевать.

Каптолина Пална. Ш-ш-ш! Что вы, что вы!

Превосходный. Я же вам говорю, что никого, и никто не может нас слушать.

Жудра *(тихо, но очень раздельно)*. А вдруг?

Каптолина Пална. Ой! Ой!

Превосходный. Це, це такого? *(Сбегает с балкона, ищет. Вернувшись)*. Никого, то был какой-нибудь звук природы.

Каптолина Пална. Вот-ще — природы! Я же слышала: он сказал — «а вдруг». У меня даже пульс начался.

Превосходный. Извиняюсь, где? Тут?

Каптолина Пална. Нет-нет-нет! Пустите. Идем отсюда, я боюсь.

Превосходный. А-а! Хорошо, хорошо... Идем.

(Уходят. В столовой во время этой сцены Дарья накрывает на стол. В зале — соло на рояле Унтера Иваныча. Люба входит в столовую. Жудра увидел — спрыгивает с дерева и — в окно. Женщины вскрикивают).

Люба. Ой, Витька! Ой, Витька... ты?

Дарья. Черт окаянный! Ты меня до родимчика доведешь!

Люба. А мне Илья говорил... где же Африканский гость?

Жудра. Через пять минут будет. Ты смотри в него не влюбись...

Люба. То-есть, это в кого — в него? *(Хохочет)*.

(Из залы выскакивает Сосулин, от волнения, как всегда — снял и шелковым платочком протирает очки. Жудра присел сзади Дарьи, она прикрывает его платьем).

Сосулин. Любовь Малафеевна... Люба! Вы на балконе? Да?

Люба. Нет. Там у нас лягушки прыгают... противные. Да если вы еще...

Сосулин *(бросив очки на стол, подходит к Любе, взял ее руку обеими своими).* Люба, если вы... не пойдете, я... я не знаю, что сделаю!

Люба. Я знаю, прочтете свои стихи...

Сосулин. Люба, — я не шучу.

Жудра *(проскочил под столом и уже из-за спины Сосулина кивает Любе, чтобы она согласилась).*

Люба. Не шутите? Ну, хорошо, идите — я сейчас к вам выйду.

Жудра *(из-под стола, хватает очки Сосулина).*

Сосулин. Где... где мои очки? Где? Я же сейчас, сейчас их здесь бросил.

Люба. Да идите же скорей! Пока там играют... А то сейчас выйдут.

Сосулин. А, черт, ну, все равно...

(Выходит на балкон. Жудра выталкивает туда Дарью. Сам выскакивает через окно, взбирается на дерево и исчезает. Люба остается в столовой, у балконной двери).

Сосулин *(вышедшей на балкон Дарье — шепотом).* Наконец-то! Это — вы?

Дарья *(тихо).* Ну, я.

Сосулин. Я вас не вижу, но все равно: ваш голос все время звучит во мне... Да, да, во мне. У меня есть четыре строчки — вот:

Твой голос — голос восстаний,
Кровь бунтует во мне, кипит.
Революции день настанет —
Ты будешь моей Лилит...

Лилит-Лилит-Лилит! *(На коленях).*

Дарья. Ой, да встань! Что это ты — что это ты... спятил?

Сосулин. Повтори, повтори еще! Боже мой... ты сказала мне «ты» — да?

Дарья. Ну, да: сказала.

Сосулин. Милая... ты-ты-ты! Ты не знала — ты не знала! А я давно не спускаю с тебя глаз — я слежу за каждым твоим движением... Что же ты молчишь? Милая, милая... что же ты молчишь? Ну, скажи: ведь ты согласна... Да? Да?

Дарья. Чего согласна-то?

Сосулин. Ну, конечно — быть моей женой... ты согласна, да?

Дарья. Да ну ладно, что ли...

Сосулин. Ты... Ты! *(Обнимает Дарью — Люба задыхается от неслышного смеха).*

Люба *(выходит на балкон).* Ну, поздравляю вас, Сосулин, поздравляю. Я так за вас рада.

Сосулин. Кто это? Что такое? Где... где мои очки? Где очки?

(Двери зала открываются, из зала выходит Чупятов).

Люба. Товарищ Чупятов! Товарищ Чупятов! Подите сюда скорей!

Чупятов. В чем дело?

Люба. Поздравьте их: он только что ей сделал предложение.

Чупятов. Но-о? *(Сосулину).* Это, брат, здорово! Вот теперь вижу — ты действительно не на словах только. А то ведь нынче всяких много: строит из себя этакого... пролетарского, а сам шелковым платочком нос зажимает...

Сосулин *(торопливо прячет платок).* Где... где мои очки?

Люба. Вот... они на столе были, вы их ведь под салфетку засунули.

Сосулин *(надев очки, в ужасе смотрит на Дарью).* Вы? Я... я... нет! Это же...

Чупятов. Ну, ничего, нечего конфузиться. Поздравляю. Это, брат, здорово!

Дарья *(обнимает Сосулина).* Ах ты... цыплок ты эдакий!

Чупятов. Вот это — да: это — поглядеть приятно! *(Дарье).* Вас... как звать-то?

Дарья. Дарьей кличут.

Люба. Она у нас пятый год живет...

Чупятов. Так, так... Она — что же у вас: вроде...

Малафей Ионыч *(подбегает).* Это... это, товарищ Чупятов... э-э... моя тетя.

Чупятов. Но-о? А я думал...

Малафей Ионыч. Она... тетя, можно сказать, от сохи... — да. Она в деревне жила...

Дарья. Ну, кому тетя, а кому...

Чупятов. А я думал — прислуга.

Малафей Ионыч. Нет, что вы, что вы, товарищ Чупятов, я не... не эксплуатирую... Она, конечно, помогает, то-се... но это, как говорится, для семейного удовольствия. А только она — тетя, ей-Богу, тетя! Тетя милая, что же ты ничего не скажешь?

Люба. Это она — с радости: замуж выходит. Вот товарищ Сосулин ей предложение сделал.

(Превосходный, Каптолина Пална, Унтер Иваныч, Доктор и Илья подходят).

Малафей Ионыч. Пре... предложение? Ей?

Каптолина Пална. Кому? Дашк... *(Осеклась. Малафей Ионыч ее ущипнул).*

Превосходный. Кто? Товарищ Сосулин? Нет: Глупство!

Сосулин *(умоляюще).* Люба — вы же знаете... Вы же видели, как все это...

Люба. Ну, да: конечно, видела — потому и говорю.

Чупятов. Ну уж чего там: дело решенное, поздравляйте. *(Переходит с балкона в столовую, за ним — остальные).*

Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Чупятов! *(Дарье).* Поздравляю, тетя дорогая — поздравляю!

Дарья. Тетя? Ну, насчет тети — это мы еще поговорим! Ты мне сперва...

Малафей Ионыч *(перебивая).* Это мы — потом, тетя, это мы потом... Поздравляю, поздравляю... Госп.. товарищи! Поздравляйте! Капа! Капа!

Каптолина Пална. Вот-ще! Чтоб я...

Малафей Ионыч *(тихо).* Улыбайся, улыбайся, дура! Поздравляй, ну?

Каптолина Пална. Поздравляю.

Превосходный. Ну, да: и я — тоже.

Сосулин *(поздравляющим).* Но позвольте... я... это же очки! Господа... это же... это же фантастика!

Илья. Привыкайте, привыкайте, ничего!

Голос за окном *(не то птичий, не то еще какой-то).* Уй! Уй! Уй!

(Илья выглядывает за окно).

Унтер Иваныч *(Сосулину).* Моя жена — тоже, как ваш колоссаль. Я очень рад.

Малафей Ионыч *(пожимая руки)*. Спасибо, спасибо. Все-таки знаете, тетя... С глубокого детства... она мне по матери.

Дарья. Кто? Я? Ты это что на меня... Да чтоб я...

Малафей Ионыч *(перебивает)*. Тетя... тетя милая — еще раз! Ну — все, все поздравили?

Илья. Нет, еще не все... *(Выглянув в окно)*. Уй!

Голос за окном. Уй! Уй!

Африканский гость *(быстро входит в столовую. Это — антропоид, однако по всем видимостям, не нынче — завтра, он станет антропос-человек. На нем трусики, рыжие туфли, воротничок, галстук; остальное заменяет шерсть)*.

Каптолина Пална *(вцепляясь в Превосходного)*. Ой! Ой! Ой!

Дарья. Ну, и мырдишша!

(Малафей Ионыч, Превосходный, Унтер Иваныч, Сосулин — онемели).

Доктор. Уважаемые товарищи! Честь имею вам представить Африканского гостя.

ЗАНАВЕС

ЧАС ТРЕТИЙ

Балкон, три дерева. Дверь с балкона в столовую закрыта. Сквозь стекло видно: все — около Африканского гостя. Малафей Ионыч кланяется, приглашая его к столу, вдруг Африканский гость перескакивает через стол и вылетает на балкон, за ним — Илья.

Африканский гость *(что-то бормочет невнятно, нагнувшись к Илье)*.

Илья. Так, так, так... Понимаю: вам жарко. Так чтобы здесь — на балконе... Еще что?

Африканский гость *(продолжает тихо бормотать что-то Илье)*.

Илья. Что? Клочок бумажки? Вот ч-черт... Нету! *(Высунувшемуся в дверь Малафею Ионычу)*. Да уйдите вы!

Малафей Ионыч. Как — уйдите? Я, — можно сказать, — хозяин... Я не могу — я волнуюсь...

Илья. Да ему надо... ну, понимаете? Кусочка бумажки у вас нету?

Малафей Ионыч. Бумажки? Сию-сию-сию минуту! *(Открывая двери).* Граждане... Бумажки им требуется кусочек... понимаете? Нашему дорогому гостю — бумажечки!

Сосулин. Вот... с моими стихами.

Превосходный. А у меня — даже ничем не пачканная.

Малафей Ионыч *(передавая Илье бумагу).* Может, мне... вроде... помочь им? Так это я могу, с удовольствием!

Илья. Да уйдите вы! Ну как вы можете помочь? *(Захлопывает дверь, передает Африканскому гостю карандаш).*

(Африканский гость сбегает с балкона вниз, там пишет записку. На балкон выходит Каптолина Express Пална, Превосходный, Малафей Ионыч и Доктор).

Малафей Ионыч. Ну, что, что? Где он?

Илья. А вон там — в кустиках.

Малафей Ионыч. Спасибо, Илья Петрович, спасибо! Мы на кустике табличку повесим, что, мол, здесь такого-то числа и года наш дорогой Африканский гость...

Илья. Это уж вы — завтра, а сейчас вот что: он просил, чтобы ужин здесь, на балконе.

Малафей Ионыч. Госп... да хоть на крыше! Сейчас, сейчас, сейчас... *(Убегает в столовую).*

Превосходный. А почему — на балконе?

Илья. А он, понимаете, у себя там привык на воздухе. Он говорит, что в комнате долго не может.

Превосходный. То-есть, как это — «говорит»?

Доктор. Ну, вот — опять двадцать пять! Я же объяснял, что англичане их язык уже открыли.

Илья. Ну да. И я, пока с ним ехал, подучился — почти все понимаю.

Превосходный. Извиняюсь: а он по-русски может слышать... то-есть понимать?

Каптолина Пална *(тихо).* Ой... Казимир Казимирович... Я вам говорила!

Илья. Не-ет! По-русски он — ни папы, ни мамы. Это можете быть покойны.

Превосходный *(облегченно)*. Фу-у! Ну, вот это хорошо. То-есть, оно не хорошо, но принимая во внимание... э-э... например, случаи из личной жизни...

Илья *(Каптолине Палне)*. Ну, идемте: я вам помогу сюда все перетащить...

(Уходят: Илья, Каптолина Пална и Доктор. Превосходный остается. На балкон вбегает Сосулин и минутой позже снизу поднимается Африканский кость).

Сосулин *(на Африканского гостя)*. М-м-м... А он?

Превосходный. Ну, ешьли между нами, приватнэ — так это не обезьяна, и даже доктор только что научно подтвердил, что он по-русски ни отца, ни мать не понимает. *(Подошедшему ближе Африканскому гостю)*. Что, морда? Ну что, морда, тебе надо, ну? Брысь!

(Африканский гость отбегает, садится на перила).

Сосулин. Смотрите! А вы сказали, что он по-русски не говорит?

Превосходный. Ну, ешьли я скажу кошке — брысь — так она, по-вашему, тоже по-русски говорит?

Сосулин. Ну, хорошо, слушайте: я хочу... То-есть, нет, нет — не хочу, ни за что не хочу на этой самой Дарье! Это черт знает! Я — я иду с ней в Москве по Тверской, или под руку с ней вхожу в ресторан... Скандал, фантастика! Что будут говорить — вы только подумайте, вы подумайте!

Превосходный. Ну... будут говорить, что вы — лицом к деревне. Это же для вас хорошо.

Сосулин. Позвольте, позвольте! Мои орудия пропроизводства — перо и бумага, на бумаге я готов — лицом к чему угодно. Но тут, извините: тут уже не на бумаге, это я — не могу... Ни за что! Да я просто боюсь ее! Ну, спасите меня, ну, придумайте что-нибудь, я ничего не в состоянии, — у меня сейчас голова совсем... без очков...

Превосходный. Ну, хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Мое фамилие — Превосходный, и я за вас на все сто процентов — и вы можете спокойно не волноваться.

Сосулин. Спасибо, спасибо вам... Я сразу почувствовал в вас что-то такое... родное...

Превосходный. Ну, да: я тоже жил в Москве три недели... Это же, знаете, город... Пфа! *(Уходят).*

(Открывается дверь на балкон, Африканский гость сбегает вниз. Входит Илья, несет стулья).

Африканский гость *(Илье).* С-с-с! *(Илья подходит, Африканский гость сует ему в руку записку и шепчет что-то на ухо).*

Илья. Что? А-а понял-понял: чтоб никто не видал! Ладно, будьте спокойны!

(Малафей Ионыч и Доктор вносят на балкон стол; Сосулин и Унтер Иваныч — с блюдами. Превосходный несет стаканчики).

Малафей Ионыч. Товарищ Превосходный... да что это, что это вы! Не утруждайтесь, как же это можно!

Превосходный. Нет, почему? Хотя моя специальность умственная, но я напротив физического труда не возражаю...

(Дарья поднимается на балкон с веником).

Малафей Ионыч. Те... те-тя!

Доктор. А-а! Товарищ невеста! Вот он, вот он, твой — вон стоит...

(У Сосулина опускаются руки, блюдо — на пол, вдребезги).

Дарья. Да ты что же это, а? В очки, как в тарантас запрегся, а под носом не видишь? Прибирай теперь за тобой! Ну, что молчишь, полтинники свои вытаращил?

Сосулин. Я... я больше не буду... Я сам приберу...

Дарья. Пус-сти, не суйся... родимец окаянный!

Малафей Ионыч. Тетя... тетя!

Унтер Иваныч. Какой голос, очень хороший! *(Сосулину).* Поздравляю.

Чупятов *(входит).* Ну, Малафей Ионыч, уж постарайся для гостя, покажи себя... в натуральную величину.

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, уж будьте спокойны: именно — в натуральную величину! Вот сейчас Любаша с Капой фонарики принесут, мы тут для нашего народного торжества фонарики развесим... Китайские, товарищ Чупятов! Можно сказать, против японского империализма... и вообще...

(Снизу на балкон поднимается Африканский гость).

Малафей Ионыч. Ой... вот он, вот он — дорогой наш африканский... Пожалуйте, пожалуйте! Сделайте милость! *(Кланяется Африканскому гостю, тот отвечает поклоном в пояс, Малафей Ионыч — тоже в пояс, Африканский гость в ноги, Малафей Ионыч тоже в ноги. Потом смущенно оглядывается на Чупятова).* Хи-хи-хи! Э... ты... в смысле физкультуры.

Чупятов. Н-да! Физкультура — старинная.

Африканский гость. Ррмит... клим... аррэду-эк, ррэд, уэк... И, га!

Малафей Ионыч *(Илье).* Что-й-то... что-й-то он? А?

Илья. Он говорит, что очень доволен. Видал, говорит, таких, что редко...

Малафей Ионыч. Спасибо, дорогой наш... Как «спасибо» по-ихнему, Илья Петрович?

Илья. И, га.

Малафей Ионыч. Дорогой наш Африканский гость, позвольте вам от души ига...

(Входят Каптолина Пална и Люба с фонариками).

Люба. Ну, кто у вас тут дежурный фонарщик? Вешайте.

Африканский гость *(Илье).* Огег... и, заи, заи!

(Тычет его в руку, в которой Илья держит записку).

Илья. Дай-ка, Люба, повешу... *(Берет у нее фонари, сует ей в руку записку).*

(Люба отходит в сторону).

Африканский гость *(отвлекая от нее внимание остальных — Илье).* Уй-ойо-эрро-хриа ...Уэк! Уэк!

(Красноречивыми жестами демонстрирует влезание на дерево).

Малафей Ионыч *(Илье).* Чего... чего это им желается? Вы нам только переведите, а мы, все, все — с удовольствием!

Илья. Он говорит, чтоб фонари на деревьях повесить. Они у себя на деревьях сажают светляков таких... тропических...

Чупятов. О-о, вот это красота будет!

Каптолина Пална. Вот-ще! Какой это дурак туда полезет?

А ф р и к а н с к и й   г о с т ь. Дырр-уэк-ифа... Пупусь! Пупусь! Пупусь! *(Взял фонарики у Ильи, сует один Превосходному, другой Малафею Ионычу, третий — Сосулину).*

П р е в о с х о д н ы й. В чем дело? Я извиняюсь!

И л ь я. *(Превосходному, Малафею Ионычу и Сосулину).* Он просит вас, вас и вас повесить их на деревьях.

М а л а ф е й   И о н ы ч. Илья Петрович, Илья Петрович! Я... я боюсь! Нельзя ли как-нибудь... Увольте!

Д о к т о р. Ну, вот. То говорил — «физкультура», «физкультура», а теперь — «увольте»!

И л ь я. Вы, может, за умерщвление плоти — вместе с церковниками?

М а л а ф е й   И о н ы ч. Нет, что вы, что вы! Я... я отрекся, я — против. Я полезу. *(Уныло).* С удовольствием.

П р е в о с х о д н ы й. Ну, а я так извиняюсь: я не полезу. Чтобы мне для какой-то паршивой обезьяны на дерево влезать? Не-ет!

Д о к т о р. Уж сразу и «паршивая обезьяна»! Я же говорил вам...

П р е в о с х о д н ы й. Извиняюсь: но это же низшее существо. У него же шерсть... всюду.

Ч у п я т о в. Шерсть! Ты на шерсть не гляди: может, он под шерстью — не хуже кого другого. Этак и негр, что он весь черный, так тоже, по-твоему низшее?

М а л а ф е й   И о н ы ч. Спасибо, товарищ Чупятов, спасибо! Верно! Ручку позвольте!

П р е в о с х о д н ы й. Товарищ Чупятов, я уже отмежевался от своих слов, и я согласен на дерево.

И л ь я *(Сосулину).* А вы?

С о с у л и н. Я... я...

Д а р ь я *(грозно).* Ле-езь! Слышишь?

С о с у л и н *(поспешно).* Я — куда хотите... куда хотите...

И л ь я. Браво! Итак, открывается первая в нашем городе олимпиада. Товарищи-атлеты — слушай команду! Раз... Два... Три!

(Олимпиада началась, три атлета, кряхтя и охая, лезут на деревья).

Д о к т о р. Так-так-так, граждане! Работай, работай!

Каптолина Пална. Ой... Казимир Казимирыч, там гвоздь! Гвоздь! Напоретесь!

Дарья (*Сосулину, у которого ничего не выходит*). Лезь, лезь, паралик, лезь!

Сосулин (*лезет снова, с отчаянием, опять сорвался, очки упали, он наступил на них ногой*). Очки! Я... я теперь ничего не могу... Я пропал...

Малафей Ионыч. Ой... Ой... Госп... Ой!

Доктор. Вали-вали-вали! Немного осталось!

Малафей Ионыч (*на верху дерева, нацепив фонарь*). Ф-фу! (*Крестится*).

Африканский гость (*показывая на него*). Аррру-ру-ру. (*Хохочет по-обезьяньи*).

Доктор. Вот оно, когда выскочило настоящее-то! Ха-ха-ха!

Чупятов. Э-э, брат. Что же это ты? А?

Малафей Ионыч (*сверху*). Товарищ Чупятов... товарищ Чупятов... Я же это — антирелигиозно... ну, вот ей-Бо... Ой, бок прокололо! Товарищ Чупятов, это же я — для смеху, как бы в виде театра... Вот же... вот же... вы же смеетесь. И дорогой наш... африканский — смеется... (*Быстро спускается*).

Превосходный (*тоже повесил фонарь, спускается, с опаской поглядывая вниз*). Ой! (*Задел за гвоздь, треск разорванной материи*). Что это такое? Вы слышали? Что это такое? (*Соскакивает*).

Каптолина Пална. Я вам говорила: гвоздь... Вот штаны и пострадали.

Дарья. Располосовал-то! Батюшки!.. ой. (*Хохочет*).

Африканский гость. Уй! Уй! Уй! (*Дергает оторванный лоскут*).

Превосходный. Нахал! Пся крев! Я тебя сейчас...

Илья. Перевести?

Превосходный. Нет-нет, это я — не для перевода, это я так — приватнэ... Не переводите.

Люба. Ой, я лопну от смеха — я не могу больше, я не могу.(*Вытаскивает платок — вытереть глаза, из кармана выпадает записка, Превосходный ее поднимает. Тихо — ему*). Отдайте... отдайте сейчас же! Не смейте читать! Слышите!

Превосходный *(быстро пробежав записку, тихо Любе)*. А-а... То вот как? *(Прячет записку)*. Ну, теперь он у меня уже тут... *(Похлопывает себя по карману)*.

Каптолина Пална *(подходит)*. Ничего, ничего, дайте я вам булавочкой заколю. Это даже хорошо: это к мальчику.

Превосходный. То есть, как — к мальчику?

Каптолина Пална. Ну да: брюки разорвать — это, говорят, мальчик родится.

Люба. Казимир Казимирович!

Каптолина Пална *(занятая реконструкцией брюк, Любе)*. Вот-ще! Пусти! Уходи отсюда, слышишь?

Превосходный *(Любе, ядовито)*. Мне даже неловко, знаете... Вы же девушка, а это — брюки... Вам лучше уйти.

Люба *(проходя мимо Ильи)*. Илюша. *(Спускается с балкона, Илья — за ней)*.

Илья. Ну, Люба. Что же ты молчишь? Что случилось?

Люба. Дура! Дура! Сама — своими руками!

Илья. Да что такое!

Люба. Записка...

Илья. Ну?

Люба. Я ее выронила. Превосходный... она у Превосходного. Он ее прочитал...

Илья. Эх, ты: все провалила! Теперь он нам покажет! Хоть бы успеть деньги из папаши твоего вытянуть — на билет в Москву.

Люба. Да, как же, вытащишь из него!

Илья. А вот мы на этот счет с Дарьей поговорим. Пошли-ка ее ко мне... Не надо, не надо: вон она сама идет...

(Дарья появляется с самоваром. На балконе в это время заканчиваются приготовления: зажигаются фонари, ставятся на стол блюда. Африканский гость всюду — первый активист).

Малафей Ионыч *(с балкона)*. Люба! Илья Петрович! Да где же вы там? Идите.

Люба. Сейчас... *(Поднимается на балкон, Илья что-то тихо говорит Дарье)*.

Малафей Ионыч. Унтер Иваныч! А вы — что же? Вот стульчик, стульчик для вас...

Унтер Иваныч. Нет-нет! Я — нет!

Малафей Ионыч. Что вы, что вы, Унтер Иваныч! Вы, можно сказать... музыкальный вождь — без вас никак нельзя.

Унтер Иваныч. Я поздный — боюсь моя жена сегодня очень неудобренная.

Малафей Ионыч. Как, как? Жена — неудобренная? Хи-хи-хи!

Превосходный. Хо-хо-хо!

Чупятов. Нехорошо, товарищи. Что это, в самом деле! Напали на немца...

Малафей Ионыч. Товарищи, стыдно! Да как же это можно, а? Это называется антисемитизм против немцев. Я протестую! Я... *(Дарья приносит самовар).* Те... тетя дорогая! Вот спасибо! Ты садись с нами, тетя, садись. *(Чупятову).* Она — сядет, она сейчас сядет... Тетя!

Дарья. Тетя? Ну, это мы еще поглядим!

Малафей Ионыч. То есть... че... чего поглядим?

Дарья. Знаю я тебя! Наобещаешь, а потом... Вот как возьму сейчас при всех...

Малафей Ионыч *(торопливо).* Нет-нет, тетя... я сам возьму, ты не беспокойся. *(Вскакивает).* Товарищ Чупятов, — она, понимаете... У ней — это самое... нерв расстроен... Я — сейчас. Тетя — на минутку! *(Гостям).* Я — сейчас, сейчас. *(Сбегает с балкона. Дарья идет за ним, оба скрываются за углом дома).*

(Каптолина Пална разливает чай).

Превосходный. Да-да-да, товарищ Любочка, да. Теперь вы у меня — тут! *(Похлопывает себя по карману слева. Тихо).* Но мы с вами можем сговориться, и ешьли, например, вы зайдете ко мне завтра домой... приватнэ...

(Берет ее руку, Люба вырывает, вскакивает из-за стола).

Африканский гость *(наблюдавший эту сцену, хватает со стула гитару, дает ее Илье).* Тырр-мзэт-уи, мзэт-уи... Уэк!

Илья. Он — насчет музыки. Как, граждане?

Чупятов. Об чем речь? Работай!

(Илья наигрывает и что-то тихо говорит Африканскому гостю. Из-за угла выходит Дарья, за нею — Малафей Ионыч).

Малафей Ионыч. Дарья... Дарья Матвеевна! Тетя дорогая, разве я отказываюсь? Господи...

Дарья. А не отказывайси — так плати мне сейчас за тетю за год вперед. По пять рублей в месяц — это выходит шестьдесят.

Малафей Ионыч. Шесть червонцев? Сейчас? Ах ты, мерзав...

Дарья. Ну, ладно! Ты у меня родишь ежа против шерсти! Вот как выложу сейчас при всех, как ты меня в тетки нанимал...

Малафей Ионыч. Те... тетя дорогая! Ради Хри... Тетя — я согласен.

Дарья. Ну, давай.

Малафей Ионыч *(отсчитывает, дает Дарье деньги)*. Вот...

Дарья *(взглянув)*. Три... Так. Еще три давай. Поживей, племянничек, поживей!

Малафей Ионыч. На! Сстер...

Дарья *(грозно)*. Што-о!

Малафей Ионыч. Стер... Стерпеть все надо, все — стерпеть... Христос терпел — и нам велел.

Дарья. Ну, то-то! Терпи!

(Малафей Ионыч уходит на балкон. Дарья пересчитывает деньги).

Илья *(с балкона)*. Тетя Даша, где же ты застряла? Тут без тебя жених соскучился... *(сбегает вниз к Дарье)*.

Сосулин *(вскакивает)*. Нет-нет. Я... я... не соскучился.

Дарья *(сует деньги Илье)*. Выручила. На, отдай Витьке... Ой, была потеха!

Илья. Спасибо тебе, Дашенька. Век не забудем. *(Идут на балкон)*.

Чупятов *(навстречу Малафею Ионычу)*. Что-й-то ты, Малафей Ионыч, будто расстроен чем-то, а?

Малафей Ионыч. Нет, что вы, товарищ Чупятов! Как можно... гости... Гости такие дорогие... семья *(Дарье, поднимающейся на балкон)*. Тетя дорогая... *(Свирепо)*. Садись.

Дарья *(усаживается рядом с Сосулиным)*. Спасибо, племяш драгоценный, спасибо. Ну-ка, положи мне варенья-то. Клади, клади еще — не стесняйся! Та-ак!

(Сосулин, озираясь, тихонько отодвигает свой стул, чтобы удрать).

Африканский гость *(вырастает перед ним).* Огег... дрраша-дрраи. И, уи, уи. И, уи!

Дарья *(Сосулину).* Женишок! Куда? Куда ты?

Сосулин. Я в па... в пальто... Платок в пальто... У меня... н-насморк хронический...

Дарья *(могучим объятием пригвождает его к стулу).* Сиди, сиди, сопливенький ты мой! Я тебе нос утру, миленочек — я утру! *(Ситцевым платком вытирает Сосулину нос).*

Илья. Счастливец!

Каптолина Пална. Казимир Казимирыч, а при социализме насморк будет или нет?

Малафей Ионыч *(поспешно ее перебивает).* Капа... Капа... Ты угощай, угощай лучше. Гость-то... гость-то наш дорогой африканский... Илья Петрович, да усадите вы его! *(Африканский гость прыгает в кресло рядом с Любой, Малафей Ионыч — ему):* Ой! Хвостик свой не прищемите! Хвост... Хвост, говорю!

Африканский гость. Хх-вост... ррр-уик!

Малафей Ионыч *(в восторге).* Гос... граждане! Товарищ Чупятов! Доктор! Да он слова произносит! Наши! А? Так мы же его по-нашему выучим!

Доктор. И очень просто. Пройдет какой-нибудь год, два и все поймут.

Малафей Ионыч. Да нет, что — год! Мы — сейчас... Ну-ка, Х-вост. Ну? Х-вост.

Африканский гость. Ррр... ост.

Малафей Ионыч. Нет-нет: ...Х-вост.

Африканский гость. Ррр... х-вост. Прррохвост. Прррохвост.

Илья. Очень интересно выходит. Ну-ка еще попробуйте.

Малафей Ионыч. Нет, что уж их затруднять... пускай уж они покушают сперва... Товарищ Сосулин, будьте настолько... около вас рачки — подайте им.

Сосулин. Что? Ах, да... рак. Вот... *(Передает).*

Африканский гость. Ррр-рак. Урр. ддд... Дурррррак. *(Тычет рака Превосходному).*

Малафей Ионыч. Слышали? Слышали? Замечательно!

Превосходный. Ну, ешьли так, так уж довольно. Я скажу, что ничего замечательного нет, и я имею на то факт... Тут *(похлопывая себя по карману слева, что в равной мере может быть отнесено, как к спрятанной записке, так и к Превосходному — его сердцу).*

Малафей Ионыч. Товарищ Превосходный... что такое? Какой факт? Госп...

Превосходный *(на Любу).* То пока есть еще наша тайна, хотя, я разумею, мы с ней уже сговорились.

Малафей Ионыч. Так, значит, вы с ней... Госп... да я! Товарищ Превосходный... спасибо! Товарищ Превосходный, дорогой — век за вас буду... это самое...

Люба *(Превосходному).* Слушайте... Если только вы...

Превосходный. Для вас, товарищ Любочка, могу и подождать, ешьли вы имеете уже рыбку на крючке, то разве надо спешить?

Унтер Иваныч. О, да! Ман мус долго тасковать, тасковать, а потом — эйн!

Превосходный. Ну, да. И ешьли еще такая превосходная рыбка... *(на Любу).*

Люба *(молча вскакивает и бежит вниз с балкона).*

Малафей Ионыч. Хи-хи-хи! Законфузилась! Ничего, привыкнет.

Африканский гость. Ллю... Ллю... Арр-уан! Уаи!*(Догнав Любу на ступеньках, хватает ее и несет ее на балкон).* Аррр-уаи! Уаи!

Чупятов. Малафей Ионыч, ты гляди, гляди.

Доктор. Темперамент — африканский, очень понятно.

Малафей Ионыч *(поглядывая на Чупятова, неопределенно).* Н-да... можно сказать действительно.

Сосулин *(вскакивает).* Я не могу! Я с ума сойду!

Дарья *(сажает его).* С чего хочешь сходи, а с места не сойдешь, не-ет!

Сосулин *(Малафею Ионычу и Каптолине Палне).* Как вы можете? Какая-то образина... обнимает вашу дочь, а вы...

Доктор. Позвольте: «образина»! Вы можете прочитать в последних английских работах...

Илья (*потрясает газетой*). Ну, да вот: вы же сами читали. А как нас в Одессе... Да что — в Одессе! Вот он завтра со мной в Москву поедет — по приглашению разных научных обществ.

Чупятов. А что же — и поедет. Это уж я ему устрою. Денег-то на билет хватит?

Илья. Да ему только захотеть — денег у него прямо... килограммы будут. Да, Малафей Ионыч: килограммы!

Унтер Иваныч. Боже ты мое!

Малафей Ионыч. Так... так, значит, он... так это же выходит...

Африканский гость (*неожиданно обнимает и целует Любу*).

Люба. Ой!

Доктор. Да, конечно, выходит — ты гляди, гляди. (*На Любу и Африканского гостя*).

Малафей Ионыч. То есть, вы хотите сказать... это самое...

Доктор. Во-во-во! Это самое. А для науки-то... Да для науки тут, может, может прямо революция будет!

Чупятов. Наука — это первое дело. Верно, товарищ доктор.

Илья. И вот что еще учтите: если вы, Малафей Ионыч, согласитесь — так ведь про вас вся Москва заговорит, вы сразу — взлетите!

Малафей Ионыч (*охорашивается*). Да уж... я бы это самое — конечно... в натуральную величину.

Доктор. Ну, так отдавай за него Любу — чего ж долго думать.

Малафей Ионыч (*косясь на Чупятова*). Да я... собственно...

Чупятов. А что, Малафей Ионыч, правда, а?

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, да если вы только... Да... Да я — с радостью! Для науки-то? Госп... Да наука для меня — вроде рели... ре... рельсы, по которым мы, как один... до последней капли...

Чупятов. А особенно, если на этих рельсах — денег килограммы... а?

Малафей Ионыч (*увлекшись*). Да... килограммы. Килограммы... а?

Каптолина Пална. Ну, а я несогласна.

Малафей Ионыч. Капа... Капа!

Каптолина Пална. Вот-ще! Чтоб я свою дочь за какую-то... *(щипок Малафея Ионыча).* Я... я сама.

Доктор. Что — сама?

Каптолина Пална. Ну... для науки. Очень даже интересно.

Доктор. А это уж надо его спросить *(на Африканского гостя),* как он. Ну-ка, Илья!

Илья *(Африканскому гостю).* Арр-кап-тырр — лю... Уэк? Уэк?

Африканский гость. Пакк-уги, га! Пфу! Пфу! *(Плюет).*

Каптолина Пална. Нахал животный! Казимир Казимирыч, какой же вы кавалер? Вашу даму обчихали, а вы — как колода!

Превосходный *(встает).* Ну, знаете, это уж слишком чересчур. Довольно. Гэть! Я вам сейчас, уважаемое собрание, все объясню... *(Вытаскивает записку).* Вы имеете себе документ...

Чупятов. Да, постой, ты, секретарь. Документы— потом. Сядь! Сядь, говорю!

Превосходный *(садится).* Слушаюсь, товарищ Чупятов. Я могу и потом. И в самый последний момент — это, знаете, будет даже интересней — так, ровно как в театре. *(Африканскскому гостю).* Что на то скажете, молодой человек?

Африканский гость. Ига! Барр-анга! Гррымзобупфф-тырр... Уэк! Уэккх-ли!

Илья *(Превосходному).* Он очень благодарен и говорит, что у него был дядя, как две капли воды похожий на вас.

Африканскийгость *(на Любу).* Арр-уэк-ллю... их. Гог!

Илья. Он хочет, чтобы спросили Любу, как она сама — согласна за него или нет.

Малафей Ионыч *(предостерегающе).* Люба!

Люба. Ну, конечно... *(Африканский гость дергает ее за рукав).* Конечно — не согласна. Я обещала Витьке... Жудре.

Малафей Ионыч. Ну, не-ет! Насчет Жудры — это уж позволю себе... нюанс из трех пальцев. *(Показывает фигу).* Да-с!

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(свирепо).* Пррр-эмбррр-уэк-ать! Ать!

И л ь я. Это он, извиняюсь, Витьку... последними обезьяньими словами кроет.

М а л а ф е й И о н ы ч *(Любе).* Вот видишь, видишь! И он тоже — как я — сразу раскусил, что это за птица такая — Жудра... Ну, Люба, я тебя прошу — для науки. Для науки, Любаша!

Д а р ь я. Так, так, племяш! Проси, проси, кланяйся!

С о с у л и н. Нет! Нет! Люба!

Л ю б а *(Малафею Ионычу).* Так ты настаиваешь, чтоб я согласилась?

М а л а ф е й И о н ы ч. Я тебя кратно прошу... можно сказать, как старший отец.

Л ю б а. Ну, хорошо: для науки — я согласна.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Урр—уи! Уи! Уи!

И л ь я. Молодец, Люба! Выдержала экзамен!

Ч у п я т о в. Ну, Малафей Ионыч, куй железо пока горячо. Загсова книга у тебя, кажись, тут, дома?

М а л а ф е й И о н ы ч. Как же, как же, товарищ Чупятов, дома. Я и дома, можно сказать, сверхурочно... в поте лица своего, как заповедал нам Госп... наш вождь...

Ч у п я т о в. Какой вождь?

М а л а ф е й И о н ы ч. Э-э... как его...

Ч у п я т о в. Ладно: некогда — потом вспомнишь. Неси скорей книгу — сразу две пары запишешь... по конвейеру.

М а л а ф е й И о н ы ч. Слушаюсь, товарищ Чупятов! Сейчас-сейчас-сейчас. *(Уходит).*

Д о к т о р. Вот это я понимаю! Это — ударная система! Ну, ребята, целуйтесь.

(Люба и Африканский гость целуются).

У н т е р И в а н ы ч. Хии! Хии! Хии!

И л ь я. Ур-ур-а!

П р е в о с х о д н ы й. Ну, знаете, это ваше ура вы еще подождите, да. Еще неизвестно, ура или напротив не ура...

Д о к т о р. Обе... обе пары! Товарищ Сосулин, поэт — вы что же нахохлились? Пора бы вам...

С о с у л и н. Да, пора! Довольно *(Декламирует):*

Расправлю могучие плечи —
Как Разин, как Пугачев...

Дарья *(чуть надавила — он плюхнулся на стул).* Сиди уж... цыплок недосиженный. Туда-а же: Пугачев!

Сосулин. Товарищ Превосходный... товарищ Превосходный — вы же мне обещали!

Превосходный. Один момент — один момент, уважаемый — и, як Пана Бога кохам, вы увидите, что такое есть Казимир Превосходный. Моя бомбочка — еще тут. *(На карман).*

Капитолина Папна *(показывает на Африканского гостя).* Ой, Казимир Казимирыч... как он на нас смотрит. У меня опять даже пульс начался.

Превосходный. Где... где — пульс?

Малафей Ионыч *(входит с книгой. Служебным тоном).* Прошу граждан соблюдать тишину... *(Сосулину)* и на столах не разлагаться... гражданин! Будьте любезны. Граждане, вступающие в брак, прошу предъявить ваши документы.

Чупятов. Да ну тебя! Ты еще у своей дочери будешь спрашивать — чья она дочь. Записывай, не трать время зря.

Малафей Ионыч. Слушаюсь, товарищ Чупятов. *(Записывает).* Любовь Малафеевна... двадцати двух... дочь... м-м-м... Так. А-а.... а как же у них-то? *(на Африканского гостя).*

Превосходный. Да-да-да! Ваш докумэнт, пан, ваш докумэнт! Ага-а! вам не по нраву?

Сосулин. Ага-а?

Люба. Илюша! Илюша! Скорей же... что-нибудь...

(Пауза. Доктор и Илья совещаются шепотом).

Доктор. Я удостоверяю его личность.

Илья. Я — тоже.

Чупятов. Правильно! Закон! Удостоверения двух граждан по нашему закону довольно.

Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Чупятов! *(Любе и Африканскому гостю).* Бракосочетающиеся, распишитесь потом здесь *(показывает место в книге).* Следующие! *(Робко):* Те... тетя... *(Чупятову)* э... это тетя... я знаю, я знаю. *(Торопливо записывает).* Дарья... Матвеевна... тридцати...

Дарья *(быстро села на пол, разулась, извлекла из башмака документ — и на стол).* Вот! На тебе!

Малафей Ионыч. Да нет, тетя.. за... зачем же... Я и так... я и так...

Дарья. Чего там — так! Я не какая-нибудь половинкина дочь и не буржуйка, я не боюсь!

Чупятов *(через плечо Малафея Ионыча взглянул на документы)*. Э-э! Расчетная книжка?

Малафей Ионыч *(торопливо пряча книжку)*. Э... это, товарищ Чупятов, не по тете расчетная... это по ихней другой специальности... Я... уже записал, теперь вот их надо... *(На Сосулина)* они волнуются...

Илья *(вместе с Африканским гостем держит вырывающегося Сосулина)*. Не волнуйтесь, товарищ!

Сосулин. Пус... Пустите!

Малафей Ионыч. Прошу соблюдать тишину. Ваш документ, гражданин.

Сосулин. Он... д-д-дома... Пустите!

Малафей Ионыч. Тогда будьте добры — устные... ваше социальное положение? Родители?

Сосулин. Родители?

Малафей Ионыч. Ну-да: родители у вас — кто были? Будьте добры.

Сосулин. Ро... родителей... не было.

Малафей Ионыч. То есть... как не было?

Сосулин. Не было! Не было! Ничего не было! Пус... пустите! Товарищ Превосходный!

(У Превосходного в это время оживленный диалог шепотом с Каптолиной Палной, они переходят на другое место. Сосулин, вырвавшись, тычется в пустой угол, потом кидается к Чупятову).

Сосулин *(Чупятову — тихо)*. Товарищ Превосходный... я не хочу! Вы же мне обещали! Я не хочу!

Чупятов. Что такое? Что — не хочу?

Сосулин. На какой-то мужичке! Это же черт знает! Мой отец был в Сенате, а я... Нет, это же немыслимо! Фантастика, чепуха... тут все с ума сошли — вся Россия с ума сошла...

Чупятов. Вот ка-ак?

Сосулин. Только вам... только вам это говорю... вы же понимаете. Вы же мне обещали. Ведь вам только два слова сказать этому самому типу... Чупятову...

Чупятов. А я этот самый тип и есть.

Сосулин *(в ужасе)*. В-в-вы? Чу ... Чу ...

Чупятов. Я.

Сосулин. Э... это не вы.

Чупятов. Нет, я — это я. А вот вы — действительно не вы.

Сосулин. То есть ... как?

Чупятов. Так. Хорош ... революционный! Редиска ты — да еще трухлявая. Нам, брат, таких не надо.

Сосулин. А-а-ай! *(Присев, как заяц, опрометью убегает вниз с балкона, исчез)*.

Дарья *(вслед)*. Погоди, погоди ... жених!

Илья. А-лля-ля-ля!

Африканский гость. Рру-рру-рру!

Унтер Иваныч *(когда хохот затих — Чупятову)*. Русский — странны. Варум — почему вы звал его редия? Редия — это вкусны, а он — невкусны.

Чупятов. Да уж, это верно, что невкусный.

Унтер Иваныч. О да! Пфуй!

Чупятов. Вот именно. Ну, одна пара еще осталась. Расписывайтесь скорей — и конец.

Доктор. Конец благополучный, вот это я люблю.

Превосходный. Ну, знаете — благополучный. Пхэ! Это мы еще посмотрим!

Каптолина Пална. Казимир Казимирыч ... я боюсь, у меня пульс ...

Илья. Товарищ Превосходный, да будет вам бузить.

Превосходный. Нет, извиняюсь: я должен сказать ... Уважаемое собрание, это же все — фигли-мигли, это комедия. И я имею документ, ктуры, я сейчас вам покажу, наконец, объявлю ... *(Вынимает записку, секунду медлит, ухмыляясь)*.

(Люба судорожно ухватилась за Илью).

Африканский гость *(подойдя к Превосходному)*. Аррр-у ... Аррр-у ... А вдовруг?

Превосходный *(обалдев)*. Что?

Африканский гость *(очень ясно)*. А вдруг?

Чупятов. Ну, какой там еще документ! В чем дело?

Превосходный *(растерянно)*. Я ... я не знаю ... Я — ничего ...

Африканский гость *(подбегает к Малафею Ионычу, нагибается к нему — явно сейчас заговорит)*.

Каптолина Пална. Казимир Казимирыч... Казимир Казимирыч... Не надо!

Превосходный. Малафей Ионыч... я — ничего. Я — ничего. Як Пана Бога кохам, ничего!

Малафей Ионыч. Что ничего? Дорогой товарищ Превосходный... Капа... Что такое?

Чупятов *(Превосходному)*. Ну, давай, давай сюда документ твой.

Превосходный. Э-э-это не документ... Это бе-бе-белье...

Чупятов. Да что ты говоришь? Какое белье?

Превосходный. Это... это есть счет от прачки... Хе-хе-хе! Это я, извиняюсь, пошутил... як Пана Бога кохам.

Малафей Ионыч. Хи-хи-хи... Спасибо, товарищ Превосходный!

Люба. Ну, знаете, за такие шутки...

Превосходный. Хе-хе-хе... Товарищ Любочка... Это же я — для волнения, как в театре... И вы же все равно имеете благополучное окончание, вам же только расписаться вашим фамилием...

Малафей Ионыч. Пожалуйте, пожалуйте, граждане — прошу расписаться. Вот тут... *(Люба расписывается)*. А... а... как же они? *(на Африканского гостя)*. Могут... это самое?

Илья. О чем речь? Конечно — могут. Я же его научил.

Африканский гость. Н,га! Н,га! *(Пожимает руку Илье, расписывается в книге и быстро ее захлопывает)*.

Малафей Ионыч. Позвольте, позвольте...

Илья. Чего там! Готово! Музыку... Унтер Иваныч! Просим!

Унтер Иваныч. О да! Браутмарш. *(Уходит. Слышен марш)*.

Доктор. Ну, Малафей Ионыч, поздравляю: сделал — своими руками: это — зять, да! Это же — не какой-нибудь Жудра.

Малафей Ионыч. Жудра... Жудра — тьфу, вот что! Спасибо вам, товарищ доктор.

Африканский гость *(тоже жмет руку доктору)*. Н-га! Н-га! Н-га!

Доктор. Не меня — его, его благодарите *(на Чупятова).*

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов... отец родной... Не могу, волнуюсь.

Африканский гость *(дергает за рукав Малафея Ионыча).* Урр-барр -барра н-га! *(Бросается на пол — два-три движения — ползает на брюхе, вскакивает, опять дергает Малафея Ионыча).*

Илья *(Малафею Ионычу).* Это он вам объясняет, что у них так благодарят, он и вас просит...

Малафей Ионыч. Да я... да с удовольствием! Товарищ Чупятов... дорогой. *(Ползет на брюхе к Чупятову. Доктор, Илья, Африканский гость умирают со смеху).*

Дарья. Ой, батюшки мои, на брюхе пополз! Ой, сейчас лопну.

Африканский гость. Ха-ха-ха! Не могу больше! Ой! *(Сбрасывает обезьянью голову: это оказывается, конечно, Жудра).*

Люба. Витька, ты негодяй, провокатор!

Чупятов *(ползущему Малафею Ионычу).* Тьфу, гадость какая! Да встань ты, ну? К черту!

Малафей Ионыч *(вскакивает. Увидел Жудру).* Госп... Господи! Что такое? Это — ты?

Жудра. Я.

Малафей Ионыч *(тыча пальцем в обезьянью шкуру).* А это самое... как же?

Илья. А так, очень просто. Я отцу для опытов африканского гостя-обезьяну вез, да только в Одессе не доглядел, она советского хлеба поела — и издохла. А вот, все-таки пригодилась... *(Обнимает Любу).*

Малафей Ионыч. Это... это... это — нахальное жульничество! Вы, молодой человек, вы... вы — подлог, да!

Превосходный. Вот именно, подлог.

Жудра. Ну, уж коли так, так это не я, а вы, отец дьякон, живой подлог. И вы, гражданин Превосходный, тоже — подлог. И Сосулин... Ах, да: он удрал! Жалко...

Малафей Ионыч *(кидается к Чупятову).* Товарищ Чупятов!

Превосходный *(тоже).* Товарищ Чупятов! Товарищ Чупятов!

М а л а ф е й И о н ы ч. Да что же это? Вы же, можно сказать, отец... Вы же меня знаете... Товарищ Чупятов!

Ч у п я т о в. Да уж, теперь знаю — как свои пять пальцев! Подальше от меня, подальше! Ну?

П р е в о с х о д н ы й. Но ведь я же — не он *(на Малафея Ионыча)*... Я же ваш секретарь...

Ч у п я т о в *(перебивает)*. Был — секретарь. Завтра за месяц вперед получишь — катись! А ты, Жудра, за командировкой зайди — для себя и для Любы. Спасибо тебе за веселый спектакль, и счастливого пути в Москву!

ЗАНАВЕС

1929—1930.

Приложение к „Блохе“

ПОСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПЬЕСЕ «БЛОХА»

ШУТОЧНАЯ МИНИАТЮРА «ЖИТИЕ БЛОХИ»
(С рисунками Б. М. Кустодиева)

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ Ю. АННЕНКОВА «ДНЕВНИК МОИХ ВСТРЕЧ»

I.

Программа «Блохи» в МХАТ 2-м.

МОСКОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 2-Й
(На площади им. Свердлова, б. Театральной)

БЛОХА

Почтенные граждáне,
Не господа и не дворяне,
Просим милости вашей —
Посмотреть представление наше.

Сюжет хоть и не мудрен,
Но взят из царских времен,
Чтоб вы могли увидать,
Как изволили предки поживать.

Увеселительное
ВОЕННО-ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в 4-х переменах
с музыкальными партиями всевозможных инструментов,
а также
с участием БАЛЕТА и КАЗАЧЬИХ войсковых частей.
Сочинение *Евг. Замятина.*
(на тему Н. Лескова).

Причем вполне осмысленный и поучительный сюжет о судьбе природного русского гения еще более поражает в действительно прекрасной роскошной обстановке.

Все декорации и костюмы совершенно новые, работы известного художника *Б. М. Кустодиева.*

Имеются военные передвижения войск, разные превращения и танцы, исполнение мужских и женских хоров, комические и немые сцены с пением.

И ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОРОДЕ

на сцене Паноптикум, в коем более 1000 самых разнообразных и замечательнейших предметов наук и искусств с объяснениями.

Постановка — с почтением *А. Дикий.*

Вся специальная музыка сочинения *В. Оранского* и др.

ПРОГРАММА.

Действие I.

Таинственная шкатулка или «Ум хорошо, а два лучше».

Декорация: Грандиозный вид столицы!

Механические корабли.

Действие II.

Атаман или «Страшен черт, да милостив бог».

Декорация: Расцвет промышленности в городе Туле, а также живые розы.

Действие III.

Искушение или «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами».

Декорация: Вид с высоты на знаменитый город Лондон.

Действие IV.

Судьба героя или «Конец венчает дело».

Декорация: Снова царский дворец и роскошные украшения.

Режиссеры *В. Готовцев и А. Дикий.*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Удивительные Люди-Халдеи. Трое; один из них — девка.

1-й Халдей	В. Готовцев
2-й Халдей	В. Громов
Халдейка	С. Бирман
Царь	В. Попов
Донской казак Платов	А. Дикий
Министр граф Кисельвроде	А. Гейрот
Голландский Лекарь-аптекарь	1-й Халдей
Царский Скороход-курьер	2-й Халдей
Фрейлина Малафевна	Халдейка
Камергерный Генерал	И. Новский
Тульский оружейник Левша	Л. Волков
Оружейник старик Егупыч	А. Шахалов
Оружейник Силуян	Г. Музалевский
Раешник	1-й Халдей
Тульский Купец	2-й Халдей
Тульская девка-Машка	Халдейка
Аглицкий Полшкипер	В. Ключарев
Аглицкий Половой, чернорожий	Б. Бибиков
Аглицкий Химик-механик	1-й Халдей
Самолучший аглицкий Мастер	2-й Халдей
Аглицкая девка-Меря	Халдейка
Царевна Анфиса	З. Игумнова
Бойкая девка в Туле	Е. Измайлова
Старик-туляк	А. Смирнов
Свистовые казаки Платова	Н. Антонов Е. Гуров Т. Соловьев
Царские Генералы	А. Андреев Ю. Васильев А. Должанский М. Либаков М. Масин Н. Николаевский А. Потоцкий В. Таскин В. Яблонский
Околодочный	А. Жилинский
Ямщик	А. Благонравов
Дворник	К. Ястребецкий

Туляки, Городовые	Л. Жиделева О. Ключарева Г. Маркс П. Орлова М. Скрябина А. Френкель Н. Шиловцева Т. Щурупова Ф. Москвин Н. Сорокин И. Шелапутин К. Шиловцев

Морской Водоглаз, он же черт Мурин.

Из означенного персонала состоится множество захватывающих и юмористических сцен и в заключение торжественное шествие при дворе — небывалая живая картина при великолепном освещении разных цветов.

Театр отапливается и освещается. И каждый может быть уверен, что именно здесь он встретит своих знакомых и друзей, которые неизбежно посетят настоящее представление.

---

1) После подъема занавеса вход в зал строго воспрещается.

2) Аплодисменты принимаются с большой благодарностью и любовью.

Пом. реж. С. Б. Васильев. Дирижер Н. Н. Рахманов.
Хормейстер А. В. Свешников.

Костюмы по эскизам Б. М. Кустодиева выполнены мастерской МХАТ 2-го, под руководством М. Ф. Михайловой.

Декорации выполнены по эскизам Б. М. Кустодиева художниками М. В. Либаковым и Б. А. Матруниным.

Машинная часть под руководством Г. А. Зайцевского.

Заведующий сценой Д. К. Введенский.

Свет В. П. Пантелеева и В. Д. Зайцева.

II.

Записанное
Евгением Замятиным
ЖИТИЕ БЛОХИ
от дня
чудесного ее рождения
и до дня
прискорбной кончины

а также
своеручное
Б. М. Кустодиева
изображение
многих происшествий и лиц

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Житие Блохи» — шуточный рассказ, написанный для вечера пародий, который был устроен в начале декабря 1926 года — вскоре после первого представления «Блохи» в Ленинградском Большом Драматическом Театре. Автор декораций и костюмов для московской и ленинградской постановок «Блохи», Б. М. Кустодиев, набросал несколько рисунков к рассказу. Работа эта не была доведена до конца — рисунков было задумано больше, они должны были иллюстрировать все главные происшествия «Жития Блохи». Иллюстрации (как и текст «Жития») предназначались только для небольшого круга друзей; рисунки сделаны были шутя, играючи — но может быть именно потому они вышли такими выразительными, легкими, остроумными. Это была одна из последних графических работ покойного Б. М. Кустодиева — и одна из лучших его работ в области графики. Именно это и побудило опубликовать рисунки, вместе с текстом рассказа, в настоящем издании.

Текст рассказа сплетен из намеков на целый ряд лиц и обстоятельств, связанных с московской и ленинградской постановками «Блохи». В примечаниях (см. стр. 517) даны комментарии, раскрывающие для читателя все эти намеки.

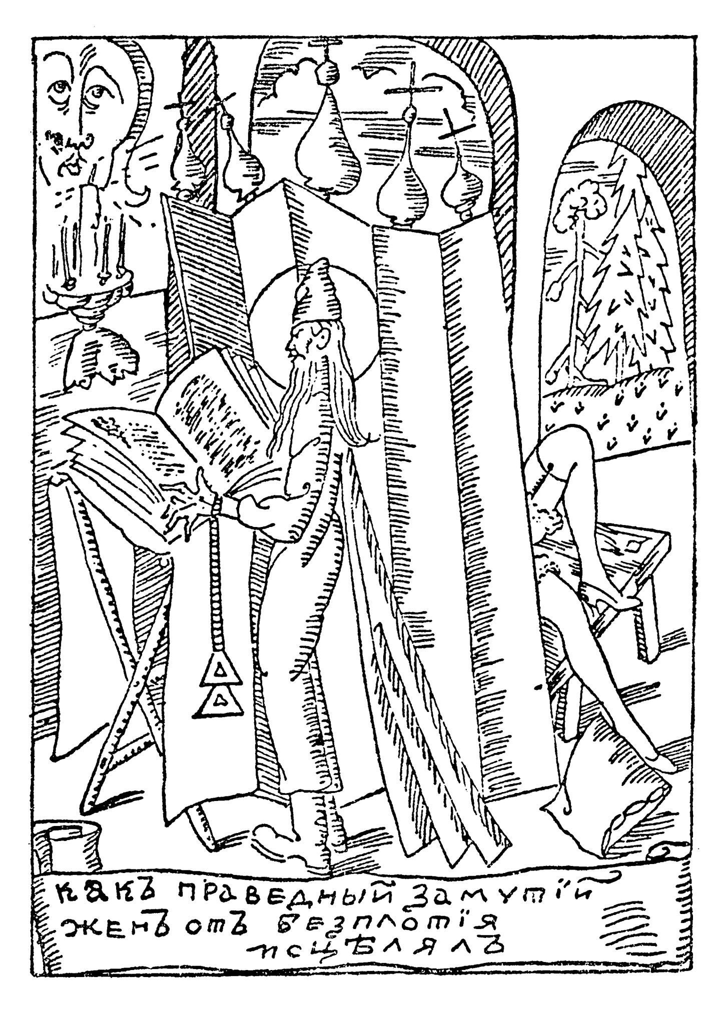


ЖИТИЕ БЛОХИ

Возлюбленные братья! Эта краткая повесть о некиих необычайных происшествиях написана в назидание вам,

дабы вы знали, что враг рода человеческого не дремлет и что для вящего соблазна он охотно принимает прелестный женский вид.

Вратами, чрез которые в эту повесть входит диавольское наваждение, был инок Замутий.[1] Инок Замутий долгие годы известен был своими благочестивыми писаниями и праведной жизнью. Говорили даже, что по молитвам его бывали исцеления — особенно от неплодия. И, может



быть, жизнь инока Замутия кончилась бы прославлением его мощей, если бы не вмешался диавол.

В весенние дни, когда все набухает соками и растет неудержимо, в том фигийском[2] городе, где жил Замутий, появился некий буйный и дикий человек. Имени его никто не знал, и когда он шел по улицам, овевая всех жарким винным благоуханием, все сторонились поспешно, говоря: «Дикий! Дикий! Смотрите — вот он!» А Дикий,[3]



подобно кораблю покачиваясь гордо на невидимых волнах, шел в келью инока Замутия. И все думали, что он шел туда как в тихую обитель, чтобы омыть душу покаянием, но, увы, вскоре обнаружилась иная — и горькая — истина . . .

Инок Замутий, дотоле вида иссохшего — как и подобает праведнику, вдруг начал день ото дня все приметнее пухнуть. Иноки и старцы фигийские собирались на пло-

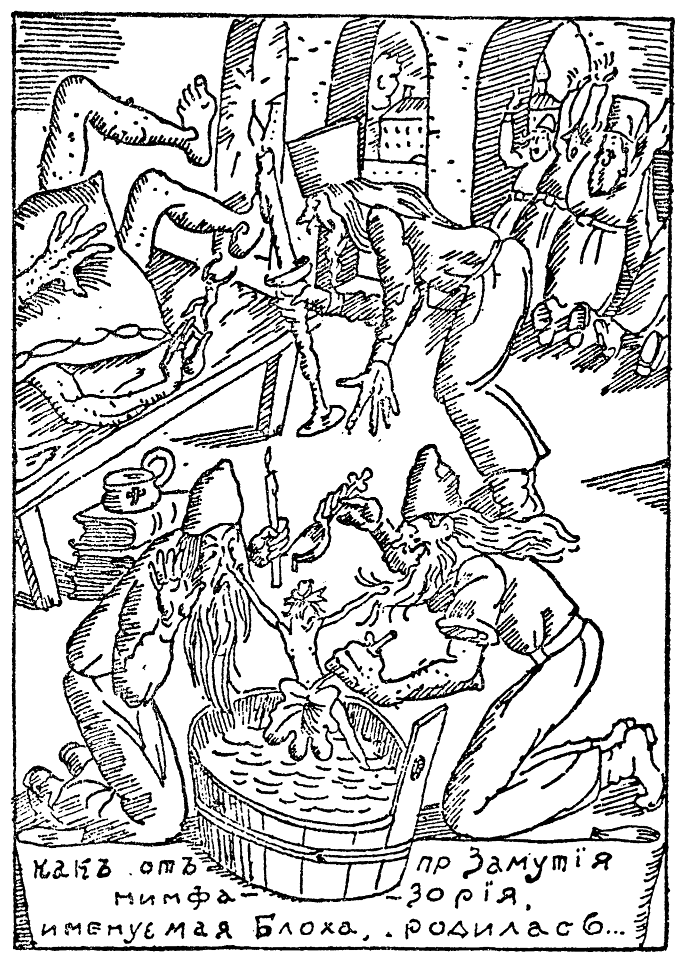


щади перед его кельей и непрестанно служили молебны о здравии Замутия, полагая, что он заболел тяжкой щеголевой болезнью. Жены, исцеленные Замутием от неплодия, рыданием заглушали молитвенное пение.



Так прошло три недели. И ровно на двадцать первый день, когда солнце вечерней кровью оросило небо, из кельи инока Замутия послышались раздирающие крики,

и они становились все неистовей и сопровождались народными фигийскими словами, так что женщины, зажав уши, разбежались. Старцы же, осѐнив себя крестным знамением, со страхом вошли в келью Замутия. И здесь увидели его истекающим кровью на ложе, а в руках у



него нечто, окрашенное его кровью, размером не более вершка. Когда один из старцев нагнулся, чтобы взять от Замутия это нечто, оно прыгнуло к нагнувшемуся за па-

зуху и, найдя самое нежное место, укусило его. Старец крикнул: «блоха!» и, дрожащими руками схватив это нечто, укусившее его, поднес к светильнику. И тогда он и все кругом увидали, что это было существо преимущественно женского пола, с растением черных волос всюду, где надлежит, и с острыми, наподобие мышиных, зубами. «Что это? Откуда?» — в страхе спросил старец. — Отсюда, — ответил Замутий, указав на свое опустевшее чрево. Поняли старцы, что в келье этой явлено чудо от диавола, и, напинаясь друг на друга, ринулись вон.

Так, вопреки законам естества, произошло от инока Замутия то исчадие, и со слов старца все называли это порождение Блохой. Иные сведущие люди говорили, что раз слоновый приплод во чреве, как известно, пребывает три года, то Блохе так и надлежало родиться через три недели. Но и росла Блоха с той же неестественной быстротой. Так что когда, по истечении еще нескольких недель, любопытные фигийские граждане осмелились подойти к келье Замутия, то в окно они увидели прелестную чернявую девицу, уже созревшую как некий чудесный плод. Девица эта, подмигнув одному из граждан, сказала сладко: «Пойдем обожаться».[4] Почтенный тот гражданин, всю жизнь служивший Кустодией[5] при храме, забыв все, бросился в келью Замутия — и там обожался. А Замутий, высунувшись в окошко, вместо обычного благословения, осенил ужаснувшихся граждан знамением фиги. И еще более они ужаснулись, когда вечером, придя в храм, они нашли его темным и запертым, и не было, как всегда, при дверях Кустодии: соблазненный Блохою, этот муж остался возле нее в келье Замутия.

С того дня — как фиговый листок отпало от Замутия и от Кустодии прежнее их благочестие, и они предались винопитию и распутству, вовлекая в грех многих фигийских граждан. А когда черную, как их грехи, землю покрыл снег, то узнали о них фигийские граждане и еще нечто худшее: инок Замутий и с ним Кустодия, уехавши в город МХАТ'ов,[6] там торгуют красотою Блохи. И граждане там стекаются на позорище и гоготанием тешат диавола, а когда, улыбаясь, Блоха призывает их обожаться, они с неистовством обнимают женщин — и размножаются с такой быстротой, что им уже негде жить: у них заселены людьми не только дома, но и шкафы, сундуки,

умывальники, подоконники. Фигийские граждане только радовались и благодарили бога, что Замутий и все происходящее от него зло — далеко от них. Но радость их была преждевременна.

Среди фигийских граждан издавна жил род некиих Аков.[7] Аки известны были своим долголетием: иным из них было до 200 лет. Те же из них, кому было менее 100 или 50, или даже 20, — из почтения были как бы тоже двухсотлетними. И вот однажды узнали изумленные фигийцы, что этим почтенным Акам бывший инок Замутий продал Блоху.[8]

Войдя в дом Аков, Блоха улыбаясь сказала: «Ну, здрасте, что ли!»,[9] но Аки молчали. Тогда Блоха, соблазнительно шевельнув естеством, сказала: «Пойдем обожаться!» — и ждала, не восстанут ли уснувшие двухсотлетние страсти. Старцы Аков, дрожа от нетерпения, бросились к Блохе, и гладили, и обнимали ее, но увы: уже не было у них надлежащей крепости и силы. И старший из них сказал Блохе: «Excusez»[10] — и они все отошли от нее, и совещались долго. И на совете, дабы отмстить ей за посрамление, решили заключить ее в страшную Аковскую темницу. Там, закованная в цепи, без пищи пробыла она год,[11] пока не проржавели цепи. Тогда Блоха, ухищрениями диавола пройдя сквозь стены, пробежала по улицам города и бросилась в бурные воды Фонтанки, чтобы там покончить свою греховную и полную соблазна жизнь.

Но бог, видимо, не хотел еще смерти юной и прекрасной грешницы. На берегу этих вод стояла обитель некиих Монахов,[12] и один из Монахов, услышав крики тонувшей Блохи, с опасностью для жизни спас ее из бурных вод. Прижав к груди ее обвитое влажной тканью и почти нагое тело, один из Монахов принес ее в обитель. И этого краткого объятия довольно было, чтобы ее диавольская сила соблазнила его и прочих живших в этой обители. И снова, как в стране МХАТ'ов, в этой обители по ночам сияли огни, граждане стекались туда отовсюду и предавались неистовому диавольскому веселью.

Так шло, пока не явился некий известный своим умом гражданин, знавший и жизнь и искусство, но помимо жизни и искусства, к несчастью, знавший также многие науки.[13] Увидев Блоху, он спросил: «Почему она говорит о многом, но не говорит об астрономии? Разве я оши-

баюсь, утверждая, что астрономия необходима?» И Монахи, устыженные, молчали. Известный умом гражданин продолжал: «Почему она не говорит о медицине? Разве



я не прав, говоря, что медицина нужна?» И снова Монахи молчали. И гражданин сказал: «А почему не говорит она о земледелии? Неужели будете вы отрицать, что земледелие полезно?» Монахи молчали. Гражданин же сказал:

«Отдайте мне Блоху. Я должен научить ее проповедывать все науки».

И со скорбью Монахи отдали ему Блоху. Всю ночь ждали они у врат своей обители. Когда солнце утренней кровью оросило небо, вышел тот гражданин и сказал: «Готово. Я научил». Монахи вошли внутрь и увидели: Блоха лежала мертвой.

Так благочестие и разум победили диавольский соблазн. Так кончилось многогрешное и обильное приключениями житие Блохи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Инок Замутий» — Евг. Замятин, автор «Блохи». В шуточном литературном обществе «Обезьянья Палата» (общество учреждено было писателем А. М. Ремизовым) Евг. Замятин имел титул «Замутия, епископа Обезьянского». Первый из серии рисунков представляет собою его пародийный портрет.

[2] Зимою 1926—27 года в Ленинграде, при Доме Искусств, существовала «Физио-Геоцентрическая Асоциация» — или сокращенно: ФИГА. Ассоциация устроила несколько вечеров пародий (в том числе вечер, посвященный «Блохе»).

[3] Имеется в виду А. Д. Дикий, режиссер МХАТ'а 2-го. Весною 1924 года МХАТ 2-й приезжал на гастроли в Ленинград. Режиссеру А. Д. Дикому принадлежит мысль сделать пьесу на тему рассказа Н. С. Лескова «Левша» — мысль, осуществленная Евг. Замятиным в «Блохе». Третий рисунок дает пародийный портрет А. Д. Дикого в роли Платова из «Блохи».

[4] Цитата из 2-го акта «Блохи».

[5] «Кустодия» — Б. М. Кустодиев.

[6] «Город МХАТ'ов — Москва.

[7] «Аки» — довольно распространенное сокращение вместо «Академические театры» (имеются в виду Ак. театры в Ленинграде).

[8] «Блоха», поставленная в Ленинграде Большим Драматическим Театром, была сначала отдана для постановки в Ленинградский театр Акдрамы — б. Александринский.

[9] Цитата из 1-го акта «Блохи».

[10] Намек на И. В. Экскузовича, бывшего директора Академических театров.

[11] Принятая к постановке бывш. Александринским Театром, «Блоха» пролежала там около года, после чего была взята автором и передана в Большой Драматический Театр.

[12] Имеется в виду Большой Драматический Театр, одним из руководителей которого является известный артист Н. Ф. Монахов. Театр — на набережной Фонтанки. Рисунок на стр. 516-й дает пародийный портрет Н. Ф. Монахова.

[13] Намек на рецензию о «Блохе» Гр. Авлова в журнале «Жизнь Искусства». Автор рецензии указывал на «легковесность содержания» «Блохи» и неудачно пытался связать «Блоху» с вопросами индустриализации страны.

III.

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ЮРИЯ АННЕНКОВА «ДНЕВНИК МОИХ ВСТРЕЧ», Т. I, 1966.

Я покинул Советский Союз осенью 1924 года. Замятин героически остался там. Правда, литературный успех Замятина все возрастал, и не только — в книгах, но и в театре. Его пьеса «Блоха» прошла в те годы во Втором Московском Художественном Театре (МХАТ 2-ой) и в Петроградском Большом Драматическом Театре — свыше трех тысяч раз.

Основой пьесы является рассказ Лескова «Левша». 2-й Московский Художественный Театр обратился к Алексею Толстому с просьбой инсценировать этот рассказ, но Толстой отказался, заявив, что это невозможно. Театр обратился тогда к Замятину, и он, сознавая всю трудность этой работы, принял тем не менее, предложение.

Успех «Блохи» был огромен и в Москве и в Петрограде. Одним из главных качеств пьесы, как и всегда у Замятина, была языковая фонетика. Замятин сам говорил, что «надо было дать драматизированный сказ». Но — не сказ половинный, как у Ремизова, где авторские ремарки только слегка окрашены языком сказа, а полный, как у Лескова, когда все ведется от лица воображаемого автора одним языком. В «Блохе» драматизируется тип полного сказа. Пьеса разыгрывается, как разы-

грывали бы ее какие-нибудь воображаемые тульские актеры народного театра. В ней оправданы все словесные и синтаксические сдвиги в языке.

От Лескова, конечно, осталось немного. Вырос Замятин. Он опустил целый ряд глав Лесковского рассказа: 1-ю, 2-ю, 3-ю, 6-ю, 7-ю и 8-ю. Одновременно с этим Замятин ввел ряд новых персонажей, вдохновленный итальянской народной комедией, театром Гольдони, Гоцци и такими героями комедии dell'arte, как Пульчинелла, Труфальдино, Бригелла, Панталонэ, Тарталья, служащими усилению сценической динамики...

После постановки «Блохи» в Петроградском Большом Театре, литературный сатирический клуб, именовавший себя «Физио-Геоцентрической Ассоциацией», или сокращенно «Фигой», устроил вечер, вернее, — ночь, посвященную замятинскому спектаклю, в присутствии автора и актеров. Вот несколько выдержек из шутливых песенок, исполнявшихся этой ночью:

БАЛЛАДА О БЛОХЕ

Слова Людмилы Давидович. Музыка Мусоргского

1

Жил-был Лесков когда-то.
При нем Блоха жила!
Блоха... Блоха...
И славу небогатую
Она ему дала!
Блоха! Ха-ха-ха!

Полвека миновало,
В могилу лег Лесков!
И вот Блоха попала
К Замятину под кров!

И эта вот Блоха-то
Пошла мгновенно в ход —
Открылись двери МХАТ'а
К ней повалил народ!
К Блохе!
Ха-ха! Хе-хе!

Она для всех приманка
И лакомый кусок!
И вот, к брегам Фонтанки
Ее приводит рок!

Блошиная премьера
Приносит ей успех,
В столицах СССР'а
Звенит блошиный смех!

Вид у Блохи задорен,
И красочен напев!
Его ей дал Шапорин,
А фон — Кустодиев!

Блоха дает всем мигом
И славу и почет.
А что ж Лескову? — Фига
Ему привет свой шлет.

2

БЛОШИНАЯ СИМФОНИЯ

для хора и оркестра.

Музыка Шапорина. Слова Флита. Блохмейстер — автор.

Allegro Samjatino

Слава За
Слава За
Мятину
Блоходателю
И Блохатырю.

Andante parasito

Приходил,
Приносил
Черную:
Не нужна мне,
Публике дарю!

Scherzo blochissimo

Бло, Бло, Бло,
Бло, Бло, Бло,
Блошенька
Во Болдрамте
Весело поет!

Finale figatoso

Фига фи
Фига фи
Финенька
Блохомятину
Блоходателю
Слава Бол,
Слава Болдрамту,
Слава Театру
Съевшему Блоху.
Слава За,
Слава Замятину,
Блоходателю
И Блохатырю!

Как, скажите, всем вам
быть?
Сливкин* всем на горе
Порешил кино открыть
В Исаакиевском соборе.

Не люблю я есть телятин,
Как держать, не знаю, нож.
Про Блоху писал Замятин,
Я ж попробую про вошь.

Я девчонка не плоха,
И я верю в Бога,
У Замятина — Блоха,
У меня их много.

* Сливкин был тогда директором «Совкино».

4

Товарищи и братья,
Не могу молчать я.
По-моему «Блоха»
В высшей степени плоха,
А драматург Замятин,
Извиняюсь, развратен.
Возьмемся за пьесу сначала:
Публика ее осмеяла.
Смеялись над нею дружно —
Каких еще фактов нужно?
Экскузовичу было не
Экскузовичу было неловко
— Осмеивают постановку,
Он и ежился,
И тревожился,
И щурился,
И хмурился.
Всем видом, так сказать,
возражал, —
И тоже не выдержал,
заржал.
Даже ответственное лицо
Заржало перед концом.
Это ли вам не доказа-
тельства,
Дорогие ваши сиятельства?
А за сим я спрошу ядовито,
Где у автора знание быта?
Где гражданская война —
Может, она автору не
нужна?
Где у вас,
ваше превосходительство,

Новое бодрое
строительство?
А ежели это — сказка,
Где сюжетная увязка?
А ежели это — сказ,
Где бытовой увяз?
Да, я докажу моментально,
Что это — не
орнаментально,
Что нету совсем
остранения,
Что это — недоразумение.
Теперь вам ясно стало,
Почему хохотала зала?
А сейчас, извините
за выражения,
Возьмем Замятина Евгения.
Сидит он рядом с дамой,
И, притом, с интересной
самой,
А зачем — совершенно
ясно,
И я повторяю бесстрастно:
Евгений Иванович Замятин
В глубинах души развратен.
Взгляните на этот прибор,
На этот ехидный взор,
Взгляните на светлые
брюки
И прочие разные штуки;
Взгляните на вкрадчивые
манеры —
Ох, уж эти мне морские
инженеры
В прошлом строил ледокол,
Теперь он строит куры, —
До чего довел
Тяжкий путь литературы!
Насчет «кур» я заимствовал
у Пруткова
Виноват, так что ж тут
такого!
Кто у Пруткова,
А кто — у Лескова.
Признаюсь в заключенье:

Понравилось мне
представленье.
А вот — почему,
Никак не пойму.
Прямо обидно
И перед коллегами стыдно.
Никаких серьезных задач —
Насекомое прыгает вскачь,
Туда и обратно, —
А смотреть приятно.

Кажись, хороша и пьеса
и постановка,
А сознаться в этом как-то
неловко.
И поэтому закончу я так:
Вы, Замятин, идейный враг.
И я требую мрачно
и грозно —
Исправьтесь, пока не
поздно!

Заключительный куплет:

Рецензия-экспромт

Не стоит тратить много речи,
Блоху — покрыть теперя нечем!
И Мейерхольд, и старый МХАТ
«Блохой» подкованы подряд.

Фиговая ночь закончилась, со слов свидетелей, в нескончаемом хохоте. И даже исполнен «Интернационал», под хохот, еще усилившийся.

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К «БЛОХЕ».